This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

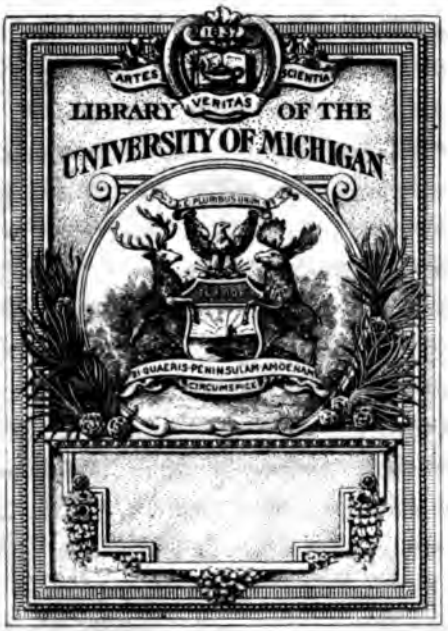
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 866,414

V


ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

В 66к

КИТАЙ-ГОРОДЪ

ТОМЪ I

Kitae Gorod

КИТАЙ-ГОРОДЪ

Roman

РОМАНЪ

Peter Bobotykin

ПЕТРА БОБОРЫКИНА

ТОМЪ I

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ | МОСКВА

Гостиный дворъ, №№ 17 и 18 | Петровка, д. Михалкова, № 5

1883

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ (Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5).

КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

Въ „городѣ“, на площади, противъ биржи, шла будничная дообѣденная жизнь. Выдался теплый сентябрьскій день, съ легкимъ вѣтеркомъ. Солнца было много. Оно падало столбомъ на средину площади, между громаднымъ домомъ Троицкаго подворья и рядомъ лавокъ и конторъ. Вправо оно свѣтило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широкихъ вывѣсокъ съ золотыми буквами, пестрыхъ навѣсовъ, столбовъ, выкрашенныхъ въ зеленую краску, лотковъ съ апельсинами, грушами, мокрой липкой шепталой и многоцвѣтными леденцами. Улица и площадь смотрѣли веселой ярмаркой. Во всѣхъ направленіяхъ тянулись возы, дроги, цѣлые обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изрѣдка проѣзжала карета,

204960

выкидывалъ ногами сѣрый, жирный жеребецъ въ широкой купеческой эгоисткѣ московскаго фасона. На перекресткахъ выходили безпрестанныя остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжалъ и махалъ рукой. Растерявшаяся покупательница, не добѣжавъ до другаго тротуара, роняла картузъ съ чѣмъ-то съѣстнымъ и громко ахала. По острой, разъѣзженной мостовой грохотъ и шумъ немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла магазиновъ. Тучки пыли летѣли отовсюду. Возы и обозы наполняли воздухъ всякими испареніями и запахами, — то отдастъ москательнымъ товаромъ, то спиртомъ, то конфектами. Или вдругъ откуда-то дольется струя, вся переполненная постнымъ масломъ или лукомъ, или соленой рыбой. Снизу изъ-за биржи, съ задовъ стараго гостинаго двора поползетъ цѣлая полоса воздуха, пресыщеннаго прѣснымъ отвкусомъ бумажнаго товара, прессованныхъ штукъ бумазеи, миткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нѣтъ конца телегамъ и дрогамъ. Везутъ ящики кантонскаго чая въ зеленоватыхъ рогожкахъ съ таинственными клеймами, везутъ распоровшіеся, бурые, безобразно-пузатые тюки бухарскаго хлопка, везутъ слитки олова и мѣди. Немилосердно терзаетъ ухо бѣшеный лязгъ и трескъ желѣзныхъ брусьевъ и шинъ. Тянутся возы съ бочками бакалеи, сахарныхъ головъ,

кофе. Разомъ обдадутъ зловоніемъ телеги съ кожами. И все это облито солнцемъ и укутано пылью. Кому-то нуженъ этотъ товаръ? „Городъ“ хоронитъ его и распредѣляетъ по всей странѣ. Деньги, векселя, цѣнныя бумаги точно рѣютъ промежду товара въ этомъ рыночномъ воздухѣ, гдѣ все жаждетъ наживы, гдѣ дня нельзя продышать безъ того, чтобы не продать и не купить.

На возахъ и въ обозахъ, рядомъ и позади телегъ, ломовой, въ измятой шляпенкѣ или засаленномъ картузѣ, съ мощной спиной, въ красной жилеткѣ и пудовыхъ сапогахъ, шагаетъ съ переваломъ невозмутимо-стойко, съ трудовой лѣнью, покрикивая, ругаясь, похлестываетъ кнутомъ своего чалаго, широкогрудаго и всегда опоеннаго мерина, подъ раскрашенной дугой. Вотъ лучъ солнца, точно отдѣлившись отъ огненнаго своего снопа, пронизываетъ облако пыли и падаетъ на возъ съ чѣмъ-то темнымъ и рыхлымъ, прикрытымъ рогожей, насквозь промоченной и обтрепанной по краямъ. На возу покачивается парень безъ шапки, съ желтыми, плоскими волосами, красный, въ веснушкахъ, въ пестрядинной рубахѣ съ разстегнутымъ воротомъ, открывающимъ бѣлую грудь и мѣдный тѣльникъ. Глаза его жмурятся отъ солнца и удовольствія. Онъ широко растянулъ ротъ и засовываетъ въ него кусокъ папушника, держа его обѣими руками. На папушникѣ намазана желтая икра, перемѣшанная съ кусочками кро-

шенаго лука, промозгло-соленая, тронутая тепломъ. Но глаза парня совсѣмъ закатились отъ наслажденія. Онъ облизывается и вкусно чмокаетъ, а тѣмъ временемъ незамѣтно сползаетъ все по скользкой и смрадной рогожкѣ. Съ воза обдаетъ его гнилью и газами разложенія. Зубы щелкаютъ, щеки раздулись; онъ обѣдаетъ сладко и вдосталь.

А за нимъ, снизу отъ Ножовой Линіи, сбоку изъ Черкасскаго переулка, сверху отъ Ильинскихъ воротъ ползетъ товаръ, и надъ этой колышущейся полосой изъ лошадей, экипажей, возовъ, людскихъ головъ стоитъ стонъ; рубль купца, спина мужика поютъ свою нескончаемую пѣсню...

II.

У биржи полегоньку собираются мелкіе „зайцы"—жидки, восточники, шустрые маклаки изъ ярославцевъ, греки... Два жандарма, поставленные тутъ за тѣмъ, чтобы не было толкотни и недозволеннаго торга и чтобы именитые купцы могли безпрепятственно подъѣзжать, похаживаютъ и, нѣтъ-нѣтъ, да и ткнутъ въ воздухъ рукой. Но дѣла идутъ своимъ порядкомъ. И на тротуарѣ, и около легковыхъ извозчиковъ, на площади и ниже, къ старымъ рядамъ, стоятъ кучки; юркіе чуйки и пальто перебѣгаютъ отъ одной группы къ другой. Двое смѣльчаковъ присусѣдились даже къ жирандоли

около колоннъ тяжелаго фронтона. Потомъ они отошли къ углу дома Троицкаго подворья, стали въ двухъ шагахъ отъ подъѣзда и продолжали свои переговоры. Они со всѣхъ сторонъ были освѣщены. Одинъ въ бѣлой папахѣ и длинной черкескѣ желтобураго цвѣта, при кинжалѣ и въ узкихъ штанахъ съ позументомъ, глядѣлъ на своего собесѣдника — скопца разбойничьими, круглыми и глупыми глазами и все дергалъ его за бортъ длиннаго сюртука. Скопецъ немного подавался назадъ, про себя вздыхалъ и часто вскидывалъ глазами кверху.

Кругомъ мальчишки выкрикивали уличный товаръ. Куски краснаго арбуза вырѣзывались издали. А тамъ вонъ на лоткахъ — золотистыя кисти винограда, въ перемежку съ темнокраснымъ, наливнымъ, крымскимъ, величиной въ добрую сливу, и съ подрумяненной антоновкой. Разносчики газетъ забѣгали съ тротуара на средину площади и совали прохожимъ подъ носъ номера листковъ съ яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазинъ, съ наряднымъ подъѣздомъ и щеголеватой вывѣской, придавалъ нижнему этажу монументальнаго дома богатыхъ монаховъ европейскій видъ. На углу куполъ башни въ новомъ заграничномъ стилѣ прихорашивалъ всю эту кучу тяжелыхъ, приземистыхъ каменныхъ ящиковъ, уходилъ въ небо, напоминая каждому, что старыя времена прошли, пора пускать и приманку для глазъ, давать архитекторамъ хорошія деньги,

чтобы весело было господамъ-купцамъ платить за трактиры и лавки.

А тамъ дальше виднѣлся кусокъ теплыхъ „рядовъ". Лѣстница съ аркой, переходы, мостики, широкія окна манили покупателя прохладой лѣтомъ, убѣжищемъ отъ дождя и тепломъ въ трескучіе морозы. Узкій переулокъ уходилъ вдоль, къ Никольской, точно корридоръ съ низкимъ, въ одинъ этажъ, корпусомъ, по лѣвую руку. Церковь съ старинными очертаніями главъ и реберъ крыши выглядывала сбоку изъ-за домовъ. Вся небольшая площадь улыбалась точно ядреная купчиха, надѣвшая всѣ свои кольца и серьги; только на волосахъ у ней „головка", а остальное все по модѣ, куплено у нѣмца и дорогой цѣной. Свѣтъ особенно ласково игралъ въ зеркальныхъ стеклахъ дома, гдѣ нѣтъ кое-какихъ лавокъ, а каждое помѣщеніе оплачивается многими тысячами. Домъ сдавленный, четырехъ-этажный, по цвѣту какъ будто изъ цѣльнаго камня, не испортилъ бы и лондонскій „Cheapside" или гамбургскій Jungfer-Stieg. Онъ смотритъ на своего сосѣда и радуется. Такого сосѣдства не стыдно. Но тамъ все-таки трактиръ, служатъ молодцы въ рубашкахъ; а въ немъ все на благородный аршинъ и покрой. Швейцары въ ливреяхъ, массивныя двери, чугунныя лѣстницы, глянцовитыя конторки, за конторками тихій, благообразный и выученный народъ, хоть въ любой всемірно-извѣстный домъ, хоть къ самому Рот-

шильду. Правда, деньги на рукахъ у артельщиковъ; но артельщики сидятъ за рѣшетками, ихъ не видно, да и они по благообразію подходятъ къ дубовымъ рамамъ съ блистающими стеклами.

Только въ одномъ углу площади запоздалые мостовщики разворотили цѣлыхъ полдесятины, стѣсняютъ ѣзду и шутливо перекликаются съ ломовыми и кучерами. Они отдѣлили себя бичевкой и полдничаютъ, сидя на кучѣ голышей вокругъ деревянной чашки, куда они въ квасъ накрошили огурцовъ, луку, вяленой рыбы и хлебаютъ не спѣша, вытянувши ноги, окутанныя въ тряпки поверхъ лаптей. Имъ любо! Солнышко щекочетъ имъ загривки. Дождя, знать, не будетъ до ночи, и то слава Богу!

III.

Въ банкѣ, вверхъ по Ильинкѣ, съ монументальной чугунной лѣстницей и саженными зеркальными окнами, все въ движеніи. Длинная, въ цѣлый манежъ, зала, съ пролетными арками въ обѣ стороны, наполнена гуломъ голосовъ, ходьбой, щелканьемъ счетовъ, скрипомъ перьевъ. Ясеневаго дерева перила и толстыя балясины празднично блестятъ. На нихъ пріятно отдыхаетъ глазъ. Надъ каждымъ отдѣленіемъ вывѣшены доски съ золотыми буквами: „учетъ векселей“, „пріемъ вкладовъ“, „теку-

щіе счета". За рѣшеткой столько же жизни, какъ и въ узковатой полосѣ, гдѣ толчется и проходитъ публика. Контористы, иные съ моднымъ проборомъ, иные подъ гребенку, всѣ въ хорошо сшитыхъ сюртукахъ и визиткахъ, мелькаютъ за конторками: то встанутъ съ огромной книгой и перебѣгаютъ съ мѣста на мѣсто, то точно ныряютъ, только головы ихъ видны на нѣсколько секундъ. Всего больше народа у вкладовъ и выдачи денегъ по текущимъ счетамъ.

Сквозь кучку, гдѣ выдѣлялся священникъ съ большимъ наперстнымъ крестомъ, въ шоколадной рясѣ, и дама съ кожанымъ мѣшкомъ, немного тугая на ухо и безтолковая, ловко протискался, никого особенно не задѣвъ, лѣтъ подъ тридцать, не красавецъ, но замѣтной и своеобразной наружности: плотный, широкій въ плечахъ, повыше средняго роста, съ перехватомъ въ тальѣ длиннаго двухбортнаго сюртука, видимо вышедшаго изъ мастерской француза. Голова его, небольшая, круглая, выпуклая въ бокахъ, съ крутымъ лбомъ, сидѣла на туловищѣ чрезвычайно свободно, поворачивалась часто и легко. Волосы пепельнаго цвѣта, мягкіе, некурчавые лежали на лбу широкой прядью, какъ на бюстахъ императора Траяна. Борода немного потемнѣе, также какъ и усы, расчесана была посрединѣ, гдѣ образовался точно вѣеръ съ цѣлой градаціей оттѣнковъ, начиная отъ ярко-бѣлокураго на самомъ проборѣ. Губы по-

лускрывали тонкіе усы, ничѣмъ не смазанные. Носъ утолщался книзу. Посрединѣ его шелъ жолобокъ, дѣлавшій его шире и некрасивѣе. Свѣтло-каріе глаза смотрѣли возбужденно. Въ нихъ были видны: и юркость, и сознаніе здоровья и силы, и наклонность все обсмотрѣть, взвѣсить и оцѣнить, въ то время, какъ легкія складки вдоль носа и приподнятые углы рта улыбались снисходительно, а при случаѣ и вкрадчиво.

Въ посадкѣ этого мужчины, въ томъ какъ сидѣлъ на немъ сюртукъ, какъ онъ былъ застегнутъ, въ походкѣ и покроѣ панталонъ, — опытный глазъ отличилъ бы бывшаго военнаго, даже кавалериста. Звали его Палтусовъ.

Онъ протянулъ руку къ контористу, — тотъ въ эту минуту подавалъ дамѣ книгу расписаться, — и чуть-чуть дотронулся до его плеча.

— Евграфъ Петровичъ въ директорской? — спросилъ онъ теноровымъ голосомъ, скоро, тономъ своего человѣка, умѣющаго дѣлать вопросы служащимъ и не мѣшать имъ.

— Какъ же, пожалуйте! — отвѣтилъ контористъ съ улыбкой.

Палтусовъ незамѣтно пріосанился, передалъ низкую поярковую шляпу изъ правой руки въ лѣвую и пошелъ къ стеклянным дверямъ кабинета, гдѣ сидятъ обыкновенно директора.

На встрѣчу попался ему въ пріемной — тамъ стоялъ диванъ и столъ съ двумя креслами — совсѣмъ круглый человѣкъ, молодой, не старше

Палтусова, съ вихромъ на лбу, весь въ черномъ; его веселые темные глаза такъ и бѣгали.

— Ба! Андрей Дмитричъ! Ко мнѣ? По дѣлу?

— Переводецъ простой... Зашелъ посмотрѣть на васъ, — сказалъ ласково Палтусовъ.

— Сію минуту. Присядьте. И я тоже здѣсь примощусь. Я — духомъ!

Круглый директоръ присѣлъ на кончикъ дивана. Палтусовъ помѣстился по сю сторону стола. Онъ и не замѣтилъ, что тутъ уже сталъ контористъ съ цѣлой пачкой разныхъ печатныхъ бланковъ, ордеровъ всякихъ цвѣтовъ, длины и рисунка.

— Вы посидите, голубчикъ, — кидалъ слова директоръ, а самъ все подмахивалъ: — я мигомъ. Ныньче — каторжный день! Такіе задаются... это что?

— Въ учетный-съ.

— Ладно... Я васъ самъ сведу къ контролеру. Онъ у насъ строгій. Пожалуй, придерется, скажетъ, личность неизвѣстна.

— Знаетъ меня.

— Придерется! А малый-золото! Формалистъ. Въ контролѣ служилъ... Это еще что?

— Это Ѳедоръ Карлычъ просили подписать, — доложилъ контористъ.

— А ежели провремся?

— Они говорятъ, что ничего.

— Ну коли ничего, такъ я подпишу.

Маленькая бѣлая рука директора такъ и летала по бланкамъ. Подпишетъ вдоль, а потомъ поперекъ, и въ третьемъ мѣстѣ еще что-то отмѣтитъ. Палтусовъ любовался, глядя на эту наметанность. Въ головѣ круглаго человѣка происходило два теченія мыслей и фактовъ. Онъ внимательно осматривалъ каждый ордеръ и подписывалъ все съ однимъ и тѣмъ же замысловатымъ росчеркомъ, а въ то же время продолжалъ говорить, улыбался, не успѣвалъ выговаривать всего, что выскакивало у него въ головѣ.

— Довольно? — спросилъ онъ, и вздохнулъ.

— Пока все-съ, — отвѣтилъ контористъ.

— Ну, грядите съ миромъ. Дайте передышку.

Контористъ вышелъ. Они остались вдвоемъ.

IV.

— Очень радъ, что зашли, — началъ еще радушнѣе директоръ. Подсаживаясь къ Палтусову, онъ потрепалъ его по плечу и заглянулъ въ глаза.

Тотъ всталъ.

— Боялся помѣшать вамъ.

— Намъ вѣдь всегда некогда. Наше дѣло: чикъ, чикъ, чикъ перомъ, и только пронесите, святые угодники! А то и подмахнешь ордерокъ на полмилліончика... іудейской фабрикаціи. А

потомъ и печатай портретъ въ „Кладдерадачѣ!“...

И онъ захохоталъ визгливой дробью.

Палтусовъ вторилъ ему легкимъ барскимъ смѣхомъ.

— Вы захаживайте... Не надолго... Да вѣдь вамъ гдѣ же... Все около женскаго пола...

— Какое!

— Да нечего!.. Куда ни пойдешь, а ужь Андрей Дмитричъ ведетъ подъ руку то Марью Орестовну, то Людмилу Петровну, то Анну Серафимовну. А супругъ сзади пардесю волочитъ... И все какихъ! Перваго разбора, милліоны все подъ ними трещатъ! Съ золотымъ обрѣзомъ!

Они вышли въ общую залу. Директоръ поддерживалъ Палтусова подъ правое плечо, смѣялся, мигалъ и заглядывалъ въ лицо. Палтусовъ только качалъ головой.

— Все балагурите, Евграфъ Петровичъ.

— Куда ни пойдешь — вездѣ онъ кавалеромъ, и руку сейчасъ согнетъ. И въ Кунцовѣ, и въ Сокольникахъ на кругу, и въ Люблинѣ, опять въ Паркѣ... А зимой! И въ маскарадѣ-то по двѣ маски разомъ... Мы тоже вѣдь имѣемъ наблюденіе...

— А сами-то?

— Чтожь?.. я маскарады лю-блю-ю, — протянулъ директоръ и быстро опустилъ голову внизъ, къ груди Палтусова. — Люблю. Это развлеченіе по мнѣ. — День деньской здѣсь въ

банкѣ-то этой, — съострилъ онъ: — ровно рыжикъ въ уксусѣ болтаешься; одурь возьметъ!.. Ни на какое путное дѣло не годишься. Ей-ей! Въ карты я не играю. Ну и завернешь въ маскарадъ. Мужчина я нетронутый... Женихъ въ самой порѣ. Только еще тоски не чувствую.

Онъ остановилъ Палтусова въ проходѣ, противъ лѣстницы, и взялъ его своими короткими руками за бока.

— Чтожь не сватаетесь?

— Говорю, тоски еще не чувствую. Надъ нами не каплетъ. Чтожь, это вы хорошо дѣлаете, что промежду нашимъ братомъ — купеческимъ сыномъ обращаетесь. Онъ сталъ говорить тише. — Давно пора. Вы — бравый! И на войну ходили, и учились, знаете все... Такихъ намъ и нужно. Да что же вы въ гласные-то?

— Не собственникъ...

— Эка! Промысловое свидѣтельство! Табачную лавочку! — Пустое дѣло. А вѣдь они у насъ глупятъ такъ, что нѣтъ никакой возможности. Я и ѣздить нынче пересталъ; кричали въ тѣ поры: не надо намъ баръ, не надо ученыхъ, давай простецовъ. Сами рѣчи умѣемъ говорить... Вотъ и договорились!

Директоръ опять подхватилъ Палтусова подъ правое плечо. Палтусовъ улыбался и думалъ въ эту минуту въ отвѣтъ на то, что ему говорилъ круглый человѣчекъ. Онъ почти всегда

думалъ о себѣ, потому тихая усмѣшка такъ часто и всплывала на его лицѣ.

V.

— Вотъ и контрольная, — довелъ его директоръ до широкой двойной конторки за перилами.

Директору поклонился сухощавый блондинъ съ лысиной, въ цвѣтномъ галстухѣ. Палтусовъ уже видѣлъ его, но по имени не зналъ.

— Вотъ имъ переводецъ, — сказалъ директоръ контролеру.

— Очень хорошо-съ! — отвѣтилъ тотъ однимъ духомъ, и нахмурилъ брови.

У него въ рукахъ было нѣсколько листовъ, за ухомъ торчало перо, во рту — карандашъ. Онъ что-то искалъ. Щеки его покраснѣли. Нервно перебрасывалъ онъ ворохъ векселей, телеграммъ съ переводами, ордеровъ — и не находилъ. Его нервность сказывалась въ порывистыхъ движеньяхъ рукъ, головы и даже всего корпуса. Онъ, то и дѣло, вертѣлся на каблукахъ. Выхватитъ одинъ бланкъ, отброситъ, потомъ опять схватитъ и насадитъ на мѣдный крючекъ, висѣвшій на стѣнѣ за его спиной, начнетъ снова швырять и выдувать воздухъ носомъ, а лѣвой рукой ерошитъ себѣ рѣдкіе волосы, около лысины.

Кругомъ барьера дожидалось человѣкъ пять, больше артельщики.

— Павелъ Павлычъ! — окликнулъ еще разъ директоръ. — Пожалуста, не задержите Андрея Дмитріевича.

И онъ своими глазками указывалъ Палтусову, какъ тормошится контролеръ.

— Позвольте-съ, — кинулъ тотъ Палтусову, и съ сердцемъ насадилъ на крючекъ еще два бланка.

Палтусовъ досталъ переводъ изъ большаго гладкаго портфеля, вѣнской работы въ видѣ пакета. Онъ передалъ сизый листокъ директору. Тотъ сейчасъ же схватилъ глазами сумму.

— Выиграли, что ли, перваго сентября? — спросилъ онъ прищурившись. — Или тетенька какая Богу душу отдала?

— Ни то, ни другое. Такъ, оставались деньжонки...

Вексель былъ на нѣсколько тысячъ рублей.

Контролеръ вручилъ одному изъ артельщиковъ четыре листка разныхъ цвѣтовъ, перечеркнутые и помѣченные и карандашемъ, и чернилами, и сказалъ вслухъ, такъ-что директоръ и Палтусовъ слышали:

— И все отъ несоблюденія правилъ! А тутъ и задерживай публику!

Директоръ протянулъ ему вексель Палтусова.

— Золото человѣкъ! — сказалъ онъ шопотомъ, отведя Палтусова въ уголъ. — Дорогаго стоитъ, а копуга. А вы, голубчикъ, къ намъ на текущій? Вѣдь вы — у насъ?

— Да, пускай лежатъ...

— Бумагъ не будете покупать?

— Можетъ быть...

— Мы этимъ не промышляемъ. Вотъ и биржа... Смотришь на такого русскаго молодца, какъ вы, и озоръ беретъ. Что ни маклеръ — нѣмчура. Отъ папеньки досталось. А нѣмцы, какъ собаки, вездѣ снюхаются!..

Оба расхохотались.

— Помилуйте, — продолжалъ горячиться директоръ: — Карлушка какой-нибудь паршивый, пара галстуховъ была у него да кальсоны вязаные, состоялъ на побѣгушкахъ у жида въ Зарядьѣ, а глядишь, годика черезъ три — биржевой маклеръ. Нѣмцы выклянчили — въ двадцати тысячахъ дохода... За невѣстой кушъ беретъ... Сами вы плошаете, господа!

— Дайте срокъ! — вырвалось у Палтусова, и онъ поправилъ тотчасъ же булавку на галстухѣ, точно хотѣлъ сдержать себя.

— Евграфъ Петровичъ! — тихо выговорилъ уже другой контористъ, не тотъ, что былъ въ директорской. — Ждутъ-съ...

И онъ протягивалъ пачку ордеровъ.

— Ну, заболтался; прощайте, голубчикъ, увидимся! въ первомъ же маскарадѣ, октябрь на дворѣ. Павелъ Павлычъ! — крикнулъ директоръ черезъ спины и головы артельщиковъ. — Не задержите господина Палтусова — прошу!

Ножки его засѣменили. Молоденькій контористъ еле успѣвалъ догонять его. Директоръ

на ходу обернулся и сдѣлалъ Палтусову ручкой.

Исполнительный контролеръ спустилъ свою публику скоро, совалъ имъ въ руки листы съ суровой поспѣшностью. Палтусова онъ отличилъ почтительнымъ приглашеніемъ:

— Пожалуйте въ кассу. Первая вправо-съ!

Касса, гдѣ Палтусову пришлось получить деньги, которыя онъ тутъ же перевелъ на текущій счетъ — разсчетную книжку онъ захватилъ — помѣщалась около той, куда вносили. Пока вписывали ему сумму и переводили деньги изъ одной кассы въ другую, Палтусовъ, облокотившись о дубовый выступъ кассы, смотрѣлъ на то, какъ считали пачки ассигнацій въ сторонѣ, за небольшимъ желтымъ столомъ, усѣяннымъ листками розовыхъ и бѣлыхъ бланокъ. Считало нѣсколько молодцовъ въ чуйкахъ и длиннополыхъ сибиркахъ, посланные хозяевами. Онъ съ особымъ выраженіемъ оглядывалъ и мальчишекъ лѣтъ двѣнадцати, десяти, чумазыхъ, въ рваныхъ полушубкахъ, присланныхъ за кушами или съ кушами въ десятки тысячъ. Они брали пачки, перевязанныя веревочками, развязывали ихъ, мусолили грязные пальцы и принимались считать. Иные и совсѣмъ не считали, а просто доставали пачки изъ холщевыхъ мѣшковъ и накладывали ихъ на прилавокъ, передъ рѣшеткой кассира, безъ всякой бережи, точно картофель или рѣпу. Въ глазахъ Палтусова такъ и рябило. Тысячныя

пачки сторублевокъ, выданныя изъ банка и аккуратно сложенныя, возвышались стопками на столѣ и похожи были издали на кипы книжекъ. На текущій счетъ приносили больше засаленныя бумажки, и мальчишки комкали ихъ, укладывая на прилавокъ. Въ десять минутъ передъ глазами Палтусова пропестрѣли сотни тысячъ. И онъ все не могъ надивиться тому, что дѣтямъ, неграмотнымъ, безъ всякой опаски и контроля, поручаютъ капиталы.

— Въ такой странѣ и не нажиться? — говорили его разбѣгающіеся каріе глаза: — да надо быть кретиномъ!

VI.

Внизу, у подъѣзда, стояла его пролетка. Онъ ѣздилъ съ мѣсячнымъ извозчикомъ на красивой, но павшей на ноги, сѣрой лошади. Пролетка была новая, полуторная. Работнику онъ приплачивалъ шесть рублей въ мѣсяцъ; подарилъ ему три пары замшевыхъ перчатокъ и два бѣлыхъ платка на шею. Платилъ онъ за экипажъ восемьдесятъ рублей.

Палтусовъ получилъ обратно свою разсчетную книжку. Когда швейцаръ подалъ ему очень длинное коричневое пальто, однобортное, съ круглымъ, широкимъ воротникомъ-шалью, онъ инстинктивно ощупалъ въ правомъ карманѣ сюртука и портфель, и книжку. Швейцарамъ онъ вездѣ — и въ банкахъ, и въ амбарахъ у

богатыхъ купцовъ, и въ присутственныхъ мѣстахъ — давалъ часто и много на водку.

Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ выбѣжалъ на подъѣздъ и крикнулъ:

— Подавай!...

Другой подалъ Палтусову его мохнатое, лиловое съ черными одѣяло, которымъ онъ прикрывалъ ноги. Онъ это дѣлалъ и любя теплоту, и оберегая ноги отъ летучаго ревматизма, схваченнаго, какъ онъ говорилъ, въ Болгаріи, во время перехода черезъ Балканы.

Пролетка стала подъѣзжать; но ее задержалъ цѣлый обозъ, ѣхавшій изъ переулка съ ящиками макаронъ и вермишели. Кучеръ Палтусова выругался; но взглянувъ на барина — замолчалъ. Баринъ степенно натягивалъ на правую руку сѣрую шведскую перчатку и поглядывалъ по сторонамъ, вдыхалъ въ себя свѣжесть улицы, все еще недостаточно нагрѣтой сентябрскимъ солнцемъ.

Ему давно нравился „городъ.“ Онъ чувствовалъ художественную красу въ этомъ скопищѣ азіатскихъ и европейскихъ зданій, улицъ, закоулковъ, перекрестковъ. Ему были по душѣ: это шумное движеніе цѣнностей, обозы, вывѣски, амбары, склады, суета и напряженіе огромнаго промысловаго пункта.

„Тутъ сила, — думалось ему всегда, какъ только онъ попадалъ въ „городъ“, — мошна, производительность!..“

Не на вѣтеръ летятъ тутъ деньги, а идутъ

на какое-нибудь новое дѣло. И жизнь подходила къ рамкѣ. Для такого рынка такіе нужны и ряды, и церкви, и краска на штукатуркѣ, и трактиры, и вывѣски. Орда и Византія и скопидомная московская Русь глядѣли тутъ изъ каждой старой трещины.

Глаза Палтусова обернулись въ сторону яркаго краснаго пятна — церкви „Никола большой крестъ", раскинувшейся на цѣлый кварталъ. Алая краска ярѣла на солнцѣ, бѣлыя украшенія карнизовъ, аркъ, оконъ, куполовъ придавали игривость, легкость храму, стоящему у входа въ главную улицу, точно за тѣмъ, чтобы сейчасъ же всякій иноземецъ понялъ, гдѣ онъ, чего ему ждать, чѣмъ любоваться.

Палтусовъ заглядѣлся на одну изъ боковыхъ главокъ. Весело у него стало на сердцѣ. Деньги, хоть и небольшія, есть, лежатъ вонъ тамъ, на верху, связи ростутъ, охоты и выдержки не мало... двадцать восемь лѣтъ, воображеніе играетъ и поможетъ ему найти теплое мѣсто въ тѣни громадныхъ горъ изъ хлопка и миткаля, промежду милліоннаго склада чая и невзрачной, но денежной лавчонки серебряникамѣнялы.

Провезли, наконецъ, макароны и вермишель. Палтусова усадилъ швейцаръ, подоткнувъ съ обѣихъ сторонъ одѣяло, и низко поклонился.

Кучеръ сдѣлалъ головой полуоборотъ и дотронулся до зада лошади синей возжей.

— Въ трактиръ! — приказалъ баринъ.

Пролетка повернула на Варварку, проѣхала мимо церкви около Великомученицы Варвары, съ ея окраской свѣжаго зеленаго сыра, и лихо остановилась у подъѣзда двухъ-этажнаго трактира, ничѣмъ не отличающагося на видъ отъ перваго попавшагося заведенія средней руки.

Спертый, влажный воздухъ, съ запахомъ табачнаго дыма, кипятка, половиковъ и пряностей, обдалъ Палтусова, когда онъ всходилъ по лѣстницѣ. Направо, въ просторномъ аквариумѣ-садкѣ вертѣлась или лѣниво двигалась рыба. Этотъ трактирный аквариумъ тоже нравился Палтусову. Онъ всегда подходилъ къ нему и разглядывалъ какую-нибудь матерую стерлядь. Изъ-за буфета выставилась голова прикащика въ нѣмецкомъ платьѣ и кланялась ему.

— Калакуцкій здѣсь? — звонко спросилъ Палтусовъ у молодца при сбереженіи платья.

Молодецъ затруднился. Подскочилъ прикащикъ.

— Калакуцкаго знаете, Сергѣя Степановича? — переспросилъ Палтусовъ.

Прикащикъ закрылъ на секунду глаза и выговорилъ почти на ухо:

— Не примѣтилъ. На врядъ-ли-съ.

Палтусовъ поблагодарилъ его наклоненіемъ головы и взялъ сначала вправо, въ угловую комнату съ каминомъ, гдѣ больше завтракаютъ, чѣмъ пьютъ чай. Тамъ было еще немного народу. Онъ вернулся и прошелъ черезъ рядъ

ныя урочища Москвы, находилъ ее живописной и богатой эффектами, выискивалъ уголки, пригорки, пункты, откуда открывается какая-нибудь красивая и своеобразная картина. Но мысль его не могла долго оставаться на художественной сторонѣ предмета. Въ этой трактирной свѣтелкѣ чутье его обоняло и нѣчто другое. И даже крыши и главы подъ его ногами говорили ему все о той же бытовой и промысловой жизни. Онъ точно чуялъ въ воздухѣ ростъ капиталовъ и продуктовъ. Въ воображеніи его поднимались его собственныя палаты, въ прекрасномъ старо-московскомъ стилѣ, съ золоченой рѣшеткой на крышѣ, съ изразцами, съ рѣзьбой полотенецъ и столбовъ. Настоящія барскія палаты, но не такія низменныя и темныя, какъ тутъ вотъ, почти рядомъ, на Варваркѣ, хоромы бояръ Романовыхъ, а въ пять, въ десять разъ просторнѣе. Какая будетъ у него столовая! Вся въ изразцахъ и въ стѣнной живописи. Печку монументальную, по рисункамъ Чичагова, закажетъ въ Бельгіи. Одна печка будетъ стоить пять тысячъ рублей. Поставцы изъ темнаго вѣковаго дуба. Какіе жбаны, ендовы, блюда съ эмалью будутъ выглядывать оттуда. Вѣдь есть же здѣсь внизу, въ этомъ самомъ трактирѣ, „русская палата", гдѣ всякій ножъ, каждый стаканъ сдѣланъ по рисунку? Но все-таки это трактиръ. Тутъ нѣтъ своего, барскаго, тонкаго вкуса, нѣтъ любви къ вещамъ, заработаннымъ умомъ, бойкимъ умомъ и зна-

ніемъ людей, ихъ душевной немощи и грязи, ихъ глупости, скаредности, алчности... Славно!

VII.

Мечты его прервалъ половой лѣтъ за тридцать, съ подстриженной рыжеватой бородкой и впалой грудью, — довѣренный молодецъ, умѣющій служить хорошимъ гостямъ въ отдѣльныхъ комнатахъ.

— Ну, вотъ что, голубчикъ, — скоро заговорилъ Палтусовъ, отвернувшись отъ окна: — закусочки намъ сначала, но, знаешь, основательной... Балыкъ долженъ быть теперь свѣжей получки отъ Макарія?

— Самолучшій.

— Не забудь хрящей. Соленыхъ хрящей... Не дурно бы фаршированный калачъ; да это долго.

— Минутъ пятнадцать!

— Такъ не надо. Листовка у васъ хороша ли?

— Особенная!

Такъ обсуждены были и другія водки и закуски. Половой отвѣчалъ кратко, но впопадъ, съ наклоненіемъ всего туловища и усиленнымъ миганьемъ сѣрыхъ, большихъ глазъ.

И процессъ заказыванья въ трактирѣ нравился Палтусову. Онъ любилъ этихъ ярославцевъ, признавалъ за ними большой умъ и тактъ, считалъ самою тонкою, пріятною и оригиналь-

ною прислугой; а онъ живалъ и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ. Ему хотѣлось всегда потолковать съ половымъ, видѣть складъ его ума, чувствовать связь съ этимъ мужикомъ, способнымъ превратиться въ рядчика, въ фабриканта, въ желѣзно-дорожнаго концессіонера. Фамиліарности онъ не допускалъ, да ее никогда и не было со стороны ярославца. Всего больше лакомился онъ чувствомъ мѣры у такого бѣлорубашника, остриженнаго въ кружало. Онъ вамъ и скандальную новость сообщитъ, и дѣльный торговый слухъ, и статейку рекомендуетъ въ „Вѣдомостяхъ", — и все это кстати, сдержанно, какъ хорошій дипломатъ и полезный собесѣдникъ.

— Съ Богомъ! — отпустилъ Палтусовъ половаго. — Тебя какъ звать?

— Алексѣемъ-съ.

— Такъ вотъ, голубчикъ Алексѣй, скажи тамъ внизу, чтобы не прозѣвали Калакуцкаго.

— Сергѣя Степаныча?

— Ты знаешь его?

— Помилуйте!...

Алексѣй не досказалъ; но его блѣдныя большія губы говорили: „мнѣ не знать господина Калакуцкаго?" Онъ отворилъ дверь. Палтусовъ остановилъ его движеньемъ руки.

— Карту винъ принеси съ закуской, и шампанское заморозить.

— Редеръ? — больше утвердительно, чѣмъ звукомъ вопроса выговорилъ Алексѣй.

— Н-да; Редеръ все лучше остальныхъ... — рѣшилъ Палтусовъ и опустился на диванъ, когда шаги Алексѣя послышались внизъ по лѣстницѣ.

Ему захотѣлось глубоко и сладко вздохнуть. Славное житье въ этой пузатой и сочной Москвѣ!.. Въ Петербургѣ физически невозможно такъ себя чувствовать. Глазъ притупляется. Вездѣ линія — прямая, тягучая и тоскливая. Дождь, изморозь, туманъ, желтый, грязный свѣтъ сквозь свинцовыя тучи и облака. Ѣдешь — все тѣ же дома, тотъ же „прешпектъ". У всѣхъ геморой и катарръ. Въ ресторанѣ — татары въ засаленныхъ фракахъ, въ кабинетахъ темно, холодно, пахнетъ вчерашней попойкой; ѣда — безвкусная; облитые диваны. Ничего характернаго, своего, не привознаго. Нигдѣ не видно, какъ работаетъ, наживаетъ деньги, охорашивается, выдумываетъ яства и питья коренной русскій человѣкъ... То-ли дѣло здѣсь!

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда какую-то записку, перечелъ ее, чмокнулъ губами, потомъ разчесалъ бороду передъ зеркаломъ маленькимъ гребешкомъ въ серебряной оправѣ и снова опустился на диванъ. Долго разсматривалъ онъ свою разсчетную книжку. Сумма теперь округлилась. Въ головѣ идутъ разсчеты — быстрые, въ цыфрахъ. Онъ поправляетъ ихъ и замѣняетъ другими, приводитъ разныя соображенія. Отдѣ-

лать квартиру необходимо. Правда, у него номеръ прекрасный, въ двѣ комнаты; но все-таки — номеръ. Квартира — клади двѣ тысячи. Надо бы и лошадь. Это выгоднѣе. Онъ платитъ восемьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. На это можно держать пару. Вотъ выпадетъ снѣгъ. Онъ и начнетъ съ саней — это втрое дешевле хорошей пролетки или одноконнаго фаэтона. Платья не нужно.

Дверь шумно отворилась. Все пространство ея занялъ очень высокій, вершковъ двѣнадцати, широкій, но не толстый баринъ въ сѣрой шляпѣ, на половину покрытой трауромъ. Онъ похожъ былъ на отставнаго французскаго генерала или хозяина цирка: длинные съ просѣдью усы, совсѣмъ падающіе на галстухъ, бритое, продолговатое лицо, чуть замѣтная мушка подъ нижней губой, густыя, русыя брови, лысая голова, подъ гребенку обстриженная тамъ, гдѣ еще росли волосы. Баринъ одѣтъ былъ живописно: съ отложнымъ широкимъ воротникомъ рубашки, въ черномъ, короткомъ, плотно застегнутомъ пиджакѣ, безъ таліи, и панталонахъ-шароварахъ, къ сапогамъ уже. На груди болталось золотое pince-nez на широкой лентѣ.

VIII.

— C'est parfait! — захрипѣлъ онъ. — А я внизу васъ ищу!

Палтусовъ поднялся и, подскочивъ къ Калакуцкому, протянулъ ему обѣ руки и пожалъ его свободную правую руку. Во всѣхъ этихъ движеніяхъ проскользнула искательность; но улыбающееся благообразное лицо сохраняло достоинство.

— Пожалуйте, пожалуйте, Сергѣй Степановичъ. Я ужь распорядился закуской! Развѣ васъ не сейчасъ же провели? Я приказалъ...

— Провели...

Калакуцкій немного отдувался и оглянулъ комнату своими тусклыми глазами на выкатѣ съ навислыми вѣками.

— Да мы здѣсь задохнемся!..

— Можно отворить окно...

— Ничего... А веселенькій ватерклозетикъ!..

Онъ разсмѣялся задыхающимся смѣхомъ. Палтусовъ ему вторилъ. Онъ усадилъ барина на диванъ. Тотчасъ же пришло двое половыхъ. Столъ въ минуту былъ уставленъ бутылками съ пятью сортами водки. Балыкъ, провѣсная бѣлорыбица, икра и всякая другая закусочная ѣда заиграли въ лучахъ солнца своимъ жиромъ и янтаремъ. Не забыты были и затребованные Палтусовымъ соленые хрящи. Калакуцкій заказалъ завтракъ: паровую севрюжку, котлеты изъ пулярды съ трюфелями и разварныя груши съ рисомъ. Указано было и красное вино.

— Какой номеръ-съ? — спросилъ Алексѣй.

— Да все тотъ же. Я другаго не пью.

И Калакуцкій ткнулъ пальцемъ въ большую карту винъ.

Кушанья поданы были скоро и старательно. Они еще не успѣли покончить съ солеными хрящами и осетровымъ балыкомъ, какъ на столѣ уже шипѣла севрюжка въ серебряной кастрюлѣ. За закуской Калакуцкій выпилъ разомъ двѣ рюмки водки, забилъ себѣ куски икры и бѣлорыбицы, засовалъ за ними рожокъ горячаго калача и потомъ больше мычалъ, чѣмъ говорилъ. Но онъ ѣлъ умѣренно. Ему нужно было только притупить первое ощущеніе голода.

Тутъ онъ сдѣлалъ передышку:

— Измучился я, mon bon, долженъ былъ лазить по лѣсамъ... Канальи!.. Безъ своего глаза пропадешь, какъ шведъ подъ Полтавой...

Рѣчь шла о стройкѣ. Калакуцкій давно занимался подрядами и стройкой домовъ, и все шелъ въ гору. На Палтусова онъ обратилъ вниманіе, знакомилъ его съ дѣлами. Наканунѣ онъ назначилъ ему быть на Варваркѣ въ трактирѣ и хотѣлъ потолковать съ нимъ „посурьезнѣе“ за завтракомъ.

Но Палтусовъ самъ не начиналъ разговора о себѣ. У него былъ на это разсчетъ. Калакуцкій — для первыхъ ходовъ — казался ему самымъ лучшимъ рычагомъ. Нюхъ говорилъ Палтусову, что онъ нуженъ этому „ловкачу“: такъ онъ называлъ его про себя, и подъ этой кличкой даже заносилъ въ записную книжку о Калакуцкомъ.

— Такъ вы совсѣмъ москвичемъ дѣлаетесь?— спросилъ его Калакуцкій за севрюжкой.

— Дѣлаюсь.

— Штука любезная. Мы въ молодыхъ людяхъ нуждаемся, такихъ вотъ, какъ вы. Очень ужь овчиной у насъ разитъ. Никого нельзя ввести въ операцію... Или выжига, или хамъ!..

— Мнѣ нравится Москва.

— Сундукъ у ней хорошъ, да не сразу его отопрешь, голубчикъ. Хамство ужь очень меня одолѣваетъ иной разъ, — даже самъ-то овчиной провоняешь... Честной человѣкъ!.. Вечеромъ пріѣдешь — такъ и разитъ отъ тебя!..

Онъ тоже не начиналъ безъ подхода. Говорилъ онъ одно, а думалъ другое. Онъ мысленно осматривалъ Палтусова. Малый, кажется, на всѣ руки, и съ достоинствомъ: такое выраженіе у него въ лицѣ; а это — главное съ купцами, особенно если изъ старовѣровъ, и съ иностранцами. Денегъ у него нѣтъ, да ихъ и не нужно. Однако все лучше, если водится у него пятокъ-десятокъ тысячъ. Заручиться имъ надо, предложить пай.

— Вы, я слышу, mon cher, — заговорилъ онъ, такъ, между прочимъ, пропуская стаканчикъ лафиту, — все съ купчихами?..

— Кое-кого знаю, — сказалъ Палтусовъ, чуть-чуть улыбнувшись, и отеръ усы салфеткой.

— Это хорошо! Продолжайте! Надо завязать связи. У Марьи Орестовны бываете?

— Какъ же.

— Эта изъ мужа веревки вьетъ. Онъ тоже хамъ и самолюбивое животное. Но его надо ручнымъ сдѣлать. Вы этого не забывайте. Вѣдь онъ постъ занимаетъ. Да что же это я все вамъ не скажу толкомъ... Вы вѣдь знаете, — Калакуцкій наклонился къ нему черезъ локоть: — вы знаете, что у меня теперь для большихъ строекъ... товарищество на вѣрѣ ладится?

— Слышалъ, — отвѣтилъ Палтусовъ ласково и сдержанно.

— А знаете, что́ я въ прошломъ году, когда у насъ было простое компаньонство, предоставилъ моимъ товарищамъ?

— Въ точности не знаю.

— Семьдесятъ процентиковъ! Joli? N'est ce pas?

— Joli, — повторилъ Палтусовъ.

Онъ не любилъ французить; но выговоръ былъ у него гораздо лучше, чѣмъ у Калакуцкаго.

— Мнѣ бы хотѣлось и васъ примостить. Въ карманъ я къ вамъ не залѣзаю...

— У меня крохи, Сергѣй Степановичъ, — выговорилъ съ благородной усмѣшкой Палтусовъ.

— Ничего. Когда совсѣмъ налажу, скажу вамъ. Что будетъ — тащите. Не на текущемъ же счету по два процента получать!

Палтусовъ понялъ тотчасъ же, почему Калакуцкій сдѣлалъ ему такое предложеніе. Это его не заставило попятиться. Напротивъ, онъ

нашелъ, что это умно и толково. Онъ зналъ, что Калакуцкій зарабатываетъ большія деньги, и всѣ говорятъ, что черезъ три-четыре года, онъ будетъ самый крупный строитель-подрядчикъ.

— Благодарю васъ, — сказалъ онъ довѣрчивымъ тономъ и сейчасъ же сообщилъ Калакуцкому, какія у него есть деньжонки, не скрылъ и того, въ какомъ онѣ банкѣ лежатъ, и сколько ему нужно, чтобы обзавестись квартирой.

Калакуцкій все это одобрилъ. Они подходили другъ къ другу. Строитель былъ человѣкъ мало-грамотный, нигдѣ не учился, вышелъ въ офицеры изъ юнкеровъ, но родился въ барской семьѣ. Его прикрывалъ плохой французскій языкъ и лоскъ, вывозили сметка и смѣлость. Но ему нуженъ былъ на время пособникъ въ такомъ родѣ, какъ Палтусовъ, гораздо образованнѣе, новѣе, тоньше его самого.

IX.

Послѣ котлетъ принесли шампанскаго. Палтусовъ угощалъ имъ. Калакуцкій принялъ; но счетъ завтрака они раздѣлили пополамъ. Подали кофе и ликеры. Половые ушли, поставивъ три раскрытыхъ ящика съ сигарами.

— Такъ вотъ, любезнѣйшій Андрей Дмитричъ, — заговорилъ Калакуцкій и его глаза

уставились на Палтусовѣ: — я хочу васъ нанимать, или съ вами союзъ заключить.

— Въ какомъ смыслѣ? — спросилъ Палтусовъ. Вина онъ выпилъ довольно; но языкъ его былъ такъ же сдержаннъ, какъ и въ началѣ завтрака. Только щеки стали розовѣе. Онъ очень отъ этого похорошѣлъ.

— Да въ томъ, сударь мой, что вамъ надо быть моимъ тайнымъ агентомъ.

— Аге́нтомъ? — переспросилъ Палтусовъ, переставивъ удареніе.

— Именно! Ха, ха! Я не въ сыщики васъ беру. Разсудите — вы мнѣ уже говорили, что желали бы присмотрѣться къ дѣламъ и выбрать себѣ, что́ на руку. Ну, не пойдете же вы ко мнѣ въ конторщики или нарядчики?.. Компаньономъ — у васъ капитала нѣтъ... Пай предложу вамъ съ удовольствіемъ. Но этого мало. Вы можете быть весьма и весьма полезны нашимъ операціямъ и теперь, и послѣ... У меня въ головѣ много прожектовъ. Я цѣлые дни занятъ, разрываюсь какъ каторжный, и страшно отъ этого теряю... Тутъ надо человѣка отыскать, туда заѣхать, тамъ понюхать. Вотъ и необходимъ агентъ! Но какой? Вы не обижайтесь... такой, чтобы стоилъ компаньона.

— Понимаю, понимаю, — тихо повторялъ Палтусовъ и глядѣлъ въ стаканъ съ шампанскимъ, точно любовался, какъ иглы тонкаго льда мигали въ винѣ и гнали наверхъ пузырьки газа.

— И не побрезгуете?

— Идея хороша!

— И тянуть нечего. Проволочка всякому дѣлу — капутъ!.. А положеніе простое — процентъ. Вамъ небось сказывали, что я умѣю платить и дѣлиться? Это — первое. Примите добрый совѣтъ...

Тутъ глаза Палтусова слегка покраснѣли.

— Идея прекрасная, Сергѣй Степановичъ! — выговорилъ онъ и всталъ со стаканомъ въ рукѣ. Глаза его обѣжали и свѣтелку съ видомъ на пестрый коверъ крышъ и церковныхъ главъ, и то, что́ стояло на столѣ, и своего собесѣдника, и себя самого, насколько онъ могъ видѣть себя. — У васъ есть иниціатива! — уже горячѣе воскликнулъ онъ и поднялъ стаканъ, приблизивъ его къ Калакуцкому.

— Безъ ученыхъ словъ, голубчикъ!..

— Нѣтъ, позвольте его повторить, Сергѣй Степановичъ! Иниціатива! По-русски починъ, если вамъ угодно! Отчего мы, дворяне, люди съ образованіемъ, хорошихъ фамилій, уступаемъ всѣмъ этимъ... какъ вы выражаетесь — хамамъ? Отчего? Оттого, что починъ нѣтъ. А хамъ — уменъ, Сергѣй Степановичъ!

— Плутъ! — вырвалось у Калакуцкаго.

— Уменъ, — повторилъ Палтусовъ. — Я его не презираю. Такой же русакъ, какъ и мы съ вами... Я говорю о мужикѣ; вотъ объ такомъ Алексѣѣ, что служитъ намъ, о рядчикѣ, десятникѣ, штукатурѣ... Мы должны съ ними

сладиться и сказать купецкой мошнѣ: пора тебѣ съ нами дѣлиться, а не хочешь, такъ мы тебя подъ ножку.

— Отлично! Да вы ораторъ! Разумѣется, намъ слѣдуетъ выкуривать бороду. Я это и дѣлаю...

— За эту идею позвольте чокнуться, — протянулъ Палтусовъ стаканъ къ Калакуцкому.

Тотъ тоже привсталъ. Они чокнулись и три раза поцѣловались. Это сдѣлалось какъ-то само собой.

И Калакуцкій началъ разсказывать анекдоты изъ своей практики: какъ онъ начиналъ, чему выучился, сколько разъ висѣлъ на волоскѣ. Онъ привиралъ, невольно, въ жару разговора, увеличивалъ цыфры убытковъ и барышей, щеголялъ своей сметкой и дѣловой неустрашимостью. Все это отлично схватывалъ Палтусовъ; но хвастливыя рѣчи строителя, возбужденныя виномъ, пары шампанскаго, ароматъ ликеровъ, дымъ дорогихъ сигаръ образовалъ вокругъ Палтусова атмосферу, въ которой его воображеніе опять заиграло Вѣдь вотъ этотъ подрядчикъ не Богъ знаетъ какого ума, безъ знаній, съ грубоватой натурой, а ведетъ же теперь чуть ли не милліонныя дѣла? И надо поклониться ему за это. Онъ — первый изъ „піонеровъ"-дворянъ пошелъ на развѣдки и сталъ выхватывать куски изо рта толстобрюхихъ лавочниковъ и цѣловальниковъ. Явится онъ, Палтусовъ, а за нимъ и другой, и третій — люди тонкіе, культурные,

все понимающіе, и почнутъ прибирать къ рукамъ этотъ купецкій „городъ“, доберутся до его кубышекъ складовъ, и амбаровъ, настроятъ дворцовъ и скупятъ у обанкрутившихся купцовъ ихъ дома, фабрики, лавки, конторы.

И ему казалось, точно онъ не въ свѣтелкѣ трактира, а на воздушномъ шарѣ, поднялся на двѣсти саженъ отъ земли и смотритъ оттуда на Москву, на Ильинку, на ряды и площади, на толкотню и ѣзду чуть-замѣтныхъ насѣкомыхъ-людей.

— А сегодня, mon cher, — захрипѣлъ опять Калакуцкій: — не угодно ли вамъ будетъ исполнить два порученьеца?

Палтусовъ не удивился этой американской быстротѣ осуществленія плана. Онъ выслушалъ внимательно, записалъ, что нужно, переспросилъ скоро и точно, и незамѣтно, прощаясь съ строителемъ, привелъ его къ размѣрамъ процента за свои услуги.

— Видите, — сказалъ Калакуцкій, выпрямляя грудь. — Дѣлъ у меня нѣсколько. Тѣ идутъ своимъ чередомъ. А вотъ по новому товариществу на вѣрѣ. Расходы, положимъ въ триста пятьдесятъ рублей, — протянулъ онъ: — и десять процентовъ съ чистой прибыли. Ça vous va?..

Палтусовъ молча поклонился и пожалъ руку Калакуцкому. Въ головѣ его ужь сидѣло черновое нотаріальное условіе, которое онъ на-дняхъ и подброситъ патрону.

Онъ такъ и назвалъ его мысленно „патронъ“.

Это ему не очень понравилось. Онъ не хотѣлъ бы ни отъ кого зависѣть. Но развѣ это зависимость? Это — купля-продажа — не больше.

Калакуцкій сѣлъ въ дрожки, запряженные парой чубарыхъ лошадокъ, съ пристяжкой, и поскакалъ къ Варварскимъ воротамъ. Палтусовъ остался въ городѣ и велѣлъ кучеру „трогать" въ Славянскій базаръ.

X.

Ресторанъ Славянскаго базара доѣдалъ свои завтраки. Оставалась четверть до двухъ часовъ. Зала, передѣланная изъ трехъ-этажнаго базара, въ этотъ ясный день поражала пріѣзжихъ изъ провинціи, да и москвичей, кто въ ней рѣдко бывалъ, своимъ просторомъ, свѣтомъ сверху, движеньемъ, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы и помостъ, выступающій по-срединѣ, съ купидонами и завитушками, наполняли пустоту огромной махины, останавливали на себѣ глазъ, щекотали посвоему смутное художественное чувство даже у закорузлыхъ обывателей откуда-нибудь изъ Чухломы или Варнавина. Идущій оваломъ рядъ широкихъ оконъ втораго этажа, съ бюстами русскихъ писателей въ простѣнкахъ, показывалъ извнутри драпировки обои подъ изразцы, фигурныя двери, просвѣты площадокъ, оконъ, лѣстницъ. Бассейнъ съ фонтанчикомъ прибавлялъ къ смягченному топоту

ногъ по асфальту, тонкое журчаніе струекъ воды. Отъ нихъ шла свѣжесть, которая говорила какъ будто о присутствіи зелени или грота изъ мшистыхъ камней. По стѣнамъ пологіе диваны темно-малиноваго трипа успокоивали зрѣніе и манили къ себѣ за столы, покрытые свѣжимъ, глянцовито выглаженнымъ бѣльемъ. Столики поменьше, разставленные по обѣимъ сторонамъ помоста и столбовъ, сгущали трактирную жизнь. Черный съ украшеніями буфетъ подъ часами, занимающій всю заднюю стѣну, покрытый сплошь закусками, смотрѣлъ столомъ богатой лабораторіи, гдѣ разставлены разноцвѣтные препараты. Справа и слѣва въ переднихъ стояли сумерки. Служители въ голубыхъ рубашкахъ и казакинахъ съ сборками на тальѣ, молодцоватые и степенные, молча вѣшали верхнее платье. Изъ стеклянныхъ дверей виднѣлись обширныя сѣни съ лѣстницей на верхъ, завѣшанной триповой веревкой съ кистями, а въ глубинѣ мелькала ѣзда Никольской, блестѣли вывѣски и подъѣзды.

Большими деньгами дышалъ весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не такъ старательно содержимый, но хлестскій, бросающійся въ носъ своимъ московскимъ комфортомъ и убранствомъ.

Зала ресторана еще не начала пустѣть. Это былъ часъ биржевыхъ маклеровъ и зайцевъ почище, часъ раннихъ обѣдовъ для пріѣзжихъ „изъ губерніи“ и позднихъ завтраковъ для

тѣхъ, кто любитъ проводить цѣлые дни за трактирной скатертью. Нѣмцевъ и евреевъ сейчасъ можно было признать по носамъ, цвѣту волосъ, короткимъ бакенбардамъ, конторской франтоватости. Они вели за отдѣльными столами бойкіе разговоры, пили немного, но угощали другъ друга, посматривали на часы, охорашивались, разсказывали случаи изъ практики, часто хохотали разомъ, дѣлали нѣмецкіе „вицы". За большимъ столомъ, около самаго бассейна, помѣстилось дворянское семейство, только-что пріѣхавшее: отецъ при солдатскомъ Георгіи на коричневомъ пиджакѣ, съ двойнымъ подбородкомъ, мать — въ туалетѣ, гувернантка, штукъ пять подростковъ, родственница-дѣвица, бойкая и сердитая, успѣвшая уже наговорить непріятностей суетливому лакею, тыча ему въ носъ мѣстоименіе „вы", къ которому, видимо, не была привычна съ прислугою. Они завтракали на цѣлый день, отправляясь осматривать грановитую палату, царь-пушку, соборы, по дорогѣ синодальную типографію, отслушать молебенъ у Иверской, поѣсть пирожковъ у Филиппова на Тверской и до обѣда попасть въ Голофтѣевскую галлерею, гдѣ родственница должна непремѣнно купить себѣ подвязки и пару ботинокъ и надѣть ихъ до театра. А билеты разсчитывали добыть у барышниковъ. Ближе къ буфету, за столикомъ, на одной сторонѣ, выдѣлялось двое военныхъ: драгунъ съ воротникомъ персиковаго цвѣта и гусаръ въ

свѣтло-голубомъ ментикѣ съ серебромъ. Они „душили“ портеръ. По правую руку, одинъ съ газетой, кончалъ завтракъ сѣдой, высохшій старикъ съ желтымъ лицомъ, и плотно-остриженными волосами — изъ Петербурга, большой баринъ. Онъ ѣлъ медленно и брезгливо, вино пилъ съ водой и, потребовавъ себѣ полосканье, вымылъ руки изъ графина. Лакей говорилъ ему: „ваше сіятельство“. Въ одной изъ нишъ два купца-рыбопромышленника крестились, вставая изъ-за стола. Каждый далъ лакею по мѣдному пятаку. Они потребовали одну порцію селянки по-московски и выпили по три рюмки травнику. Купидоны имъ понравились.

XI.

Палтусовъ вошелъ въ ресторанъ, остановился спиною къ буфету и оглянулъ залу. Его быстрые, дальнозоркіе глаза сейчасъ же различили на противоположномъ концѣ, у дверей въ комнату, замыкающую ресторанъ, группу человѣкъ въ пять биржевиковъ, и между ними того, кто ему былъ нуженъ.

Подвернувшемуся лакею, съ длинными жидкими бакенбардами, онъ сказалъ ласково:

— Не трудитесь, голубчикъ, — и прошелъ черезъ всю залу. Прислугѣ во фракахъ онъ вездѣ говорилъ „вы“.

Онъ намѣтилъ у стола биржевиковъ молодаго

брюнета съ лицомъ, какія попадаются въ магазинахъ бѣлья и женскихъ модъ, въ узкихъ бакенбардахъ, съ прической „капульчикомъ", въ темно-красномъ шарфѣ, перехваченномъ матовымъ золотымъ кольцомъ. Пиджакъ изъ англійскаго шевіота сидѣлъ на немъ гладко и выказывалъ его округленныя, падающія, какъ у женщины, плечи.

— Карлъ Христьянычъ! — окликнулъ его Палтусовъ. Ему и нужно было этого самаго маклера.

Биржевикъ привсталъ и направилъ на него простоватые масляные глаза.

— Почтеніе! — сказалъ онъ съ умышленной интонаціей русскаго нѣмца-шутника, подражающаго „купецкому" жанру.

И руку подалъ нарочно ребромъ, а не ладонью.

Палтусовъ отвѣтилъ ему въ тонъ.

— Изволили откушать?

— Какъ же! Побаловались. Пора и пошабашить.

— Можно на пару словъ?

— Съ нашимъ удовольствіемъ.

И обратившись къ остальнымъ, маклеръ сказалъ имъ по-нѣмецки:

— Kinder! Auf Wiedersehen! Precise.

Тѣ почему-то загоготали.

„Карлуша" — такъ его звали пріятели — отряхнулся, далъ лакею на чай, поправилъ галстухъ, и взялъ Палтусова подъ руку. Они

пошли, не спѣша, въ угловую комнату, гдѣ никого уже не было.

Разговоръ длился не больше десяти минутъ. Маклеръ стоялъ, а Палтусовъ присѣлъ на конецъ дивана.

Слышны были слова: „пай", „новый корпусъ", „самъ Сергѣй Степановичъ", „пустить въ ходъ", „куртажъ". Нѣмчикъ только кивалъ головой да игралъ цѣпочкой, и раза два сказалъ:

— Безъ сумлѣнья. Въ настоящемъ видѣ.

Онъ уже иначе не умѣлъ говорить съ русскими, какъ такимъ языкомъ.

— Стало, живетъ? — спросилъ Палтусовъ, поднимаясь и пожимая ему руку.

— Будьте благонадежны...

Маклеръ заторопился.

— Вы ужь, голубчикъ, извините, пожалуста, послѣ биржи... А теперь надо...

Изъ губъ его слетѣло нѣсколько именъ. Изъ залы можно было разслышать:

— Къ Ценкеру, на Маросейку, у Кнопа, Корзинкины... Да еще къ Катуару!..

Вышло новое рукопожатіе.

— Какъ курса? — спросилъ на ходу Палтусовъ.

— Курса?

Маклеръ остановился, щелкнулъ языкомъ и выговорилъ:

— Швахъ!

И почти бѣгомъ пустился по ресторану.

Глядя вслѣдъ убѣгавшему нѣмчику, Палту-

совъ вспомнилъ сегодняшнія веселыя рѣчи банковскаго директора. Вотъ хоть бы этотъ Карлуша! Какая ему цѣна? А онъ навѣрно зарабатываетъ тысячъ двѣнадцать, а то гляди и всѣ шестнадцать. Не весело цѣлое утро разъѣзжать по конторамъ, а потомъ бѣгать по биржевому залу. Да вѣдь у него въ головѣ зато ни одной своей мысли. Онъ дальше десятичныхъ дробей врядъ ли ходилъ. Днемъ колеситъ по Москвѣ и юлитъ на биржѣ; послѣ биржи — обѣдъ, а ночью пляшетъ — невѣстъ себѣ выплясываетъ — до пѣтуховъ; сегодня въ Большой Алексѣевской, завтра на Разгуляѣ, въ Плетешкахъ, послѣзавтра — на Татарской... И выпляшетъ, возьметъ полмилліона, и банковый учредитель будетъ. Зато онъ нѣмецъ! А Евграфъ Петровичъ увѣряетъ, что „нѣмцы между собой вездѣ снюхаются".

Онъ улыбнулся. Ему въ сущности нечего было завидовать этому Карлушѣ. Такой „капульчикъ" долженъ успѣвать при стачкѣ своего брата нѣмца. Чего-нибудь позамысловатѣе выгодной женитьбы и маклерскаго дохода — онъ не выдумаетъ. Не тѣ у него мозги...

У буфета Палтусова кто-то удержалъ двумя руками. Онъ поднялъ голову и разсмѣялся. Съ непритворнымъ удовольствіемъ обнялъ онъ самъ высокаго, немного пухлаго, совсѣмъ бритаго мужчину, однихъ съ нимъ лѣтъ, въ короткой синей визиткѣ и сѣрыхъ панталонахъ. За-границей его всякій принялъ бы за молодаго

французскаго нотаріуса или за англійскаго духовнаго, снявшаго съ себя долгополый сюртукъ. Мягкіе русые волосы, съ проборомъ на боку, подстриженные сзади и гладко причесанные спереди, необыкновенно подходили къ крупному носу, золотымъ очкамъ, добрымъ и умнымъ глазамъ этого москвича, къ его заостряющемуся брюшку, тонкой усмѣшкѣ и бѣлымъ рукамъ-огурчикамъ. Держался онъ прямо, даже немного выпрямившись, и не наклонялъ голову а подавался впередъ всѣмъ туловищемъ.

— Палтусовъ!

— Пирожковъ!

Они громко чмокнули себя въ щеки.

— Гдѣ пропадаете? — спросилъ Палтусовъ, все еще придерживая пріятеля.

— А вы? Я былъ въ деревнѣ съ мая вотъ по сіе время.

— Это и видно.

Палтусовъ указалъ глазами на брюшко Пирожкова.

— Да, есть таки развитіе сальника. Вотъ все хожу.

— Вы здѣсь завтракаете?

— Покончилъ. Не выпить ли элю?

— Я тороплюсь. Ахъ, какая досада!

Палтусовъ опять нелицемѣрно наморщилъ лобъ. Ему очень хотѣлось покалякать съ этимъ „славнымъ малымъ“, котораго онъ считалъ „умницей“ и даже „ученымъ“. Но дѣло не ждало. Онъ это и объяснилъ Пирожкову.

Пріятель не возмутился; безъ всякихъ переливовъ голоса — какъ говорятъ всѣ почти молодые русскіе,— спросилъ онъ у Палтусова, гдѣ тотъ живетъ и что вообще дѣлаетъ.

— Пускаюсь въ выучку къ Титамъ Титычамъ, — сказалъ Палтусовъ нотой, въ которой сквозила совѣстливость.

— Вотъ что! — протянулъ его пріятель. — Чтожь! штука весьма интересная. Мы не знаемъ этого міра. Теперь новые нравы. Прежніе Титы Титычи пахнутъ уже до-реформенной полосой.

— Да я не литераторъ, Иванъ Алексѣичъ; я — для разживы. Чтожь такъ-то болтаться?

Глаза Пирожкова повеселѣли.

— Вы — своего рода Станлэй! Я всегда это говорилъ. Сметка у васъ есть, мышцы, нервы... И Балканы переходили.

Они оба тихо разсмѣялись. Палтусовъ выхватилъ часы изъ кармана.

— Батюшки! двадцать третьяго! Голубчикъ Иванъ Алексѣичъ, заверните... Оставьте карточку... Пообѣдаемъ. Вѣдь вы покушать любите по прежнему?

— Есть тотъ грѣхъ!

— Въ Эрмитажѣ? Стерлядку по-американски, знаете, съ томатами.

По лицу Пирожкова пошла волнистая линія человѣка, знающаго толкъ въ ѣдѣ.

— Такъ на Дмитровкѣ?

— Да-да!.. — торопился Палтусовъ.

Они выходили вмѣстѣ. Въ передней Палту-

совъ, надѣвъ пальто, опять взялъ Пирожкова за бортъ визитки. Ему вспомнилась ихъ жизнь, года три передъ тѣмъ, въ меблированныхъ комнатахъ у чудака учителя, которому никто не платилъ.

— Ѳиваида-то наша рушилась! — возбуждено сказалъ онъ Пирожкову — Славно жили! Что за типы были! — И Василій Алексѣичъ съ своей керосиновой кухней... Гдѣ онъ? Пишетъ ли что? Врядъ-ли!

— Умеръ, — отвѣчалъ Пирожковъ, и улыбка застыла у него на губахъ.

Они смолкли.

— Буду ждать! — крикнулъ Палтусовъ изъ сѣней. — Захаживаете ли когда къ Долгушинымъ?

— По пріѣздѣ еще не былъ.

— Гніютъ на корню. Дворянское вырожденіе!.. — Фраза Палтусова прогудѣла въ сѣняхъ.

XII.

Малый въ голубой рубашкѣ натянулъ на Пирожкова короткое, уже послужившее пальто, и подалъ трость и шляпу. Иванъ Алексѣичъ и зиму, и лѣто ходилъ въ высокой цилиндрической шляпѣ, которую покупалъ всегда къ Пасхѣ. Онъ пошелъ не спѣша.

Встрѣча съ Палтусовымъ и его отнесла къ той зимѣ, когда они жили въ комнатахъ у

учителя ариѳметики, Скородумова, въ переулкѣ, на Срѣтенкѣ, около церкви „Успенья въ Печатникахъ“. Тогда Иванъ Алексѣичъ серьёзно подумывалъ о магистерскомъ экзаменѣ. Прошло три года, а онъ все еще не магистръ. Правда, онъ ѣздилъ за-границу, но врядъ ли съ спеціальною цѣлью. Онъ изучалъ много хорошихъ вещей разомъ: и движеніе философскихъ идей, и уличную жизнь, и рестораны, и женщинъ, и театръ, и журнализмъ... Читалъ онъ не мало книжекъ, хаживалъ и въ кабинеты, по своей наукѣ принимался за собираніе спеціальныхъ мемуаровъ и даже заплатилъ три золотыхъ за право имѣть свой столъ съ микроскопомъ. Но какъ-то работы не вышло. Въ Москвѣ время текло опять почти-что такъ, какъ оно текло, когда Иванъ Алексѣичъ кончилъ курсъ кандидатомъ и отдыхалъ, живя въ Лоскутномъ. — И это славная полоса была. Много пили портеру и элю. Цѣлые вечера проводили въ билліардной; зато журналы и книжки читали запоемъ, точно варенье глотали ложками. Иной разъ, не вставая, въ постели, пролеживали до сумерекъ съ какимъ-нибудь англійскимъ томомъ по психологіи или этнографіи. А тамъ вечеръ — въ театрѣ, молодыхъ актрисъ поддерживали, въ клубѣ любительницъ поощряли, развивали ихъ, покупали имъ Шекспира, переводили имъ отрывки изъ нѣмецкихъ критиковъ, кто не зналъ языка. Споры, бесѣды... На Срѣтенкѣ, у Скородумова, начался непрерывный содомъ.

Сколько прошло отличныхъ ребятъ, или забавныхъ, нелѣпыхъ; но съ ними весело жилось. И какія женщины попадались! Пойдутъ всей гурьбой въ концертъ, въ оперу, наслушаются музыки, и до пяти часовъ утра „пивное царство", поютъ хоромъ каватины, спорятъ, иные ругаютъ „итальянщину", дымъ коромысломъ, летятъ имена: Чайковскій, Рубинштейнъ, Балакиревъ, Сѣровъ! На другой день голова трещитъ. Идетъ въ ходъ зельтерская вода. Покойникъ Василій Алексѣичъ — опять полоса... Натура этого скитальца, его причуды, лѣнь, умъ, даровитость; невиданное Пирожковымъ обаяніе на женщинъ, вся жизнь, сотканная изъ нѣжныхъ сношеній съ ними. И на это цѣлый годъ пошелъ. — „Номера" рухнули. — Да и пора было. — Нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ отрезвили. Тутъ ужь планъ работы выяснился: досуга — вволю. Хозяйство ведетъ братъ, кушать можно всласть; но и моціону много. Ходи себѣ по липовой аллеѣ и поглощай книжки. — Осень стояла небывалая. И теперь жаль, что поторопился въ городъ; да какъ-то нельзя...

Пирожковъ сталъ въ раздумьѣ подъ навѣсомъ подъѣзда — куда идти? Идти можно — куда захочешь. Но никуда не *нужно* идти Ивану Алексѣичу. Нѣтъ у него ни казенной службы, ни конторы, ни работы въ университетскомъ кабинетѣ. Еще не начиналъ ее. Да и не всѣ тамъ съѣхались, профессоръ въ заграничномъ

отпуску, ассистентъ боленъ. — Зайти развѣ по старой памяти въ аудиторію? — Не хочется; что за охота припоминать зады? Слышно, какой-то доцентъ у юристовъ собираетъ аудиторію человѣкъ въ двѣсти, говоритъ ново, смѣло, готовится къ лекціямъ. Недурно бы; да кажется лекціи-то его поутру, съ десяти часовъ. Почитать развѣ газеты въ кондитерской? Такъ лучше подняться въ читальню того же Славянскаго базара. Тамъ десятка два газетъ. Тяжеленько! Съ нѣкоторыхъ поръ Иванъ Алексѣичъ чувствуетъ иногда легкую одышку, ему непріятны всякіе спуски и подъемы. И печень начала немного пошаливать. Нѣтъ-нѣтъ, да и колотье. Онъ пилъ горькую воду въ деревнѣ.

„Куда же идти?“ еще разъ спросилъ себя Пирожковъ и замедлилъ шагъ мимо цвѣтнаго, всегда привлекательнаго дома синодальной типографіи. Ему рѣшительно не приходило на память ни одного пріятельскаго лица. Зайти въ окружный судъ? На уголовное засѣданіе? Слушать какъ обвиняется въ кражѣ со взломомъ крестьянинъ Никифоръ Варсонофьевъ и какъ его будетъ защищать „помощникъ“ изъ евреевъ, съ надрывающею душу картавостью? До этого онъ еще не дошелъ въ Москвѣ...

Москва!.. Онъ имѣлъ къ ней слабость, да и теперь любитъ ее по своему, какъ „этнографическій центръ“. Изучать ее было бы занимательно. Разбить на области: фабрики, рабочій людъ, нравы и обычаи вотъ этого самаго „го-

рода", расколъ, проституція. Хорошо! Но ежедневныхъ рессурсовъ просто для развитаго человѣка, какъ онъ, съ европейскими привычками, съ желаньемъ послѣ завтрака поговорить о живомъ вопросѣ, найти сейчасъ же подъ бокомъ кружокъ людей... Этого нѣтъ. Прежде у него былъ Лоскутный, были номера на Срѣтенкѣ... Должно быть молодость проходитъ; старые пріятели разбрелись и слиняли, новыхъ что-то не выростало. Вотъ Палтусовъ еще изъ самыхъ бойкихъ; но его тянетъ къ наживѣ — это ясно...

Иванъ Алексѣичъ повелъ носомъ. Пахло фруктами, спѣлыми яблоками и грушами — характерный осенній запахъ Москвы въ ясные сухіе дни. Онъ остановился передъ разнощикомъ, присѣвшимъ на корточкахъ у тротуарной тумбы, и купилъ пару грушъ. Ему очень хотѣлось пить отъ густаго, пряного соуса къ дикой козѣ, съѣденной въ ресторанѣ. Груши оказались жестковаты, но вкусны. Иванъ Алексѣичъ не стѣснялся ѣсть ихъ на улицѣ. Онъ любилъ свободу, какою всѣ пользуются на парижскихъ бульварахъ, но оставался джентльменомъ, никогда не позволялъ себѣ никакой рѣзкой выходки: это лежало въ его натурѣ.

Фруктовые запахи, вкусъ грушъ, не утолившихъ вполнѣ его жажды, привели его къ мысли о квасной лавкѣ. Вѣдь это въ двухъ шагахъ. Ходъ съ Никольской. Онъ перешелъ улицу.

XIII.

Проникаютъ къ квасной лавкѣ — одна только и пользуется извѣстностью — чрезъ Сундучный рядъ, подъ вывѣску, которая доживетъ навѣрное до дня разрушенія гостинаго двора, съ его норами, провалившимися плитами и половицами, сыростью, духотой и вонью. Но многіе пожалѣютъ лѣтомъ о прохладѣ Сундучнаго ряда, гдѣ недалеко отъ входа усталый путникъ, измученный толкотней суровскихъ лавокъ и сорочьей болтовней зазывающихъ мальчишекъ и молодцовъ Ножевой линіи, находилъ квасное и съѣдобное приволье...

Иванъ Алексѣичъ студентомъ, и еще не такъ давно, въ „эпоху" Лоскутнаго, частенько заходивалъ сюда съ компаніей. Онъ не бывалъ тутъ больше двухъ лѣтъ. Но ничто, кажется, не измѣнилось. Даже красный полинялый сундукъ, обитый жестью, стоялъ все на томъ же мѣстѣ. И другой поменьше, въ лавкѣ рядомъ, съ боками въ букетахъ изъ розъ и цвѣтныхъ завитушекъ. И также неудобно идти по покатому полу, все также натыкаешься на ящики, рогожи, доски.

За нѣсколько шаговъ до квасной лавки обдастъ васъ сырой свѣжестью погреба, и ягодные газы начинаютъ васъ щекотать въ ноздряхъ. Доносятся испаренія съѣстнаго. Три разнощика — безсмѣнно промышляющіе на этомъ мѣстѣ — расположились у входа въ лавку, на-

право и противъ нея. Они въ постоянной суетѣ. День выпалъ скоромный. У двойхъ имѣлись пирожки съ ливеромъ, съ мясомъ и кашей, съ яйцами и капустой, съ яблоками и вареньемъ. Третій предлагалъ ветчину въ большомъ розовомъ кускѣ съ нѣжнымъ жиромъ, и жареные мозги. Подальше стоялъ рыбникъ для любителей постной ѣды и въ скоромный день. Разнощики съ фруктами часто проходили мимо, выкрикивая товаръ, и заглядывали въ квасную лавку.

Каждый разъ, когда, бывало, Иванъ Алексѣичъ приходилъ сюда въ пріятельскомъ обществѣ и спрашивалъ: — Съ чѣмъ пирожки? онъ особенно улыбался отъ созвучья съ собственной фамиліей. Не могъ онъ воздержаться отъ точно такой же улыбки и теперь. Передъ нимъ распахивалъ довольно еще чистую верхнюю холстину жилистый, бѣлокурый разнощикъ, откинувшій отъ тяжести все свое туловище назадъ.

— Прикажете парочку?

Пирожковъ сдѣлалъ знакъ рукой, говорившій: „повремени малость.“

Въ просторной лавкѣ безъ оконъ, темной, голой, пыльной, съ грязью по стѣнамъ, по крашеннымъ столамъ и скамейкамъ, по прилавкамъ и деревянной лѣстницѣ — внизъ въ погребъ — съ большой иконой посрединѣ стѣны, все покрыто липкимъ слоемъ сладкихъ остатковъ расплесканнаго и размазаннаго квасу. — Было тамъ человѣкъ больше десяти потребителей. Молодцы въ черныхъ и синихъ сибиркахъ,

пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плѣсенью — одни сбѣгали въ подвалъ и приносили квасъ, другіе — постарше — наливали его въ стаканчики-кружки, внизу пузатенькіе и съ вывернутыми краями. Такіе стаканчики сохранились только къ квасныхъ, у сбитенщиковъ, да по селамъ въ харчевняхъ и шинкахъ.

Свободное мѣсто нашлось для Пирожкова у входа направо. Онъ заказалъ себѣ грушеваго квасу. Публика всегда занимала его въ этой квасной лавкѣ. Непремѣнно, кромѣ гостинодворцевъ, заѣзжихъ купцовъ, мелкаго приказнаго люда, двухъ-трехъ обтрепанныхъ личностей въ нѣмецкомъ платьѣ, какихъ въ Ножевой зовутъ „Петрушка Уксусовъ", очутится здѣсь барыня съ покупками, изъ дворянокъ, соблюдающая свѣтскость, но обѣднѣвшая или скупая. Она наѣдается вплотную, но не любитъ встрѣчаться съ знакомыми и, если можно, не узнаетъ ихъ.

Все смотрѣло и сегодня, какъ тому быть слѣдовало. Иванъ Алексѣичъ оглядывалъ публику, попивая холодный, бьющій въ носъ, мутноватый квасъ. Вотъ и барыня. Она опорожнила три стакана квасу послѣ полуфунтоваго ломтя ветчины и четырехъ пирожковъ, и собираетъ свои покупки. Барынѣ лѣтъ подъ сорокъ. Она нарумянена. Это видно изъ-подъ вуалетки. Носъ и лобъ ея лоснятся отъ испарины. Губы сжаты такъ, какъ онѣ сжимаются у объѣд-

нѣвшихъ помѣщицъ, желающихъ во что бы то ни стало поддержать „положеніе въ обществѣ.“ Пирожковъ узналъ ее. Они встрѣчались въ одномъ домѣ, гдѣ ее терпѣть не могли, но принимали за-просто.

Барыня, должно быть, не разглядѣла Пирожкова. Она встала, прикрикнула на мальчишку, заставила его подать себѣ корзину и пошла къ дверямъ. Онъ привсталъ и сказалъ ей:

— Bonjour, madame!

Она вся выпрямилась, громко отвѣтила ему:— Bonjour, monsieur! и, отворотясь, вышла изъ лавки.

Разнощикъ съ простывшими наполовину пирожками опять выросъ передъ нимъ. Иванъ Алексѣичъ съѣлъ одинъ съ яблоками, повторилъ съ вареньемъ. Это заново зажгло у него жажду. Онъ спросилъ вишневаго квасу и выпилъ его двѣ кружки. Желудокъ точно расперло какими распорками: поднимался оттуда родъ опьянѣнія, пріятнаго и остраго, какъ отъ шампанскаго. Наискосокъ отъ него, за стеклянной дверью, другой разнощикъ наклонился подъ доскою, служившей ему столомъ, и крошилъ мозги на мелкіе куски; посоливъ ихъ потомъ, положилъ на листъ оберточной бумаги и подалъ купцу, вмѣстѣ съ деревянной палочкой— за мѣсто вилки — и краюшкой румяной сайки.

Слюнки полились у Ивана Алексѣича. Онъ позавтракалъ, ѣлъ сейчасъ сладкое, но аппетитъ поддался раздраженью. Гадость вѣдь, въ

сущности, это крошево на бумагѣ. А вкусно смотрѣть. За вишневымъ квасомъ пошли кусочки мозговъ. За мозгами съѣдены были два куска арбуза, сахаристаго, съ мелкими, рыхло-сидѣвшими зернами, который такъ и таялъ подъ нёбомъ все еще разгоряченнаго рта.

Выйдя на Никольскую, Иванъ Алексѣичъ придавилъ себя пухлой ручкой по животу, подъ правымъ ребромъ.

„Что же это я?.. Отъ бездѣлья?!"

И ему стало стыдно.

XIV.

Никольская была ему достаточно знакома. Студентомъ онъ покупалъ и продавалъ книги въ лавкѣ Ивана Кольчугина. Сюда же въ другую лавченку продалъ онъ переводъ книжки по технологіи еще на первомъ курсѣ. За листъ заплатили ему по семи рублей. Тогда онъ перебивался; изъ дому получалъ не всегда аккуратно. Вотъ и лавка стараго серебряника. За стекломъ стоятъ позолоченыя солонки русскаго образца съ крышкой и круглыя для подношенія „хлѣба-соли". Не лучше-ли вотъ это изучать, чѣмъ засиживаться въ квасной лавкѣ? Тутъ народный вкусъ, рисунокъ, своеобразное изящество...

Но Ивану Алексѣичу показалось, что солонку, которую онъ въ эту минуту разсматривалъ, онъ

уже торговалъ разъ, года два тому назадъ. Ему помнилось, что она не серебряная, а мѣдная, позолоченная. Вотъ онъ спроситъ.

— Солоночка-то, — обратился онъ къ прикащику: — вотъ эта, около образа Николая Чудотворца, какая ей цѣна?

— Три съ полтиной!

„Три съ полтиной! — думалъ онъ, — разумѣется не серебряная. Съ перваго слова и такая цѣна!...“

— Да она изъ чего?

— Бронзовая-съ... Черезъ огонь золоченая.

Такъ и есть; онъ не ошибся. Вотъ и зеленоватое пятнышко на створчатой крышкѣ отъ времени. И его онъ вспомнилъ.

— Штиблеты лаковые!.. Господинъ! штиблеты!—окачивалъ его крикливымъ теноромъ „носящій“, въ резиновыхъ калошахъ на босу ногу, съ испитымъ лицомъ, подтеками на вискѣ, и въ халатѣ.

Не купить ли? — Иванъ Алексѣичъ испытывалъ ощущеніе малодушнаго позыва къ покупкамъ, такъ, по-дѣтски, чего-нибудь... По тѣлу внутри разлилась истома; всего пріятнѣе было останавливаться почаще, перекинуться парой словъ, поглядѣть... А покупка все какъ будто дѣло...

— Цѣна? спросилъ онъ кротко-смѣшливымъ тономъ, хорошо извѣстнымъ его пріятелямъ.

— Шесть рублей, господинъ!

— Будто? — продолжалъ Иванъ Алексѣичъ въ томъ же тонѣ.

Ему припомнилась сцена изъ англійскаго романа въ русскомъ переводѣ, гдѣ юморъ состоитъ въ томъ, что спрашивали: „Что вы желаете за эту, очень маленькую вещь, сэръ?“ И опять: „что вы желаете за эту, очень маленькую вещь, сэръ?“ Въ Лоскутномъ они цѣлую недѣлю „ржали“, отыскавъ этотъ отрывокъ и безпрестанно повторяли другъ другу:— Что вы желаете за эту чрезвычайно маленькую вещь, сэръ?

— Шесть рублей — никогда!.. дурачился Иванъ Алексѣичъ.

— Для почину — четыре!.. Ныньче праздникъ, господинъ...

— Какой это?

— Опохмѣленья! — и халатникъ показалъ зеленые зубы.

Не купить ли въ самомъ дѣлѣ? Онъ отдастъ за три рубля. И тотчасъ передъ Пирожковымъ всплыла, какъ живая, сцена: товарищъ его, Чистяковъ, теперь адвокатъ, выдержалъ экзаменъ и на радостяхъ купилъ у носящаго такіе вотъ „штиблеты“. И въ тотъ же день въ Сокольникахъ одна изъ ботинокъ распольснулась отъ носка до щиколки, и онъ остался въ носкахъ. То же, какой былъ хохотъ! И умные, искристые, полные комизма глаза покойника Шумскаго виднѣются ему со сцены, въ пьесѣ, передѣланной съ французского, гдѣ онъ при-

ходитъ въ мѣховой шапкѣ, купленной у „носящаго“ въ городѣ. И какъ онъ художественно игралъ ощущенье страха, когда явилось у него пятно на рукѣ и онъ увѣрился, что заразился отъ шапки! Давно это — еще гимназистомъ видѣлъ.

— Не надо, голубчикъ, — сказалъ Пирожковъ уже серьезно халатнику.

Носящій началъ приставать. Чтобы отдѣлаться отъ него, Иванъ Алексѣичъ перебѣжалъ улицу противъ лавки съ тульскими издѣліями. Мѣдь самоваровъ, охотничьихъ роговъ, кофейниковъ, тазовъ слѣпила глаза. Ему показалось, что тутъ много новыхъ вещей, какихъ прежде не дѣлали. Онъ поднялся въ лавку. Теперь его еще больше щемило неудержимое, совсѣмъ дѣтское желаніе что-нибудь купить. Съ полки выглядывало нѣсколько садовыхъ шандаловъ съ пыльными колпаками. Вечера еще стояли теплые. Въ номерахъ, гдѣ онъ живетъ — балконъ. Не дурно оставаться подольше на балконѣ.

— Сколько стоитъ?

— Рубль семь гривенъ.

Поторговались. Шандалъ купленъ за рубль пятнадцать копѣекъ. Нести его очень неловко. Иванъ Алексѣичъ опять перешелъ улицу, поравнялся съ бумажными лавками въ началѣ „глаголей“ Гостинаго двора. Захотѣлось вдругъ купить графленой бумаги и записную книжку. Это еще больше его затруднило; но онъ успокоился послѣ этихъ новыхъ покупокъ.

Вышелъ онъ на Красную площадь. День еще потеплѣлъ послѣ полудня. Свѣтъ, вмѣстѣ съ пылью, такъ и гулялъ по длинному полотну мостовой — отъ Воскресенскихъ воротъ до Василья Блаженнаго. Направо давитъ красная кирпичная глыба Историческаго Музея, расползшаяся и въ ширь, и въ глубь, съ ея восточной крышей, башнями, минаретами, столбами, выступами, низменнымъ ходомъ. На разстояніи — Пирожковъ нарочно отошелъ влѣво, ближе къ памятнику — Музей нравился ему теперь гораздо больше, чѣмъ не такъ давно. Онъ мирился съ нимъ. Прежде онъ почти негодовалъ, находилъ, что эта „груда кирпича" испортила весь обликъ площади, заперла ее, отняла у Воскресенскихъ воротъ ихъ стародавнюю жизнь.

Глазъ достигалъ до дальняго края безоблачнаго темнѣющаго неба. Девять куполовъ Василія Блаженнаго, съ перевитыми, зубчатыми, точно булавы, главами, пестрѣли и тѣшили глазъ, словно гирлянда, намалеванная даровитымъ ребенкомъ, разыгравшимся среди мрака и крови, дремучаго холопства и изувѣрныхъ ужасовъ лобнаго мѣста. „Горячечная грёза зодчаго" — перевелъ про себя Пирожковъ французскую фразу иноземца-судьи, недавно имъ вычитанную.

Птицы на головахъ Минина и Пожарскаго, протянутая въ пространство рука, пожарный солдатикъ у рѣшетки, осѣвшійся, немощный и плоскій куполъ Гостинаго двора и вся Но-

жовая линія съ ея фронтономъ и фризомъ, облѣзлой штукатуркой и барельефами, темные, пятнистые ящики Никольскихъ и Спасскихъ воротъ, отпотѣлая стѣна съ башнями и подъ нею загороженное мѣсто обвалившагося бульвара; а изъ-за зубцовъ стѣны — легкая ротонда сената, голубая церковь, точно перенесенная изъ Италіи, и дальше — сказочныя золотыя луковицы соборовъ — знакомые, сотни разъ воспринятые образы стояли въ своей вѣковой неподвижности... Площадь полна была дребезжанья дрожекъ и глухаго грохота тяжелыхъ возовъ. Пѣшеходы и дрожки тянулись внизъ къ Москвѣ-рѣкѣ и по двумъ путямъ въ Кремль. Сѣдоки и извощики снимали шапки, не доѣзжая Спасскихъ воротъ. Изъ Никольскихъ чаще спускались экипажи съ господами.

„Мужикъ, артельщикъ, купецъ, купчиха, адвокатъ“ — считалъ Пирожковъ, и минутъ съ десять предавался этой статистикѣ. Въ десять минутъ не проѣхало ни одной кареты, не прошло ни одной женщины, которую онъ способенъ былъ назвать „дамой.“

Его точно тянуло въ Кремль. Онъ поднялся черезъ Никольскія ворота, замѣтилъ, что внутри ихъ немного поправили штукатурку, взялъ вдоль арсенала, началъ считать пушки и остановился передъ мѣдной доской за стекломъ, гдѣ по-французски говорится, когда всѣ эти пушки взяты у великой арміи.

Вдругъ его кольнуло. Онъ даже покраснѣлъ.

Неужели Москва такъ засосала и его? Отъ дворца шло семейство то самое, что завтракало въ Славянскомъ Базарѣ. Дѣти раскисли. Отецъ кричалъ, весь красный, обращаясь къ женѣ:

— Мерзавцы! Канальи! Вездѣ грабежъ!

„И я — изъ ихъ породы, — подумалъ Иванъ Алексѣичъ: — и я направляюсь, должно быть, въ оружейную палату?“

Онъ участилъ шаги и махнулъ извощику. Къ нему подлетѣло нѣсколько пролетокъ отъ зданія судебныхъ мѣстъ.

Поскорѣе въ университетъ, въ кабинеты, хоть сторожа спросить, съ нимъ поболтать, хоть понюхнуть пыльныхъ шкаповъ съ препаратами!.. А крестъ Ивана горѣлъ алмазомъ и брызгалъ золотыя искры по небу...

— На Моховую! — крикнулъ Пирожковъ, снялъ шляпу и дохнулъ полной грудью.

XV.

— Вадима Павловича можно видѣть? — освѣдомился Палтусовъ у артельщика.

Передняя, въ видѣ узкаго корридора, замыкалась дверью въ глубинѣ, а справа другая дверь вела въ контору. Все глядѣло необыкновенно чисто: и вѣшалка, и столъ съ зеркаломъ, и шкапъ, разбитый на клѣтки, съ мѣдными бляшками подъ каждой клѣткой.

— Сейчасъ доложу, — сказалъ сухо-вѣжливо артельщикъ и скрылся за дверью.

Это былъ первый дѣловой визитъ Палтусова, по порученію Калакуцкаго, довольно тонкаго свойства. Подрядчикъ хотѣлъ испытать ловкость своего новаго „агента“ и послалъ его именно сюда. Палтусову было бы крайне непріятно потерпѣть неудачу.

Его заставили прождать минуты три; но онѣ показались ему долгими. Раза два выпрямлялъ онъ талью передъ зеркаломъ и даже сталъ отряхивать соринку съ рукава.

— Пожалуйте, — пригласилъ его малый.

Онъ прошелъ черезъ комнату, похожую на контору нотаріуса. Тамъ сидѣло человѣкъ пять. Посторонняго народа не было.

— Туда въ уголъ, — указалъ ему одинъ изъ служащихъ.

Надо было зайти за рѣшетку и взять влѣво мимо конторокъ. Оттуда вышелъ полный бѣлокурый мужчина. Палтусовъ замѣтилъ его рѣдкіе волосы и типичное лицо купца-чиновника, какіе воспитываются въ коммерческой академіи. Это былъ завѣдующій конторою, но не самъ Вадимъ Павлычъ.“ Онъ возвращался съ доклада. Палтусову онъ сдѣлалъ небольшой поклонъ.

Палтусовъ ожидалъ вступить въ большой, эффектно обстановленный кабинетъ, а попалъ въ тѣсную комнату въ два узкихъ окна, съ изразцовой печкой въ углу и письменнымъ столомъ противъ двери. Налѣво — клеенчатый диванъ; у стола — вѣнскій гнутый стулъ, у

печки — высокая конторка, за кресломъ письменнаго стола — полки съ картонами: убранство кабинета у средней руки конториста.

Палтусовъ назвалъ себя и прибавилъ: — отъ Сергѣя Степановича Калакуцкаго.

Надъ столомъ привсталъ и наклонилъ голову человѣкъ лѣтъ сорока, полный, почти толстый. Его темные, вьющіеся волосы, матовое, широкое лицо, тонкій носъ и красивая короткая борода шли къ глазамъ его, чернымъ, съ длинными рѣсницами. Глаза эти постоянно смѣялись, и въ складкахъ рта сидѣла усмѣшка. По тому, какъ онъ былъ одѣтъ и держалъ себя, онъ сошелъ бы за купца или фабриканта „изъ новыхъ", но въ выраженіи всей головы сказывалось что-то не купеческое.

Палтусовъ это тотчасъ же оцѣнилъ. Да онъ и зналъ уже, что Вадимъ Павловичъ Осетровъ попалъ въ дѣла изъ учителей гимназіи, что онъ кандидатъ какого-то факультета и всѣмъ обязанъ себѣ, своему уму и предпріимчивости. Разбогатѣлъ онъ на рѣчномъ промыслѣ, гдѣ-то на низовьяхъ Волги.

Руки Палтусову онъ первый не протянулъ, но пожалъ, когда тотъ подалъ ему свою.

— Милости прошу! — и указалъ онъ ему на стулъ.

Вышла маленькая пауза. Глаза Осетрова произвели въ Палтусовѣ что-то въ родѣ неловкости.

— Я — отъ Сергѣя Степаныча, — повторилъ онъ и началъ скоро, не тѣмъ тономъ, какой

онъ желалъ бы самъ придать своимъ рѣчамъ. Началомъ своего визита онъ не былъ доволенъ.

— Да-а? — откликнулся Осетровъ. Онъ говорилъ высокимъ, барскимъ, маслянымъ голосомъ съ маленькой шепелявостью: произносилъ букву „л", какъ „о." Въ этомъ слышался московскій уроженецъ.

— Сергѣй Степановичъ уже бесѣдовалъ съ вами по новому товариществу на вѣрѣ, и онъ теперь хотѣлъ бы приступить къ осуществленію.

„Глупо, книжно!" выругалъ себя Палтусовъ.

— Какъ же, — точно про себя выговорилъ Осетровъ, пододвинувъ къ гостю папиросы, и сказалъ съ интонаціей комическаго чтеца: — угощайтесь.

Палтусовъ обрадовался папиросѣ. Она давала ему „отвлеченіе". Онъ однимъ мигомъ построилъ въ головѣ нѣсколько фразъ гораздо точнѣе, кратче и дѣловитѣе.

— Ему бы хотѣлось знать, — продолжалъ онъ увѣреннѣе, и совсѣмъ смѣло поглядѣлъ въ смѣющіеся глаза Осетрова: — можетъ ли онъ разсчитывать и на васъ, Вадимъ Павлычъ?

Осетровъ затянулся, откинулъ голову на спинку стула, пустилъ струю, и изъ насмѣшливаго рта его вышелъ звукъ въ родѣ:

— Фэ, фэ, фэ!..

„Не войдетъ", — рѣшилъ Палтусовъ и почувствовалъ, что у него въ спинѣ испарина.

Ему, конечно, не дѣтей крестить съ Калакуцкимъ! Однимъ крупнымъ пайщикомъ больше

или меньше — обойдется; у него хватитъ и кредиту, и знакомства. Но обидно будетъ, „по первому же абцугу", дать осѣчку и вернуться ни съ чѣмъ. Надо чѣмъ-нибудь да смазать эту „шельму", — такъ опредѣлилъ Осетрова Палтусовъ.

— Да зачѣмъ я ему? — спросилъ Осетровъ ласково-пренебрежительно, и такъ посмотрѣлъ на Палтусова, какъ бы хотѣлъ сказать ему: „да вы развѣ не знаете вашего милѣйшаго Сергѣя Степаныча"?

Палтусовъ и это понялъ. Ему надо было сейчасъ же поставить себя на равную ногу съ Осетровымъ, доложить ему, что они люди одного сорта, „изъ интеллигенціи", и должны хорошо понимать другъ друга. Этотъ дѣлецъ изъ университетскихъ смотрѣлъ докой — не чета Калакуцкому. Такимъ человѣкомъ слѣдовало заручиться, хотя бы только какъ добрымъ знакомымъ.

XVI.

— Позвольте, Вадимъ Павлычъ, — началъ уже другимъ тономъ Палтусовъ: — быть съ вами по душѣ. Вы меня, можетъ, считаете компаньономъ Калакуцкаго? Человѣкомъ... какъ бы это выразиться... de son-bord?

Онъ не безъ намѣренія вставилъ французское выраженіе, удачно выбранное.

Осетровъ сидѣлъ на креслѣ въ полъ-оборотъ

и смотрѣть на него черезъ плечо прищуреннымъ лѣвымъ глазомъ, а губы, скосившіеся, пускали тонкую струю дыма.

— Вы что же? — спросилъ онъ мягко, но довольно безцеремонно.

У Палтусова капнула на сердце капелька желчи.

— Я — такой же новичокъ, какъ и вы были, Вадимъ Павлычъ, когда начинали присматриваться къ дѣламъ. Мы съ вами учились сначала другому. Мнѣ наша карьера немного извѣстна.

Лицо Осетрова обернулось всѣмъ фасомъ. Онъ отнялъ отъ рта папироску.

— Вы университетскій?

— Я слушалъ лекціи здѣсь, — отвѣтилъ скромно Палтусовъ: онъ скрылъ, что экзамена не держалъ: — послѣ того, какъ побывалъ въ военной службѣ, въ кавалеріи.

— Изъ офицеровъ? — съ удареніемъ добавилъ Осетровъ и засмѣялся.

— Да, изъ офицеровъ. Участвовалъ въ послѣдней кампаніи, — вскользь сказалъ Палтусовъ и продолжалъ: — думаю теперь войти въ промысловое дѣло. У Калакуцкаго я занимаюсь его порученіями...

— Что получаете?

Этотъ допросъ начиналъ коробить Палтусова, но онъ закусилъ губы и сдержалъ себя. Да это ему и не вредило въ сущности.

— Содержаніе до пяти тысячъ. Съ процен-

тами надѣюсь заработать въ этомъ году до десяти.

— Начало не плохое, — одобрительно вымолвилъ Осетровъ. — Вашъ принципалъ — шустрый дворянинъ. Пока — и онъ остановился на этомъ словѣ — дѣла его идутъ недурно. Только онъ забираетъ очертя голову, хапаетъ не въ мѣру... Жалуются на его стройку... Я вамъ это говорю по-просту. Да это и всѣ знаютъ.

Палтусовъ промолчалъ.

— Видите ли, — Осетровъ совсѣмъ обернулся и уперся грудью о столъ, а рука его стала играть бѣлымъ костянымъ ножомъ: — для Калакуцкаго я человѣкъ совсѣмъ не подходящій. Да и минута-то такая, когда я самъ создалъ паевое товарищество и вотъ жду на дняхъ разрѣшенія. Такъ мнѣ изъ-за чего же идти? Мнѣ и самому всѣ деньги нужны. Вы имѣете понятіе о моемъ дѣлѣ?

— Имѣю, хотя и не въ подробностяхъ.

— Привиллегія взята на всю Европу и Америку. Парижъ и Бельгія въ прошломъ году сдѣлали мнѣ заказовъ на нѣсколько сотъ тысячъ. Не знаю, какъ пойдетъ дальше, а теперь нечего Бога гнѣвить... Мои пайщики получили ни много, ни мало — сто сорокъ процентовъ.

— Сто сорокъ? — воскликнулъ Палтусовъ.

— Да. Будетъ давать и двѣсти, и больше. Когда расширится на всю Россію, да нѣмцевъ прихватимъ...

— Да вѣдь это вчетверо выгоднѣе всякой мануфактуры? — вырвалось у Палтусова.

— Еще бы!.. Шуйское дѣло въ этомъ году тридцать пять дало, такъ объ этомъ какъ звонить!..

— Вадимъ Павловичъ, — одушевился Палтусовъ: — вы, конечно, понимаете... Калакуцкому — онъ уже не называлъ его „Сергѣемъ Степановичемъ“ — нужно ваше имя...

— Я въ учредители не пойду... Я ему это сказалъ досконально.

— Ну, просто пай, другой возьмете... для меня сдѣлайте!..

— Для васъ? — съ недоумѣніемъ переспросилъ Осетровъ.

— Вашъ отказъ поставитъ меня невыгодно. Онъ припишетъ это моему неумѣнію. А вѣдь мы, Вадимъ Павловичъ, люди изъ одного міра. Между нами должна быть поддержка... стачка...

— Стачка?

— Да-съ, стачка развитія и честности. Вы поднялись однимъ трудомъ и талантомъ. Я вижу въ васъ самый достойный образецъ. Вашъ пай, хоть одинъ, дастъ каждому дѣлу другой запахъ; это и для меня гарантія. Я вѣдь пайщикъ Калакуцкаго.

„Экой ты какой, безъ мыльца влѣзешь!“ — говорили глаза Осетрова.

— Чтожь, — помолчавъ сказалъ онъ: — я возьму пая три... не больше.

— Позвольте пожать вашу руку. Вы меня

много обязали. — Не посѣтуете, если я съ васъ попрошу взяточку?

— Какую?

— Только уговоръ лучше денегъ. Какъ нѣмцы говорятъ: nicht schlimm gemeint. У васъ пая не всѣ разобраны?

— Нѣтъ еще. Мы удвоили.

— Почемъ они?

— По тысячѣ рублей.

— Могу я просить у васъ два пая?

— Съ удовольствіемъ. Вотъ когда уладимъ. Понавѣдайтесь. — Вы, значитъ, при капиталѣ?

— Такъ, крохи...

— Отъ papa и maman?

— Именно!.. ха, ха!

Произошло рукопожатіе. Осетровъ привсталъ, но до дверей не провожалъ его. Въ передней Палтусовъ далъ двугривенный служителю, и когда спускался съ лѣстницы, почувствовалъ, что у него лобъ влаженъ.

„Не моему принципалу чета“ — повторялъ онъ на дрожкахъ по дорогѣ на Ильинку. Этотъ — Руэръ, и лицо-то такое же, точно съ юга Франціи. Онъ Калакуцкихъ-то дюжину съѣстъ! Надо его держаться“...

Оба порученія исполнены, и за второе онъ особенно былъ доволенъ. Дворянскій гоноръ немного щемило; но все обошлось съ достоинствомъ.

XVII.

Пробило три часа. Въ рядахъ стараго Гостинаго двора притихло. И съ утра въ нихъ мало движенія. Подъ низменными сводами пріютились „амбары“ — склады самыхъ первыхъ мануфактурныхъ и торговыхъ фирмъ, всего больше отъ хлопчатобумажнаго и прядильнаго дѣла. — Эти лавки смотрятъ невзрачно, за исключеніемъ нѣсколькихъ, отдѣланныхъ уже по новому, съ дорогими стеклами въ дубовыхъ и орѣховыхъ дверяхъ, съ фигурными, чугунными досками. Вдоль стѣнъ стоятъ соломенные диваны и козлы, на какихъ купцы любятъ играть въ „дамки“ и „поддавки“. Кое-гдѣ сидятъ сухіе, пожилые прикащики, въ длинныхъ, ваточныхъ чуйкахъ или просторныхъ пальто съ бобромъ и однозвучно перекидываются словами. Выползетъ со внутренняго двора, изъ-подъ сводчатыхъ воротъ, огромный возъ съ товаромъ. Лошадь станетъ, вся вытянется, напрягутся жилы. Непомѣрная тяжесть тащитъ ее назадъ, да тутъ еще подвернулся камень, вывороченный изъ отсырѣлой мостовой, покрытой грязью, съ ямами, цѣлыми ручьями въ дождь, съ обвалами и промоинами. Ломовой, съ безсмысленною злостью, хлещетъ лошадь возжами по глазамъ, подъ брюхо, потомъ ухватитъ, что попало — полѣно, доску и колошматитъ свою собственную животину. Маль-

чишка изъ трактира съ чайникомъ топчется и кричитъ также на лошадь. Сидѣльцы ухмыляются или бранятъ извощика.

— Родимая! — гаркнетъ всѣми внутренностями ломовой и, ухвативъ за супонь, выбѣжитъ на улицу, вмѣстѣ съ возомъ, послѣ чего начинаетъ костить своего бураго: — жидъ, анаѳема, стерва!..

Потомъ опять все тихо. Со двора доносятся голоса, когда идетъ отправка или пріемъ товара. Тамъ цѣлыя горы тюковъ и ящиковъ захватили арки и выползли со всѣхъ сторонъ на средину двора. Вороха рогожъ, циновокъ, плетушекъ, кулей лежатъ тутъ недѣлями и мѣсяцами, мокнутъ, прѣютъ, жарятся на солнцѣ. Одной хорошей искры довольно, чтобы все это вспыхнуло и превратило дворъ въ огненную печь. Но хозяева не боятся. Имъ тутъ хорошо и покойно. — Богъ дастъ, и простоитъ все подѣдовски, пока будетъ стоять старый Гостиный дворъ. „Амбары“ у нихъ — наслѣдственные; они ихъ покупали на кровныя деньги. Наемная цѣна имъ высокая. За одинъ створъ до четырехъ тысячъ въ годъ берутъ.

Тяжелый, неуклюжій, покачнувшійся корпусъ глядитъ на двѣ улицы. Посрединѣ онъ сѣлъ книзу; къ улицамъ идутъ подъемы. Изъ рядовъ къ мостовой опускаются каменныя ступени или деревянные мостки съ набитыми брусьями, крутые, скользкіе, въ слякоть грозящіе каждому, и трезвому прохожему. Внизу,

въ подпольномъ этажѣ размѣстились подвалы и лавки — больше къ Ильинкѣ, гдѣ съѣзжать въ переулокъ и подниматься нестерпимо тяжко для лошадей; а двумъ возамъ нельзя почти разъѣхаться съ товаромъ. А тутъ еще расположилась посудная лавка съ своей соломой, ящиками и корзинками. Насупротивъ, желѣзный и москательный товаръ валяется въ пыли и темнотѣ. Весь этотъ уголъ даетъ свѣжему человѣку чувство рядской тѣсноты и скученности, чего-то татарскаго по своему неудобству, неряшеству, погонѣ за грошовой выгодой.

По Варваркѣ, противъ церкви и поближе, дожидалось двое широкихъ хозяйскихъ пролетокъ, съ заводскими жеребцами. Одинъ кучеръ курилъ; другой нѣтъ. Онъ служилъ у безпоповскаго раскольника. По этой сторонѣ линія смотрѣла повеселѣе. Лавки шли всякія, рядомъ съ амбарами первыхъ тузовъ много — и „не пущихъ“.

На двухъ створахъ съ дубовыми дверями мѣдныя доски, старательно отчищенныя, ярко выставляли рельефныя слова: „Мирона Станицына сыновья“. Снаружи черезъ стекла дверей просвѣчивали бѣлыя стѣны, чугунная лѣстница во второй этажъ, широкое окно въ глубинѣ, правѣе — перила и конторки. Никакого товара не было видно ни на полу, ни по стѣнамъ. У дверей стоялъ, держась за ручку, молодецъ въ синей чуйкѣ. Его обязанность въ

этомъ только и заключалась. Амбаръ былъ изъ самыхъ помѣстительныхъ и шелъ подъ крышу. Въ верхнемъ этажѣ — также съ галлереей — находились склады товара, матерій и суконъ. Матеріи производила фирма „Станицына сыновья". Сукно шло съ фабрики жены представителя фирмы, старшаго брата. Младшій находился въ слабоуміи.

Конторщики, въ первомъ отдѣленіи амбара, беззвучно писали и изрѣдка щелкали по счетамъ. Ихъ было трое. Старшій въ нѣмецкомъ платьѣ, въ черепаховыхъ очкахъ, съ клинообразной бородой, въ которой пробивалась уже сѣдина — скорѣе оптикъ или часовщикъ по виду, чѣмъ прикащикъ — нѣтъ-нѣтъ да и посмотритъ поверхъ очковъ на дверь въ хозяйскую половину амбара.

На перилахъ лежало два пальто постороннихъ лицъ; одно военное; черезъ дверь долетали раскаты разговора. Слышались жидкіе звуки мужскаго голоса, картаваго и надтреснутаго, и болѣе молодой горловой баритонъ съ офицерскими переливами. Между ними врѣзывался смѣхъ, должно быть, плюгавенькаго человѣчка, какой-то нищенскій, вздутый какъ пузырь, ничего не говорящій смѣхъ...

XVIII.

Вдругъ малый пришелъ въ волненіе, схватился за ручку, широко распахнулъ половинку,

нагнулъ голову ниже плечъ и тряхнулъ потомъ головой.

Въ амбаръ вошла „сама". Этого никто не ожидалъ, кромѣ, быть можетъ, старшаго конторщика. Онъ быстро всталъ, выбѣжалъ изъ-за перегородки, сложивши руки на груди, съ переплетенными пальцами, поклонился два раза и полушопотомъ выговорилъ:

— Матушка, все ли въ добромъ здоровьѣ?

Она поклонилась ему ласково и степенно, какъ кланяются купчихи первыхъ домовъ, одной головой, безъ наклоненія стана. Этой женщинѣ, сквозь прозрачную вуалетку, точно посыпанную золотымъ пескомъ, врядъ ли бы кто далъ больше двадцати трехъ лѣтъ. Ей было уже двадцать семь. Рослая, съ прекраснымъ бюстомъ, не жирной, но не худой шеей и тонкой, умной головой — она смотрѣла настоящей дамой. Ее охватывало короткое пальто изъ чернаго фая. Оно позволяло любоваться линіей ея таліи и переходило въ кружевную оборку. Широкіе, моднаго покроя, рукава, также отдѣланные кружевами и бахромой изъ гофрированныхъ шелковыхъ кусочковъ, выпускали наружу только ея пальцы въ свѣтлосѣрыхъ перчаткахъ. Вокругъ шеи шелъ кружевной высокій барокъ. Изъ подъ-пальто выходило узкое, песочнаго цвѣта, тяжелое платье: спереди настолько высокое, что вся нога, въ башмакахъ съ пряжками и цвѣтныхъ, шелковыхъ чулкахъ, была видна. На ея лобъ и глаза, глубоко сидѣвшіе

въ впадинахъ, легла тѣнь отъ полей широкой „рубенсовской“ шляпы съ густымъ темногранатовымъ перомъ.

Въ этой „хозяйкѣ“ по костюму было много европейски-живописнаго. Но овалъ лица, сановитость его, что-то неуловимое въ движеньяхъ говорило о коренной Руси, о той почвѣ, гдѣ она выросла и распустилась. Красавицей врядъ ли бы ее назвали; но всякій бы остановился.

— Кто здѣсь? — тихо спросила она старшаго конторщика и сдѣлала шагъ назадъ. Лобъ ея наморщился.

— Тотъ-съ... офицеръ-съ, Савы Иваныча сынокъ... съ крестомъ... Изволите знать?

Она только опустила глаза и сжала губы. Все лицо ея точно наполнилось презрительнымъ чувствомъ.

— А еще?

— Еще... господинъ Ифкинъ. Такъ кажется ихъ прозванье? Они всегда-съ...

Станицына не дала ему договорить и сказала:

— Доложите.

— Да пожалуйте, матушка.

— Доложите, — повторила она.

Старикъ осторожно пріотворилъ дверь. Разговоръ смолкъ. Онъ вошелъ и вернулся тотчасъ же. А за нимъ выбѣжалъ ражій офицеръ, съ краснымъ, лоснящимся лицомъ, завитой, съ какими-то рожками на лбу, еще мальчикъ по лѣтамъ, но уже ожирѣлый, въ уланкѣ

съ краснымъ кантомъ и золотой петлицей на воротникѣ. Уланка была сшита нарочно непомѣрно коротко и узко, такъ-что формы корнета выставлялись напоказъ при каждомъ поворотѣ. Въ петлицѣ торчалъ солдатскій георгіевскій крестъ на широкой лентѣ и какъ будто бо́льшихъ размѣровъ, чѣмъ дѣлаютъ обыкновенно.

— Entrez, entrez... Анна Серафимовна! Какъ же вы это съ докладомъ?!.. Вашъ мужъ приказалъ вамъ сказать, что у насъ женскаго пола нѣтъ. Ха, ха! Мы здѣсь какъ монахи! Даже стаканы у насъ съ чаемъ!

Онъ и смѣялся, и нахально оглядывалъ ее и какъ-то переминался съ ноги на ногу, позвякивая шпорами и разставляя ноги по-кавалерійски.

Уланъ приходился дальнимъ родственникомъ ея мужу. Онъ въ кампанію пошелъ вольноопредѣляющимся въ гвардію, взялъ пушку; но въ тотъ полкъ, куда поступилъ, все-таки не попалъ офицеромъ. Теперь онъ и спалъ, и видѣлъ, какъ бы ему прикомандироваться, пріѣхалъ въ четырехъ-мѣсячный отпускъ, пьянствовалъ и спускалъ отцовскія деньги въ „макао“ и „баккару“. Родители его прозывались Сыромятниковыми. Это его немного стѣсняло; зато у него былъ французскій языкъ. И врядъ ли во всей, даже гвардейской, кавалеріи кто такъ умѣлъ носить рейтузы и длинный до носу козырекъ, какъ онъ. Да и никто, когда они

стояли подъ Константинополемъ, не слалъ такихъ лаконическихъ французскихъ телеграммъ:

„Papa, perdu dix mille francs. Envoyez traite. Si non — adieu. Ferai un mauvais coup! — Thèodule“.

Его дѣйствительно звали по русски „Ѳедулъ“; но онъ переименовалъ себя потомъ въ „Теофиля“.

Изъ двери показался штатскій, худой, короткій, съ рѣдкими волосиками на лбу, въ усахъ, смазанныхъ къ концамъ, черноватый, въ короткомъ сюртучкѣ и пестромъ галстухѣ, одинъ изъ захудалыхъ дворянчиковъ, состоявшихъ безсмѣнно при мужѣ Станицыной. За нимъ, кромѣ хорошаго обращенія и того, что онъ зналъ дни именинъ и рожденія всѣхъ барынь на Поварской и Пречистенкѣ, уже ничего не значилось.

— Madame! — вскрикнулъ онъ и закатился смѣхомъ. — Veuillez entrer!.. Вы насъ хотѣли накрыть?! N'est ce pas, Thèodule?!..

И оба они ввели ее въ хозяйское помѣщеніе амбара.

XIX.

Лицомъ къ двери, у большаго стола съ двумя низкими пюпитрами, краснаго дерева, — диваны и стулья съ сафьянной обивкой были такіе же, — вытянулъ ноги на средину комнаты, сидя на краю стола, мужъ Анны Серафимовны

Станицыной, Викторъ Мироновичъ. Онъ казался головой выше улана. Народъ называетъ такое сложеніе „глистой". Узость плечъ, приподнятыхъ и острыхъ, вытянутая шея съ кадыкомъ, непомѣрная длина рукъ и ногъ дѣлали его непріятнымъ на взглядъ по одной уже фигурѣ. Голова подходила къ остальному складу: лобъ, сдавленный съ боковъ и сверху сжатый, заостренная макушка и выдающійся затылокъ достаточно говорили о его мозговомъ устройствѣ. Желторусые волосы вились на вискахъ и на лбу. Въ лицѣ сохранилась моложавость и женоподобная, и мальчишеская, что-то изношенное и недозрѣлое, развратное и безполое. Онъ страдалъ глазами. Красные вѣки окружали его желтоватые, длинные глаза, всегда съ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ подзадориванія и зубоскальства. Рѣсницы по цвѣту были почти свѣтлорыжія. Подъ маленькимъ, раздутымъ книзу носомъ открывался постоянно улыбающійся ротъ съ бѣлыми, но рѣдкими зубами, какъ у дѣтей. Пепельные волоски чуть пробивались на подбородкѣ, ушедшемъ тоже въ клинъ, съ ямкой по-срединѣ, хотя онъ и не былъ добръ. Купеческое происхожденіе сидѣло во всемъ его обликѣ; но голосъ, манера тянуть слова на-распѣвъ, развинченность пріемовъ, словечки на русскомъ и французскомъ языкахъ и туалетъ дѣлали изъ Виктора Мироновича нѣчто весьма мало отзывающееся старымъ Гостинымъ дворомъ. Шили на него ис-

ключительно два парижскихъ бульварныхъ портныхъ: Дюсстуа и Бланъ. Галстухи, бѣлье, золотыя мелкія вещи онъ носилъ не иначе, какъ лондонскіе, „точно такіе", какъ принцъ Галльскій, отъ тѣхъ же самыхъ поставщиковъ.

Въ это утро его худосочное туловище просторно драпировалъ пиджакъ. Низкіе стоячіе воротнички, торчащіе на серединѣ шеи, уходили въ галстухъ цвѣта „vert merveilleux". Пріятели не скрывали того, что Станицынъ краситъ шею особой краской, чтобы она выходила шоколадною. Этому онъ также научился за границей. Ноги его, въ панталонахъ прусскаго покроя, на плоской и длинной ступнѣ, не особенно скрашивали ботинки съ коричневымъ сукномъ. Руками своими онъ любовался, но съ ногтями до сихъ поръ не могъ сладить, придать имъ красивую овальную форму и нѣжный цвѣтъ, хотя и „лечился" у всѣхъ извѣстныхъ „маникуровъ".

Викторъ Миронычъ былъ на семь мѣсяцевъ моложе жены.

— Bonjour, madame, — сказалъ онъ ей и по-англійски протянулъ ей руку.

Она пожала, вуалетки не подняла и сѣла на диванъ у лѣвой стѣны.

Уланъ и штатскій стояли передъ ней и все хохотали.

— Я вамъ не помѣшала? — спросила она густымъ, немного глухимъ голосомъ.

Въ ея произношеніи слышалось волжское *о*,

но не очень сильно. Это придавало большую оригинальность ея говору.

— Чаю не угодно? Съ лимончикомъ? — пошутилъ Станицынъ своей фистулой, отъ которой у жены его давно ходятъ мурашки по тѣлу, точно отъ грифеля.

— Собираетесь? — спросила она больше мужа, чѣмъ его пріятелей.

— Представьте! — закричалъ уланъ: — Викторъ ныньче ушелъ въ дѣла!.. Мы пріѣзжаемъ вотъ съ Фифкой...

Анна Серафимовна удивленно вскинула на него рѣсницами. Ея широкія бархатныя брови слегка поднялись.

— Ха, ха!.. Викторъ! Ta femme ne sait pas!.. Вы не знаете, мы такъ Ифкина прозвали... Фифка! Вѣдь хорошо? А?! Что скажете?

Штатскій осклабился.

— Такъ вотъ-съ, пріѣзжаемъ, зовемъ Виктора къ Генералову, привезли устрицъ... Ostende... И вдругъ, упирается! Говоритъ, нельзя, дѣла, не управился. Въ амбарѣ надо сидѣть. Амбаръ! C'est cocasse!

Уланъ перекинулся назадъ всѣмъ своимъ пухлымъ туловищемъ. Въ ушахъ Анны Серафимовны звенѣлъ долго хохотъ обоихъ пріятелей мужа. Она вбокъ посмотрѣла на него. Онъ все еще не мѣнялъ позы, сидѣлъ на ребрѣ стола и носкомъ правой ноги ударялъ о лѣвую. Одинъ разъ его глаза встрѣтились съ ея взглядомъ. Ей показалось, что она прочла въ нихъ:

— „Зачѣмъ пожаловали?“

Она знала, что ей всегда можно заставить его опустить свои рыжія рѣсницы, но она этого не сдѣлала.

— Tu restes décidément?—французилъ уланъ.

— J'y suis, j'y reste! — съострилъ Станицынъ. Онъ не зналъ въ точности, чья это историческая фраза, но помнилъ, что въ Café de Madrid часто повторяли ее.

Произношеніе у него было изломанное, отзывалось близкимъ знакомствомъ съ актрисами „Folies Dramatiques“ и „Théatre des Nouveautés“. Основаніе положили гувернеры.

— Ну, Фифка!.. Dètalons!.. Chère cousine... Чтó это вы какія строгія? Точно посѣчь насъ собираетесь. Вы видите: оставляемъ васъ en tête-à-tête... Это всегда хорошо. Какъ бы сказать... добродѣтельно. Викторъ! мы тебя, голубчикъ, подождемъ до пятаго... Идетъ? — Вы позволите? — обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ. — Муженька-то въ строгости держите. Не женись, Фифка!.. Правда, за тебя, уродъ, никто и не пойдетъ...

Уланъ схватилъ штатскаго подъ-мышки и однимъ взмахомъ поднялъ его на воздухъ. Тотъ взвизгнулъ. Станицынъ лѣниво и немного безпокойно оглянулся, кисло повелъ губами и сказалъ:

— Ступайте, у меня голова кружится. Des gaillards, comme ça. Точно васъ съ цѣпи спустили.

— Madame! — дурачливо раскланялся уланъ и щелкнулъ шпорами.

— Bien bonjour, Анна Серафимовна, — прибавилъ отъ себя и дворянинъ; онъ по-французски употреблялъ московскіе обороты, вродѣ этого, или bien merci.

Анна Серафимовна привстала и пожала имъ руки безъ улыбки и молча.

Станицынъ проводилъ ихъ за дверь. Въ конторѣ они еще довольно долго болтали. По лицу молодой женщины пробѣгали струйки нервныхъ вздрагиваній. Она сняла вуалетку, а потомъ и шляпу. Ея головѣ жарко стало. Почти черные волосы, гладкіе, густые, причесаны были по-старинному, двумя плоскими прядями, и только сбоку, на лбу она позволяла себѣ нѣсколько завитковъ; они смягчали строгость очертаній ея лба и линію переносицы. Глаза ея, темносѣрые, съ синеватыми бѣлками и загнутыми рѣсницами кверху, безпрестанно то потухали, то вспыхивали. Брови, какъ двѣ пышныхъ собольихъ кисти, не сростались, но близко сходились при каждомъ движеніи лба. Тогда все лицо дѣлалось сурово, почти жестко. Свѣжій ротъ и немного выдающіеся зубы, а главное, подбородокъ, круглый и широкій, проявляли натуру жены Виктора Мироновича и породу ея родителей, людей стойкихъ, рослыхъ, именитыхъ, долго державшихся старыхъ обычаевъ и состоявшихъ еще недавно въ безпоповцахъ.

XX.

Анна Серафимовна хотѣла даже снять пальто, но въ эту минуту вошелъ ея мужъ.

— Здравствуйте-съ, — протянулъ онъ.

Она давно уже была съ нимъ на „вы", „Викторъ Мироновичъ". Онъ часто говорилъ ей „ты" и „Анна", а „вы" употреблялъ въ особыхъ случаяхъ.

Викторъ Мироновичъ прошелъ къ столу и сѣлъ за свой пюпитръ, отхлебнулъ изъ стакана чаю и обернулся къ ней.

— Hein? — пустилъ онъ парижскій звукъ. Ему онъ выучился въ совершенствѣ.

Ротъ жены его раскрылся, но зубы были сжаты, зрачки глазъ сузились. Она вытянула немного руки и вся выпрямилась на своемъ мѣстѣ.

— Викторъ Миронычъ, — начала она, и волжское произношеніе заслышалось сильнѣе: — всему бываетъ предѣлъ.

— Hein? — повторилъ онъ, но уже не тѣмъ звукомъ.

Глаза его вызывающе и глупо поглядѣли на жену. Онъ чего-то ждалъ непріятнаго, но чего — еще не догадывался.

Рука ея опустилась въ карманъ пальто и достала откуда небольшой портфель изъ черной кожи съ серебрянымъ вензелемъ. Она нагнула голову, достала изъ портфеля двѣ сложенныхъ

бумажки и развернула ихъ, а портфель положила на диванъ.

Тутъ она встала и подошла къ нему. Онъ почувствовалъ на лицѣ ея горячее дыханіе.

— Что это? — подзадоривающимъ звукомъ спросилъ онъ и сдѣлалъ ненавистную ей гримасу губами, точно онъ принимаетъ лекарство.

— Ваши векселя, — выговорила она и поблѣднѣла. До тѣхъ поръ щеки ея хранили румянецъ, рѣдко появлявшійся на нихъ.

— Мои?

Онъ всталъ и нагнулся. Его голова, клиномъ вверхъ, съ запахомъ помады и фиксатуара, пришлась къ ея носу и глазамъ. Что-то непреодолимо-противное было для нея всегда въ этой дѣтской „несуразной“ — она такъ называла — головѣ, съ ея вьющимися желтыми волосами и чувственнымъ, вытянувшимся затылкомъ.

— Ваши, — еще разъ сказала она и отвела его отъ себя рукой: — Викторъ Миронычъ, вы видите, кѣмъ андосованы?

Она знала дѣловыя слова.

— Кѣмъ? — нахально спросилъ онъ ее, поднявъ голову, и засмѣялся.

Вся кровь мигомъ бросилась ей въ голову. Она схватила его за руку, силой посадила въ кресло, оглянулась и, нагнувшись къ нему, стала говорить раздѣльно, точно диктовала ему по тетрадкѣ.

— Вотъ до чего вы дошли. Я купила эти

документы. Вы знаете, кому вы ихъ выдали. Подпись видна. — Изъ Парижа они пришли или изъ Біарица, — я ужь не полюбопытствовала. — Вы мнѣ, Викторъ Миронычъ, клялись — образъ снимали, что больше я объ этой барынѣ не услышу!

Онъ повелъ глазами и дерзкая усмѣшка появилась опять на его губахъ.

— Не смѣйте такъ на меня глядѣть! — глухо крикнула она. — Мнѣ теперь все равно, какія у васъ метрески. Я вамъ не жена и не буду ею. Значитъ, вы свободны. А я только не хочу, чтобы вы срамили меня и дѣтей моихъ. Разорить ихъ я васъ не попущу!

— Да въ чемъ же дѣло? — нетерпѣливо и на этотъ разъ трусливо спросилъ Станицынъ.

— Я пришла вамъ сказать вотъ что: извольте отъ дѣлъ устраниться. Дайте мнѣ полную довѣренность. — Кажется, вамъ нечего меня бояться! — Только на моей фабрикѣ и есть порядокъ. Но вы и меня кредиту лишаете. Долгу сколько?

— Сколько? — повторилъ онъ совсѣмъ глупо.

— Сто семьдесять тысячъ вами одними сдѣлано въ одиннадцать мѣсяцевъ. Хотите, мы сейчасъ Трифоныча позовемъ? — и она указала на дверь. — И это такіе, которые въ извѣстность приведены; а разныхъ другихъ, по счетамъ, да векселей, не вышедшихъ въ срокъ, да карточныхъ... навѣрно столько же. Вы что же думаете? — Протянете вы такъ-то больше года?

Онъ молчалъ. Два векселя въ сорокъ тысячъ держитъ въ рукахъ жена. Въ кассѣ значилась самая малость. Фабрика шла въ долгъ. Банки начали затрудняться учитывать его векселя. Это грозное появленіе Анны Серафимовны почти облегчило его.

— А передъ братомъ у васъ и совѣсти нѣтъ, — продолжала она совсѣмъ тихо. — Благо онъ слабоумный, дурачекъ, рукава жуетъ — такъ его и надо грабить... Да, грабить! Вы съ нимъ въ равной долѣ. А сколько на него идетъ? Четыре тысячи, да и то ихъ часто нѣтъ. Я заѣзжала къ нему. Онъ жалуется... Вареньица, говоритъ, не даютъ... папиросочекъ... А докторъ ворчитъ... И онъ — плутъ... Срамъ!..

И она отвернула лицо. Глаза ея закрылись, и тѣнь пробѣжала по щекамъ...

— Mais vous êtes drôle.... — началъ-было онъ и смолкъ.

— Претитъ мнѣ! — перебила она повелительно и страстно: — скройтесь вы съ глазъ моихъ! Уѣзжайте и проживайте, гдѣ хотите! Будете получать тридцать тысячъ.

— Двѣ тысячи пятьсотъ въ мѣсяцъ? — со смѣхомъ крикнулъ онъ.

— Да, больше нельзя... Не хотите? — съ разстановкой выговорила она. — Ну, тогда раздѣлывайтесь сами. Вамъ негдѣ перехватить. Фабрика станетъ черезъ двѣ недѣли. За васъ я не плательщица. Довольно и того, Викторъ Миронычъ, что вы изволили спустить... Я жду!

Станицынъ вынулъ двуцвѣтный фулярный платокъ, обмахнулся и зашагалъ взадъ и впередъ.

Она дѣло говорила; занять можно, но надо платить, а платить нечѣмъ. Фабрика заложена. Да она еще не знаетъ, что за этими двумя векселями пойдутъ еще три штуки. Барыня изъ Біарица заказала себѣ новую мебель на Boulevard Haussman и карету у Биндера. И обошлось это въ семьдесятъ тысячъ франковъ. Да еще ювелиръ. А платилъ онъ, Станицынъ, векселями. Только не за тридцать же тысячъ соглашаться!

— Mais, ma chère. — началъ онъ: — какъ же я могу... есть, наконецъ, привычки...

— Черезъ три года будете получать вдвое. Я ручаюсь. А теперь и этого нельзя. И одна моя просьба, уѣзжайте вы поскорѣй, Викторъ Миронычъ; вы видите, я не могла васъ дождаться, сюда пріѣхала!..

Она надѣла шляпу, стала посрединѣ комнаты и сложила руки на поясѣ.

— Comme c'est... Станицынъ искалъ слово: — comme c'est propre.. Отъ жены такая сдѣлка... ха! ха!..

— Вы это говорите?!..

— Разумѣется... Лучше уѣхать... Вы на все способны!..

Онъ приложился къ пуговкѣ воздушнаго звонка.

XXI.

Вошелъ конторщикъ.

— Позовите Максима Трифоныча, — сказалъ ему Станицынъ и закурилъ сигару.

Анна Серафимовна отошла къ окну, по другую сторону бюро, и стала завязывать шляпку. Она замѣтила, что мужъ сдѣлалъ мимовольное движеніе плечами и пустилъ сразу длинную струю дыма. Побѣда одержана: мужъ сдѣлаетъ такъ, какъ она желаетъ. Но была ли это побѣда? Съ такимъ человѣкомъ немыслимы никакіе уговоры. Чести у него нѣтъ, даже той „купеческой", какая передавалась изъ рода въ родъ въ ея „фамиліи." А вѣдь отецъ его считался по всей Москвѣ „честнѣйшимъ мужикомъ." Откуда же этотъ выродокъ? Мать была „распутная" и пила еще молодой женщиной. Анна Серафимовна не застала ее въ живыхъ, когда сдѣлалась женой Виктора Мироныча, но слыхала отъ добрыхъ людей. Потому, должно быть, и меньшой братъ, Карпъ Миронычъ, родился дурачкомъ, а теперь и совсѣмъ полуумный... Да, этотъ постылый и безстыжій мужъ надѣлаетъ сейчасъ же, заграницею, новыхъ долговъ. А какъ его удержишь? Онъ взрослый. Фирма существуетъ. Въ Парижѣ ничего не значитъ, купивши на десять тысячъ франковъ, набрать въ магазинахъ на двѣсти. Еще пожалуй впутаешься съ нимъ такъ, что и жизни

не будешь рада. И теперь-то надо доставать денегъ...

Старшій конторщикъ отворилъ дверь и въ два пріема приблизился къ хозяину, съ наклоненіемъ всего корпуса.

— Написать полную довѣренность надо, Максимъ Трифоновичъ, — небрежно выговорилъ Станицынъ.

Онъ подошелъ къ старику и говорилъ ему дальше вполголоса.

Максимъ Трифоновичъ поднялъ на него глаза и тотчасъ же опустилъ ихъ.

— На чье имя? — чуть слышно спросилъ онъ.

Станицынъ кивнулъ вбокъ головой на жену.

— На управленіе фабриками-съ, съ правомъ выдачи?..

— Ну да, ну да, — перебилъ его Станицынъ. — Вѣдь вы знаете...

— Черновую прикажете?

— Да ужь это Анна Серафимовна вамъ укажетъ.

Ей непріятно сдѣлалось, что мужъ сейчасъ же распорядился при ней, не соблюлъ своего достоинства — непріятно не за него, а за себя, какъ за его жену.

— Завтра утромъ ко мнѣ придите и принесите черновую, — откликнулась она и поправила ленту.

— Больше никакихъ приказаній не будетъ? — освѣдомился старикъ.

— Никакихъ, — точно со смѣхомъ отвѣтилъ Станицынъ и застегнулъ пиджакъ. — Я на дняхъ ѣду, Максимъ Трифоновичъ. Все дѣло будетъ вести вотъ Анна Серафимовна... до моего возвращенія, — кончилъ онъ хозяйскимъ тономъ.

Максимъ Трифоновичъ перешелъ глазами отъ Виктора Мироныча къ его женѣ, глядя на нихъ черезъ очки. Онъ перевелъ дыханіе, но незамѣтно. Сегодня утромъ онъ боялся за все станицынское дѣло и надѣялся на одну Анну Серафимовну. Теперь надо половчѣе составить довѣренность, на случай непредвидѣнныхъ „претензій" изъ-за границы.

Станицынъ взялъ съ кресла шляпу и перчатки и, поморщиваясь отъ сигары, надѣвалъ ихъ.

— Можете идти, — отпустилъ онъ Максима Трифоновича.

Обида, женская гордость, гнѣвъ, презрѣніе какъ-то разомъ опали въ душѣ Анны Серафимовны. Она теперь ничего опредѣленнаго не чувствовала. Говорить съ этимъ человѣкомъ ей не о чемъ. Но въ его присутствіи она испытываетъ всегда раздраженіе особаго рода. Точно ей неловко передъ нимъ. И отчего? Все оттого, что у ней въ головѣ иногда прорывается приволжское *о*, да по-французски она не привыкла болтать. Ее учили, и она можетъ вести разговоръ съ иностранцами за границей; а съ нимъ не рѣшалась никогда, особенно при гостяхъ. А онъ всякія слова выговариваетъ, и произноше-

ніе у него отъ французскаго актера не отличишь; у всѣхъ этихъ „мерзкихъ“ по кафе и театрамъ выучился. Она знаетъ ему цѣну, и на его дѣлахъ показываетъ ему, что онъ за человѣкъ, ловитъ его съ поличнымъ, а все-таки онъ считаетъ себя „изъ другаго тѣста“, бариномъ, джентльменомъ, съ принцами знакомъ; а она — „купчиха“. Надобно слышать, съ какимъ выраженіемъ онъ произноситъ это слово. И теперь вотъ онъ струсилъ, разсчелъ, что лучше такъ поладить, чѣмъ со срамомъ вылетѣть въ трубу; а все-таки онъ не признаетъ ея нравственнаго превосходства, не преклоняется передъ ней, и ничѣмъ не заставишь его преклониться. Вотъ это ее и грызетъ, хоть она и не сознается самой себѣ. Такое ничтожество, такая пустельга, какъ Викторъ Миронычъ, у котораго, какъ у кошки, „не душа, а паръ“, и считаетъ себя изъ бѣлой кости, а на нее смотритъ, какъ на кумушку!

Краска опять появилась у ней на щекахъ.

— Васъ пріятели ждутъ, — сказала она съ сердцемъ.

— Дайте мнѣ надѣть перчатки, — возразилъ онъ и задирательно посмотрѣлъ на нее своими воспаленными глазами.

Опять злость закипѣла въ ней. Хорошо, что этотъ человѣкъ уѣзжаетъ: немудрено и отравить его или руками задушить. Въ какую минуту! Одинъ его голосъ можетъ привести въ изступленіе. Минутами всю ее какъ-то корчитъ

отъ его голоса и смѣха. Развѣ можно выносить, какъ онъ надѣваетъ, вотъ теперь, перчатки, покачивается, куритъ, а сейчасъ возьмется за шляпу? Все дышетъ наглостью и чванствомъ, закоренѣлой испорченностью купеческаго сынка, уже спустившаго, со смерти отца, до трехъ милліоновъ рублей. Какъ же его заставить преклониться передъ собой, когда весь европейскій „high life", лорды, маркизы, графы, эрцгерцоги толпились на его праздникѣ, гдѣ живыхъ цвѣтовъ было на пятнадцать тысячъ франковъ? Одного нѣмецкаго князька онъ собственноручно оттаскалъ и заплатилъ отступнаго. Любовницъ отбилъ у двухъ владѣтельныхъ особъ. Гдѣ же ему обойтись тридцатью тысячами рублей? Разумѣется, придется платить и всѣ сто тысячъ. Но и то лучше. Одно она хорошо знаетъ, что она ему своихъ денегъ не дастъ, и фабрики своей не заложитъ. Можетъ дѣтей у ней отнять? Она вся похолодѣла. На это и у него достанетъ ума. Нѣтъ! По чутью, какъ звѣрь, онъ долженъ догадаться, что съ Анной Серафимовной шутки плохи на этотъ счетъ. И головы не снесешь!..

Бѣлки у нея потемнѣли, а зрачки снова сузились.

Въ эту минуту Викторъ Миронычъ стоялъ у двери и пропустилъ сквозь зубы фистулой:

— Bonjour...

Она не обернулась.

XXII.

Одна, въ хозяйской половинѣ амбара, Анна Серафимовна вздохнула свободно. Она прошлась немного, сѣла въ низкое кресло мужа и, позвонивъ, приказала себѣ подать чаю. Ей принесли стаканъ съ лимономъ. Станицынъ оставилъ на пюпитрѣ нѣсколько не просмотрѣнныхъ фактуръ и счетовъ. Анна Серафимовна позвала еще разъ старшаго прикащика.

Старикъ подошелъ къ ручкѣ. Она отдернула. Глаза его смотрѣли умиленно. Максимъ Трифоновичъ искренно любилъ ее и тайно любовался ею, какъ женщиной, давно прозвалъ ее „королевой" и удивлялся ея дѣловымъ способностямъ.

— До отъѣзда Виктора Мироныча, — сказала она: — я конторой заниматься не буду. Я ужь на тебя полагаюсь, Трифонычъ, а если нужно усилить счетоводство — возьми еще парня.

При мужѣ она говорила ему „вы"; но съ глазу на глазъ ей, да и самому „Трифонычу", было ловчѣе такъ.

— Тутъ прибрать надо. Есть что къ спѣху? — спросила она, нагнувъ голову надъ бумагами.

— Платежи больше.

— Ну, такъ это — до завтра... Въ кассѣ сколько?

Трифонычъ помялся и съ жалобной усмѣшкой вымолвилъ:

— Наличными — самая малость.

— Хорошо... Завтра довѣренность какъ слѣдуетъ выправить. Я приготовлю. Виктора Мироныча уже безпокоить подписями нечего. Директоръ давно былъ по Рябининской фабрикѣ?

— На той недѣлѣ.

— Написать ему потрудись, чтобы пожаловалъ.

— Слушаюсь.

— Наверху еще не забирались?

— Нѣтъ еще-съ.

— Крикни-ка имъ, что я сейчасъ поднимусь.

Трифонычъ вышелъ и тихо-тихо притворилъ дверь.

Анна Серафимовна сняла опять шляпку, пальто и перчатки, аккуратно положила шляпку и пальто на диванъ, а перчатки — на шляпу, хлебнула раза два изъ стакана и посрединѣ комнаты вся выпрямилась, подперевъ себя руками сзади подъ ребра. Грудь у нея не опала отъ кормленія двоихъ дѣтей. Весь станъ сохранилъ дѣвственныя линіи. Хоть она и никогда не любила мужа, но развѣ она такая, какъ его „французенки", крашеныя, обрюзглыя или сухія, жилистыя? Одни ихъ сиплые голоса — отвращеніе! Или та вотъ — тоже, страсть-то его, что въ Біарицѣ познакомились, и теперь его обчищаетъ?.. Вылитая нѣмка изъ Риги, — нога въ полъ-аршина, губы намазаны, глаза на-выкатъ. Она видѣла портретъ. — Портретъ-то — шутка: шесть тысячъ стоилъ! Еще годъ, другой, и будетъ она въ дверь

толщиной. Влюбись онъ въ нее, въ Анну Серафимовну, и тогда все ту же брезгливость будетъ она къ нему имѣть. Онъ для нея не мужчина; но срамиться, имѣя такую жену, съ продажными гадинами, выдавать ихъ по отелямъ за законныхъ женъ?!

Глаза ея окинули отдѣлку лифа и юпку изъ тяжелаго свѣтлопесочнаго фая.

Она задумалась. Этотъ песочный цвѣтъ отзывался „купчихой". Она только тутъ это поняла. Зачѣмъ она выбираетъ такіе цвѣта? Разумѣется, самый купеческій цвѣтъ... „Жозефинка" говорила вѣдь ей, что не слѣдуетъ... А не все равно. Матерья прекрасная, не маркая, износу ей нѣтъ. Да для кого ей „шикъ"-то имѣть? Она любитъ хорошія вещи, и всякій скажетъ, что она „дамой" смотритъ, особенно на улицѣ въ шляпкѣ и въ пальто или накидкѣ Да, на улицѣ въ шляпкѣ; а вотъ выборъ матерій-то и выдаетъ. Не выбирай она купеческихъ колеровъ и не было бы такъ часто ни лицѣ Виктора Мироновича пренебрежительной усмѣшки:

„Пыжишься тоже, а вкусъ-то изъ Ножовой!"

Платье показалось ей совершенно безвкуснымъ. Она подаритъ его племянницѣ. Не то, чтобы она стыдилась своего званія, нѣтъ. Не желаетъ она лѣзть въ дворянки; но со вкусомъ одѣваться каждый можетъ... И нечего давать всякой дряни предлогъ смотрѣть на васъ свысока, оттого только, что вы цвѣта подходящаго не умѣете себѣ выбирать.

Наверху, въ складахъ матерій и сукна, прикащики пріостановились забираться, всѣ причесались и ожидали прихода хозяйки. Верхній амбаръ полонъ былъ свѣта, заходившаго именно теперь къ вечеру. По прилавкамъ и полкамъ играли полосы и „зайчики". Штуки разноцвѣтнаго товара цѣлыми стопами поднимались на прилавкахъ и по полу, у оконъ и столбовъ, поддерживающихъ своды. Запахъ набивныхъ ситцевъ и другихъ бумажныхъ тканей смѣшивался съ болѣе кислымъ запахомъ прессованнаго сукна. Складъ держался въ большой чистотѣ. Кромѣ штукатуренныхъ стѣнъ, ясеневыхъ полокъ и прилавковъ и чугуннаго пола, лѣстницъ и перегородокъ, не къ чему было пристать пыли и грязи.

Трифонычъ слегка поддерживалъ хозяйку подъ лѣвый локоть, когда она поднималась въ верхній амбаръ.

— Съ мѣсяцъ не была здѣсь, — сказала она и оглянула все помѣщеніе. — Тѣсно дѣлается?

— Нѣтъ-съ, еще управляемся, — откликнулся съ поклономъ главный довѣренный прикащикъ, степенный мужчина за сорокъ лѣтъ съ огромной русой бородой.

Оптовыхъ покупателей уже не ждали больше. Анна Серафимовна могла оглядѣть товаръ безъ помѣхи. Ей принесли стулъ; но она не сѣла, а отправилась сначала въ „свое" отдѣленіе, гдѣ лежали сукна. Она знала толкъ въ товарѣ и даже въ фабричномъ дѣлѣ. На своей фаб-

рикѣ почти каждаго мальчишку знала она по имени. Съ главнымъ прикащикомъ отдѣленія суконъ она перекинулась двумя-тремя словами, но въ отдѣленіи шерстянаго и бумажнаго товара ей захотѣлось пробыть подольше. И тутъ она много разумѣла: сортъ товара сразу называла точнымъ именемъ и рѣдко ошибалась въ фабричной цѣнѣ.

XXIII.

Около прилавка, въ уровень съ нимъ, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила прикащика:

— Это — бязь?

— Такъ точно.

— По какой цѣнѣ?

Онъ назвалъ.

— Дешевле стала?

— На двѣ копѣйки спустили, — пояснилъ прикащикъ.

— Все армяне берутъ?

— Такъ точно.

Всѣ прикащики боялись ее гораздо больше, чѣмъ хозяина. Его они давно прозвали „бездонная прорва“ и „лодырь“. Каждый изъ нихъ старался красть. Имъ уже шепнули снизу, что, должно быть, „сама“ беретъ въ свои руки все дѣло. Тогда надо будетъ подтянуться. Кто-ни-

будь непремѣнно полетитъ. Трифоныча они не долюбливали. Онъ усчитывалъ что могъ, и съ главными прикащиками у него часто бывали перебранки. Трифонычъ всегда держалъ руку хозяйки, почему его и считали „наушникомъ“ и „старой жилой“.

На лѣстницѣ послышались скорые мужскіе шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это былъ Палтусовъ въ шляпѣ и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что онъ ее засталъ въ амбарѣ, среди ситцевъ и суконъ, какъ настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетѣло мгновенно, хотя и заставило ее покраснѣть. Ну чтожь такое? Она купчиха, владѣтельница милліонной фабрики, занимается дѣломъ, смыслитъ въ немъ. Тутъ нѣтъ ничего постыднаго. Хорошо, кабы всѣ такъ поступали, какъ она.

Когда Палтусовъ подошелъ къ ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

— Ѣду по Варваркѣ, — мягко заговорилъ онъ, снимая шляпу и низко наклонивъ голову, какъ онъ дѣлалъ только передъ немногими женщинами. — Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна въ амбарѣ; а Виктора Мироновича нѣтъ... Вы заняты? Не мѣшаю?..

Отъ его голоса она замѣтно оживилась. Въ немъ было что-то такое, что дѣйствовало на нее совсѣмъ особенно. Передъ нимъ она рѣдко совѣстилась своего званія; но зато ей хочется

быть „выше“ этого званія, чтобы онъ видѣлъ въ ней „человѣка“, а не „кумушку“, какъ Викторъ Мироновичъ. И кажется, Палтусовъ такъ и начинаетъ на нее смотрѣть. Его наружность она находила рѣзкой противоположностью фигурѣ и лицу мужа. Ей нравился его складъ, ростъ, выраженіе глазъ, голосъ, манера говорить и держать себя... Онъ — „изъ господъ“, съ воспитаньемъ, вездѣ принятъ, служилъ въ кавалеріи и лекціи слушалъ, а не пренебрегаетъ бывать въ купеческихъ домахъ. И держится не какъ баринъ, спустившійся до купцовъ; во все онъ входитъ, обо всемъ обстоятельно разспроситъ, чрезвычайно простъ, никогда не скажетъ ни одной банальной любезности. Съ Викторомъ Миронычемъ сухо-вѣжливъ. Ни разу у него не ужиналъ. Ему не надо ни его сигаръ, ни его шампанскаго. Такого „барина“ она бы пригласила себѣ въ директоры фабрики, еслибъ онъ былъ техникъ. Только она минутами не то боится его, не то въ чемъ-то какъ будто подозрѣваетъ.

— Мѣшаете? — переспросила она: — ничуть!

— Разсматриваете товаръ?

— Да надо...

Она пошла къ лѣстницѣ и его пригласила рукой. Прикащики вразъ поклонились.

— Сами хозяйничать надумали? — говорилъ ей вслѣдъ Палтусовъ.

— Фабрикой... своей... я давно занимаюсь, а вотъ теперь...

Она остановилась на лѣстницѣ, двумя ступеньками ниже его, и обернулась, глядя на него снизу вверхъ.

— Супругъ уѣхалъ?

— Уѣзжаетъ.

— На долго?

— Не знаю. Чай, на всю зиму.

Ея приволжское „чай“ немного рѣзнуло его ухо, но тотчасъ же и понравилось ему. Голова Анны Серафимовны, съ широкими прядями волосъ, блескъ глазъ и стройность стана, — все это окинулъ онъ однимъ взглядомъ и остался доволенъ. Но цвѣтъ платья онъ нашелъ „купецкимъ.“ Она подумала то же самое и въ одну съ нимъ минуту, и опять смутилась. Ей стало нестерпимо досадно на это глупое, тяжелое, да вдобавокъ еще очень дорогое платье.

— Не угодно ли чаю? — спросила она, стараясь улыбнуться, у дверей хозяйскаго отдѣленія.

— Не откажусь, если есть.

— Сейчасъ... Максимъ Трифонычъ, — кивнула она въ сторону конторщика.

Палтусовъ вошелъ за нею.

— Вы, значитъ, берете на себя все дѣло? — сказалъ онъ ей тономъ утвердительнаго вопроса.

— Какъ это вы догадались?

— Догадался. И очень радъ.

Они присѣли на диванъ, налѣво отъ входа.

— Викторъ Миронычъ, — началъ онъ: — не дѣловой человѣкъ. У него тоска по... бульварамъ.

Палтусовъ разсмѣялся. Ей понравилось, что онъ говоритъ про ея мужа въ тонѣ приличной шутки, хотя и давно раскусилъ его. Такъ она желала бы, чтобъ въ ея присутствіи всѣ говорили о Станицынѣ, пока она считается его женой.

— Да, — спокойно сказала Анна Серафимовна.

Незамѣтно Палтусовъ взялъ ее за руку и почтительно пожалъ.

— Хорошій вы человѣкъ! — тихо вымолвилъ онъ и поглядѣлъ ей въ глаза ласково и кротко.

У ней внутри защекотало. Она слегка выдернула руку и обернула голову.

— Что же вы это изъ жалости говорите, Андрей Дмитричъ? спросила она.

— Нѣтъ! не изъ жалости! — съ живостью возразилъ онъ. — Цѣльный человѣкъ!.. Русская культура вотъ такая и должна быть... А точно — онъ какъ бы искалъ слово: — судьба ваша...

Онъ не договорилъ. Дверь скрипнула. Прикащикъ подавалъ ему стаканъ чаю.

— Вы не выпьете? — спросилъ Палтусовъ.

— Я ужъ пила.

— Вамъ ѣхать?

— Да, надо.

— И я тороплюсь.

Прикащикъ вышелъ.

— И вы опять соломенной вдовой останетесь?

Палтусовъ во второй заглянулъ ей въ глаза, но на большемъ разстояніи.

— Да я давно соломенная вдова! — вырвалось у Анны Серафимовны.

Оба они поднялись разомъ съ дивана.

XXIV.

Имъ обоимъ пріятно было бы остаться еще вдвоемъ въ этомъ хозяйскомъ отдѣленіи амбара. Но еслибъ у Анны Серафимовны и не случилось экстреннаго дѣла, она бы все-таки поспѣшила уѣхать. Палтусова она принимала нѣсколько разъ у себя на дому; но въ гостиной, въ огромной комнатѣ, на диванѣ, въ роли дамы, она тамъ не такъ близко сидѣла къ нему, думала не о томъ, слѣдила за собой, была больше стѣснена, какъ хозяйка.

— Можно будетъ нанести вамъ визитъ? — спросилъ Палтусовъ съ продолжительнымъ наклоненіемъ головы и протянулъ ей руку.

— Милости просимъ, — весело сказала она и не успѣла высвободить свою руку, какъ онъ поцѣловалъ ее немного выше кисти, гдѣ у ней поверхъ перчатки извивался длинный до локтя и тонкій браслетъ, въ видѣ змѣи, изъ платины.

— Я хотѣлъ разспросить васъ подробнѣе о вашей школѣ.

Они выходили въ наружное отдѣленіе конторы.

— Идетъ порядочно. Только вотъ теперь я рѣже буду ѣздить на фабрику.

„Отъ сердца ли спросилъ онъ про школу?“ подумала она и опустила вуалетку. Трифонычъ выросъ передъ нею. Оба конторщика приподнялись съ своихъ мѣстъ. Палтусовъ еще разъ простился и надѣлъ шляпу, когда брался за ручку двери. Она поклонилась ему и смотрѣла черезъ стекло, какъ онъ вышелъ подъ сводъ рядовъ, повернулъ вправо, спустился съ мостковъ и сѣлъ на пролетку. Его низкая шляпа, изгибъ спины, покрой пальто, лиловое одѣяло на ногахъ, борода съ профилемъ приходились ей очень по вкусу. Все это было и красиво, и умно. Она такъ и сказала про себя: „умно.“

Своимъ подчиненнымъ Анна Серафимовна сдѣлала одинъ общій поклонъ и сказала Трифонычу, подбѣжавшему къ ней, такъ, чтобы никто не разслыхалъ:

— Завтра пораньше зайди... и принеси всѣ платежи, самые нужные.

На что онъ шепнулъ:

— Слушаю, матушка, — и, подавшись назадъ, три раза тряхнулъ сѣдѣющей головой.

Малый у дверей бросился кликать кучера. Подъѣхалъ двумѣстный отлогій фаэтонъ съ открытымъ верхомъ. Лошадей Анна Серафимовна любила и кое-когда захаживала въ конюшню. Изъ экономіи она для себя держала только тройку: пару дышловыхъ, вороную съ сѣрой и одну для одиночки — она часто ѣзжала въ дрожкахъ — темнокараковаго рысака хрѣновскаго завода. Это была ея любимая лошадь. За

городомъ въ Паркѣ, или въ Сокольникахъ она обыкновенно говорила своему Ефиму:

— Пусти-ка Зайчика!

Зайчикъ бралъ раза два призы. Дышловыя были отлично выѣзжены. Ефимъ — не очень толстый, коренастый кучеръ, по-московски выбритый и съ большими усами. Жилъ сначала въ наѣздникахъ, на помѣщичьихъ заводахъ, пилъ рѣдко, за лошадьми ухаживалъ умѣло, отличался большой чистоплотностью и цѣнилъ въ хозяйкѣ то, что она любитъ лошадей, знаетъ въ нихъ толкъ и *жалѣетъ* ихъ, ѣздитъ умѣренно, зимой не морозитъ ни лошадей, ни кучера, когда нужно посылаетъ нанять извощичью карету. При Викторѣ Мироновичѣ состоялъ свой кучеръ, который въ отсутствіи барина пьянствовалъ и водилъ въ конюшню разныхъ „шлюхъ."

Между Ефимомъ и Анной Серафимовной установилось большое пониманіе.

— Въ Ильинскія ворота проѣдешь, — приказала она ему.

Малый застегнулъ фартукъ. Фаэтонъ тихо пробрался по переулку. Выѣхавъ на Ильинку, Ефимъ взялъ некрупной рысью. Ѣзда на улицѣ поулеглась. Возовъ совсѣмъ почти не видно было. Но трескъ дрожекъ еще перекатывался съ одного тротуара на другой.

Изъ своей легкой на ходу коляски, покачиваясь на пружинахъ шелковой репсовой подушки, Анна Серафимовна глядѣла впередъ,

не поворачивая головы по сторонамъ. Она и обыкновенно не дѣлала этого; а теперь ей надо было обдумать много серьезныхъ, дѣловыхъ вещей. Сейчасъ она должна заѣхать къ своему пріятелю-совѣтнику Ермилу Ѳомичу Безрукавкину. Онъ ея банкиръ и душеприкащикъ. Завѣщаніе свое она давно написала. Съ нимъ разговоръ будетъ короткій объ дѣлѣ. Деньги онъ приготовитъ. Ермилъ Ѳомичъ очень обрадуется, что съ завтрашняго дня все поступитъ къ ней на руки. Вотъ только охотникъ онъ до умныхъ разговоровъ. А ей къ спѣху. Ждутъ ее обѣдать къ „тетенькѣ" Марѳѣ Николаевнѣ Кречетовой. Тамъ садятся ровно въ пять. Ее подождутъ; но сильно запоздать она сама не хочетъ. Тетенька — человѣкъ нужный. Она — при хорошихъ деньгахъ; къ племянницѣ большое довѣріе имѣетъ. Придется, быть можетъ, перехватить. У Ермила Ѳомича она не желала бы дисконтировать, хотя онъ съ удовольствіемъ, хоть на двѣсти тысячъ, и больше. Да, неизвѣстно еще, какіе „суприз" приготовитъ мужеёкъ въ теченіе зимы.

Сквозь эти разсчеты и соображенія нѣтъ-нѣтъ то мелькнетъ лицо Палтусова, то вспомнится голосъ и та минута, когда онъ такъ быстро и ново для нея поцѣловалъ ей руку, выше кисти. И та минута, когда она стояла на лѣстницѣ и разсердилась еще сильнѣе на свое песочное платье. Теперь она опять слегка покраснѣла.

Проходилъ разнощикъ съ ананасомъ и виноградомъ.

— Стой! — крикнула Анна Серафимовна Ефиму.

Она подозвала разнощика. „Куплю тетушкѣ“— рѣшила она; но начала основательно торговаться.

Ананасъ уступили ей за три рубля. Это ей доставило удовольствіе: и не дорого, и подарокъ къ обѣду славный. Скупа ли она? Мысль эта все чаще и чаще приходила Аннѣ Серафимовнѣ. Скупа! Пожалуй, и говорятъ такъ про нее. И не одинъ Викторъ Миронычъ. Но правда ли? Никому она зря не отказывала. Въ домѣ за всѣмъ глазъ имѣетъ. Да какъ же иначе-то? На туалетъ — а она любитъ одѣться — тратитъ тысячи три. Зато въ школу цѣлый шкапъ книгъ и пособій пожертвовала. Можно-ли безъ разсчета?

Нѣжный запахъ ананаса, положеннаго въ открытый верхъ коляски, достигалъ до ея обонянія. И опять всплыли глаза Палтусова. Глазамъ-то она не вѣритъ. Очень ужь они мягки и умны. Такой человѣкъ на каждомъ хочетъ играть, какъ на скрипкѣ...

Ефимъ свернулъ съ Моросѣйки и остановился на просторномъ дворѣ у боковаго крыльца въ крытомъ проѣздѣ.

XXV.

Надо было позвонить. Ефимъ Ѳомичъ жилъ по за-граничному. Прислуживали ему камердинеръ и мальчикъ. Какъ холостякъ, онъ дома почти никогда не обѣдалъ; пріѣдетъ изъ города, переодѣнется, и на цѣлый вечеръ въ гости или обѣдать; а то въ театръ, если не сидитъ дома и не читаетъ книжку новаго журнала. До журналовъ — большой охотникъ и до русскихъ запрещенныхъ книгъ. Анна Серафимовна такъ и разочла: заѣхала къ нему теперь, передъ обѣдомъ. Въ своемъ амбарѣ онъ сидѣлъ только до четвертаго часа; а потомъ заѣзжалъ въ два-три мѣста по городу, а иногда въ Замоскворѣчье. Но домой непремѣнно завернетъ, сниметъ визитку, черный сюртукъ надѣнетъ и шляпу другую. Для амбара у него шелковая, высокая, а для гостей—поярковая, какія живописцы за-границей носятъ.

— Дома Ермилъ Ѳомичъ?

Отворилъ камердинеръ небольшаго роста, брюнетъ, франтовато и пестро одѣтый.

— Никакъ-нѣтъ-съ. Пожалуйте. Сейчасъ будутъ.

Онъ зналъ Анну Серафимовну. Ермилъ Ѳомичъ ему наказывалъ, что „эту даму“ всегда просить и освѣдомляться, не угодно ли чего: чаю, кофею, зельтерской или фруктовой воды.

Домъ у Ермила Ѳомича — небольшой, сна-

ружи не очень внушительный, отдѣланъ художникомъ... Уже въ передней фрески на стѣнахъ и по потолку показывали, что хозяинъ не желалъ довольствоваться обыкновенной барской или купеческой лакейской. Отдѣлка слѣдующихъ комнатъ, библіотеки, столовой, двухъ гостиныхъ, комнаты въ готическомъ вкусѣ, спальной и образной была извѣстна Аннѣ Серафимовнѣ. Она мало понимала въ произведеніяхъ искусства. Картины, бюсты, вазы оставляли ее равнодушной. И своей „тупости" она не скрывала. Мужъ ея не покупалъ картинъ. Деньги шли у него на кутежи, чванство, женщинъ и карты. Развить свой артистическій вкусъ ей было не на чемъ у себя дома, а заграницей на нее нападала ужасная тяжесть и даже уныніе отъ кочеванія по заламъ дрезденской галлереи, Лувра, вѣнскаго Бельведера, флорентинскихъ Уффицій.

Но во второй, маленькой гостиной у Ермила Ѳомича виситъ картина—женская головка. Анна Серафимовна всегда остановится передъ ней, долго смотритъ и улыбается. Ей кажется, что эта дѣвочка похожа на ея Маню. Ей къ новому году хочется заказать портретъ дочери. За цѣной не постоитъ. Пригласитъ изъ Петербурга Константина Маковскаго.

Камердинеръ ввелъ ее въ первую гостиную, съ узорчатымъ ковромъ и золоченой мебелью съ гобленами, и спросилъ, какъ всегда:

— Не угодно ли чего приказать?

Она отвѣтила, что ничего не желаетъ, опустилась у окна въ кресло и тутъ только почувствовала усталость въ ногахъ не отъ ходьбы, а отъ волненій сегодняшняго дня.

Потомъ вынула изъ кармана записную книжечку въ шелковомъ сиреневомъ переплетѣ, прикоснулась кончикомъ языка къ карандашу и записала нѣсколько цыфръ.

Надо изложить все Ермилу Ѳомичу покороче и подѣльнѣе насчетъ довѣренности и прочаго. А деньги онъ приготовитъ. Въ банки она не любила вкладывать. Да и не тотъ процентъ. Бумагъ купить—лопнетъ общество или самъ банкъ. Такой же человѣкъ, какъ Ермилъ Ѳомичъ, не лопнетъ. Ему ничего не значитъ давать ей десять процентовъ. Онъ на дисконтъ и всѣ сорокъ получитъ съ ея же денегъ.

Съ четверть часа подождала Анна Серафимовна. Каждый разъ, когда она попадала въ домъ Безрукавкина, ей приходила мысль: почему это Ермилъ Ѳомичъ не присватался за нее десять лѣтъ назадъ? Отецъ отдалъ бы за него непремѣнно. Ему, правда, лѣтъ сильно за пятьдесятъ; а тогда было за сорокъ. Влюбиться въ него трудно; да и зачѣмъ? Жила бы въ почетѣ, покойно, онъ бы ее только похваливалъ, нашелъ бы въ ней добрую помощницу. И какое она добро дѣлаетъ — все бы ему по душѣ. Онъ книжекъ читаетъ больше ея, да и не очень скупъ. Картины его надо бы похваливать, а она не понимаетъ въ нихъ толку.

Такъ она и теперь улыбается, когда онъ ей расписываетъ, что вотъ въ этомъ ландшафтѣ есть особеннаго. Она и теперь къ его языку примѣнилась: знаетъ, что есть „сочная кисть“ и „колоритъ“ и освоилась съ словомъ „зализать“ и „компоновка“. А тогда и подавно бы примѣнилась. И вдовой раньше бы была. Будто больше ничего и не надо?

Глаза Анны Серафимовны блеснули и прикрылись вѣками. Еще разъ кусокъ сегодняшняго разговора съ Палтусовымъ припомнился ей. Онъ назвалъ ее „соломенной вдовой“. И она сама это подтвердила. У ней это сорвалось съ языка; а теперь какъ будто и стыдно. Вѣдь развѣ не правда? Только не слѣдовало этого говорить молодому мужчинѣ съ глазу на глазъ, да еще такому, какъ Палтусовъ. Онъ не долженъ знать „тайны ея алькова“. Эту фразу она гдѣ-то недавно прочла. И Ермилъ Ѳомичъ, когда разойдется, то этакимъ точно языкомъ говоритъ.

— А!.. безцѣнная Анна Серафимовна! — раздалось надъ ея головой.

Безрукавкинъ, полный, русый, не очень еще старый, бородатый человѣкъ, въ короткомъ клѣтчатомъ пиджакѣ, на видъ скорѣе помѣщикъ, чѣмъ коммерсантъ, протягивалъ ей обѣ руки.

Она встала. Онъ ее опять усадилъ и, не выпуская рукъ, присѣлъ рядомъ на другое кресло.

— Денегъ надо, Ермилъ Ѳомичъ,—весело начала она.

— Черпайте! Приказывайте! Вашъ слуга и казначей...

— Да можетъ, моихъ-то не хватитъ...

— Такъ за мои примемся. А развѣ мужеенекъ?!.

Въ десяти словахъ она ему все изложила. Ермилъ Ѳомичъ слушалъ, закрывъ совсѣмъ глаза и чуть слышно мычалъ.

XXVI.

— Такъ вотъ какъ-съ,—выговорилъ съ удареньемъ Безрукавкинъ и поникъ головой.

— Одобряете?—спросила она.

— Еще бы! Абсолютно!

Онъ встряхнулъ волосами по модѣ сороковыхъ годовъ „à la moujik", и улыбаясь, глядѣлъ на свою гостью.

— Еще бы!—повторилъ онъ.—Умница вы, да и какая! Васъ бы надо къ намъ въ биржевой комитетъ или въ думу... Ей-ей! Все это превосходно — и полное мое вамъ одобреніе. Завтра пораньше Трифоныча ко мнѣ... Какую надо сумму и проектецъ довѣренности. У меня есть дока... Изъ нашихъ банковыхъ юрисконсультовъ. Я ему завтра покажу, нарочно заѣду. Такъ вы — онъ началъ говорить тихо: — пенсіончикъ супругу-то положили?..

Они оба расхохотались.

— А за пазухой надо сотни тысячъ держать!

— Да я такъ и буду готовиться, Ермилъ Ѳомичъ.

— Пожалуй и не хватитъ!..

Онъ ее жалѣлъ. Съ „дамами" Безрукавкинъ всегда бывалъ любезенъ; но Анну Серафимовну отличалъ особенно. Его влекли къ ней, кромѣ наружности, ея дѣловая натура и „истовый" видъ, умѣнье держать себя. И по части „вопросовъ" можно съ ней пройтись. Серьезныя книжки любитъ читать; статейку ей укажешь — непремѣнно прочтетъ, слушаетъ его почтительно, споритъ мало, и если съ чѣмъ несогласна, возражаетъ умно. Не разъ и онъ жалѣлъ, почему не пришло ему на мысль присвататься къ ней десять лѣтъ тому назадъ? Очень ужь онъ сжился съ своей холостой свободой. Все говорилъ: „такъ-то лучше", да и не взвидѣлся, какъ пятьдесятъ семь годковъ стукнуло.

Анна Серафимовна встала и посмотрѣла, который часъ. Пора на обѣдъ къ теткѣ. Ермилъ Ѳомичъ протянулъ ей обѣ руки и задержалъ ее еще минуты на двѣ въ гостиной.

— Когда же мы сядемъ рядкомъ,—спросилъ онъ:—да потолкуемъ ладкомъ?

— Забываете меня, заѣхали бы какъ-нибудь. Я вечера все дома сижу.

— Какова статейка-то въ послѣднемъ номерѣ, а?

Они перешли въ его библіотеку.

— Не читала еще.

— А а! Прочтите! Знаменіе времени! Вы раскусите, чѣмъ пахнетъ! Есть что-то такое, какъ бы это сказать... Протестація. Пришелъ конецъ нашему квасу-то. Мы шапками закидаемъ! Мы, да мы! А вся Европа намъ фигу кажетъ...

Безрукавкинъ быстро подошелъ къ письменному столу и взялъ книгу журнала. Она была развернута. Онъ надѣлъ-было очки и собрался прочитать Аннѣ Серафимовнѣ цѣлую страницу.

„Батюшки"! испугалась она и начала отступать къ двери.

— Торопитесь?—спросилъ онъ съ книжкой въ рукѣ.

— Да, извините, Ермилъ Ѳомичъ, спѣшу.

— Жаль; а тутъ вотъ есть одно выраженіе. Такъ у насъ еще не писали. Я боялся — остановка будетъ мѣсяца на четыре, однако до сихъ поръ Богъ миловалъ...

— Вотъ вы какой!.. — пошутила она.

— Я такой!.. Это точно. Изъ старыхъ западниковъ... У меня какіе друзья-то были? Кто мнѣ дорогу-то указалъ?.. Храни-молъ, Ермилъ, наши... какъ бы это сказать... инструкціи. Я и храню! Передъ Европой я не кичусь. Наука...

Онъ не докончилъ и подбѣжалъ къ этажеркѣ съ книгами.

— Эту вещицу не видали?

Глаза его заблестѣли, когда онъ поднесъ брошюру къ лицу Анны Серафимовны. Она прочла заглавіе.

— Интересно? — спросила она боязливымъ звукомъ.

Ермилъ Ѳомичъ оглянулъ комнату и продолжалъ шопотомъ и немного въ носъ.

— Я, вы знаете, этихъ господъ не признаю. Они чрезъ край хватили... Додумались до того, что наука, говорятъ, барское дѣло!.. Каково? Наука! А что бы мы безъ нея были?.. Зулусы, или какъ ихъ еще... вотъ что теперь Станлей, американецъ, посѣщаетъ... А есть два-три мѣста... мое почтеніе! Я отмѣтилъ краснымъ карандашемъ.

Анна Серафимовна стояла уже въ дверяхъ передней.

— Ахъ да! вамъ къ спѣху... Не хотите ли просмотрѣть брошюру?

— Боюсь, Ермилъ Ѳомичъ!

— Вы-то?.. Да вы смѣлѣе любаго изъ насъ.

— Гдѣ ужь! Дай Богъ со своей-то домашней политикой справиться.

— Ну, коли такъ, съ Богомъ! Пожалуйте руку. А если что — не побрезгуйте, заверните въ амбаръ.

— У васъ тамъ и безъ меня много дѣла.

— Какой! такъ по инерціи... Ей Богу! Сидишь, сидишь... Одинъ вексель учтешь, другой, третій; отчетъ по банку или по обществу просмотришь, въ трактиръ чайку. Китай!.. Ташкентъ!. По сіе время еще въ татарщинѣ находимся!

И онъ рѣзнулъ себя по горлу.

Въ передней Ермилъ Ѳомичъ собственноручно отворилъ Аннѣ Серафимовнѣ дверь въ сѣни и крикнулъ камердинеру:

— Проводи!

XXVII.

Къ тетушкѣ Марфѣ Николаевнѣ ѣзды было четверть часа. Минутъ пять она опоздаетъ, не больше. До сихъ поръ все идетъ хорошо. Ермилъ Ѳомичъ — вѣрный другъ. Онъ считается, какъ и она, скуповатымъ, а по своей части кряжистымъ „дисконтеромъ"; но она знаетъ, что онъ способенъ открыть ей широкій кредитъ. Да до кредита, авось, дѣло и не дойдетъ. Если она и спуститъ весь свой капиталъ въ первые два года, такъ послѣ выберетъ его. А ея суконная фабрика пойдетъ своимъ обычнымъ порядкомъ. Какой на нее „оборотный" капиталъ нуженъ, она не тронетъ его. Чистаго дохода съ фабрики она не проживетъ, даже еслибы съ мануфактуръ Виктора Мироновича и не получалось никакого дохода, до покрытія его долговъ. Только надо хорошенько все оговорить и слѣдить за нимъ. Пожалуй, придется имѣть вѣрнаго человѣка за границей.

Она задумалась.

Нехорошо! Чтожъ это будетъ, въ сущности? Похоже на шпіонство. Какое шпіонство? Простое наблюденіе... Подъ рукой кому слѣдуетъ дать знать—магазинщикамъ и прочему люду,

что хотя онъ и можетъ подписывать векселя, но платить нечѣмъ, все у него заложено, а распоряженіе дѣломъ у жены. Если онъ не уймется — она ему предложитъ дать ей вторую закладную на мануфактуры. Тогда пускай пишетъ векселя. За нею все равно останется его недвижимость. Не хватитъ у ней своихъ денегъ, Ермилъ Ѳомичъ дастъ безъ залога, учтетъ вексель на какую угодно сумму, да и въ банкахъ можно учесть. У ней лично кредитъ солидный—гдѣ хочетъ: и въ государственномъ, и въ торговомъ, и въ купеческомъ, и въ учетномъ.

Все дѣла да дѣла, разсчеты, подозрѣнія, цыфры, рубли. Сушь! А день стоитъ такой радостный. Вотъ пять часовъ; а тепло еще не спало. Даже на весну похоже; воздухъ и грѣетъ, и опахиваетъ свѣжестью.

Анна Серафимовна потянула на себя полы шелковаго пальто. Она не вернется домой до вечера. А вечеромъ засвѣжѣетъ. Кто знаетъ, быть можетъ, и морозикъ будетъ. Вѣдь черезъ нѣсколько дней на дворѣ октябрь. Ей дадутъ что-нибудь тамъ, у тетки. Она не одного роста съ кузиной, зато худощавѣе.

Коляска ѣхала на добрыхъ рысяхъ. Ефимъ натянулъ возжи. Лошади, настоявшись до сыта, немного горячились и закусывали, то та, то другая, удила уздечки. Раза два на плохой мостовой порядочно качнуло. Но нить мыслей Анны Серафимовны не прервалась. Дѣла не позволяли ей отдаться своимъ ощу-

щеніямъ. Да она, за послѣднее время, точно отказалась отъ своей жизни. Какъ будто забыла, что ей всего двадцать семь лѣтъ, что считаютъ ее хорошенькой, цѣлуютъ ручки, всячески отличаютъ ее, обходятся съ нею совсѣмъ не такъ, какъ съ женщинами ея круга. Не потому ли, что она слыветъ за милліонершу? Кто знаетъ? И этотъ Палтусовъ точно также...

Она не замѣчала, что уже третій разъ послѣ разговора въ амбарѣ мысль ея переходила къ этому человѣку. Ей хотѣлось теперь еще сильнѣе, чтобы онъ не смотрѣлъ на нее только какъ на купчиху-скопидомку. Надо ей больше читать; вотъ когда дѣло наладится, послѣ отъѣзда мужа. Она не мало читала и любитъ серьезныя вещи. Не слишкомъ ли ужь она скромна? Вонъ хоть бы взять Ермила Ѳомича. Онъ такъ и рѣжетъ. Правда, не всегда у него иностранное слово кстати. Сегодня онъ пустилъ и „протестаціи“ и „инерцію“... А вѣдь онъ на мѣдныя деньги учился. Когда онъ ей разъ записку написалъ, такъ ни одной живой „яти“ не было. Развѣ у ней такая грамотность? Она изъ пансіона второй ученицей вышла... И дѣтей будетъ сама учить—и русскому, и когда надобность будетъ, такъ и ариѳметикѣ и географіи. Степенность и осторожность ее одолѣваютъ. И людей мало видитъ умныхъ, развитыхъ. А Ермилъ Ѳомичъ промежду нихъ терся лѣтъ еще двадцать пять назадъ; на немъ и

осталась эта чешуя... Вотъ онъ „западникъ“— и поди съ нимъ тягайся!

Ловко, крутымъ поворотомъ влетѣлъ Ефимъ во дворъ одноэтажнаго длиннаго дома съ мезониномъ и крыльями — въ родѣ галлерей — окрашеннаго въ нѣжно абрикосовый цвѣтъ. Дворъ уходилъ въ глубь, гдѣ за чугунной бѣлой рѣшеткой краснѣли остатки листьевъ на липахъ и кленахъ. Домъ Марѳы Николаевны Кречетовой занималъ широкую полосу земли, спускавшейся къ Яузѣ. Изъ сада видны были извилины рѣки, овраги, фабрики, мостъ, а надъ ними, на другомъ берегу, богатыя церкви и хоромы Рогожской, каланча части, и еще дальше башни и ограды монастыря. Точно особенный городъ поднимался тамъ, весь каменный, съ золотыми точками крестовъ и главъ, съ садами и огородами, съ внѣшне-строгой обрядной жизнью древняго благочестія, съ хозяйскимъ привольемъ закромовъ, амбаровъ, погребицъ, сараевъ, рабочихъ казармъ, затѣйливыхъ бесѣдокъ и вышекъ.

XXVIII.

Въ переднюю, просторную, низкую, полукруглую комнату, высыпала молодежь встрѣтить Анну Серафимовну. Поднялись говоръ, смѣхъ, оглядыванье туалета, поцѣлуи. Всѣхъ шумнѣе держала себя ея двоюродная сестра,

меньшая, незамужняя дочь Марѳы Николаевны—Любаша, широкоплечая, небольшаго роста, грудастая дѣвица. Ея темные волосы были распущены по плечамъ. Замѣтный пушокъ легъ вдоль верхней губы. Разомъ взявшись за руки, накинулись на гостью двѣ дѣвушки, обѣ блондинки, высокія, перетянутыя, одна въ короткихъ волосахъ, другая въ косѣ, перевязанной цвѣтною лентой—такія же бойкія, какъ и Любаша, но менѣе рѣзкія и съ болѣе барскими манерами. Одна была консерваторка Кисельникова изъ купеческихъ дочерей, другая—учительница Селезнева, дающая уроки по богатымъ купцамъ, изъ чиновничьей семьи. Онѣ очень походили одна на другую и схоже одѣвались; бывали въ однихъ домахъ, разомъ начинали хохотать и кричать, вмѣстѣ бранились съ своими кавалерами и безпрестанно переглядывались. Въ дверяхъ показались два подростка, въ разстегнутыхъ мундирахъ техническаго училища, а за ними, уже изъ залы видна была низменная фигура молодаго брюнета въ бородкѣ, съ золотымъ pince-nez, въ бѣломъ галстухѣ при черномъ, чрезмѣрно длинномъ сюртукѣ—помощникъ присяжнаго повѣреннаго Мандельштаубъ, изъ некрещенныхъ евреевъ.

— Тетя! Пора!—кричала Любаша, тиская Анну Серафимовну.

Она давно привыкла звать ее „тетя“.

— Всего пять минутъ опоздала.

— Жрать смерть хочется!—сошкольничала

Любаша на ухо, но такъ, что подруги ея слышали и разразились смѣхомъ.

— Ахъ, Люба!—вырвалось у Селезневой.— Она при постороннихъ церемонилась.

— Ну, ладно!—отозвалась Любаша.—Тетя! голубушка! шляпка-то у васъ—цѣлый овинъ. А лихо! Только я ни за что бы не надѣла. Пожалуйте, пожалуйте, родительница ужь переминается.

Она схватила Анну Серафимовну за плечи и больше потащила, чѣмъ повела въ залу.

— Брысь! брысь! Реалисты-стрекулисты!— крикнула она на техниковъ, расталкивая ихъ. —Не пылить!..

Въ залѣ накрытъ былъ столъ во всю длину, человѣкъ на четырнадцать. Особой столовой у Мареы Николаевны не было. Она не любила и большихъ дубовыхъ шкаповъ. Посуда помѣщалась въ „буфетной“ комнатѣ. Бѣлый съ золотымъ обои, рояль, ломберные столы, стулья, образъ съ лампадкой: зала смотрѣла суховато-чопорно и чрезвычайно чисто. За чистотой блюла сама Мареа Николаевна, а Любаша, напротивъ, оставляла вездѣ слѣды своей непорядочности.

— Вы незнакомы?—спросила она помощника въ бѣломъ галстухѣ и указывая на Станицыну.

— Не имѣлъ удовольствія встрѣчать...— началъ было онъ.

— Ну, вы какъ затянете. Тетя моя, то бишь, сестра двоюродная... ну да это все равно...

Анна Серафимовна. Видите, какая прелесть... А это адвокатъ... то бишь, помощникъ Мандельбаумъ.

— Штаубъ, — поправилъ онъ полуобиженно, но улыбающійся... За Любой давали полтораста тысячъ — можно было и православіе принять.

— Ну, все равно! Штаубъ, Баумъ, Шмерцъ. Все едино, что хлѣбъ — что мякина... А вы знаете, тетя милая, у насъ зять.

— Кто? — тихо спросила Анна Серафимовна, все еще не пришедшая въ себя.

— Зять, Сонинъ мужъ. Докторъ Лепехинъ. Вотъ сейчасъ справлялся тоже — скоро ли обѣдать. А я ему говорю: лопайте закуску!

— Любовь Савишна, — покачалъ головой брюнетъ. — Вы все нарочно.

— Сойдетъ!.. Для такихъ кавалеровъ — не начать ли парлефрансе?

И она чуть-чуть не высунула ему языкъ. Дѣвицы шли назади и все „прыскали.“

Въ дверяхъ гостиной наткнулись они еще на подростка — въ солдатскомъ мундирѣ, очкахъ, съ большимъ количествомъ прыщей на красномъ потномъ лицѣ. Онъ хлопнулъ каблуками.

— Это ничего, — пояснила Любаша Аннѣ Серафимовнѣ. — Изъ училища. — Я имъ всѣмъ говорю: что вы къ намъ шатаетесь; зубрить вамъ надо. Ей-богу, директору напишу, чтобъ пробрали. А они все на счетъ любовной страсти. Этакіе-то корпусятники!

Любаша приложила руку къ сердцу, сгри-

масничала и тряхнула своей гривой. Анна Серафимовна сдержанно засмѣялась и шепнула ей:

— Полно, нехорошо!

— Сойдетъ! — крикнула ей въ отвѣтъ Любаша и ввела въ гостиную.

XXIX.

На среднемъ диванѣ, подъ двумя портретами „молодыхъ“ — писанныхъ тридцать пять лѣтъ передъ тѣмъ, бодро сидѣла Марѳа Николаевна и наклонила голову къ своему собесѣднику, доктору Лепехину, мужу ея старшей дочери Софьи, медицинскому профессору, пріѣзжему изъ провинціи. Марѳа Николаевна сохранилась: темные волосы, зачесанные за уши, совсѣмъ еще не серебрились даже на вискахъ, красиво сдавленныхъ. Кожа потемнѣла противъ прежняго; но все еще была для ея лѣтъ замѣчательно бѣла. Въ линіи носа, въ глазахъ, не утратившихъ блеска, сидѣло фамильное сходство съ племянницей. Она немного согнулась, но не сгорбилась. Голову ея драпировала черная кружевная косынка, надѣтая, по своему, вродѣ платочка. Черное же шолковое платье, съ большой перелиной, придавало ей значительность и округляло ея сухой станъ. Она все собирала и какъ бы закусывала свои тонкія губы, почему кумушки и болтали, что она при-

держивается рюмочки. Но это была чистѣйшая клевета. Марѳа Николаевна, правда, имѣла привычку выпивать за обѣдомъ и ужиномъ по рюмкѣ тенерифу, но къ водкѣ отроду не прикладывалась.

Обширный диванъ съ высокой рѣзной орѣховой спинкой раздѣлялъ двѣ большія печи — расположеніе старыхъ домовъ — съ выступами, на которыхъ стояло два бюста изъ алебастра подъ бронзу. Обивка мебели, шелковая, темно-желтая, сливалась съ такого же цвѣта обоями. Отъ нихъ гостиная смотрѣла уныло и сумрачно; да и свѣтъ проникалъ сквозь деревья — комната выходила окнами въ садъ.

Зятя Марѳы Николавны Анна Серафимовна видѣла всего два раза: когда онъ вѣнчался, да разъ за-границей. Ей показалось, что онъ похудѣлъ и обросъ еще больше волосами. Борода начиналась у него тотчасъ подъ нижними вѣками. На головѣ волосы курчавились и торчали въ видѣ шапки. Ему можно было дать лѣтъ тридцать пять. Въ начинающихся сумеркахъ гостиной блестѣли его большіе, круглые глаза восточнаго типа. Онъ весь ушелъ въ кресло и поджалъ подъ него длинныя ноги. Фракъ сидѣлъ на немъ мѣшковато: профессоръ пріѣхалъ отъ какого-то чиновнаго лица.

— Ахъ! Аннушка! — встрѣтила Марѳа Николавна племянницу своимъ пѣвучимъ голосомъ. — Мы думали — не будешь, спасибо, спасибо.

Старуха приподнялась съ дивана, вышла изъ-за стола, обняла Анну Серафимовну и поцѣловала ее два раза.

— Маменька! — вмѣшалась Любаша. — Я велю давать супъ. Мужчинки! — крикнула она,— полумужчинки! закуску можете травить!.. Маршъ!

— Люба! что ты это мелешь? — не то что очень строго, но все-таки по матерински, остановила ее Марѳа Николавна.

Она давно перестала сердиться на дочь за ея языкъ и обхожденіе. Ссориться ей не хотѣлось. Пожалуй, сбѣжитъ... Лучше на покоѣ дожить, безъ скандала. Марѳа Николаевна только въ этомъ дѣлала поблажку. Въ домѣ хозяйкой была она. Деньги лежали у нея. Всю недвижимость мужъ ей оставилъ въ пожизненное владѣніе, а деньги прямо отдалъ. Люба это прекрасно знала.

— Егоръ Егорычъ, — обратилась она къ зятю. — Наша Аннушка-то какая милая... Вы какъ ровно не признали ее.

— Призналъ-съ, — отвѣтилъ горловымъ голосомъ зять, всталъ и протянулъ руку Аннѣ Серафимовнѣ.

Онъ ей никогда не нравился. Она даже побаивалась его учености и рѣзкаго тона. Говорилъ онъ точно ногу или руку рѣзалъ.

— Закусить, милости прошу, — пригласила старуха. — Люба! проси гостей въ залу.

Племянницу Марѳа Николавна придержала въ гостиной и шепнула ей:

— Не привезъ жену-то!.. Такъ скрутилъ. Даромъ, что бойка была. Вотъ я тоже и Любови говорю: дай срокъ-отъ, нарвешься ты вотъ на такого же большака...

Опершись слегка на руку Анны Серафимовны, красивая старуха перешла въ залу, истово перекрестилась большимъ крестомъ, сѣла на хозяйское мѣсто, гдѣ высилась стопа тарелокъ и начала неторопливо разливать щи.

— Сюда, сюда, — указывала она рядомъ съ собою Аннѣ Серафимовнѣ.

Молодежь долго шушукалась и топталась около закуски. Изъ задней двери выплыли двѣ сѣрыя фигуры и сѣли, молча поклонившись гостямъ.

— Гдѣ же Митроша? — спросила Марѳа Николавна.

— Не пріѣзжалъ еще! — откликнулась Любаша: — намъ изъ-за него не... — Она хотѣла сказать „околѣвать", но воздержалась.

Осталось незанятыми два прибора. Подростки и дѣвицы, наѣвшись закуски, загремѣли стульями и заняли уголъ противъ хозяйки.

XXX.

— Тетя! — крикнула Любаша черезъ весь столъ, упершись объ него руками, знаете, кого мы еще къ обѣду ждали?

— Кого?

— Сеню Рубцова... вы его помните ли?

Анна Серафимовна стала вспоминать.

— Родственникъ дальній, — пояснила Мареа Николавна: — Анфисы Ивановны покойницы сынокъ. И тебѣ приходится также, — наклонилась она къ племянницѣ.

— Нашему слесарю — двоюродный кузнецъ!.. — откликнулась Любаша. Техникъ и юнкеръ какъ-то гаркнули однимъ духомъ.

Профессоръ ѣлъ щи и сильно чмокалъ, посапывая въ тарелку. Прислуживалъ человѣкъ, въ сюртукѣ степеннаго покроя, изъ бывшихъ крѣпостныхъ, а помогала ему горничная, разносившая поджаристыя большія ватрушки. Посуда изъ англійскаго фаянса съ синими цвѣтами придавала сервировкѣ стола характеръ еще болѣе тяжеловатой зажиточности. Въ домѣ всѣ пили квасъ. Два хрустальныхъ кувшина стояли на двухъ концахъ, а по срединѣ ихъ массивный граненый графинъ съ водой. Вина не подавали иначе какъ при гостяхъ, кромѣ бутылки тенерифа для Мареы Николавны. На этотъ разъ и передъ зятемъ стояла бутылка дорогаго рейнскаго. Молодежи поставили двѣ бутылки ланинской воды; но техники и юнкеръ пили за закускою водку, и глаза ихъ искрились.

— Тетя! — крикнула опять Любаша: — Сеня-то какой сталъ чудной! Мериканца изъ себя корчитъ. Мы съ нимъ здорово ругаемся.

Анна Серафимовна ничего не отвѣтила. Она

разслышала, какъ адвокатскій помощникъ сказалъ Любашѣ:

— А вы большая охотница... до этого?..

Тетка старалась ввести ее въ разговоръ съ зятемъ. Онъ обѣихъ давилъ своимъ присутствіемъ, хотя и держался непринужденно, какъ въ трактирѣ, и не выражалъ желанія кого-либо изъ присутствующихъ занимать разговорами.

— Вотъ Егоръ Егорычъ — начала Марѳа Николаевна: — разсказываетъ про свои мѣста.: Про поляковъ... не очень ихъ одобряетъ...

Онъ только повелъ бѣлками и выпилъ послѣ тарелки щей большую рюмку рейнвейна.

— Егоръ Егорычъ, — подхватила съ своего мѣста Любаша: — прославился тѣмъ, что Дарвинову теорію приложилъ къ обрусѣнію... Не пущай! какъ у Щедрина...

Вся молодежь расхохоталась. Мандельштаубъ даже взвизгнулъ, бѣлокурыя дѣвицы переглянулись и толкнули одна другую.

— Люба! — строго остановила мать и покачала головой.

Обросшія щеки профессора пошли пятнами.

— А вы знаете ли, что такое Дарвинова теорія? — спросилъ онъ глухо.

— Гни въ бараній рогъ! Кто кого сильнѣе, тотъ того и жри!.. — обрѣзала уже въ сердцахъ Люба.

Она терпѣть не могла своего шурина.

— И будемъ гнуть-съ! — также со злостью отвѣтилъ онъ и ударилъ ножемъ о скатерть.

„Господи!..“ подумала Анна Серафимовна, „они подерутся.“

Подали круглый пирогъ съ курицей и рисомъ — какіе подавались въ помѣщичьихъ домахъ, до эмансипаціи. Зазвякали ножи, всѣ присмирѣли и въ молодомъ углу ѣли взапуски... Любаша ужасно дѣйствовала своимъ приборомъ. Анна Серафимовна старалась не глядѣть на нее. Вилку Любаша держала торчкомъ, прямо и „всей пятерней“ — какъ замѣчала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножикъ — также, ѣла съ ножа рѣшительно все, а дичь, цыплятъ и всякую птицу исключительно руками, такъ что и подругъ своихъ заразила тѣми же пріемами. Невольно бросила Анна Серафимовна взглядъ на свою кузину. Въ эту минуту Любаша совсѣмъ легла на столъ грудью, локти приходились въ уровень съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ ставятъ стаканы, она громко жевала, губы ея лоснились отъ жиру, обѣими руками она держала косточку курицы и обгрызывала ее. Глаза ея задорно были устремлены на зятя и говорили:

„Вотъ дай срокъ, я догложу, задамъ я тебѣ феферу!“

— Какъ вы это страшно сказали, — съ улыбкой замѣтила Анна Серафимовна профессору.

Онъ дожевалъ и, не поднимая головы, выговорилъ:

— Такой народъ!..

— Маменька, — донесся голосъ Любаши: — здѣсь вина нѣтъ... Тамъ рейнвейнъ стоитъ — и она ткнула рукой въ воздухъ — а здѣсь хоть бы чихирю какого поставили.

Мать показала головой лакею на свою бутылку тенерифу.

— Нѣтъ, нѣтъ! Покорно спасибо. Пожалуйте намъ краснаго!.. Лафиту!

Подозвана была горничная. Мареа Николаевна что-то шепнула ей и сунула въ руку ключи.

Въ передней заслышались шаги.

— Вотъ Митроша! — возвѣстила Любаша; потомъ оглядѣла всѣхъ и вскрикнула: — вѣдь насъ тринадцать будетъ!..

Всѣ переглянулись, не исключая и зятя. Мать пустила косвенный взглядъ на двѣ сѣрыя фигуры: одна была приживалка — маіорша, другая — родственница, вдова злостнаго банкрота.

— Ха, ха! — сквозь зубы разсмѣялся зять и поглядѣлъ на Любашу. — Дарвина имя всуе употребляете, а тринадцати за столомъ боитесь.

— И боюсь! И всѣ боятся, только стыдно сказать... И вы, когда попа встрѣтите, что-то такое выдѣлываете, я сама видала.

Приживалка-родственница безмолвно встала и отошла въ сторону.

— Поставь ихъ приборъ на ломберный столъ, — приказала лакею Мареа Николаевна.

Всѣ точно успокоились и стали доѣдать рисъ и сдобныя корки пирога. Подали и бутылку краснаго вина. Досталось по рюмкѣ молодому концу стола. Любаша пролила свое вино; юнкеръ началъ засыпать пятно солью и высыпалъ всю солонку.

XXXI.

Къ ручкѣ Марѳы Николаевны подошелъ сынъ ея Митроша, или „Митрофанъ Саввичъ", какъ звала его сестра, когда желала убѣдить его въ томъ, что онъ „идіотъ" и „чучело". Онъ походилъ на сестру только широкой костью и не смотрѣлъ ни гостинодворцемъ, ни биржевикомъ. Всего скорѣе его приняли бы за домашняго учителя, или даже за отставнаго военнаго, отпустившаго бороду. Одѣтъ онъ былъ въ модный темный драповый сюртукъ, но все на немъ сидѣло небрежно и точно съ чужаго плеча. Рыжеватые волосы, давно нестриженные, выдавались надъ лбомъ длиннымъ клокомъ, борода росла въ разныхъ направленіяхъ. На переносицѣ залегли двѣ прямыя морщины, и брови часто двигались. — Ему минуло двадцать семь лѣтъ.

Митрофанъ Саввичъ поклонился всѣмъ небрежно и торопливо, и сѣлъ рядомъ съ шуриномъ. Онъ его почиталъ и постоянно ему поддакивалъ. Анна Серафимовна знала напередъ, какъ онъ будетъ себя вести: сначала посидитъ

молча, будетъ жадно „хлебать“ щи и громко жевать сухую ѣду, а тамъ вдругъ что-нибудь скажетъ насчетъ политики или биржи, и начнетъ кричать сильнѣе, чѣмъ Любаша, точно его кто больно сѣчетъ по голому тѣлу; прокричавшись, замолчитъ и впадетъ въ тупую угрюмость. Если за столомъ сидитъ кто, играющій на какомъ-нибудь инструментѣ, онъ заговоритъ о своемъ корнетъ-пистонѣ. Играетъ онъ цѣлые дни, по возвращеніи домой, собралъ на своей половинѣ цѣлую коллекцію мѣдныхъ инструментовъ, а когда устанетъ, призоветъ двухъ артельщиковъ и приказываетъ имъ дѣйствовать на механическомъ фортепьяно. Съ десяти до четырехъ онъ сортируетъ товаръ: марену, кубовую краску, буру, баканъ, кошениль, скипидаръ, керосинъ. Въ этомъ онъ считается большимъ докой. Передъ обѣдомъ бываетъ на биржѣ. Анна Серафимовна все это знала и почему-то, каждый разъ, говорила себѣ:

„А вѣдь свезутъ его когда-нибудь въ Преображенскую больницу.“

Не прошло и пяти минутъ, какъ Митроша выпилъ квасу и уже кричалъ высокой фистулой по поводу какой-то депеши объ англичанахъ:

— Торгаши проклятые!.. Опять гадить! Ужь мы ихъ припремъ!.. Эти самые текинцы! Откуда взялись текинцы? Биконсфильдъ!.. Жидовское отродье! И вдругъ въ лорды произвели! Съ паршами-то!

Помощникъ присяжнаго повѣреннаго повернулъ голову въ своихъ высокихъ стоячихъ воротникахъ при крикѣ „жидовское отродье". И „парши" ему не пришлись по вкусу. Въ другомъ мѣстѣ онъ напомнилъ бы, что и Спиноза былъ тоже „съ паршами", но полтораста тысячъ... все полтораста тысячъ...

Любаша наклонилась къ нему и сказала громкимъ шопотомъ:

— Пускай его!.. Сейчасъ клапанъ-то закроется! У него вѣдь это вдругъ!..

Дѣвицы хотѣли расхохотаться, но просидѣли тихо: каждая имѣла тайные виды на Митрошу.

Шуринъ согласился съ нимъ. Молодежь слышала, какъ онъ съ какимъ-то даже щелканьемъ своихъ бѣлыхъ зубовъ сказалъ:

— Пустить надо граматы! Индійскій народъ за насъ.

„Что за столпотвореніе вавилонское", подумала Анна Серафимовна. — Ее начало давить, какъ во снѣ, когда васъ „домовой" — такъ ей разсказывала когда-то няня — душитъ своей мохнатой лапой.

Рыба, на длинной деревянной доскѣ, покрытой салфеткой, слѣдовала за пирогомъ. Соусъ „по-русски" подавала горничная особо. Любаша, какъ и всѣ, кромѣ Анны Серафимовны — ее научилъ мужъ — ѣла всякую рыбу ножомъ и крошила ее, точно она сбирается мастерить тюрю. Никто не услыхалъ, какъ въ дверяхъ залы показался новый гость, высокаго роста,

съ волосами и бородкой каштановаго цвѣта и пробритой губой, что́ могло бы придавать ему наружность голландскаго или шведскаго шкипера. Но черты его загорѣлаго лица были чисто-русскія, не очень крупныя. Круглый носъ и свѣтло-сѣрые глаза, сочныя губы и широкій подбородокъ, — все это отзывалось Поволжьемъ. Вокругъ рта и подъ носомъ появлялись мелкія складки юмора. Онъ держалъ въ рукахъ шотландскую шапочку. На немъ плотно сидѣлъ клѣтчатый коричневый сьютъ. Его сапоги на двойныхъ подошвахъ издавали сильный скрипъ.

— Сеня! — первая увидала его Любаша, бросила салфетку, не утеревшись, и вскочила изъ-за стола.

— Опять тринадцать будетъ! — крикнула дѣвица Селезнева.

Приживалку посадили на прежнее мѣсто. Было не мало хохоту. Новый гость пожалъ руку Марѳѣ Николаевнѣ, Любашѣ, ея брату и шурину. Его посадили рядомъ съ Анною Серафимовною.

XXXII.

Ихъ перезнакомили. Дѣйствительно, онъ приходился въ одинаковомъ дальнемъ родствѣ и покойному мужу Марѳы Николаевны и ей самой, а стало быть и Аннѣ Серафимовнѣ. Тетка припомнила племянницѣ, что они „съ

Сеней“ игрывали и даже „дирались“, за что Сеню разъ больно „выдрали.“

Анна Серафимовна незамѣтно, но внимательно оглядѣла его.

— Какъ васъ звать? — тихо спросила она подъ шумъ голосовъ и стукъ ножей.

— Купеческій братъ Любимъ Торцовъ, — пошутилъ онъ.

Говоръ его не то что отзывался иностраннымъ акцентомъ, а звучалъ какъ-то особенно, пожестче московскаго.

— Нѣтъ, по отечеству?

— Тихонычъ! — уже совсѣмъ по-купечески произнесъ онъ и даже на „о“ сильнѣе, чѣмъ она произносила.

Это ей понравилось.

— Вы на Волгѣ все жили? — спросила она.

— На Волгѣ... десять лѣтъ невступно.

— Вѣдь я старше васъ? — ласково выговорила она и въ первый разъ подольше остановила на немъ свои глаза.

Рубцовъ тоже уставилъ глаза въ ея брови: онъ такихъ давно не видалъ.

— Ну, врядъ ли, — бойко, немного хриповатымъ голосомъ отвѣтилъ онъ... — Мнѣ двадцать шестой пошелъ. Я вотъ Митрофана на два года моложе.

— А я васъ на два года старше...

Ей и то почему-то было пріятно, что она старше его. На видъ онъ смотрѣлъ тридцатилѣтнимъ.

— И вы, — продолжала она по-немногу спрашивать: — давно съ Волги-то?

— Да... семь годовъ будетъ... Аттестатъ зрѣлости не угодилъ получить. Вы нешто не слыхали? Отецъ въ дѣлахъ разорился въ лоскъ... И мать въ скорости умерла. Сестра въ Астрахани замужемъ. Вотъ я, спасибо доброму человѣку, — и уѣхалъ за море.

— Въ Англіи все были?

— И въ Америкѣ тоже. Какія крохи оставались — я махнулъ на нихъ рукой... Да вы что же все про меня? Вы лучше про себя разскажите. Вонъ вы, сестричка, какая... Вы не обидитесь. Я васъ, помню, такъ звалъ.

— Зовите... И по какой же вы тамъ части?

— Да по всякой... Кой-чему научился, какъ слѣдуетъ. Изъ фабричнаго дѣла — суконное знаю порядочно.

— Суконное?—вскричала Анна Серафимовна.

— А что?

— Какъ это славно!

— Не хотите ли меня брать?

— Что же?

— Смотрите! Дорогъ я!

Онъ разсмѣялся и она съ нимъ. Имъ стало ловко, весело, они сейчасъ почувствовали, что во всемъ обѣдѣ только между собою и могутъ вести они разговоръ людей, понимающихъ другъ друга. Появленіе этого „братца“ сегодня, послѣ сцены въ амбарѣ, предъ открывающейся передъ нею вереницей дѣловыхъ заботъ и оди-

ночества — разомъ освѣжило Анну Серафимовну... Не даромъ, точно по предчувствію, спѣшила она къ теткѣ. Ей, конечно, было бы пріятнѣе найти въ Семенѣ Тихоновичѣ побольше изящества въ манерахъ и въ говорѣ; но и такъ онъ для нея былъ подходящій человѣкъ... Въ немъ она учуяла характеръ и живой умъ. Такой малый — не выдастъ... Остался мальчикомъ въ погромѣ дѣлъ отца, не пропалъ, учился, побывалъ въ Америкѣ... Не шутка! И все-таки не важничаетъ, не тычетъ въ носъ заграницей, говоритъ сильно на „онъ", напоминаетъ ей своимъ тономъ дѣтство. Да еще моложе ея на два года!..

Любаша съ прихода Рубцова замѣтно притихла. Она прислушивалась къ разговору его съ Анной Серафимовной, начала насмѣшливо улыбаться, отъ жаренаго — подавали индѣйку, чиненую каштанами — отказалась и сложила даже руки на груди; а ротъ вытерла старательно салфеткой. Она не нападала на этого „братца" такъ смѣло, какъ на шурина, а больше отшучивалась.

За пирожнымъ — яблочный пирогъ со сливками — Рубцовъ, видя, какъ она пустила шарикъ въ носъ одному изъ техниковъ, — сказалъ ей тономъ взрослаго съ дѣвочкой:

— Безъ пирожнаго оставимъ!.. который годокъ-то?

— Двадцать лѣтъ! — отвѣтила она и хотѣла ему показать языкъ.

— Хорошо, что я сегодня здѣсь около бабушки сижу, — обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ: — а то кузиночка-то все книжками меня пужаетъ. Все насчетъ обмѣна веществъ... Штофъ-вексель. Изъ физіологіи-съ!..

— Я вижу, что тебѣ хорошо тамъ, — присосѣдился, — подхватила Любаша и начала шептаться съ подругами.

Всѣ три дѣвицы встали изъ-за стола, гремя стульями. Любаша, когда приходилось „прикладываться" — такъ она называла цѣлованіе руки у матери — не могла не замѣтить Рубцову и Аннѣ Серафимовнѣ:

— Васъ, теперь, я вижу, и водой не разольешь.

— Что мы собаки, что ли? — возразилъ Рубцовъ. — Эхъ, кузиночка! А еще Гамбетту видѣли живаго.

XXXIII.

Всѣ перешли въ гостиную; но Любаша и остальная молодежь, видя, что Рубцовъ отошелъ къ окну вмѣстѣ съ Анною Серафимовною, потащила всѣхъ въ мезонинъ, гдѣ помѣщался билліардъ. Митроша сѣлъ съ шуриномъ играть въ карты въ вистъ. Для этого приглашена была одна изъ приживалокъ — маіорша. Марѳа Николаевна отдыхала послѣ обѣда съ полчасика. За столъ сѣли поздно, и глаза у ней слипались.

Она тихо подошла къ племянницѣ, взяла ее за плечи, поцѣловала въ лобъ и поглядѣла на Рубцова, стоявшаго немного поодаль.

— Видишь, Сеня, сестрица-то у тебя какая?

И старуха нѣжно погладила племянницу по волосамъ. Глаза Анны Серафимовны такъ и горѣли въ полусвѣтѣ гостиной, гдѣ лампа и двѣ свѣчи за карточнымъ столомъ оставляли темноту по угламъ.

Рубцовъ заглядѣлся на свою „сестрицу".

— Вамъ, тетенька, бай-бай? — спросила Анна Серафимовна.

— Я на полчасика... Ты посидишь?

— Дѣтей я не видала съ утра.

— Не съѣдятъ... Ну, я пойду, велю вамъ сладенькаго подать.

Тутъ только Анна Серафимовна вспомнила про ананасъ. Его сейчасъ принесли. Тетка была тронута и сказала шепотомъ:

— Пускай постоитъ. Тѣмъ не стоитъ давать.

Согнутая спина старухи, съ красивыми очертаніями головы, исчезла въ дверяхъ слѣдующей комнаты.

Рубцовъ указалъ Аннѣ Серафимовнѣ на два кресла у окна.

— Курите?

— Нѣтъ!

— Папенька не позволялъ? Онъ вѣдь на этотъ счетъ строгъ былъ.

— И у самой охоты не было.

Ей дѣлалось все ловчѣе съ нимъ и задушевнѣе, хотя онъ и не смотрѣлъ особенно ласково. Домашнія обиды и дрянность мужа схватили ее за сердце; но она подавила это чувство. Она не станетъ ему изливаться. Послѣ, можетъ быть, когда сойдутся совсѣмъ по родственному.

— У васъ сколько же дѣтокъ? — спросилъ онъ, закуривая собственную хорошую сигару.

— Двое, мальчикъ и дѣвочка.

— Красныя дѣтки? — Про мужа онъ не сталъ разспрашивать: — она догадалась, почему — сказалъ только вскользь: — Супруга вашего показали мнѣ разъ на выставкѣ, въ Парижѣ.

Однако она сообщила ему, между прочимъ, когда подали имъ фрукты и конфекты, что беретъ все дѣло въ свои руки.

— Ой-ли? — вскрикнулъ онъ и всталъ.

Тутъ онъ разспросилъ ее про размѣры дѣла, про мануфактуры мужа и про ея суконную фабрику. Объ фабрикѣ она говорила больше и заохотила его посмотрѣть, и про свою школу упомянула.

— Хвалю! — кратко замѣтилъ онъ.

Съ директоромъ у ней мало ладу; а контрактъ его еще не кончился. Директоръ — нѣмецъ, упрямъ, держится своихъ пріемовъ, а ей сдается, что многое надо бы измѣнить.

— Вы бы заглянули, — пригласила она.

— Какъ, въ родѣ эксперта? — спросилъ онъ съ удареньемъ на *э*.

— Вотъ, вотъ!

Прибѣжала Любаша угощать ихъ „своими конфетами“, поднесенными ей Мандельштаубомъ.

— Маменька-то, — разсказала она имъ: — ни съ того, ни съ сего, генеральшу прикармливать стала, а та у ней серебряный шандалъ и стащила.

— Ахъ! — пожалѣла Анна Серафимовна.

— Да, всѣ вышли, а она и стибрила. За то настоящая генеральша... У ней кто чиномъ выше изъ салопницъ, — тотъ ее и разжалобитъ скорѣе.

Они ничѣмъ не поддержали ея балагурства. Любаша убѣжала и крикнула имъ:

— Естественный подборъ!..

Анна Серафимовна поняла намекъ. Рубцовъ крякнулъ и мотнулъ головой.

— Чудеса въ рѣшетѣ — началъ онъ. — Москательный товаръ и происхожденіе видовъ Дарвина... и приживалки-генеральши!

— Ныньче такъ пошло, — точно про себя замѣтила Анна Серафимовна.

— Да, на линіи дворянъ, какъ мнѣ на той недѣлѣ въ Серпуховѣ лакей въ гостиницѣ сказалъ.

Такъ они и проговорили вдвоемъ. Она узнала, что Рубцовъ еще не поступилъ ни на какое мѣсто. Всего больше разсказывалъ онъ про

Америку; но у янки не все одобрялъ, а раза два обозвалъ ихъ даже „жуликами“ и прибавилъ, что вездѣ у нихъ — взятка забралась. Францію хвалилъ.

Партія въ вистъ кончилась. Въ залѣ стали играть и пѣть. Любаша играла бойко, но безалаберно, пѣла съ выраженьемъ; но ничего не могла додѣлать.

— Ничего не любитъ кузиночка-то, — выговорилъ Рубцовъ. — Только тѣшитъ себя!

Изъ половины Митроши доносились звуки корнета и гулъ механическихъ фортепьянъ. Профессора онъ поилъ венгерскимъ и угостилъ хоромъ:

„Славься, славься, святая Русь!..“

XXXIV.

Засвѣжѣло. Анна Серафимовна уѣхала отъ тетки въ десятомъ часу. Рубцовъ проводилъ ее до коляски. Она взяла съ него слово быть у ней черезъ три дня.

— Мужъ уѣдетъ, — говорила она ему: — по дѣламъ управлюсь... Тогда на свободѣ... Буду ждать къ обѣду...

Коляска поднималась и опускалась. Горѣли сначала керосиновые фонари, потомъ пошелъ газъ, переѣхали одинъ мостъ, опять дорога пошла на изволокъ, городомъ, Кремлемъ — добрыхъ полчаса на хорошихъ рысяхъ. Домъ

тетки уходилъ отъ нея и послѣ разговора съ Рубцовымъ обособился, выступалъ во всей своей характерности. Неужели и она живетъ также? Чувство капитала, мочкательный товаръ, сукно: вѣдь не все ли едино?

„Затѣи. Одинъ дудитъ въ трубу, другая озарничаетъ, ничего не любятъ, ни для чего не живутъ, кромѣ себя. Какъ еще не повѣсятся съ тоски — удивительное дѣло!“

Ефимъ сдержалъ лошадей у крыльца. Анна Серафимовна не громко позвонила. Сѣни освѣщались висячей лампой. Ей отворилъ швейцаръ — важный человѣкъ, приставленный мужемъ. Она его отпуститъ на дняхъ. Бѣлые, подъ мраморъ стѣны сѣней и лѣстницы при матовомъ свѣтѣ лампы отсвѣчивали молочнымъ отливомъ.

На верхней площадкѣ ее встрѣтила не старая еще женщина — ея довѣренная горничная-экономка, Авдотья Ивановна, въ короткой шелковой кацавейкѣ и въ „головкѣ.“ Она ходила беззвучно, сохраняла слѣды красивыхъ чертъ лица и говорила сладкимъ московскимъ говоромъ.

— Что дѣти? — тихо спросила Анна Серафимовна.

— Уложили-съ — започивали. Мадамъ тоже ушедши изъ дѣтской.

При дѣтяхъ состояла англичанка-бонна. Авдотья Ивановна пошла впередъ со свѣчей, черезъ высокія, полныя темноты, парадныя

комнаты. Половина Виктора Мироныча помѣщалась внизу. Когда Анна Серафимовна бывала въ гостяхъ и даже дома одна, ни залы, ни двухъ гостиныхъ не освѣщали.

Домъ спалъ, со своей штофной мебелью, гардинами, коврами и люстрами. Чуть слышались шаги обѣихъ женщинъ.

— Баринъ заѣзжали недавно, — не поворачиваясь доложила Авдотья Ивановна.

Она всегда что-нибудь сообщитъ про „барина", хотя Анна Серафимовна и не поощряла этого.

Черезъ корридорчикъ прошли они въ дѣтскую.

— Не разбуди, — шопотомъ сказала Станицына Авдотьѣ Ивановнѣ, останавливая ее у дверей.

Въ дѣтской стоялъ свѣжій воздухъ. Лампадка за абажуромъ позволяла разглядѣть двѣ кроватки съ сѣтками. Мать постояла передъ каждой изъ нихъ, перекрестила и вышла.

Въ своей спальнѣ, съ балдахиномъ кровати, обитымъ голубымъ стеганымъ атласомъ, — Анна Серафимовна очень скоро раздѣлась, съ полчаса почитала ту статью, о которой спрашивалъ ее Ермилъ Ѳомичъ, и задула свѣчу въ половинѣ одиннадцатаго, разсчитывая встать пораньше. Она никогда не запирала дверей.

Часу въ четвертомъ она проснулась и закричала. Ей почудилось во снѣ, что воры за-

брались къ ней. Спальня тонула въ полутьмѣ лампадки.

— Кто тутъ?! — дико крикнула она и сѣла въ постели, вскинувъ руками.

— Anna! C'est moi! — проговорилъ голосъ ея мужа, нетвердый, но нахальный. — Не бойся!..

Она сейчасъ накинула на себя кофточку. Отъ Виктора Мироныча пахло шампанскимъ. Въ полусвѣтѣ виднѣлись его длинныя ноги, голова клиномъ, глаза искрились и смѣялись.

— Что вамъ нужно отъ меня? — гнѣвно и глухо спросила она.

Мужъ уже сидѣлъ у ней на кровати.

— Анна! — говорилъ онъ не очень пьянымъ, но фальшиво чувствительнымъ голосомъ... Зачѣмъ намъ ссориться? Будемъ друзьями... Ты видѣла сегодня — я на все согласенъ... Но тридцать тысячъ... C'est bête!.. Согласись! это... это...

Въ мигъ поняла она, въ чемъ дѣло.

— Вы проигрались?..

— Mais écoute...

— Проигрались? — повторила она и совсѣмъ сѣла въ постели. Не лгите! Сколько? Сейчасъ же говорите!

Онъ былъ такъ ей гадокъ въ эту минуту, что рука зудѣла у нея...

— Не кричите такъ!... обидѣлся онъ и всталъ.

— Сколько? Ну, все равно, завтра мы уви-

димъ. Но уходите, Викторъ Миронычъ, ради Бога уходите!

— Будто я такъ?.. Je vous donne si peu sur la peau?..

И онъ захохоталъ... Вино только тутъ начало забирать его... Но не успѣлъ онъ повернуться, какъ двѣ нервныя руки схватили его за плечи и толкнули къ двери.

Долго, больше получаса, въ спальнѣ раздавалось глухое женское рыданіе. Анна Серафимовна лежала ничкомъ головой въ подушку.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ.

КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

Утромъ, часу въ десятомъ, передъ подъѣздомъ дома коммерціи совѣтника Евлампія Григорьевича Нѣтова стояла двумѣстная карета. Моросилъ октябрьскій дождикъ. Переулокъ еще не просыпался, какъ слѣдуетъ. Въ немъ все больше барскіе дома и домики съ мезонинами и колоннами въ александровскомъ вкусѣ. Лавочекъ почти нѣтъ. Бульваръ неподалеку. Домъ Нѣтову строилъ модный архитекторъ, большой охотникъ до древне-русскихъ украшеній и снаружи, и внутри. Стройка и отдѣлка обошлись хозяину въ триста тысячъ, даромъ что домъ всего двухъ-этажный. Зато такихъ хоромъ не много найдешь на Москвѣ по фасаду и комнатному убранству.

Кучеръ, въ мѣховомъ кафтанѣ, но еще въ лѣтней шляпѣ, курилъ папиросу. За дышло держался одной рукой конюхъ въ короткой синей сибиркѣ, со щеткой въ другой рукѣ. — Они отрывочно разговаривали.

— Куды-ы? переспросилъ кучеръ, не выпуская изо рта папиросы.

— Сказывала Глаша, — за-границу.

— Вотъ оно что!..

— Легче будетъ.

— Это точно... Онъ куды проще...

— Однако тоже бываетъ привередливъ...

— Съ такихъ-то милліоновъ будешь и ты привередливъ...

Швейцаръ отворилъ наружную массивную дверь, за которой открылась стеклянная. Онъ улыбнулся кучеру и почистилъ бронзовое яблоко звонка.

— Скоро выдетъ? — крикнулъ ему конюхъ.

— Одѣвается, — смѣшливо отвѣтилъ швейцаръ, не очень рослый, но широкій малый, изъ гусарскихъ вахтеровъ, курносый — въ гороховой ливреѣ — совсѣмъ не купеческій привратникъ.

Онъ потеръ еще суконкой чашку звонка и ушелъ. Дождь немного стихъ; вмѣсто дождя начала падать изморозь.

— Экъ ее! — замѣтилъ флегматично кучеръ и дернулъ возжей: правая лошадь часто заигрывала съ лѣвой и кусала дышло.

Дернулъ ее за узду и конюхъ.

Разговоръ прекратился; только слышно было дыханіе рослыхъ, вороныхъ лошадей и вздрагиваніе позолоченныхъ уздечекъ.

Швейцаръ вернулся въ сѣни. То были монументальные пропилеи. Справа большая комната для сбереженія платья открывалась на площадку дверью въ полу-египетскомъ, полувизантійскомъ „пошибѣ". Прямо, противъ входа, надъ лѣстницей въ два подъема, шла поперечная галлерея съ тремя арками. Свѣтъ падалъ изъ оконъ второго этажа на разноцвѣтный искусственный мраморъ стѣнъ и арки и на бѣлый, настоящій мраморъ самой лѣстницы. Два темномалиновыхъ ковра, на обоихъ подъемахъ, напоминали немного входъ въ дорогой заграничный отель. Но стѣны, верхняя галлерея, арки, столбы, стиль фонарей между арками, украшенія перилъ, мебель въ сѣняхъ и на галлереѣ выказывали затѣю московскаго милліонщика, отдавшаго себя въ руки молодаго, славолюбиваго архитектора.

Ступени лѣстницы, стѣны и арки отливали матовымъ блескомъ; ничто еще не успѣло запылиться или потускнѣть. Видны были строгость и глазъ въ порядкахъ этого дома. — Швейцаръ тотчасъ же подошелъ къ мраморному подзеркальнику, отряхнулъ и обчистилъ щетку и гребенку, двѣ шляпы и бобровую шапку, лежавшія тутъ вмѣстѣ съ нѣсколькими парами перчатокъ. Потомъ онъ вынесъ изъ нѣсколько низменной комнаты — гдѣ вѣшалки

съ металлическими номерами шли въ нѣсколько рядовъ — стеганную шинель на атласѣ, съ бобромъ, и галоши, бережно поставилъ ихъ около лѣстницы, а шинель сложилъ на кресло, выточенное въ формѣ русской дуги. Другое, точно такое же, стояло симметрично напротивъ. Самъ онъ подошелъ къ зеркалу, поправилъ бѣлый галстухъ и застегнулъ ливрею на послѣднюю верхнюю пуговицу.

На галлереѣ видны были снизу два оффиціанта въ темныхъ ливреяхъ, съ большими золотыми, тиснеными пуговицами. Одинъ стоялъ спиной влѣво, у входа въ парадныя комнаты, другой въ средней аркѣ.

— Одѣлся? — полушопотомъ спросилъ швейцаръ.

— Нѣтъ еще... Викентій ходитъ у двери. Стало, не звалъ.

— А на женской половинѣ?..

— Не слышно еще...

Вправо, съ галлереи, проходъ, отдѣланный старинными „сѣнями", съ деревянной обшивкой, велъ къ кабинету Евлампія Григорьевича. Передъ дверьми прохаживался его камердинеръ, — Викентій, довѣренный человѣкъ, бывшій крѣпостной изъ дома князей Курбатовыхъ. Викентій — сѣдой старикъ, бритый, немного сутуловатый, смотритъ начальникомъ отдѣленія; бѣлый галстухъ носитъ по старинному, изъ большой косынки.

Онъ прохаживается мелкими шажками пе-

редъ дверью изъ корельской березы съ бронзовыми скобами. Не слышно его шаговъ. Больше тридцати лѣтъ носитъ онъ сапоги безъ каблуковъ, на башмачныхъ подошвахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пошелъ „по купечеству", жалованье его удвоилось. Сначала его взяли въ дворецкіе, но онъ не поладилъ съ барыней, Евлампій Григорьевичъ пристави лъ его къ себѣ камердинеромъ.

Ходитъ онъ и ждетъ звонка. Изъ кабинета проведенъ воздушный звонокъ. Это не нравится Викентію: затрещитъ надъ самымъ ухомъ, такъ всего и передернетъ, да и стѣны портитъ. Въ эту минуту, по его разсчету, Евлампій Григорьевичъ выпилъ стаканъ чаю и надѣлъ чистую рубашку, послѣ чего онъ звонитъ, и платье, приготовленное въ туалетномъ кабинетикѣ, гдѣ умывальникъ и прочее устройство, подаетъ ему Викентій. Часто онъ позволяетъ себѣ сдѣлать замѣчаніе: что было бы пристойнѣе надѣть въ томъ или иномъ случаѣ.

II.

Кабинетъ Евлампія Григорьевича — высокая длинная комната, родъ огромнаго баула, съ отдѣлкой въ старо-московскомъ стилѣ. Свѣту въ ней гораздо меньше, чѣмъ въ остальныхъ покояхъ. Окна выходятъ на дворъ. Вездѣ обшивка изъ рѣзнаго дерева: дуба, корельской

березы, орѣха. Потолокъ весь штучный, рѣзной, темныхъ колеровъ, съ переплетами и выпуклыми фигурами, съ тонкой позолотой, стоилъ большихъ денегъ. Онъ выписной, работали его гдѣ-то въ Германіи. Поверхъ деревянной обшивки идутъ до потолка кожаныя тисненыя обои въ клѣтку, съ золотыми разводами и звѣздами. Ихъ нарочно заказывали во Франціи по рисунку. Такихъ обоевъ не отыщется ни у кого. Отъ нихъ кабинетъ смотритъ еще угрюмѣе, но „пошибъ" вознаграждаетъ за неудобство, разумѣется — „на охотника", кто понимаетъ толкъ. Евлампію Григорьевичу кажется, что онъ изъ такихъ именно „понимающихъ" охотниковъ. Каждый стулъ, табуретъ, этажерка дѣлались по рисункамъ архитектора. Хозяинъ кабинета не можетъ никуда поглядѣть, ни къ чему прислониться, ни на что сѣсть, чтобы не почувствовать, что эта комната, да и весь домъ, въ нѣкоторомъ родѣ — музей московско-византійскаго рококо. Это сознаніе наполняетъ Евлампія Григорьевича особымъ сладострастнымъ почтеніемъ къ собственному дому. Ему иногда не совсѣмъ ловко бываетъ среди такого количества вещей, заказанныхъ и сдѣланныхъ „по рисунку", но онъ все больше и больше убѣждается въ томъ, что безъ этихъ вещей и онъ самъ лишится своего отличія отъ другихъ коммерсантовъ, не будетъ имѣть никакого права на то, къ чему теперь стремится.

По самой срединѣ кабинета помѣщается пись-

менный столъ съ цѣлымъ „поставцомъ", придѣланнымъ къ одному продольному краю, для картоновъ и ящиковъ, съ карнизами и русскими полотенцами, пополамъ изъ дуба и чернаго дерева, съ замками, скобами и ключами, выкованными и вырѣзанными „нарочно". Столъ смотритъ издали чѣмъ-то въ родѣ иконостаса. Онъ покрытъ бронзой и кожаными вещами, массивными и дорогими. До чего ни дотронешься, все выбрано подъ стать остальной отдѣлкѣ. Хозяину стоило только разъ подчиниться, и все, что ни попадало на его столъ, отвѣчало за себя. Фотографическіе портреты, календарь, бювары, сигарочницы, портфели размѣщены были по столу въ извѣстномъ художественномъ порядкѣ. Иногда Евлампію Григорьевичу и хотѣлось бы переставить кое-что, но онъ не смѣлъ. Его архитекторъ разъ навсегда разставилъ вещи, нельзя нарушить стиля. Такъ точно и на счетъ мебели. Гдѣ что было первоначально поставлено, тамъ и стоитъ. Одинъ столикъ въ формѣ коровая, на кривыхъ ножкахъ, очень стѣсняетъ хозяина, когда онъ ходитъ взадъ и впередъ. Онъ, то и дѣло, задѣваетъ его ногой; но архитекторъ чуть не поссорился съ нимъ изъ-за этого столика. Столику слѣдуетъ стоять тутъ, а не въ другомъ мѣстѣ, — Евлампій Григорьевичъ смирился и старается каждый разъ обходить. Даже выборъ того мѣста въ стѣнѣ, гдѣ вдѣланъ несгораемый шкапъ, принадлежалъ не ему лично.

Два рѣзныхъ шкапа съ книгами, въ кожаныхъ, позолоченыхъ переплетахъ, сдавливаютъ комнату къ концу, противоположному окнамъ. Книгъ этихъ Евлампій Григорьевичъ никогда не вынимаетъ, но выборъ ихъ былъ сдѣланъ другимъ руководителемъ; переплеты заказывалъ опять архитекторъ, по своему рисунку. Онъ же выписалъ нѣсколько очень дорогихъ коллекцій по исторіи архитектуры и спеціальныхъ сочиненій. Такихъ изданій „ни у кого нѣтъ", даже и въ Румянцовскомъ музеѣ...

Надъ диваномъ, наискосокъ отъ письменнаго стола, виситъ поясной женскій портретъ — жены Евлампія Григорьевича, Марьи Орестовны, снятый лѣтъ шесть тому назадъ, въ овальной золотой оправѣ. Три-четыре картины русскихъ художниковъ, въ черныхъ матовыхъ рамахъ, уходятъ въ полусвѣтъ стѣнъ. Были тутъ и жанры, и ландшафты; но попали они случайно: въ любители картинъ хозяинъ кабинета не записывался — онъ не желалъ соперничать съ другими лицами своего сословія. Эта охотницкая отрасль мало отзывалась вкусами тѣхъ „совѣтниковъ" и руководителей, около которыхъ „выровнялся" Евлампій Григорьевичъ, сталъ тѣмъ, что́ онъ есть въ настоящую минуту...

На столикѣ-табуретѣ, около письменнаго стола, допитый стаканъ чаю говорилъ о томъ, что Евлампій Григорьевичъ въ уборной, надѣваетъ чистую рубашку, послѣ вторичнаго умыванія. — Запахъ сигары ходилъ по кабинету, гдѣ стояла

свѣжая температура, не больше тринадцати градусовъ.

III.

Уборная раздѣлена на три части: вправо туалетъ и помѣщеніе для того платья, какое приготовлено камердинеромъ; влѣво мраморный умывальникъ съ кранами холодной и горячей воды, на американскій манеръ, съ разноцвѣтными и всякими другими полотенцами...Спальня передѣлана изъ бывшей гардеробной. Это довольно низкая комната, гдѣ всегда душно. — Но больше некуда было перейти Евлампію Григорьевичу, когда Марья Орестовна, ссылаясь на совѣтъ своего доктора, объявила мужу, что отнынѣ они будутъ жить „въ разноту". Онъ смирился, но съ тѣхъ поръ все еще не утѣшился.

Ему минуло недавно сорокъ лѣтъ. Сложенія онъ сухаго; узкая грудь, жидкія ноги и руки; средняго роста, блѣдное лицо скучнаго сидѣльца. Его русая бородка никакъ не поддается щеткѣ, она торчитъ въ разныя стороны. Стрижется онъ не длинно и не коротко. Глаза его, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, часто опущены. Онъ не любитъ смотрѣть на кого-нибудь прямо. Ему, то и дѣло, кажется, что не только люди, — начальство, сослуживцы, знакомые, половые въ трактирѣ, дамы въ концертѣ, свой кучеръ или швейцаръ, — но даже неодушевленные пред-

меты подмигиваютъ и подсмѣиваются надъ нимъ.

Въ это утро онъ серьёзно озабоченъ. Ему предстоятъ три визита, и каждый изъ нихъ требуетъ особеннаго разговора. А наканунѣ жена дала почувствовать, что сегодня будетъ что-нибудь чрезвычайное... И уступить надо!.. Нечего и думать о противорѣчіи... Но и уступкой не возьмешь, не сдѣлаешь этой неуязвимой, подавляющей его во всемъ Марьи Орестовны тѣмъ, о чемъ онъ изнываетъ долгіе годы... Только ему страшно заглянуть ей въ „нутро" и увидать тамъ, какія чувства она къ нему имѣетъ, къ нему, который...

Но сколько разъ попадалъ онъ на зарубку того, что онъ положилъ къ ногамъ Марьи Орестовны — и все-таки облегченія отъ этого не получилъ...

Рубашка застегнута до верхней запонки. Нѣтовъ позвонилъ и перешелъ въ кабинетъ, — у него была привычка одѣваться не въ спальной и не въ уборной, а въ кабинетѣ.

Викентій вошелъ, перенесъ платье въ кабинетъ, положилъ его на древне-русскіе козлы съ собачьими мордами по концамъ и сталъ подавать разныя части туалета, встряхивая ихъ, каждую отдѣльно, какъ это дѣлаютъ старые слуги изъ крѣпостныхъ, бывшіе долго въ камердинерахъ.

Нѣтовъ оглянулся на окно и, скосивъ ротъ — зубы у него большіе, желтые — сказалъ:

— На дворѣ-то какая скверь!

— Упалъ барометръ, — въ тонъ ему замѣтилъ Викентій.

— Какой фракъ приготовилъ? — спросилъ Нѣтовъ.

— Второй-съ.

Онъ часто съ утра надѣвалъ фракъ. Ему приходилось предсѣдательствовать въ разныхъ комитетахъ и собраніяхъ. Заѣзжать переодѣваться — некогда.

— Орденъ прикажете? — освѣдомился Викентій, когда натянулъ на плеча барина фракъ не первой свѣжести — дѣловой фракъ.

— Не надо...

Нѣтовъ надѣлъ бы и свою Анну, и Льва и Солнца второй степени, но Марья Орестовна формально ему приказала: ничего на шею не надѣвать, пока не добьется Владиміра, а персидскую звѣзду пристегивать только при пріемахъ какихъ-нибудь именитыхъ гостей. Ордена лежали у него въ особомъ кованомъ ларцѣ съ серебряными горельефами. Заказалъ себѣ онъ маленькіе ордена для вечеровъ, но и этого не любила Марья Орестовна. Она говорила, что Анну имѣетъ всякій частный приставъ.

— Узнай, можно ли къ Марьѣ Орестовнѣ?

Нѣтовъ никогда не произносилъ имени своей жены передъ камердинеромъ, не смущаясь, безъ внутренней потуги. Ему все сдавалось, что этотъ барскій „хамъ“ съ своей чиновничьей наружностью говоритъ ему про себя: „Эхъ ты,

кавалеръ Льва и Солнца, въ крѣпостномъ услуженіи находишься у бабенки!“

Викентій вышелъ. Нѣтовъ взялъ со стола портфель и ждалъ не безъ волненія.

— Не выходили, — доложилъ, вернувшись, Викентій.

Нѣтовъ вздохнулъ. Этакъ лучше. Не сейчасъ надо испивать чашу.

IV.

Оффиціанты, по знаку Викентія, выпрямились. Мимо одного изъ нихъ прошелъ „баринъ“— прислуга такъ называла Евлампія Григорьевича — не глядя на него. Ему, до сихъ поръ, точно немножко стыдно передъ прислугою... А въ какомъ сановномъ, хотя бы графскомъ или княжескомъ домѣ, такъ все въ струнѣ, какъ у него?

Безъ Марьи Орестовны онъ никогда бы самъ не добился этого, кровь бы „разночинская“ не допустила.

Лакей отвѣсилъ ему поклонъ. Барыня приказала и этому оффиціанту, и другимъ людямъ брить себѣ все лицо и волосы подстригать покороче. У ней зрѣла мысль напудрить ихъ въ одинъ изъ большихъ пріемовъ и разставить по лѣстницѣ. А при этомъ развѣ допустимы усы и даже бакенбарды?

Швейцаръ издали увидалъ Евлампія Гри-

горьевича и встряхнулъ еще разъ шинель. Онъ разсчиталъ, что потребуется шинель, а не пальто: холодно и моросить. Викентій шелъ позади барина; дойдя до лѣстницы, онъ обѣжалъ по другому сходу и взялъ шинель изъ рукъ швейцара.

— А пальто вычищено? — освѣдомился Викентій на всякій случай.

— Готово.

Поклонъ швейцаръ отвѣсилъ такой же, какъ и оффиціанты. Не мало онъ натерпѣлся отъ барыни. Она долго находила, что онъ кланяется по-солдатски.

— Шинель прикажете? — спросилъ Викентій.

— Шинель.

Камердинеръ накинулъ на него широкую, съ длиннымъ капюшономъ, шинель, съ серебристымъ бобромъ, простеганую мелкими клѣтками, самаго строгаго петербурскаго покроя, крытую темнокоричневымъ сукномъ, немного впадающимъ въ бутылочный цвѣтъ. Марья-же Орестовна дала ему совѣтъ заказать такую шинель у Сарра, въ Петербургѣ.

— Статсъ-секретарь Бутковъ носилъ этакія шинели, — сообщила она ему: — такъ и называются „manteau Boutkoff".

Ему бы никогда не догадаться. И дѣйствительно, когда онъ въ этой шинели, то ощущаетъ сейчасъ особую пріятность, нѣтъ мѣховаго запаха, мягко, руку щекочетъ атласъ подкладки, всего проникаетъ струя порядочно-

сти, почета, власти... Пахнетъ статсъ-секретаремъ и камергеромъ.

Швейцаръ выбѣжалъ на подъѣздъ. Конюхъ торопливо потеръ щеткой бокъ одной изъ лошадей и отскочилъ въ сторону. Кучеръ перебралъ возжами и заставилъ пару подпрыгнуть на мѣстѣ. Изморозь все еще шла и начала слѣпить глаза кучеру.

На крыльцо вышелъ за швейцаромъ и Викентій. Онъ неизмѣнно дѣлалъ это. Даже Марья Орестовна должна была сознаться, что не она его этому научила. На лицѣ его всегда былъ вопросъ, обращенный къ барину:

„Не угодно ли что приказать, или что забыть изволили?“

Евлампій Григорьевичъ всегда говорилъ ему:

— Ступай.

Но Викентій подсаживалъ его каждый разъ, вмѣстѣ съ швейцаромъ.

Въ каретѣ Нѣтовъ укутался и сѣлъ въ уголъ. Портфель положилъ въ особое помѣщеніе, ниже подзеркальника, куда можно положить и книгу или газету. Часто онъ читаетъ въ каретѣ, когда отправляется на какое-нибудь засѣданіе.

То, что̀ онъ найдетъ тамъ, куда ѣдетъ по „своимъ дѣламъ“ и соображеніямъ, отступило передъ тѣмъ, что ожидаетъ его сегодня дома, до обѣда.

Неужели ему весь вѣкъ такъ поджариваться на какой-то сковородѣ?.. Точно онъ лещъ,

положенный живымъ въ кипящее масло. Это уподобленіе онъ самъ выдумалъ. — Все есть, и впереди можно еще многаго добиться... и въ крупномъ чинѣ будетъ, и дворянство дадутъ, и черезъ плечо повѣсятъ, можетъ, черезъ какихъ-нибудь два-три года. Но онъ страдалецъ... Развѣ онъ господинъ у себя въ домѣ?.. Смѣетъ ли онъ поступить хоть въ чемъ-нибудь, какъ самъ желаетъ?.. Да и увѣренности у него нѣтъ... А вѣдь онъ не дуракъ!.. И что же нужно такое имѣть, чтобы обратить къ себѣ сердце женщины, не принцессы какой-нибудь, такой же купчихи, какъ и онъ?

Евлампій Григорьевичъ попалъ на свою зарубку... Что она такое была?.. Родители проторговались!.. Родня голая: — быть бы ей за какимъ-нибудь лавочникомъ или въ учительницы идти, въ народную школу, благо она въ университетѣ экзаменъ выдержала... Въ этомъ-то вся и сила!.. Еще при другихъ онъ употребляетъ ученыя слова, а какъ при ней скажетъ, хоть, напримѣръ, слово „цивилизація“, она на него посмотритъ искоса, онъ и очутится на сковородѣ...

V.

Первый ранній визитъ сдѣлалъ Нѣтовъ своему дядѣ, Алексѣю Тимоѳеевичу Взломцеву, старому человѣку по мануфактурному дѣлу, главѣ крупнѣйшей фирмы. Отъ него кормилось

цѣлое населеніе въ тридцать тысячъ прядильщиковъ, ткачей и прочаго фабричнаго люда. Онъ придерживался единовѣрія, но безъ всякаго задора, позволялъ курить другимъ и самъ курилъ, читалъ „свѣтскія“ книжки, любилъ знакомство съ господами, стоящими за старину, за „Россію матушку“ и единоплеменныхъ „братьевъ“, о которыхъ имѣлъ довольно смутное понятіе. Взломцевъ такъ много занимался по своимъ дѣламъ, что день расписывалъ на часы, и даже родственникамъ, и такимъ почетнымъ, какъ Нѣтовъ, назначалъ день и часъ, и сейчасъ заносилъ въ книжечку. — Жилъ онъ одинъ, въ большомъ, богато отдѣланномъ домѣ съ парадными и „простыми“ комнатами, безъ новыхъ затѣй, такъ, какъ это дѣлалось лѣтъ тридцать-сорокъ назадъ, когда отецъ его трепеталъ передъ полиціймейстеромъ и даже приставу подносилъ самъ бокалъ шампанскаго на подносѣ.

Нѣтова встрѣтилъ въ конторѣ, рядомъ съ кабинетомъ, высокій, чрезвычайно красивый сѣдой мужчина за шестьдесятъ лѣтъ, одѣтый „по-нѣмецки“ въ длинноватый, темно-кофейный сюртукъ и бѣлый галстухъ. Онъ носилъ окладистую бороду, бѣлѣе волосъ на головѣ. Работалъ онъ стоя, передъ конторкой. При входѣ племянника, онъ отпустилъ молодца, стоявшаго у притолки.

Они поцѣловались.

— Чаю хочешь? — спросилъ дядя.

— Пилъ, дяденька.

Евлампій Григорьевичъ не отсталъ отъ привычки называть его „дяденькой“ и у себя, на большихъ обѣдахъ, что коробило Марью Орестовну. Онъ не разсчитывалъ на завѣщаніе дяди, хотя у того наслѣдниками состояли только дочери, и фирмѣ грозилъ переходъ въ руки „Богъ его знаетъ какого“ зятя. Но безъ дяди онъ не могъ вести своей политики. Отъ старика Взломцева исходили идеи и толкали племянника въ извѣстномъ направленіи.

— Ну, что же скажешь? — спросилъ Взломцевъ, снялъ очки и заткнулъ гусиное перо за ухо. Стальными онъ не писалъ. Глаза его, черные, умные и немного смѣющіеся, говорили, что долго ему некогда растобарывать съ племянникомъ.

— Да вотъ, — началъ заикаясь Нѣтовъ и поглядѣлъ на лацкана своего фрака, отчего почувствовалъ себя безпокойнѣе: — какъ насчетъ Константина Глѣбовича, онъ засылалъ просить... пожаловать къ нему... слышно, завѣщаніе составилъ...

— А нешто очень плохъ?

— Плохъ, не доживетъ, говорятъ, до распутицы.

— Чтожь... мы не наслѣдники, — пошутилъ старикъ: — за честь благодаримъ...

— Я вотъ сегодня хочу къ нему заѣхать въ полдень, такъ... узнать, когда онъ желаетъ васъ просить?

— Да, чтобы вѣрно было... и день и часъ... Коли можетъ, такъ вечеромъ. Тутъ вѣдь исторія-то короткая. Читать мы завѣщаніе не станемъ.

— Конечно-съ. Только у него есть разсчетъ на душеприкащиковъ.

— Я не пойду. Такъ ему и скажи, чтобъ извинилъ меня. Есть люди молодые. Да и своихъ дѣловъ много... Гдѣ мнѣ возиться?.. Еще кляузы пойдутъ! — Жена остается... А онъ ей врядъ ли много оставитъ.

— Я полагаю, что не много... Такъ, на прожитье.

Помолчали.

— Жаль его, — выговорилъ дядя: — пожилъ бы.

Нѣтовъ вздохнулъ на особый манеръ.

— Съ нимъ много для тебя уходитъ, Евлампій... Чувствуешь ли ты?

— Помилуйте, дяденька!

— Надо тебѣ другаго Константина Глѣбовича искать.

— Гдѣ же сыщешь?

— Да, нонѣ, братецъ, не та полоса пошла... Онъ для своего времени хорошъ былъ... Ну, и событія... Герцеговинцы... Опять за Сербію поднялись, тутъ, глядишь, война. А нынче тихо, не тѣмъ пахнетъ.

— Да, да, — повторялъ Нѣтовъ, отводя глаза отъ дяди.

— Ты достаточно у Лещова-то въ обученьѣ

побывалъ. Пора бы и самому на ноги встать. Не все на помочахъ. Ты, братъ, я на тебя посмотрю, двойственный какой-то человѣкъ... Честь любишь, а смѣлости у тебя нѣтъ... И не глупъ, не дуракъ-парень... нельзя сказать; а все это, какъ ныньче господа сочинители въ газетахъ пишутъ — между двумя стульями садишься. Такъ-то...

Старикъ добродушно разсмѣялся.

VI.

У дяди своего Нѣтовъ чувствовалъ себя меньшимъ родственникомъ. Къ этому онъ уже привыкъ. Алексѣй Тимоѳеевичъ дѣлалъ ему внушенія отеческимъ тономъ, не скрывалъ того, что не считаетъ племянника „звѣздой", но безъ надобности и не принижалъ его. Къ Взломцеву Нѣтовъ всегда обращался за мнѣніемъ; и рѣдко уходилъ съ пустыми руками.

Помявшись на мѣстѣ, онъ сѣлъ въ сторонку и выговорилъ:

— Вотъ опять тоже Капитонъ Ѳеофилактовичъ.

— Что еще? — насмѣшливо спросилъ старикъ.

— Да какъ же, дяденька, вы разсудите... Былъ все съ нашими... Помните, пріемъ добровольцамъ дѣлалъ... и по Красному Кресту... И во всѣхъ такихъ... дѣлахъ... рѣчи тоже

говорилъ... А мы, кажется, оказывали ему всякое почтеніе. А между прочимъ, онъ между нашими врагами очутился.

— Почему ты такъ думаешь?

— Какъ же-съ! Теперь хоть бы въ этой новой газетѣ пошли разныя статейки и слухи... Прямо личность называютъ. Тутъ непремѣнно по внушеніямъ Капитона Ѳеофилактовича дѣлается.

— Можешь ли доказать?

— Видимое дѣло, дяденька. — Евлампій Григорьевичъ заговорилъ горячѣе. — Кто же кромѣ его знаетъ разныя разности... хотя бы и про насъ съ вами?

— А развѣ и про меня есть что?

— Изволите видѣть, прямо-то не смѣли назвать, а обиняками. Но узнать сейчасъ можно.

— Вре-ешь? — все еще весело спросилъ Взломцевъ.

Евлампій Григорьевичъ развернулъ портфель и вынулъ сложенный вчетверо листъ газеты.

— Вотъ, извольте взглянуть.

Онъ указалъ Взломцеву столбецъ и строку. Старикъ надѣлъ черепаховое pince-nez, взялъ газету, развернулъ весь листъ, отвелъ его рукой отъ себя на полъ-аршина и медленно, чуть замѣтно шевеля губами, прочелъ указанное мѣсто.

Съ его губъ не сходила усмѣшка, брови не сдвигались.. Алексѣй Тимоѳеевичъ не почувствовалъ себя сильно обиженнымъ. Онъ часто

говорилъ: „на то и газетки, чтобы быль съ небылицей мѣшать". Въ статейкѣ имени его не стояло, но намеки были ясные. Подсмѣивались надъ славянолюбіемъ и „квасным" патріотизмомъ и его племянника, и его самого.

— Изволили видѣть, дяденька? — началъ въ тотъ же тонъ Нѣтовъ. — И къ чему же это изподтишка?.. И сейчасъ „славянолюбцы" и все такое... А самъ онъ развѣ не въ такихъ же мысляхъ былъ?... Вездѣ кричалъ и застольныя рѣчи произносилъ... Вѣдь это, дяденька, какъ же назвать? Честный человѣкъ пойдетъ ли на такое дѣло?

Взломцевъ промолчалъ.

— И все это одинъ свой интересъ...

— А ты думалъ какъ? — перебилъ дядя и тихо разсмѣялся.

— Ему, изволите видѣть, непремѣнно хотѣлось прямо въ дѣйствительные статскіе... или, чтобъ Станислава черезъ плечо... А вмѣсто того и коллежскаго не получилъ. Такъ мы съ вами, дяденька, тутъ не причинны.

— Ужь ты меня-то бы не вмѣшивалъ, — порѣзче перебилъ Алексѣй Тимоѳеевичъ.

— Да я говорю вообще, дяденька. Но, между прочимъ, и вы косвенно... Нельзя же такъ именитыхъ людей!.. И послѣ того, что онъ себя выдавалъ...

— А ты постой... Все это ты такъ... Очень онъ тебя испугался, хоть ты теперь и въ почетѣ... Ему надо въ дворяне выдти, или надо

ему предоставить мѣсто такое, чтобы дѣла его совсѣмъ наладились.

— Это вѣрно-съ.

— Канючить, слѣдственно, нечего. Надо его ручнымъ сдѣлать.

— Я и думалъ тоже.

— А придумалъ ли что?

— Да если что представится... А теперь вотъ я къ нему собираюсь... заѣхать... На счетъ статейки ничего не скажу, а увижу, какъ онъ себя поведетъ.

— Съ пустыми-то руками явишься?.. умно!..

— Чинъ-то ему посулить не велика трудность.

— А ты спервоначалу самъ получи.

Евлампій Григорьевичъ покраснѣлъ. Дядя зналъ всѣ его сокровенные разсчеты.

— Лучше же показать ему, что мы всю его тактику понимаемъ.

— А ты вотъ что...

Взломцевъ потеръ себѣ переносицу.

— Ты говоришь, очень Константинъ Глѣбовичъ плохъ?..

— Да какъ же-съ!.. Недѣли двѣ больше не проживетъ.

— Надо будетъ его замѣщать.

— Кандидатъ есть.

— До новыхъ выборовъ... Кандидатъ не въ счетъ... Ты ему и посули... да онъ и не плохой директоръ будетъ... Пожалуй, лучшего и не найдешь.

„И этого придумать не могъ, дразнилъ себя Евлампій Григорьевичъ, а вотъ дядя сейчасъ же смекнулъ, въ одну секунду! Эхъ!“

Долго не могъ онъ поднять глаза и взглянуть пристальнѣе на дядю.

— Такъ-ли? — спросилъ Алексѣй Тимоѳеевичъ.

Племянникъ заходилъ съ опущенной головой.

— А ты сядь! Въ глазахъ у меня рябитъ, когда ты этакимъ манеромъ поворачиваешься.

— Ваша мысль богатая, дяденька!

— Ну и поѣзжай... Лещову такъ и скажи, что Алексѣй-молъ Тимоѳеевичъ благодаритъ за честь, свидѣтелемъ роспишусь, а отъ душеприкащиковъ пускай избавитъ меня. Довольно и своихъ дѣловъ.

— А вы позволите, если рѣчь зайдетъ о директорствѣ... поставить на видъ, что Алексѣй Тимоѳеевичъ, съ своей стороны, какъ учредитель и главнѣйшій...

— Можешь, только осторожнѣе.

— Да ужь вы извольте положиться на меня, дяденька.

— Извини, я тебя отпущу.

Старикъ повернулся къ конторкѣ, а потомъ въ бокъ подалъ руку племяннику. Нѣтовъ такъ и вышелъ изъ конторы съ опущенной головой.

„Идей у него своихъ не имѣется! Это несомнѣнно. А кажется, чего было проще сообразить на счетъ смерти Лещова?.. Вотъ дядя, такъ голова!“

VII.

Къ другому родственнику — но уже со стороны отца и болѣе дальнему — Евлампій Григорьевичъ попалъ въ одиннадцать часовъ. Тотъ жилъ около Басманной. Домъ у Капитона Ѳеофилактовича Краснопёраго выстроенъ былъ на славу, съ картинной галлереей и зимнимъ садомъ. Лѣтъ двадцать назадъ, этотъ предприниматель сильно прогремѣлъ въ обѣихъ столицахъ. Чисто-русской изворотливостью отличался онъ. До желѣзно-дорожной лихорадки, до банковскаго приволья, онъ уже пустилъ въ ходъ цѣлую дюжину обществъ, товариществъ и компаній. Одно время дѣла его такъ поразстроились, что онъ вынырнулъ потому только, что успѣлъ ловко продать всѣ свои паи. Года на три, на четыре онъ совсѣмъ притихъ, распродалъ свои картины, пріемы прекратилъ, ѣздилъ лечиться за-границу. Потомъ опять поднялся, но ужь не могъ и на одну треть дойти до прежняго своего положенія.

Никого онъ такъ не раздражалъ и не тревожилъ, какъ Евлампія Григорьевича. Краснопёрый служилъ живымъ примѣромъ русской бойкости и изворотливости, кичился своимъ умомъ, умѣньемъ говорить — хотя говорилъ на обѣдахъ витіевато и шепеляво — тѣмъ, что онъ все видѣлъ, все знаетъ, Европу изучилъ и Рос-

сіи открылъ новые пути богатства, за что давно бы слѣдовало ему поставить монументъ.

Честолюбивая, но самогрызущая душа понимала и ясно видѣла другую, еще болѣе тщеславную, но одаренную разносторонней сметкой душу русскаго кулака.

„Цѣловальникъ, подносчикъ, фальшивый мужиченка", называлъ его про себя Евлампій Григорьевичъ и радовался несказанно, когда вдругъ всѣ заговорили, что Краснопёрый вылетѣлъ въ трубу съ дефицитомъ въ два милліона. Онъ презиралъ этого „выскочку", какъ сынъ купца, хоть и второй когда-то гильдіи, но оставившаго ему прочное дѣло, съ доходомъ, въ худой годъ, до двухъ сотъ тысячъ чистоганомъ. Ему не надо ни компаній составлять, ни людей морочить, ни во вся тяжкая пускаться и Европу удивлять. Онъ, Нѣтовъ, — выше всего этого. Но честь они оба любятъ одинаково. Обоимъ хочется ленту черезъ плечо и дворянство, — для себя самихъ хочется — дѣтей у нихъ нѣтъ. Такъ Краснопёрый еще подождетъ; — а у него, Нѣтова, и то, и другое будетъ. И онъ, какъ ни какъ, а почетное лицо. Только держать онъ себя и на одну сотую не умѣетъ такъ, какъ этотъ нахалъ. Тотъ у Господа Бога табачку попроситъ. Всѣ министры его пріятели, съ генералъ-адъютантами за панибрата, брюхо впередъ, фракъ ловко сидитъ, на всю залу, съ кѣмъ хочешь, будетъ своимъ суконнымъ языкомъ рацеи разводить.

Евлампій Григорьевичъ даже плюнулъ въ окно кареты за сто сажень до дома своего родственника.

Вотъ и теперь... Онъ знаетъ, какъ тотъ его приметъ. Придется проглотить не одну пилюлю. И все это будетъ „неглиже". Такъ тебя и тычетъ носомъ: „пойми-де и почувствуй, что ты передо мною, хоть и въ почетѣ живешь, — мразь".

Щеки Евлампія Григорьевича краснѣли и даже пошли пятнами. Онъ хотѣлъ-было взяться за снурокъ и крикнуть кучеру, чтобы тотъ поворачивалъ назадъ. Но сдѣлать визитъ надо. Хуже будетъ. „Дяденька Алексѣй Тимоѳеевичъ не даромъ придумалъ насчетъ мѣста директора. Только каково это будетъ прыгать передъ этакой ехидной? Онъ тебя изъ-за угла помоями обливаетъ, а ты къ нему на поклонъ съ дарами приходишь... „Батюшка, сложи гнѣвъ на милость!". Когда Нѣтовъ страдалъ и сердился про себя, голова его усиленно работала. — Онъ находилъ въ себѣ и бойкія слова, и злость, и язвительность. Еслибы онъ могъ вслухъ такъ кого-нибудь отдѣлать хоть разъ, тогда всѣ бы держали передъ нимъ „ухо востро". Но онъ чувствовалъ, что никогда у него не достанетъ духу. — Вся горечь уйдетъ внутрь, всосется, потечетъ по жиламъ и отдастся въ горлѣ... Вѣкъ не вылѣзешь изъ своей кожи!

Его еще разъ непріятно кольнуло, когда карета остановилась на рысяхъ передъ крыль-

цомъ. — А онъ не успѣлъ дорогоїі обдумать и того, въ какомъ порядкѣ сдѣлаетъ онъ своїі „подходъ“; съ чего начнетъ: будетъ ли мягко упрекать, или не намекнетъ вовсе на газетную статейку?.. — Вылѣзать изъ кареты надо. Дверь отворилась. Его принималъ швейцаръ.

VIII.

И швейцаръ, и остальная прислуга у Капитона Ѳеофилактовича одѣта по-русски, какъ кондукторы и прислуживающіе при шинельной Славянскаго Базара, какъ швейцары конторъ и многихъ московскихъ домовъ — въ высокихъ сапогахъ бутылками и короткихъ казакинахъ. Не лучше ли бы было и ему, Нѣтову, такъ одѣть прислугу?.. А то выдаетъ себя за славянолюбца и хранителя русскихъ „началъ“, а всѣ въ ливреяхъ, точно у какого нѣмецкаго принца. Но Марья Орестовна такъ распорядилась. — Вѣдь и она воспитала себя въ славянолюбіи; но безъ ливреи не соглашается жить. А этотъ вотъ „подносчикъ“ по наружности во всемъ изъ себя русака корчитъ. Самъ фракъ носитъ, но въ домѣ у него смазными сапогами пахнетъ. Нѣтъ оффиціантовъ, выѣздныхъ, камердинеровъ, буфетчиковъ, одни только „малые“ и „молодцы“.

Изъ узкой передней лѣстница вела во второїі этажъ. Съ верхней площадки, черезъ отворен-

ную дверь, Евлампій Григорьевичъ вошелъ въ пріемную комнату, въ родѣ тѣхъ, какія бываютъ передъ кабинетами министровъ, съ коекакой отдѣлкой. Къ одной изъ стѣнъ приставленъ былъ столъ, покрытый полинялымъ синимъ сукномъ. На немъ — закапанная хрустальная чернильница и графинъ со стаканомъ.

Дожидалось человѣка три мелкаго люда. У дверей кабинета стоялъ второй по счету казакинъ. Онъ впустилъ Евлампія Григорьевича съ докладомъ

Въ кабинетѣ — большой комнатѣ, аршинъ десять въ длину — свѣтъ шелъ справа изъ итальянскаго и четырехъ простыхъ оконъ и падалъ на столъ, помѣщенный поперекъ, огромный столъ въ обыкновенномъ петербургскомъ столярномъ вкусѣ. Мебель сафьянная съ краснымъ деревомъ, безъ особыхъ „рисунковъ", нѣсколько картинъ и, позади кресла, гдѣ сидѣлъ хозяинъ, его портретъ во весь ростъ, работы лучшаго московскаго портретиста. Сходство было большое; только Капитонъ Ѳеофилактовичъ снимался лѣтъ десять раньше, когда волосы еще не такъ серебрились. На портретѣ его написали стоя, во фракѣ, съ орденомъ на шеѣ, въ бѣломъ галстухѣ, съ моднымъ вырѣзомъ жилета, и съ усмѣшкой, гдѣ можно было и не злоязычному человѣку прочесть вопросъ:

„А чѣмъ же я, примѣрно, не министръ финансовъ?"

Теперешній Капитонъ Ѳеофилактовичъ си

дѣлъ въ соломенномъ креслѣ, въ полъ-оборота къ столу и лицомъ къ входной двери. Лицо его прямо такъ и выскочило изъ питейной лавочки, курносое, рябоватое; скулы выдавались, но ротъ хранилъ самодовольную и горделивую складку. Волосы, мелкокурчавые, онъ сохранилъ и на лбу, и на темени, носилъ ихъ недлинными и бороду подстригалъ. Его домашній свѣтлосѣрый костюмъ смахивалъ на охотничью куртку. Короткая шея уходила въ широкій косой воротъ ночной рубашки, расшитый шелками, также какъ и края рукавовъ; на пальцахъ остались слѣды чернилъ. Онъ врядъ ли еще умывался; ноги его, съ широкой, мужицкой ступней, засунуты были въ коты изъ плетеныхъ, суконныхъ ремешковъ, какіе носятъ старухи.

При входѣ Евлампія Григорьевича, Краснопёрый не привсталъ и даже не обернулся къ нему тотчасъ же, а продолжалъ говорить съ прикащикомъ. Тотъ стоялъ налѣво, у боковой двери, въ короткомъ пальто, шерстяномъ шарфѣ и большихъ сапогахъ, малый за тридцать лѣтъ, съ смиренно плутоватымъ лицомъ. Голову онъ наклонилъ, подался всѣмъ корпусомъ и не дѣлалъ ни шагу впередъ, а только перебиралъ ногами. Вся его посадка изображала собою напряженное вниманіе и преклоненіе передъ хозяйскимъ „приказомъ“.

Гость остановился и притаилъ дыханіе. Уже самый пріемъ этотъ оскорблялъ его. Развѣ эта „образина“ не могла попросить его въ гости-

ную и извиниться, прикащика сначала отпустить, а не продолжать передъ нимъ, Евлампіемъ Григорьевичемъ, — своихъ домашнихъ распоряженій, да еще въ ночной сорочкѣ и котахъ? Красныя пятна на щекахъ обозначились съ новой силой.

IX.

— Не перепутай, — продолжалъ Краснопёрый и ткнулъ въ воздухъ грязнымъ указательнымъ пальцемъ.

Когда онъ говорилъ, въ груди у него слышался хрипъ, точно въ засоренномъ чубукѣ. Онъ часто икалъ.

— Какъ можно-съ, — откликнулся прикащикъ.

— Оттуда къ Мурзуеву... Полушубковъ пять-сотъ штукъ, да хорошихъ, не кислыхъ.

— Слушаю-съ.

— Кажинную штуку пересмотри и перенюхай.

— Слушаю-съ.

— Отъ Мурзуева къ тому... знаешь, въ Зарядьѣ?

— Знаю-съ.

— Капитонъ-молъ Ѳеофилактовичъ приказали отпустить холста рубашечнаго двѣ тысячи аршинъ... ярославскаго, полубѣлаго, чтобъ безъ гнили.

— Слушаю-съ.

Тутъ только Краснопёрый обернулся къ остю и небрежно сказалъ ему:

— А, Евлампій Григорьевичъ! Здравствуй!.. Обожди маленько... присядь.

Всего обиднѣе то, что онъ ему говоритъ „ты". И всегда такъ говорилъ... Они четвероюродные братья, но есть разница лѣтъ. Другой бы давно далъ знать такому „стрекулисту", что пора оставить эту фамильярность, или ему самому отвѣчать такимъ же „ты". И на это не хватаетъ духу!..

— Все искупи седни, — онъ не стѣсняясь говорилъ „седни", а въ сановники мѣтилъ, — и сдай въ складъ, подъ росписку.

— Слушаю-съ, — повторилъ въ двадцатый разъ прикащикъ.

— Для васъ все, для вашей команды, — еще небрежнѣе замѣтилъ Краснопёрый родственнику.

Евлампій Григорьевичъ хотѣлъ что-то возразить, но лицо хозяина кабинета уже смотрѣло въ профиль на прикащика.

— Съ Богомъ, — отпустилъ Краснопёрый и не тотчасъ же обернулся къ Нѣтову, а нагнулъ голову, какъ бы что-то соображая.

Прикащикъ взялся за ручку двери.

— Вонифатьевъ! — крикнулъ хозяинъ.

— Что прикажете-съ?

Больше двухъ шаговъ прикащикъ не сдѣлалъ.

— Вотъ еще, что я забылъ, братецъ... По Ильинкѣ проѣзжать будешь, то бишь по Никольской, заверни къ Феррейну и отдай ему... не въ аптеку, а въ магазинъ... матеріаловъ.

— Понимаю-съ.

— Чтобы все по запискѣ было отпущено безъ задержекъ.

— Записочку...

— Что ты мнѣ тычешь?.. Знаю...

Краснопёрый не спѣша открылъ одинъ изъ ящиковъ, порылся тамъ, досталъ бумажку, сложенную вдвое, и протянулъ.

Прикащикъ подбѣжалъ и взялъ бумажку.

— И такимъ же манеромъ въ складѣ прикажете?

— Да, братецъ, и въ складѣ... ступай...

„Вотъ и ему, Нѣтову, этотъ куценосый будетъ сейчасъ же говорить „ты", какъ и Вонифатьеву въ смазныхъ сапогахъ".

Дверь затворилась за прикащикомъ.

Капитонъ Ѳеофилактовичъ сѣлъ теперь въ кресло лицомъ къ гостю, потянулся и зѣвнулъ.

— Что не куришь?

— Не хочется, — отвѣтилъ Нѣтовъ и почувствовалъ, какой у него школьническій голосъ.

— Добро пожаловать!.. А ты, кажется, въ изумленіе пришелъ, что я тебѣ сказалъ на счетъ склада?.. Да, братъ, я теперь отдуваюсь.. Ваши дамы-то... хоть бы и твоя супруга... только ленточки да медальки носить охотницы; а охотка прошла — и нѣтъ ничего.

— Однако... — началъ было Нѣтовъ.

— Да что тутъ однако, я тебѣ на дѣлѣ показываю... Ты вѣдь тоже соревнователемъ числишься... А заглядывалъ ли ты туда хоть разъ въ полугодіе, вотъ хотя бы съ весны?..

— Вы знаете, Капитонъ Ѳеофилактовичъ, что у меня у одного кажется...

— Нечего кичиться твоими трудами!.. Сидишь да потѣешь въ разныхъ комитетахъ... Ха, ха!.. А послѣ надъ тобой же смѣются... Лучше бы похлопотать о русскомъ раненомъ воинѣ. Чево! Война прошла... Цѣлымъ батальонамъ ноги отморозило!.. Калѣкъ-перехожихъ надѣлали что песку морского... Пущай!.. Глядь — ни холста, ни полушубковъ, ни денегъ, — ничего!.. Краснопёрова за бока!.. Онъ христолюбецъ!..

X.

Губы Евлампія Григорьевича совсѣмъ побѣлѣли. Онъ то потиралъ руки, то хватался правой рукой за лацканъ фрака. „Бахвальство“ братца душило его. А отвѣчать нечего. Онъ, дѣйствительно, не знаетъ, что дѣлается въ этомъ „складѣ“. И Марья Орестовна что-то туда не ѣздитъ. У неї вышла исторія, она не перенесла одной какой-то фразы отъ предсѣдательши. Съ тѣхъ поръ не даетъ ни копѣйки, и не дежуритъ, аршина холста не посылала... А этотъ „Капитошка“ угостилъ его цѣлымъ

нравоученьемъ, перечислилъ и полушубки, и холсты, и аптекарскіе товары.

— Такъ-то оно и все идетъ у насъ на Руси православной, — протянулъ Капитонъ Ѳеофилактовичъ и, прищурившись на гостя, подзадоривающимъ тономъ спросилъ: — читалъ, какъ васъ съ дяденькой-то ловко отщелкали, а-съ?..

Этого не ожидалъ Нѣтовъ даже и отъ Краснопёрова. Самъ онъ — завѣдомо подстрекатель пасквиля, и вдругъ издѣвается, какъ ни въ чемъ не бывало!..

— А что же-съ, вамъ это особенно пріятно? — сумѣлъ онъ спросить, и голосъ его дрогнулъ.

— Да мнѣ что? Не дѣтей съ вами крестить! Ругайтесь промежъ себя, намъ же лучше.

— Однако, такая газета стоитъ того, чтобы ее судомъ...

— Судись, коли охота есть!.. Деньги-то все равно зря тратишь. Ну, найми Ѳедора Никифоровича. Онъ тебя такъ распишетъ, что хоть сейчасъ въ царствіе небесное... Ха, ха!..

— Дядюшка тутъ припутанъ ни къ селу, ни къ городу.

— Факты вѣрные... Скаредъ и самодуръ... Онъ все въ сторонкѣ, да потихоньку, анъ и его — на свѣжую воду... Радуйся! Вѣдь тебя, братъ, супруга въ альдермены, на аглицкій манеръ произвела... Ну, и стой за свободу слова, за гласность. Ты долженъ это дѣлать, долженъ... Ха, ха, ха!..

Краснопёрый долго смѣялся, покачиваясь на креслѣ. Ногу онъ задралъ кверху.

Блѣдность Евлампія Григорьевича перешла опять въ красноту. Онъ еще сильнѣе краснѣлъ отъ сознанія, что не въ силахъ сдержать себя, съ презрѣніемъ относиться ко всему этому „гаерству“ и безнаказанной дерзости „мужлана“ и „сивушника“.

— Чтожь вы думаете, — заговорилъ опять Краснопёрый: — вамъ всѣ въ зубы будутъ глядѣть?.. Хозяйничай, какъ знаешь, батюшка!.. Да я бы васъ еще не такъ! Отдали самыя сурьезныя статьи въ чьи руки?..

— Свѣдущіе люди...

— Отчего шпыняютъ васъ?! Оттого, что вы какого-нибудь голоштаннаго кандидатишку пошлете за-границу отхожія мѣста изучать, съ меня же, какъ съ платящаго жителя, сдерете на его содержаніе, а потомъ позволяете ему мудрить и эксперименты производить!.. Эхъ, вы!..

Онъ всталъ, подтянулъ свой костюмъ весьма безцеремонно и пожалъ плечами.

Какъ же говорить послѣ такого пріема? Только срамиться. И переходъ-то нельзя сдѣлать. Къ чему придраться? Или разговоръ перевернуть? На это Евлампія Григорьевича никогда не ставало и въ засѣданіяхъ, не то что ужь въ подобномъ случаѣ.

— Вы это напрасно, — выговорилъ онъ съ большимъ усиліемъ. Лучше всего было мол-

чать: — разумнѣе и ловчѣе ничего не придумаешь...

— Да нечего!.. Газетная лапша хорошая штука для вашего брата...

— Мы не такъ къ вамъ относимся...

— Кто мы?

— Да хоть бы дядюшка... и я тоже. До сихъ поръ, кажется, имѣлъ я основаніе, Капитонъ Ѳеофилактовичъ, считать васъ русскимъ кореннымъ человѣкомъ... Вы же меня и ввели къ такимъ людямъ, какъ хотя бы Лещовъ, Константинъ Глѣбычъ...

— Да ты куда это ударился, сударь мой?

— Нешто мы измѣнили? Или передались, что-ли? Вонъ другіе себя величаютъ всячески: либералы мы, говорятъ, западники... А я, кажется, все въ томъ же духѣ...

— Надоѣлъ, Евлампій Григорьевичъ, надоѣлъ ты мнѣ своимъ нытьемъ... Славянофилъ ты, что-ли? Кто тебя этому надоумилъ? Книжки ты сочинялъ или стихи, какъ Алексѣй Степанычъ — покойникъ? Пренія производилъ съ питерскими умниками, аль опять съ начетчиками въ Кремлѣ? Ни пава ты, ни ворона! И Лещовъ надъ тобой же издѣвался!.. Я тебѣ это говорю доподлинно!

XI.

Дальше молчать было невозможно. Евлампій Григорьевичъ задвигался на стулѣ.

— Зачѣмъ-же-съ, зачѣмъ-же-съ, — заговорилъ онъ...— Я вовсе въ это не желаю входить. Душевно признателенъ за то, что видѣлъ отъ Константина Глѣбовича. И хотя бы онъ заглаза... при его характерѣ оно и не мудрено; но мы объ этомъ не станемъ-съ...

— Это твое дѣло! — перебилъ Краснопёрый.

— Не станемъ-съ, — повторилъ Нѣтовъ. — Потому, кто же можетъ въ душу къ другому человѣку залѣзть? А вотъ, Капитонъ Ѳеофилактовичъ, мы съ дядюшкой Алексѣемъ Тимоѳеевичемъ думаемъ сдѣлать вамъ совсѣмъ другое... сообщеніе.

— Какое такое сообщеніе?

Краснопёрый подперъ себѣ руки въ бока.

— Такъ какъ Константинъ Глѣбовичъ очень плохъ, можно сказать, въ полномъ разстройствѣ здоровья, такъ мы и думали... по прежнимъ нашимъ связямъ съ вами...

— Ну-у?

— Какъ вы полагаете сами на счетъ мѣстовъ, занимаемыхъ теперь Константиномъ Глѣбовичемъ?..

Лицо Краснопёрова измѣнило выраженіе. Онъ подался впередъ всѣмъ корпусомъ.

— Какъ же тутъ полагать? Ты говори толкомъ.

— Вѣдь желательно, чтобы, ежели послѣ его кончины, мѣста эти останутся вакантными — человѣкъ стоющій получилъ главную силу и могъ сообразно тому дѣйствовать.

— Дальше, что же, сударь мой, дальше-то?

— И чѣмъ раздоры имѣть... и другъ дружку ослаблять, не любезнѣе ли бы было, Капитонъ Ѳеофилактовичъ, въ соглашеніе войти... Если вы къ намъ въ тѣхъ же чувствахъ, какъ и прежде, то мы, съ своей стороны, окажемъ вамъ поддержку.

— А ты думаешь, для меня ни вѣсть какая благодать на Лещова мѣсто сѣсть? — пренебрежительно спросилъ Краснопёрый. Онъ сразу уразумѣлъ, въ чемъ дѣло, и уже сообразилъ, какъ надо поломаться. Коли сами залѣзаютъ, стало, онъ имъ нуженъ... Газетныя статейки подѣйствовали.

„Подлецъ ты, подлецъ, — безпомощно бранился про себя Нѣтовъ: — и зачѣмъ я тебя улещаю?.. Надо бы тебя за пасквили къ мировому, а то и въ окружный... Ты же насъ осрамилъ на всю Москву, и я же долженъ прыгать передъ тобою“.

— Хуже будетъ, ежели кто-нибудь изъ вашихъ заклятыхъ враговъ да попадетъ... — сказалъ съ усиліемъ Нѣтовъ. — Вѣдь вы опять въ дѣла вошли. Кредитъ поднимется сразу и всякое предпріятіе.

— Тихъ, тихъ, а посулы знаешь!

— Почему же вы это за посулы принимаете? Надо предвидѣть-съ.

— Благопріятель еще живъ, а мы ужь разсчитываемъ, кого бы намъ посадить, чтобы нашу руку гнули. Объ одеждахъ его мечемъ жребій!..

— Это ужь совсѣмъ напрасно, — разсердился въявь Нѣтовъ и всталъ. — Вамъ достаточно извѣстно, Капитонъ Ѳеофилактовичъ, что я никакими афёрами не занимаюсь (Марья Орестовна не могла его отучить отъ „афёръ"); ежели я и дядюшка Алексѣй Тимофеевичъ объ чемъ хлопочемъ, такъ это единственно, чтобъ люди стоющіе сидѣли на такихъ мѣстахъ. И потомъ мы полагали, что вамъ съ нами ссориться не изъ-чего. Кромѣ всякаго содѣйствія вы отъ насъ ничего не видали.

— Ладно, ладно!.. Сейчасъ и пѣтушится, ха, ха!..

Краснопёрый перемѣнилъ тонъ.

— Была бы честь предложена! — вырвалось у Нѣтова.

Но онъ тотчасъ же испугался и ушелъ въ себя.

— Да ладно, я вѣдь не кусаюсь... А ты вотъ что мнѣ скажи: это ты самъ придумалъ на счетъ Лещова?.. Врядъ ли!.. Дядюшка надоумилъ?

— Это все единственно... кто... я ли, дядюшка ли, что для васъ выгоду имѣетъ, вы сообразите сами...

— Плохъ онъ нешто?.. — спросилъ вдругъ Краснопёрый серьёзно.

— Вы о комъ, о Константинѣ Глѣбовичѣ?

— Да.

— Оченно плохъ... Я вотъ къ нему...

— Удостовѣриться, сколько дней проживетъ?

— Вовсе не такъ, Капитонъ Ѳеофилакто-

вичъ, вовсе не въ этихъ разсчетахъ, а потому собственно, что они просили насчетъ завѣщанія.

— Пишетъ?

— Да-съ... И дядюшку желали въ душеприкащики.

— Тотъ не пошелъ... старый аспидъ?

— У нихъ дѣловъ достаточно и своихъ...

— А ты?

— Мнѣ также вмѣшиваться не хотѣлось бы... подписаться свидѣтелемъ, почему не подписаться...

— Улита ѣдетъ — скоро ли будетъ... Лещовъ-то пять разъ ужь на моей памяти отходилъ, однако, все еще живъ. Онъ Господа Бога слопаетъ.

— Не доживетъ до зимы.

— Ну и пущай его... Вамъ съ дядей вотъ что скажу, другъ любезный: загадывать нечего, можно и провраться... Коли вы оба со мной ладить хотите... такъ мы посмотримъ...

— Мы надѣемся, что вы, какъ и прежде, этихъ-то, которые надъ нами въ издѣвку... и на счетъ русскихъ и славянъ...

— Это ты не гоноши... Я — русакъ. Въ деревнѣ родился... стало нечего меня русскому-то духу обучать... А вы очень не тянитесь... за барами, которые... кричатъ-то много... Онъ, говоритъ, западникъ... Мы не того направленія... Вы оба о томъ лучше думайте, чтобъ куръ не смѣшить, да стоющимъ людямъ поперекъ дороги не становиться, такъ-то!..

Краснопёрый всталъ и протянулъ руку Нѣтову. Больше не очемъ было разговаривать. Хорошо еще что проводилъ до пріемной.

XII.

Не много пріятности предстояло и у Лещова. Но видно, такой крестъ выпалъ, даромъ ничто не дается.

Всю дорогу — минутъ съ двадцать — на душѣ Евлампія Григорьевича то защемитъ отъ „пакости" Краснопёрова, то начнетъ мутить совѣсть: человѣкъ умираетъ, проситъ его въ свидѣтели по завѣщанію, училъ уму-разуму, изъ самыхъ немудрыхъ торговцевъ сдѣлалъ изъ него особу, а онъ, какъ „Капитошка" сейчасъ ржалъ: „объ одеждахъ его мечетъ жребій"; срамъ — стыдобушка! Сядетъ у его кровати, ровно другъ, а самъ передъ тѣмъ заѣзжалъ къ такому „мерзецу", какъ Краснопёрый, сулитъ ему мѣста Константина Глѣбовича. И зачѣмъ все это?.. Не могъ онъ развѣ жить себѣ припѣваючи? Ни заботъ, ни сухоты, ни обиды. Гдѣ хочешь... въ Ниццу или въ Неаполь, что ли, поѣзжай. Палаццо тамъ выведи, пѣвчихъ своихъ, церковь собственную... Такъ нѣтъ!.. Все подошло одно къ одному; завелся и выросъ внутри червякъ, — какое — цѣлый глистъ ленточный, гложетъ и гложетъ... И къ людямъ такимъ попалъ въ выучку: Лещовъ,

Марья Орестовна. Теперь ужь и нельзя назадъ, не пускаетъ собственное прошедшее.

Ежится Евлампій Григорьевичъ въ своей мягкой стеганой шинели. Ему не по себѣ, точно онъ передъ припадкомъ лихорадки... Слишкомъ ужь играли на его нервахъ, да и еще поиграютъ. У Лещова онъ засиживаться не станетъ.. Нѣтъ!.. А дома-то?.. Что такое готовитъ Марья Орестовна?.. Господи! .

Карета въѣхала въ ворота и остановилась у подъѣзда со стариннымъ навѣсомъ деревяннаго крыльца. Домъ у Лещова былъ небольшой, одноэтажный, съ улицы штукатуренный, въ переулкѣ, около Новинскаго бульвара, старый, купленный съ аукціона; построенъ былъ какимъ-то еще „бригадиромъ".

Покупщикъ поправилъ его немного внутри, сдѣлалъ потеплѣе, перестлалъ полы и вставилъ новыя окна; но объ убранствѣ не заботился. Расположеніе комнатъ, почти вся мебель, даже запахъ старыхъ дворянскихъ покоевъ, остались тѣ же. Одна зала была по просторнѣе, остальныя комнаты тѣсныя и воздухъ въ нихъ всегда стоялъ спертый.

Впустилъ Нѣтова лакей съ длинными усами, въ черномъ сюртукѣ.

— Здравствуйте, батюшка Евлампій Григорьевичъ, — сказалъ онъ съ поклономъ.

— Какъ баринъ? — спросилъ Нѣтовъ, войдя въ переднюю, гдѣ еще сохранились „лари".

— Очень мучились... Одышка... Совсѣмъ залило... вода-то... — прибавилъ онъ шопотомъ. — Докторъ въ три часа ночи былъ. Консиліумъ, слышно, хотятъ.

— Кто у него теперь?

— Ждали Качѣева, Аполлона Ѳедоровича,— изволите знать?

— Адвокатъ?

— Да-съ... А тѣхъ вотъ о сю-пору нѣтъ. Верховаго послали...

И въ переднюю проникъ запахъ комнаты трудно-больнаго. Нѣтовъ нахмурился и сжалъ губы. Онъ боялся покойниковъ и умирающихъ.

Лакей пошелъ впередъ черезъ залу — пустую, скучную комнату, съ ломберными столами и роялемъ, безъ растеній, безъ картинъ, черезъ гостиную съ красной штофной мебелью, проходную, неуютную, и повернулъ налѣво чрезъ комнату, которая у прежнихъ владѣльцевъ называлась „чайной“.

Раскатъ желудочнаго кашля остановилъ и испугалъ Нѣтова. Точно у него самого вышло наружу все нутро. Лакей постучалъ въ дверь и пріотворилъ. Оттуда выглянуло молодое лицо. Они пошептались.

— Пожалуйте, батюшка, — пригласилъ лакей Евлампія Григорьевича.

Больной помѣщался на широкой, двуспальной кровати изъ темнаго орѣха. Сторы были подняты, но свѣтъ входилъ въ комнату сѣрый; коричневые обои дѣлали ее еще болѣе тоскли-

вой. Только дамскій туалетъ, съ серебрянымъ зеркаломъ и кисеей на розовой подкладкѣ, немного освѣжалъ общій видъ. Въ воздухѣ двигались невидимыя полосы эѳира, испаренія, микстуръ. Въ подушкахъ, опершись о нихъ спиной, Лещовъ только-что осилилъ страшный припадокъ удушья и кашля. Голова его опустилась на бокъ. Изъ длиннаго, отекшаго лица съ рѣдкой бородой, почти совсѣмъ сѣдой, глядѣли два глаза, озлобленные на боль, подозрѣвающіе, полные горечи и брезгливаго чувства ко всѣмъ и ко всему. Глаза эти то расширяли свои зрачки, то разбѣгались и блуждали по комнатѣ. Ротъ кривился. Грудь дышала коротко и томительно. Можно было замѣтить, что ее „заливаетъ", какъ сказалъ лакей Нѣтову. Животъ, непомѣрно раздутый, указывалъ также на послѣдній періодъ водяной. Фланелевое одѣяло прикрывало тѣло больнаго до пояса. Онъ разметалъ его. На ногахъ лежало другое, полегче. У изголовья стоялъ столикъ со множествомъ лекарствъ. Въ ногахъ, на табуретѣ лежали игральныя карты и грифельная доска. Подальше, изъ-за кровати, выставлялся сложенный, ломберный столъ; на немъ бумаги, чернильница съ перомъ и два толстыхъ тома.

Жена Лещова смотрѣла дамой лѣтъ подъ тридцать. Она, какъ-то не подъ стать комнатѣ при-смерти больнаго, была старательно причесана и одѣта, точно для выѣзда, въ шолковое платье, въ браслетѣ и медальонѣ. Ея бѣлоку-

рое, довольно полное и красивое лицо совсѣмъ не оживлялось глазами неопредѣленнаго цвѣта, немного заспанными. Она улыбнулась Нѣтову улыбкой женщины, не желающей никого раздражать и способной все выслушать и перенести.

— Евлампій Григорьевичъ, — тихо сказала жена, наклоняясь надъ нимъ.

— А? что?..—раздраженно окликнулъ онъ.

Она повторила, и обернувшись къ гостю показала лицомъ какъ она хорошо переноситъ послѣдніе дни своихъ мученій.

Нѣтовъ подошелъ къ кровати на цыпочкахъ.

— А! пріѣхалъ!.. Спасибо!..

И Лещовъ говорилъ ему „ты". А онъ ему „вы".

— Какъ? — спросилъ Нѣтовъ больнаго.

— Видишь... Душитъ... Скоты у насъ доктора... Разбойники!.. Вотъ хочу Маттеи попробовать... А всѣхъ этихъ жидовъ гнать вонъ!.. Сотенныхъ-то!

Лещовъ схватился за грудь и злобно вскинулъ головой на жену.

— Ну, что торчишь?.. Что торчишь? Господи ты Боже мой!.. Ну, сложи все это съ табуретки!.. И уходи! Не мозоль ты мнѣ глаза!

Жена взяла карты и грифельную доску и вышла молча, сохраняя все ту же улыбку.

XIII.

— А дядя, что? Алексѣй Тимоѳеевичъ? ты ему передавалъ мою просьбу?

— Передавалъ съ. Константинъ Глѣбовичъ.

— И что-же?

— Они свидѣтелемъ — съ полнымъ удовольствіемъ...

— Стало въ душеприкащики не хочетъ?

— Изволите видѣть...

— А-а! — перебилъ больной и глаза его сверкнули... Пятится?.. И ты тоже?

— Я, Константинъ Глѣбовичъ .. съ полнымъ моимъ удовольствіемъ... только позвольте вамъ доложить...

— Ну да, ну да!.. Ахъ, вы христопродавцы!..

Онъ откинулся на подушку. Въ горлѣ у него захрипѣло. Но въ такомъ положеніи онъ оставался не долго. Снова приподнялъ онъ голову и подался впередъ, такъ, что его голова почти ткнулась въ лицо Нѣтову.

— Вотъ вы всѣ таковы! Пока человѣкъ живъ, на ногахъ, нуженъ вамъ, глупость-то вашу отчищаетъ, какъ коросту какую, — вы ему всякое уваженіе. А тутъ въ пустякахъ— отказъ, трусость поганая, моя хата — съ краю... Славно!.. Чудесно!.. И не надо!..

— Константинъ Глѣбовичъ! вы изволите знать дядюшку. У нихъ дѣловъ собственныхъ

по горло. И съ судомъ они опасаются всякихъ столкновеніевъ.

— Дѣловъ... Столкновеніевъ! Вотъ они у насъ какъ выражаются господа коммерсанты...

Больной приподнялся и выпрямился. Правую руку онъ вытянулъ, а лѣвой открылъ еще больше воротъ рубашки.

— И въ васъ-то я двадцать-пять лѣтъ самыхъ лучшихъ всадилъ, въ васъ?! Срамъ вспомнить!.. Меня съ вами начали смѣшивать... въ одну кучу валить... Такой же кулакъ, говорятъ, какъ и всѣ они, воротило, выжига, выкормокъ купеческій. А я магистерскій дипломъ имѣю... Ты это забылъ?..

— Помилуйте, Константинъ Глѣбовичъ...

— А я забылъ!.. За чечевичную похлебку, какъ Исавъ, продалъ свое первородство. Сталъ съ вашимъ братомъ якшаться!.. И благодарности захотѣлъ...

Ротъ больнаго сводило. Онъ заметался на постели. Нѣтову сдѣлалось очень жутко. Самъ онъ готовъ былъ сейчасъ пойти въ душеприкащики, но за дядю отвѣчать не могъ.

— Христа-ради, Константинъ Глѣбовичъ,— заговорилъ онъ: — не извольте такъ разстраиваться-съ. Я, съ своей стороны, готовъ.

— Не хочу!..— крикнулъ гнѣвно Лещовъ:— не хочу!.. Убирайтесь!.. Найду и другихъ. Дворника позову, кучера, вонъ Андрея своего... не хуже васъ будутъ... и въ безгра-

мотствѣ не уступятъ... Вотъ... умирать какъ пришлось...

— Я за честь почту-съ,—продолжалъ Нѣтовъ: — быть свидѣтелемъ, коли ваше на то желаніе, Константинъ Глѣбовичъ.

— Не надо!.. Не нуждаюсь... Я васъ насквозь вижу... Вы ужь и теперь подыскиваете человѣка на мою ваканцію. Чего глаза-то опускаешь, Евлампій Григорьевичъ?.. Ваше степенство! Вонъ и щеки у тебя пятнами пошли...

— Помилуйте-съ!.. — прошепталъ Нѣтовъ. Ему ужасно захотѣлось съежиться.

— Ха, ха! — разразился Лещовъ, и его смѣхъ перешелъ въ новые раскаты кашля.

Нѣтовъ переполошился, вскочилъ, схватилъ стаканъ съ какимъ-то питьемъ.

Изъ полуотворенной двери показалось лицо жены.

— Микстура бѣлая, — шопотомъ подсказала она Нѣтову и скрылась.

— Прикажете лекарства? — спросилъ тотъ больнаго.

Лещовъ ничего не отвѣтилъ. Онъ съ усиліемъ откашливался. Жилы налились у него на лбу и вискахъ. Лицо посинѣло. Надо было поддерживать ему голову. Послѣ припадка, онъ упалъ пластомъ на подушки и съ минуту лежалъ, не раскрывая глазъ. Въ спальнѣ слышалось его дыханіе.

На цыпочкахъ отошелъ Нѣтовъ къ двери.

Вдругъ больной схватился за колокольчикъ и позвонилъ. Дверь отворила жена.

— Качѣевъ здѣсь? — чуть слышно спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще!

— Разбойникъ!.. Селадонъ проклятый!..

Онъ уже не обращалъ никакого вниманія на гостя.

— Не угодно ли мой экипажъ? — предложилъ Нѣтовъ, обращаясь къ женѣ.

— Не хочу! — крикнулъ Лещовъ. — Не надо!.. Благопріятели удружили! Оставьте меня! всѣ, всѣ!..

И онъ замахалъ рукой.

XIV.

Нѣтовъ вышелъ за двери съ Лещовой.

Она улыбнулась ему, сложила руки, какъ на картинахъ складываютъ, становясь передъ образомъ, и подняла глаза.

— Ради Бога, — заговорила она, уводя его въ гостиную.—Не раздражайте его. Простите. Онъ внѣ себя.

— Да я понимаю-съ, — заторопился Нѣтовъ: — совершенно вѣрно изволите говорить. Внѣ себя.

— Пожалуйста, прошу васъ... согласитесь...

Она опустилась на диванъ и приложила къ глазамъ батистовый платокъ съ разноцвѣтной монограммой.

— Да я съ полной готовностью. И дядюшка Алексѣй Тимоѳеевичъ согласны въ свидѣтели.

— Какіе свидѣтели? — вдругъ спросила она наивнымъ тономъ и отняла платокъ отъ покраснѣвшихъ глазъ.

— По духовной...

Евлампій Григорьевичъ прикусилъ себѣ языкъ. Онъ, быть можетъ, проврался. Вѣдь этихъ вещей не говорятъ женамъ. Кто ее знаетъ? Живутъ они, кажется, не очень-то ладно.

— По завѣщанію? — томно переспросила она и склонила голову на плечо.

— Собственно... я полагаю такъ, — началъ путаться Евлампій Григорьевичъ.

— Ахъ, monsieur Нѣтовъ... я далека отъ всего этого... я ничего не знаю... мой мужъ никогда меня не посвящалъ въ дѣла... Никогда... Онъ смотритъ на меня какъ на дурочку... И вотъ теперь поймите мое положеніе... въ такія минуты... я какъ въ лѣсу... Волю свою онъ не передаетъ мнѣ на словахъ! О, нѣтъ!.. Я не достойна... Я не ропщу... вы понимаете, Евлампій Григорьевичъ... какая будетъ воля моего мужа — я не знаю... Но выборъ исполнителей... такъ важенъ... ваше участіе...

— Да я всей душой... Только Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Они не пожелаютъ меня безъ дядюшки; а Алексѣй Тимоѳеевичъ разъ что скажетъ, рѣшенія своего не измѣнитъ.

— Кто же будетъ? — всхлипнула Лещова и опять закрыла глаза платкомъ.

Евлампій Григорьевичъ увидалъ себя въ эту минуту на постели, обложеннаго подушками, больнаго при смерти... Какое-то онъ будетъ составлять завѣщаніе? А его Марья Орестовна что станетъ выдѣлывать? Она и этакъ, пожалуй, не прослезится. Но на нее онъ не посмѣетъ такъ кричать, какъ Лещовъ. Всѣ онѣ на одинъ ладъ.

Вбѣжалъ лакей.

— Пожалуйте... — позвалъ онъ барыню. — Гнѣваются... Опять Аполлона Ѳедоровича требуютъ.

— Меня зоветъ? — спросила Лещова съ видомъ жертвы.

— Да-съ! Приказали васъ звать. Звонокъ въ передней. Должно быть Аполлонъ Ѳедоровичъ.

Лакей убѣжалъ.

— Вы не побудете? — спросила Лещова, вставая, и протянула Нѣтову бѣлую, круглую руку, всю въ кольцахъ.

— Да вѣдь теперь что же-съ, бумаги еще не готовы. Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Пожалуй, и въ свидѣтели не пожелаютъ... что же ихъ безпокоить? Вы сами изволите видѣть... А если что нужно... дайте знать.

— Ахъ, Евлампій Григорьевичъ, — она оперлась объ его руку и поникла головой, — развѣ я что значу?

— Ну вотъ, быть можетъ, довѣріе имѣютъ къ адвокату.

— Къ Качѣеву?

— Да-съ.

— Не думаю... Я въ сторонѣ... И хочу... чтобы потомъ никто не имѣлъ права...

— Однако, все-таки-съ... Довѣренный человѣкъ и законъ знаетъ... Да и самъ Константинъ Глѣбычъ разсудятъ, когда поспокойнѣе будутъ, кого имъ лучше выбрать... Я съ своей стороны...

А самъ думалъ: „еще впутаешься съ тобой. Почнешь ты оттягивать имущество, если тебѣ мала покажется твоя доля“...

Онъ торопливо сталъ раскланиваться.

— Пожалуйста... не извольте меня провожать, вашъ больной какъ бы опять не разгнѣвался?..

Нѣтовъ пятился къ двери весь въ испаринѣ, не зная, какъ ему поскорѣе уйти изъ этого дома, гдѣ еще такъ недавно его, какъ говорилъ Красноперый, „натаскивали“.

Лещова проводила его до залы и на порогѣ еще разъ подняла глаза кверху.

XV.

Въ спальнѣ она застала адвоката Качѣева.

На краю постели сидѣлъ, нагнувъ вправо голову и весело глядя на больнаго, молодой

блондинъ небольшаго роста. Его бакенбарды расчесаны, точно двѣ пуховки изъ подъ пудры, на розовыхъ щекахъ. Лоснящіеся, мягкіе волосы лежали на головѣ послушно, на лбу городками, а на вискахъ разбитые проборомъ на двѣ половины. Усы, свѣтлѣе волосъ, кончались тонкими нитями, по которымъ прошелся брилльянтинъ. Голубые глаза смотрѣли на больнаго, какъ баловники глядятъ на дѣтей. Фракъ со значкомъ сидѣлъ на Качѣевѣ, точно будто онъ ѣхалъ на балъ. По вырѣзу жилета, въ видѣ сердца, широкій галстухъ съ прямообрѣзанными концами падалъ на грудь. Въ манжетахъ желтѣли круглые матовые шарики съ жемчужиной по срединѣ. По всей комнатѣ пошелъ запахъ прѣсныхъ духовъ и смѣшался съ удушливымъ воздухомъ лекарствъ.

Качѣевъ держалъ больнаго за руку, тамъ гдѣ пульсъ, докторскимъ пріемомъ.

— Вотъ и вижу, — говорилъ онъ на распѣвъ женоподобнымъ голосомъ; въ эту минуту вошла Лещова: — что кипятились на кого-то. За это штрафъ. А! Аделаида Петровна, bonjour! Онъ вскочилъ и приложился къ рукѣ.

Лещова поглядѣла на него съ такимъ же выраженіемъ, какъ и на Нѣтова.

— Дурно ведетъ себя Константинъ Глѣбовичъ...

Мученическое выраженіе разлилось по всему лицу Лещовой.

— Подай бумаги! — прохрипѣлъ больной. Она не разслышала.

— Бумаги! — закричалъ онъ. — Кому я говорю? Рада! Заплела коклисы! Пріятный мужчина явился. Какъ же тутъ хребтомъ не вилять? И браслеты всѣ надо напялить.

Качѣевъ и Лещова обернулись къ больному разомъ. Лицо ея продолжало улыбаться; адвокатъ подошелъ къ кровати.

— Опять начали! — пригрозилъ онъ. — Воля ваша, доктору пожалуюсь. Какъ-же это вы меня приглашаете? Вамъ надо быть въ полномъ обладаніи своихъ духовныхъ способностей, а не такъ себя вести, Константинъ Глѣбовичъ... Вы этакъ, до состоянія невмѣняемости дойдете!

Больной стихъ и даже улыбнулся.

— Ахъ, батюшка, — началъ онъ жаловаться: — раздражаетъ она меня, мочи нѣтъ.

Онъ ткнулъ указательнымъ пальцемъ по направленію жены.

Адвокатъ присѣлъ опять на край постели.

— Уговоръ! — сказалъ онъ.

— Какой?

— О дѣлѣ будемъ толковать — не кипятиться, а то сейчасъ уйду.

— Ладно!

— Или я вашъ повѣренный, или вы меня для одной трепки пригласили!

— Пригласилъ! — повторилъ Лещовъ. — Нарочныхъ гонять надо!.. Семью собаками не сыщешь!.. У какой барыни подъ юпкой нашли?

— Константинъ Глѣбовичъ! — остановилъ адвокатъ и кивнулъ головой въ сторону Лещовой.

Она подала шкатулку краснаго дерева съ мѣдной отдѣлкой.

— А на что же поставить-то? — грубо спросилъ больной. — Писать-то гдѣ онъ будетъ?.. И этого сообразить не можетъ!.. Господи!.. полудурья, полудурья!..

Лещова ни на каплю не измѣнилась въ лицѣ. Только ея глаза встрѣтились съ глазами адвоката. Качѣеву стало неловко, хотя онъ уже привыкъ къ такимъ супружескимъ сценамъ и до болѣзни своего довѣрителя.

— Я прикажу, — особенно кротко выговорила Лещова.

— А сама не можешь? Лакеевъ звать, чтобы всякій скотъ видѣлъ, что я дѣлаю, и сейчасъ всѣмъ просвирнямъ протрубилъ... Баринъ-молъ съ аблакатомъ запирался. Умна!..

— Да вотъ столъ, — нашелся Качѣевъ: — мы сейчасъ же приставимъ... Тутъ все есть, что нужно... Пожалуйте.

Они придвинули ломберный столъ къ кровати. Портфель Лещовъ придерживалъ на груди.

— Отлично такъ будетъ! — вскричалъ Качѣевъ и отодвинулъ табуретку. — Ну, Константинъ Глѣбычъ, коли не станете ругаться — я съ вами три короля въ пикетъ сыграю послѣ.

— Ой-ли? — обрадованно спросилъ больной, и въ первый разъ глаза его улыбнулись.

Жена его, не дожидаясь новаго окрика, вышла изъ спальни.

XVI.

Портфель лежалъ уже на раскрытомъ столѣ. Лещовъ сначала отперъ его, держа передъ собой. Ключикъ висѣлъ у него на груди въ одной связкѣ съ крестомъ, ладонкой, финифтевымъ образкомъ Митрофанія и золотымъ, плоскимъ медальономъ. Онъ повернулъ его дрожащей рукой. Изъ портфеля вынулъ онъ тетрадь, въ большой листъ, и еще двѣ бумаги, такого же формата.

— Что-же? — дурачливо началъ Качѣевъ: — мы опять сказку про бѣлаго бычка начнемъ?

— Какого бычка? — полусердито, полушутливо переспросилъ Лещовъ.

— А то какъ же? — Въ десятый разъ будемъ перебирать пункты духовной.

— Да вы что кричите! — перебилъ его больной.—Дверь-то хорошенько притворите, дверь... За каждой скважиной уши! И Христа ради потише... Не можете, что-ли, теноръ-то вашъ сдержать?.. Подслушиваетъ!.. Все ложь!.. Глазами и такъ и этакъ... И жертву изъ себя... агнецъ на закланіе... Улыбка-то одна все у меня внутри поворачиваетъ! Анъ и будетъ съ фигой.

И онъ злобно разсмѣялся. Разсмѣялся и адвокатъ, но по другому, весело и безцеремонно.

— Вы точно изъ послѣдней пьесы Островскаго, — сказалъ онъ, еле сдерживая смѣхъ.

— Какой пьесы?

— Мнѣ разсказывали, онъ на дняхъ читалъ въ одномъ домѣ, какъ купецъ-изувѣръ собрался тоже завѣщаніе писать и жену обманывалъ, говорилъ, что все ей оставитъ и племяннику милліонъ, а самъ ни копѣйки имъ. Все за упокой своей души многогрѣшной... Ха, ха!..

— Чего вы зубоскалите?.. Развѣ я такъ? Обманываю я?... Боюсь я сказать? Хитрю?.. Небось на вашихъ глазахъ: она знаетъ, — и онъ указалъ на дверь, — что нечего ей разсчитывать. Никакихъ чтобъ разсчетовъ. И улыбками она своими меня не подкупитъ!.. Коли что — такъ я, какъ этотъ самый купецъ... ни единой полушки!..

— Да полноте, Константинъ Глѣбовичъ, что вы юродствуете!.. Вѣдь завѣщаніе я-же писалъ.

— Разорву, сейчасъ разорву!.. такія минуты находятъ, что кажется, своими бы руками...

— Ха, ха! А купецъ-то зубами хочетъ... желѣзные, говоритъ, у меня зубы.

— Не смѣйте такъ! — грозно оборвалъ больной Качѣева.

Тотъ помолчалъ, сдѣлалъ попріятнѣе мину и выговорилъ:

— Нужно только пожалѣть отъ души вашу супругу!

— Скажите пожалуйста!

— Да, пожалѣть... Ея выдержка изумительна.

— Выдержка!.. Я знаю...

— Ангельское терпѣніе. А у меня его меньше, Константинъ Глѣбовичъ... Довольно и того, чему я бывалъ свидѣтель, хоть бы сегодняшнимъ днемъ... Я не за этимъ ѣзжу къ вамъ... Если вамъ не угодно...

Онъ началъ подниматься съ табурета.

Лещовъ пугливо оглянулся и привсталъ въ постели.

— Полно, полно... Нечего тутъ кавалера-то изъ себя строить... Не ваша сухота... Давайте о дѣлѣ...

— Да вѣдь все готово!

— Прочтите мнѣ параграфъ... какой бишь...

— О чемъ?

— Объ учрежденіи имени... Константина Глѣбовича Лещова...

— Параграфъ седьмой.

— Да, да...

Адвокатъ началъ перелистывать тетрадь, опустивъ низко голову въ листы. Лещовъ слѣдилъ за нимъ тревожнымъ взглядомъ и дышалъ коротко и прерывисто.

Онъ думалъ:

„Наказалъ же меня Господь. Отнялъ разумъ и соображеніе... Какъ-же было поручить составленіе духовной такому шелопаю, красавчику, Нарциссу? Да вѣдь *она*, Антигона-то облыжная, на него цѣлый годъ буркалы свои пялитъ. Вѣдь они меня еще до смерти отравятъ, подсыплютъ морфію, обворуютъ, сожгутъ

завѣщаніе... Развѣ ему, этому шенапану, довольно его практики?.. Что онъ получитъ? Десять, ну пятнадцать тысячъ... А тутъ сотни... И посулитъ ей законный бракъ. Успѣешь умереть съ духовной — онъ же оспаривать будетъ пополамъ барыши, вытянетъ у нея потомъ, поступитъ къ ней на содержаніе... И пойдутъ трудовыя деньги не на хорошее, на родное дѣло, не на увѣковѣченіе имени Лещова, а на французскихъ дѣвокъ, на карты, на кружева и тряпки этой мерзкой притворщицы и набитой дуры!"...

XVII.

Параграфъ былъ прочитанъ. Въ немъ Константинъ Глѣбовичъ оставлялъ крупную сумму на учрежденіе спеціальной школы и завѣщалъ душеприкащикамъ выхлопотать этой школѣ право называться его именемъ. Когда Качѣевъ раздѣльно, но вполголоса прочитывалъ текстъ параграфа, больной повторялъ про себя, шевелилъ губами. Онъ съ особенной любовью обдѣлывалъ фразы; по нѣскольку разъ заново передѣлывалъ этотъ пунктъ. И теперь два-три слова не понравились ему.

— Постойте, — перебилъ онъ. — Тутъ надо замѣнить.

— Что? — нетерпѣливо спросилъ Качѣевъ.

— Да вотъ это: „ежели, въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній"...

— Облизывали достаточно...

— Кто я?

— Вы, Лещовъ, Константинъ Глѣбовичъ.

— Какая у меня степень? Вѣдь это между вашей братьей развелись малограмотные скоробрехи; а я не могу; чувство у меня есть художественное. Вы его всѣ утратили... Ремесленники, наймиты вездѣ развелись.

Качѣевъ выпустилъ тетрадь и сложилъ руки на груди.

— Вы забыли уговоръ, Константинъ Глѣбовичъ. Опять ругаться?

— Подайте мнѣ.

Лещовъ потянулся за тетрадью. Адвокатъ подалъ ее.

— Одно слово!.. Все равно надо переписать... — отрывисто заговорилъ Лещовъ.

Его уже начинало опять душить.

— Зачѣмъ переписывать... вѣдь вы ждали свидѣтелей?

— А! свидѣтелей? — разразился Лещовъ. — Былъ тутъ сейчасъ Евлашка Нѣтовъ, тля, безграмотный идіотъ. Я его оболванилъ, я его изъ четвероногаго двуногимъ сдѣлалъ. А онъ... отлыниваетъ... зачуяли, что мертвечиной отъ меня несетъ.... Съ дядей своимъ, старой Лисой-Патрикѣевной, стакнулся... Тотъ въ душеприкащики нейдетъ... Я его намѣтилъ... Почестнѣе, потолковѣе другихъ... Теперь кого же я возьму?.. Кого?..

— Помилуйте,—перебилъ Качѣевъ:—у васъ полъ-Москвы знакомыхъ... Ну, барина какого-

нибудь изъ вашихъ пріятелей, изъ византійцевъ... ха, ха, ха!

— Откуда у васъ такое слово?

— Робята одобряли... — продолжалъ смѣшливо Качѣевъ.

— Выдохлись они теперь, болтаютъ все на старые лады... Ужь коли брать, такъ купца. Этотъ хоть умничать не станетъ и счетъ знаетъ... А кого взять?.. Можетъ ли онъ понять мою душу? Раскуситъ ли онъ — лавочникъ и выжига, — что диктовало, какое чувство... вотъ хоть бы этотъ самый седьмой пунктъ?.. Вы не знаете этого народа?.. Вѣдь это бездонная прорва всякаго скудоумія и пошлости!..

Припадокъ кашля былъ гораздо слабѣе. Лещовъ положилъ голову на ладонь правой руки и смотрѣлъ черезъ бѣлокурую голову Качѣева. Голосъ его сталъ ровнѣе, заслышались тронутые, унылые звуки...

— Молодой человѣкъ, вотъ вы тоже начали съ этимъ народомъ возжаться... Не продавайтесь! Бога для — не продавайтесь... Хотя бы и такъ, какъ я... Я не плутовалъ!.. Свезутъ меня завтра на погостъ, будутъ вамъ говорить: Лещовъ наворовалъ себѣ состояніе, Лещовъ былъ угодникъ первыхъ плутовъ, фальшивыхъ монетчиковъ... не вѣрьте... Ничего я не укралъ, ничего! Но я пошелъ на сдѣлку... Да. Хоть и тыкалъ ихъ въ носъ, показывалъ имъ ежесекундно свое превосходство, а все-таки ими питался... И опошлѣлъ, каюсь Господу моему

и Спасителю! Опустился... Все думалъ такъ: вотъ буду въ стахъ тысячахъ, а потомъ въ двухстахъ, трехстахъ, и тогда все по боку и заживу съ другими людьми, спасаться стану... Мыслить опять начну... Чувствованія свои очищу... Анъ тутъ болѣзнь подползла. И никакіе доктора меня не подымутъ на ноги — вижу я это. Не хуже ихъ ставлю себѣ діагнозу... Вотъ она трагедія-то. Слушай меня, франтъ-адвокатъ, слушай... коли въ тебѣ душа, а не паръ, гляди на меня, и гляди въ оба и страшись расплаты съ самимъ собою.

Отъ утомленія онъ смолкъ и закрылъ глаза. Лицо еще больше осунулось. Вокругъ глазъ темнѣли бурыя впадины.

Качѣевъ быстро поглядѣлъ на него, положилъ тетрадь въ портфель и перегнулся черезъ столъ.

— Константинъ Глѣбовичъ,—тихо выговорилъ онъ,—право довольно... выправлять духовную... Когда свидѣтели будутъ готовы, пошлите за мной... Да и безъ меня подпишутъ. вы форму знаете, а душеприкащиковъ найдемъ и проставимъ другихъ...

— Кого?—чуть слышно спросилъ Лещовъ.

— Да того же Нѣтова... А второго... ну хоть меня? Я законъ знаю, Теперь лучше въ карточки поиграть... Я схожу за картами.

Качѣевъ вышелъ.

XVIII.

Въ гостинной, гдѣ адвокатъ нашелъ Лещову съ вязаньемъ въ рукахъ, вышелъ разговоръ вполголоса.

— Раздражался?—спросила она кротко.

— Бѣда! Цѣлое наставленіе мнѣ прочелъ. Точно Борисъ Годуновъ послѣдній монологъ.... Пожалуйте намъ карты... Маленькій пикетецъ соорудимъ... Я еще поспѣю въ судъ... Ахъ, барыня вы милая!

Онъ поцѣловалъ ея руку, а она его въ затылокъ, встала и пошла къ двери.

— Карты тамъ... въ спальнѣ... А какъ же съ душеприкащиками?

— Я себя предлагаю.

— Добрый другъ, — протянула она и подняла вверхъ глаза.

Глаза адвоката смотрѣли въ бокъ. Въ нихъ мелькнула мысль: „кто тебя знаетъ, какъ-то ты себя поведешь послѣ вскрытія завѣщанія“.

Но они больше между собою не шептались. Лещова вошла первая въ спальню.

— Три короля!—громко произнесъ Качѣевъ, входя вслѣдъ за нею, — не больше, Константинъ Глѣбычь, вы слышите...

— Какъ тебѣ угодно?—спросила Лещова,— на столѣ или положить доску на постель?

— На постель!.. Знаешь вѣдь.

Она достала небольшую доску изъ-за туа-

лета, помѣстила ее на краї постели, придвинула табуретъ, положила на доску двѣ колоды и грифельную доску, взбила подушки и помогла мужу приподняться.

Началась партія. Лещова присѣла у нижней спинки кровати и глядѣла въ карты Качѣева. Больной сначала выигралъ. Ему пришло въ первую же игру четырнадцать дамъ и пять и пятнадцать въ трефахъ. Онъ съ наслажденіемъ обиралъ взятки и клалъ ихъ, звонко прищелкивая пальцами.—И слѣдующія три-четыре игры карта шла къ нему.—Но вотъ Качѣевъ взялъ девяносто. Поддаваться, еслибъ онъ и хотѣлъ, нельзя было. Лещовъ пришелъ бы въ ярость. Въ прикупкѣ очутилось у Качѣева три туза.

— Ты что намъ обоимъ въ карты глядишь?— спросилъ Лещовъ жену.

— Я не вижу твоихъ картъ, мой другъ.

— Какъ не видишь? Сядь вотъ тутъ.

Онъ указалъ на изголовье.

— Возьми стулъ и сиди... Ковыряй что-нибудь, вяжи, не мозоль такъ глаза.

Жена исполнила его желаніе и сѣла на стулѣ, у изголовья.

— Береженаго Богъ бережетъ,—повторялъ Качѣевъ, сдавая.—Вы Константинъ Глѣбычъ, оченно ужь горячитесь!.. Снесли не такъ.

— У васъ, поди, учиться надо?

— А хоть бы и у насъ?..

Послѣ порядочной игры Лещову, что ни

сдача — семерки и осьмерки. Качѣевъ выигралъ короля. Въ счетѣ большой раскричался, началъ самъ считать — они играли по одной восьмой — сбился и страшно раскашлялся.

— Не довольно ли?—замѣтила Лещова.

— Не твое дѣло! — оборвалъ онъ ее.

Она хотѣла уйдти.

— Сиди тутъ! Сиди!

Какъ суевѣрный игрокъ, онъ имѣлъ свои примѣты.

Послѣ третьей сдачи карты опять потянули къ противнику.

— Что ты тутъ торчишь?.. Ступай! Сядь на другое мѣсто!..

Лещовъ началъ рукой толкать жену. Она отошла къ окну и взяла работу.

Третьяго короля не доиграли. Послѣ новаго взрыва игрецкаго раздраженія, съ Лещовымъ сдѣлался такой припадокъ одышки, что и адвокатъ растерялся. Поскакали за докторомъ; больнаго посадили въ кресло, въ постелѣ онъ не могъ оставаться. — Съ помертвѣлой головой и закатившимися глазами стоналъ онъ и качался взадъ и впередъ туловищемъ. Его держала жена и лакей.

„Не подпишетъ духовной", думалъ Качѣевъ, надѣвая перчатки въ передней: „подкузьмила его водяная... Чтожь! Аделаида Петровна дама въ соку. Только глупенька! А то, кто ее знаетъ, окажется, пожалуй, такой стервозой. Коли у него прямыхъ наслѣдниковъ не объявится, а

завѣщанія нѣтъ, въ семи стахъ тысячахъ будетъ, даже больше".

Онъ самъ затворилъ дверь въ передней. Лакей былъ занятъ съ бариномъ. „Напутствіе" Лещова пришло ему на память.

„Нашелъ время каяться" — разсмѣялся онъ про себя и, выйдя на крыльцо, зычно крикнулъ кучеру-лихачу:

— Перфилъ! давай!

XIX.

Марья Орестовна Нѣтова позвонила. Въ ея будуарѣ были звонки электрическіе, а не воздушные; она находила ихъ „болѣе благородными". Она только-что взяла ванну и отдыхала на длинномъ, атласномъ, стеганомъ стулѣ, съ ногами. Вся комната обтянута голубымъ атласомъ въ бѣлыхъ лѣпныхъ рамкахъ. Такой же и плафонъ. Точно бонбоньерка, вывернутая нутромъ. Туалетъ, большое трюмо, шкафъ, шифоньера — бѣлыя подъ лакъ съ позолотой кружевныя гардины, гарнитуры и буффы — дѣлаютъ комнату нѣжной и дымчатой. Но погода впускала въ это утро двойственный, грязноватый свѣтъ.

На Нѣтовой капотъ изъ пестрой шелковой матеріи — мелкими турецкими цвѣточками, на головѣ легкая наколка, ноги — она вытянула ихъ такъ, что видны и шелковые чулки съ

шитьемъ — въ золотыхъ туфляхъ. Марья Орестовна блондинка, но не очень яркая: волосы у ней свѣтлокаштановые. Всего красивѣе въ ея головѣ: лобъ, форма черепа, проборъ волосъ и то, какъ она носитъ косу. Ей за тридцать. На видъ она моложе. Но на переносицѣ то и дѣло ложатся рѣзкія, прямыя морщины. Носъ у ней большой, сухой, съ горбиной, узкими и длинными ноздрями, губы за то яркія, но не чистыя, со складками, и неправильные, рѣдкіе, хотя и бѣлые зубы. Она смотритъ часто въ одну точку своими карими, узкими и немного подслѣповатыми глазами. Ея не роскошная грудь сохранила пріятныя очертанія, плечи круглыя, невысокія, нѣсколько откинуты назадъ. Она часто пожимаетъ ими на особый ладъ и при этомъ поворачиваетъ вбокъ голову. Еслибы она встала, то оказалась бы ростомъ выше средняго. Руки ея — съ длинными, почти высохшими пальцами, такъ что кольцы на нихъ болтаются. Сквозь духи и пудру идетъ отъ нея какой-то лекарственный запахъ.

Она допила чашку какао. Она это дѣлала по предписанію доктора и всегда съ гримасой.

Вошла ея первая камеристка, изъ ревельскихъ нѣмокъ, Берта, крѣпкая низкорослая дѣвушка, въ сѣромъ степенномъ платьѣ, и вся въ веснушкахъ.

— Позовите мнѣ экономку, а послѣ — дворецкаго.

Домъ управлялся Марьей Орестовной. Люди

у ней ходили въ струнѣ. У Евлампія Григорьевича и не найдется даже такихъ звуковъ, какъ у его супруги, для отдачи приказаній. Она говоритъ иногда въ носъ, чуть замѣтно, — уже совсѣмъ съ барской нервностью и вибраціей.

Экономка, — дворянка, женщина лѣтъ за пятьдесятъ, въ черной тюлевой наколкѣ и шелковомъ капотѣ, съ пелеринкой пюсоваго цвѣта, еще не сѣдая, съ важнымъ выраженіемъ, — остановилась въ дверяхъ. При себѣ Нѣтова никогда не посадила бы ее, хотя экономка была званіемъ капитанша, и училась въ „патріотическомъ", какъ дочь офицера, убитаго въ кампанію; а папенька Марьи Орестовны умеръ только „потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ".

— Пожалуйста, Глафира Лукинишна, — закартавила Марья Орестовна и наморщила лобъ: — больше мнѣ этого какао не дѣлать... Я прекращаю съ завтрашняго дня...

— Что же будете кушать? — спросила экономка низкимъ груднымъ голосомъ.

— Пока чай... И вотъ еще я васъ должна предупредить, Глафира Лукинишна, что мнѣ лично... вы, быть можетъ, и не понадобитесь больше.

— Какъ же-съ?

— Если я уѣду за-границу... у Евлампія Григорьевича пріему не будетъ такого.

— Но, все-таки... — возразила экономка.

— Доложите ему... Пожелаетъ онъ...

— Вамъ стоитъ сказать.

Глаза экономки добавили остальное.

Марья Орестовна нахмурилась.

— Просить я не стану.. Вы, во всякомъ случаѣ, получите отъ меня содержаніе... за... три мѣсяца... И прошу сдать тогда все, что́ у васъ на рукахъ, — дворецкому

Экономка что-то хотѣла возразить, но Марья Орестовна сдѣлала знакъ лѣвой рукой и прибавила:

— Послѣ.

XX.

По уходѣ экономки, Марья Орестовна переложила лѣвую ногу на правую, поправила кружево на груди и поглядѣла въ окно.

Глаза у нея горѣли. Она всю почти ночь не спала. Съ ней это часто бываетъ. Какой-то недугъ подкрадывался къ ней, хотя она ни на что не жалуется. Докторъ къ ней ѣздитъ, иногда и прописываетъ ей; вотъ какао посовѣтовалъ пить по утрамъ. Но она ничѣмъ не больна. Нервы? Да. Но отчего?

Она не сомкнула глазъ до разсвѣта — думы не позволяли. Не легко убѣждаться окончательно, что она не можетъ продолжать такъ жить — подъ одной крышей съ своимъ Евлампіемъ Григорьевичемъ... Еще недавно могла, а теперь не можетъ. Свыше ея силъ! Тянула

она его — тянула въ гору, и вдругъ — тошно!

Она еще разъ позвонила и приказала позвать себѣ дворецкаго.

У ней былъ настоящій maître-d'hôtel, обрусѣлый альзасецъ, Огюстъ, полный блондинъ въ кудряхъ на круглой головѣ, и съ легкимъ нѣмецкимъ акцентомъ. Онъ служилъ когда-то контръ-метромъ въ ресторанѣ Борели.

Съ нимъ она говорила по-французски.

Онъ получилъ тоже предувѣдомленіе, что и экономка, смутился этимъ больше, но утѣшился, когда услыхалъ, что „monsieur Niétoff", вѣроятно, оставитъ его у себя, даже если барыня и уѣдетъ за-границу.

За-границу!.. Много разъ она бывала тамъ — сначала съ удовольствіемъ, а потомъ равнодушно, частенько со скукой. Теперь „за-граница" манитъ ее.. Она уже видитъ себя въ Позилиппѣ, или въ Ниццѣ на зиму, а на лѣто въ Ишлѣ, въ Дьеппѣ, на островѣ Уайтѣ, осенью во Флоренціи. Тогда только она и будетъ жить, какъ она всегда мечтала. Одна, съ dame de compagnie, изъ умныхъ, пожилыхъ парижанокъ. Развѣ трудно имѣть салонъ? Она и теперь можетъ называться „madame de Niétoff"; а къ тому времени ея „благовѣрному" дадутъ генеральскій чинъ. И онъ не будетъ пришпиленъ къ ней, какъ бывало. Никогда! До конца дней ея!..

Марья Орестовна встала. Въ ногахъ она по-

чувствовала большую слабость; точно ихъ кто искалѣчилъ. И такъ губить свое здоровье? Изъ-за кого?

Она перешла въ свой кабинетъ, комнату строгаго стиля, съ темно-фіолетовымъ штофомъ въ черныхъ рамахъ, съ бронзой Louis XVI. Шкафъ съ книгами и письменный столъ — также чернаго дерева. Картинъ она не любила и стѣны стояли голыми. Только на одной висѣло богатѣйшее венеціанское рѣзное зеркало. Въ этой комнатѣ сидѣли у Марьи Орестовны ея близкіе знакомые — мужчины; послѣ обѣда сюда подавались ликеры и кофе съ сигарами. Евлампія Григорьевича рѣдко приглашали сюда.

Въ просвѣтѣ тяжелой двойной портьеры открывался видъ на два салона и танцовальную залу. Разноцвѣтные сплошные ковры пестрѣли, уходя въ даль, до порога залы, гдѣ налощенный паркетъ желтѣлъ нѣжными колерами штучнаго пола. Всѣ эти хоромы, еще такъ недавно тѣшившія Марью Орестовну своимъ строгимъ, почти царственнымъ блескомъ, раздражали ее въ это утро, напоминали только, что она не въ своемъ домѣ, что эти ковры, гобелены, штофы, бронзы украшаютъ домъ коммерціи совѣтника Нѣтова. Не можетъ же она сказать ему:

— Пошелъ вонъ!..

Какъ онъ не дрессированъ, но у него достанетъ духу сказать:

— „Нѣтъ, не желаю-съ“.

Ну, и довольно... Но у ней нѣтъ ничего

своего!... Ничего! Или такъ, пустяки, экономія отъ туалета, отъ расходовъ... Какъ-же могла она, въ десять лѣтъ, постоянно работая умомъ и волей, очутиться въ такомъ положеніи?

Нынѣшняя ночь припомнила ей — какъ...

Нѣтова присѣла къ письменному столу, раскрыла серебряный новый бюваръ, взяла листъ продолговатой цвѣтной бумаги, съ монограммой во всю высоту листка, написала записку, позвонила два раза и отдала вошедшему оффиціанту, сказавъ ему:

— Послать сейчасъ выѣздного. — Принимать съ трехъ. Если господинъ Палтусовъ будетъ раньше — принять.

XXI.

„Обѣдъ-то вѣдь не заказанъ", подумала Марья Орестовна и позвонила. Она не ждала сегодня званыхъ гостей. Палтусовъ, вѣроятно, останется. — Еще быть можетъ, двое-трое.— Но кто-нибудь да долженъ сидѣть. Не можетъ она, да еще сегодня, оставаться съ глазу на глазъ съ Евлампіемъ Григорьевичемъ.

Заказываніе обѣда дѣлалось у ней черезъ экономку. Почти всегда Марья Орестовна входитъ въ подробности. Но на этотъ разъ она сказала появившейся въ дверяхъ Глафирѣ Лукинишнѣ.

— Обѣдъ на пять персонъ... Закуску, какъ всегда...

На письменномъ столѣ лежали газеты, мо-

сковскія и петербургскія, книжка журнала подъ бандеролью, толстый продолговатый пакетъ съ иностранными марками и большого формата письмо, на синей бумагѣ, тоже заграничное.

Газеты и журналъ Марья Орестовна отложила. Въ пакетѣ оказались образчики матерій отъ Ворта. Она небрежно пересмотрѣла ихъ. Осеннія и зимнія матеріи. — Теперь ей не нужно. Сама поѣдетъ и закажетъ. Въ эту минуту ей и одѣваться-то не хочется. Много денегъ ушло на туалеты. Каждый годъ слали ей изъ Парижа, сама ѣздила покупать и заказывать. А много ли это тѣшило ее? Для кого это дѣлалось?..

Въ синемъ конвертѣ съ французскими марками оказалась фактура башмачника — ея поставщика. Въ Москвѣ она никогда не заказывала себѣ обуви. Марья Орестовна поглядѣла на итогъ 271 франкъ, и отложила счетъ.

Надо же ей посмотрѣть, сколько накопилось у ней добра въ гардеробной. Неужели все везти съ собою?

Черезъ пять минутъ она входила вслѣдъ за Бертой въ обширную и высокую комнату, обставленную ясеневыми шкафами, между которыми помѣщались полки, выкрашенныя бѣлой масляной краской, покрытыя картонками всякихъ размѣровъ и формъ, синими, бѣлыми, красными. Въ гардеробной стоялъ чистый, свѣжій воздухъ и пахло слегка мускусомъ. У оконъ, справа отъ входа на особыхъ подставкахъ, раз-

вѣшаны были пеньюары и юбки, и имѣлось приспособленіе для глаженія мелкихъ вещей. Все дышало большимъ порядкомъ.

— Отоприте, — приказала Бертѣ Марья Орестовна, указывая ей на первый шкафъ по лѣвую руку.

Въ этомъ шкафу висѣли зимнія платья, укутанныя въ простыни, тяжелыя, расшитыя шелками, серебромъ, золотомъ, съ кружевными отдѣлками. Нѣкоторыя не надѣвались уже болѣе года. — Половину этого надо будетъ оставить. Въ слѣдующемъ шкафѣ помѣщались мантильи, накидки, разныя confections de fantaisie. Многое уже вышло изъ моды. Но у Марьи Орестовны нѣтъ привычки дарить. А продавать тоже не можетъ. Изъ этого шкафа она выберетъ двѣ три вещи. Осенніе простые туалеты она возьметъ на дорогу и для ненастныхъ дней въ Ниццѣ, или гдѣ проживетъ зиму; у Ворта закажетъ четыре платья, не больше.

„Закажетъ!.. Будетъ ли ей по средствамъ? Нынче каждое простое платье стоитъ у него тысячу франковъ и больше“.

Такъ обревизованъ былъ весь гардеробъ. Одно платье и кофточку она подарила камеристкѣ. Берта густо покраснѣла и сдѣлала книксенъ, подогнувъ правую ногу подъ лѣвую.

Осмотръ гардеробной утомилъ Марью Орестовну. Она вернулась въ кабинетъ и взялась за газеты. Прежде всего за одну, мелкую, московскую, гдѣ за два дня „отдѣлывали“ ея мужа

и его дядю. И сегодня, вѣроятно, что-нибудь новое. Съ той статейки и начался въ ней переломъ. Ее уязвило не оскорбленіе мужу, а то, что она — жена его. Въ тотъ день она начитала ему какъ слѣдуетъ, дала приказъ какъ поступить, къ кому ѣхать, что говорить. Ее это раздражило, вызвало желчь, помогло обдумать цѣлый планъ дѣйствій. А вчера вся эта пошлость припомнилась ей и, какъ послѣдняя капля, заставила разлиться чашу ея душевнаго недуга.

Стоило почти десять лѣтъ работать надъ такимъ человѣкомъ, какъ ея супругъ. Добьется она того, что ему будутъ писать на пакетахъ: „Его превосходительству"... А потомъ? Она-то сама, ея-то личная жизнь причемъ тутъ? Терпѣть, чтобы тебя, въ грошовой газетѣ, всякій пасквилянтъ, получающій по три копѣйки со строки, срамилъ изъ-за ничтожества твоего Евлампія Григорьевича, чтобы надъ твоимъ „ученичкомъ" издѣвались, какъ надъ идіотомъ, и тебя показывали въ „натуральномъ видѣ"— такъ и стояло въ фельетонѣ — со всѣми твоими тайными желаніями, замыслами, внутренней работой, заботами о своей „интеллигенціи", умѣ, связяхъ, артистическихъ, ученыхъ и литературныхъ знакомствахъ?

„Дворянящаяся мѣщанка" — вотъ твоя кличка!..

XXII.

Московская газетка нервно встряхивалась въ рукахъ Марьи Орестовны. Она читала съ лорнетомъ, но pince-nez не носила. Вотъ фельетонъ — „обзоръ журналовъ". Въ отдѣлѣ городскихъ вѣстей и замѣтокъ она пробѣжала одну, двѣ, три красныхъ строки. Что это такое?.. Опять она!.. И ужъ безъ супруга, а въ единственномъ числѣ, какая гадость!.. Нелѣпая, пошлая выдумка!.. Но ее всѣ узнаютъ... Даже вотъ что!.. Грязный намекъ... Этого еще не доставало!..

Лицо Нѣтовой разомъ поблѣднѣло. Во рту у ней тотчасъ же явился горькій вкусъ. Она бросила газету на столъ и начала ходить по кабинету.

Какъ ни бодрись, какъ ни ставь себя на пьедесталъ, но вѣдь нельзя же выносить такихъ мерзостей! А развѣ за нее онъ способенъ отплатить? Да онъ первый струситъ. Дѣла не начнетъ съ редакціей. А еслибы началъ, такъ еще хуже осрамится!.. Стрѣляться, что-ли станетъ? Ха, ха! Евлампій-то Григорьевичъ? Да она ничего такого и не хочетъ: ни исторіи, ни суда, ни дуэли. Вонъ отсюда, чтобы ничего не напоминало ей объ этомъ „сидѣльцѣ" съ мелкой душонкой, нищенской, тщеславной, безсильной даже на зло!

Выдумать грязную сплетню на нее, какъ на

жену и женщину? На нее! Стоило десять лѣтъ быть вѣрною Евлампію Григорьевичу. Да, вѣрной, когда она могла пользоваться всѣмъ... и здѣсь, и въ Петербургѣ, и за границей. Ей вотъ тридцать второй годъ пошелъ. Сколько блестящихъ мужчинъ склоняли ее на любовь. Она всегда умѣла нравиться, да и теперь умѣетъ. Кто умнѣе ея здѣсь въ Москвѣ? Знаетъ она этихъ всѣхъ дамъ стараго, дворянскаго общества. Гдѣ же имъ до нея? Чему онѣ учились, что понимаютъ?...

И тутъ ей представились фигура и лицо мужа, съ приторной улыбочкой, глупо хмурыми бровями и бородкой молодца изъ Ножовой линіи, съ его изволите „видѣть“ и „сдѣлайте ваше одолженіе“, съ его влюбленнымъ ланействомъ. Онъ влюбленъ! Онъ питаетъ затаенную страсть!.. Онъ смѣетъ!.. Проявлять эту страсть она ему никогда не позволяла. Но вѣдь онъ все-таки мужъ... И было время въ первые годы, когда они еще не жили въ разныхъ концахъ дома!..

Желчь еще не уходилась. Въ головѣ цѣлый муравейникъ злобныхъ мыслей такъ и кишилъ.

Въ дверяхъ показался оффиціантъ съ небольшимъ сребрянымъ подносомъ. Онъ намѣренно кашлянулъ.

— Что? — почти съ испугомъ крикнула Марья Орестовна и тотчасъ же оправилась.

— Депеша-съ. Прикажете росписаться?

— Я говорила чтобы швейцаръ росписы-

вался... даже когда я и Евлампій Григорьевичъ дома.

Лакей нырнулъ въ портьеру, вынувъ изъ пакета листокъ квитанціи.

„Отъ Палтусова", подумала Марья Орестовна и подошла читать депешу къ окну.

Но депеша была не городская, а изъ Петербурга.

Вотъ это новость! Она разсчитывала на брата, служащаго за границей, думала вызвать его въ Парижъ; а онъ въ Петербургѣ, экспромтомъ по дѣламъ службы, и будетъ черезъ три дня въ Москву.

Все неудачи!.. А, можетъ и лучше. Свой человѣкъ. Теперь это придется кстати. Легче будетъ. Онъ могъ бы сослужить ей хорошую службу, но не очень-то она надѣется на его умственныя способности... Братъ Коля... Онъ ея же выученикъ. За то онъ распуститъ хвостъ, какъ павлинъ... можетъ оказаться полезнымъ своимъ французскимъ языкомъ, тономъ, подавляющимъ высокоприличіемъ и сладкой деликатностью. Это такъ...

Уже третій часъ, а она еще не въ туалетѣ... Въ капотѣ нельзя принимать, хоть сегодня у ней вокругъ таліи опухоль; трудно будетъ затянуть корсетъ. Надо надѣть простую ceinture и платье полегче.

Она вернулась въ будуаръ и хотѣла позвонить. Но рука ея, протянутая къ пуговкѣ электрическаго звонка, опустилась. Лицо все

перекосило, прямыя морщины на переносицѣ такъ и врѣзались между бровями, глаза гнѣвно и презрительно пустили два луча.

Изъ-за портьеры выглядывала наклоненная голова Евлампія Григорьевича и озиралась.

— Можно войдти?

Что за вольность! Никогда онъ не смѣлъ входить до обѣда въ ея будуаръ. Ну, да все равно. Лучше теперь, чѣмъ тянуть.

— Войдите, — сказала она ему сквозь зубы и стала спиной передъ трюмо.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ на цыпочкахъ, во фракѣ, какъ ѣздилъ, и съ портфелемъ подъ мышкой.

XXIII.

— Можно? — повторилъ онъ, не переступая порога.

Марья Орестовна ничего не отвѣчала.

Мужъ ея вытянулъ еще длиннѣе шею и вошелъ совсѣмъ въ будуаръ. Портфель и шляпу положилъ онъ на кресло, около двери, и приблизился къ Марьѣ Орестоввѣ.

— Заѣхалъ на минутку... — началъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Очень рада, — отвѣтила Марья Орестовна и тутъ только повернулась къ нему лицомъ.

Евлампій Григорьевичъ быстро вскинулъ на нее глазами и понялъ, что готовится нѣчто чрезвычайное.

— Вы читали сегодняшнія газеты?

Вопросъ свой Марья Орестовна выговорила болѣе въ носъ, чѣмъ обыкновенно.

— Нѣтъ еще...

— Возьмите на столѣ... полюбуйтесь...

Она назвала газету.

— Это успѣется, — откликнулся онъ, чуя бѣду.

— Прочтите, вамъ говорятъ. Подайте мнѣ сюда.

Когда Марья Орестовна обрывала слова и отчеканивала каждый слогъ, мужъ ея зналъ, что лучше съ самаго начала разговора со всѣмъ согласиться.

Газету онъ взялъ на столѣ въ кабинетѣ и подалъ ей. Она нашла статейку и показала ему.

— Извольте прочесть...

— Что же... опять братца Капитона Ѳеофилактовича дѣло?

— Читайте!

Евлампій Григорьевичъ началъ читать. Онъ разбиралъ мелкую печать не очень бойко. Ему про себя надобно всегда прочесть два раза, а писанное и три раза.

— Ну? — нервно окликнула его Марья Орестовна.

Она прилегла на длинный стулъ, гдѣ пила какао.

Волненіе сразу охватило Нѣтова. На лбу показались капли пота. Лицо пошло пятнами, какъ утромъ у Красноперова.

— Канальи!

— Прошу васъ не браниться! — удержала она его.

— Да какъ же-съ, помилуйте, — началъ онъ задыхаясь и разводя той рукой, гдѣ у него скомкана была газета: — За это...

— Что за это? Къ мировому потянете, да?

— Нѣтъ-съ, не къ мировому... Въ смирительный домъ!..

Въ первый разъ видѣла она у него такую вспышку возмущенія.

— Сядьте, слушайте, Евлампій Григорьевичъ, — охладила она его своимъ голосомъ, гдѣ сквозили обычныя, пренебрежительныя ноты... — Вотъ до чего я съ вами дожила.

Глаза его разбѣжались, ротъ онъ разинулъ.

— Вы?.. Я-съ?.. Да нешто я виновенъ тутъ?.. Я готовъ за васъ...

— Я васъ не спрашиваю, на что вы готовы. Вчера еще я много думала... Эта газетная гадость только новый предлогъ...

— Капитошка!...

— Пожалуйста, безъ тривіальностей! Ваша родня, вы весь этотъ людъ... я не хочу входить въ разбирательство. Садитесь, говорятъ вамъ. Я не могу говорить, когда вы мечетесь изъ угла въ уголъ.

Евлампій Григорьевичъ сѣлъ у ногъ ея Глаза его все еще сохраняли растерянное выраженіе. Онъ былъ ей жалокъ въ эту минуту,

но она на него не смотрѣла; она опустила глаза и прислушивалась къ своему голосу.

— Страдать изъ-за васъ я не намѣрена, — продолжала она, выговаривая отчетливо и не торопясь: — не перебивайте меня!.. Не намѣрена, говорю я. Вы не можете доставить женѣ вашей ни почета, ни уваженія. Я ли не старалась сдѣлать изъ васъ что нибудь похожее на... на то, чѣмъ вы должны быть?.. Ничего изъ васъ не сдѣлаешь... Вы не стоите ни заботъ моихъ, ни усилій... Но я еще молода, Евлампій Григорьевичъ, я не хочу нажить съ вами чахотку... Вы скомпроментировали мое здоровье. У меня была желѣзная натура, а теперь я чувствую паденіе силъ... Развѣ вы стоите этого!

— Марья Орестовна... Машенька!..

Слезы готовы были брызнуть изъ глазъ Евлампія Григорьевича.

— Не перебивайте меня!.. Вы понимаете, что́ я говорю?

— Понимаю-съ!

— Я жить хочу... Довольно я съ вами возилась... Я рѣшила третьяго дня ѣхать на осень за границу, на югъ... А теперь я и совсѣмъ не хочу возвращаться въ эту Москву.

— Какъ-съ?

Въ горлѣ у него перехватило.

— Очень просто. Не желаю. Вы должны же наконецъ понять, что не могу я теперь имѣть пріемы, когда мы съ вами сдѣлались притчей всего города.

— Да помилуйте-съ... Марья Орестовна, матушка!

— Дайте мнѣ кончить.

— Мы ихъ въ арестантскую упечемъ!

— Ха, ха!.. Предоставляю это вамъ самимъ... Но меня здѣсь не будетъ. И вы этого сами должны желать, если у васъ есть хоть капля уваженія къ моей личности.

— Уваженія?.. Любовь моя!..

— Не надо мнѣ вашей любви! — гадливо остановила она его и провела ладонью по своему колѣну... — Ваша любовь тяжелый крестъ для меня!

Онъ замолчалъ. Щеки его потемнѣли, глаза стали мутны.

— Я васъ предупреждаю, Григорій Евлампіевичъ, что я ѣду изъ Москвы. Я не могу выносить этого города, я въ немъ задыхаюсь.

— Какъ вамъ угодно... вѣдь и я... что же въ самомъ дѣлѣ, и я могу освободить себя...

— То-есть, какъ это? — насмѣшливо спросила она. — Желаете за мной послѣдовать? Нѣтъ-съ, — протянула она. — Вы можете оставаться... Мнѣ необходимъ отдыхъ, просторъ... Я хочу жить одна...

— До весны, значитъ?

— И весну, и лѣто, и зиму... На это я имѣю полное право. Какъ вы будете здѣсь управляться — ваше дѣло... И безъ меня все пойдетъ, потомственное дворянство вамъ дадутъ, Станислава 1-й степени, а потомъ и Анну.

— Нешто мнѣ самому?.,

— Пожалуйста... вы для этого только и живете.

— Не грѣхъ вамъ? — вырвалось у него. — До сихъ поръ... на васъ молился...

Марья Орестовна опять провела ладонью по своему колѣну и нижняя губа ея выпятилась.

— Очень хорошо, — перебила она: — мы оставимъ это. Вы знаете теперь мое желаніе — мое требованіе, Евлампій Григорьевичъ. И до сихъ поръ вы не подумали объ одной вещи...

— О какой? пугливо и скорбно спросилъ онъ.

— О томъ, что ваша жена не можетъ распорядиться пятью копѣйками.

— Что вы-съ? Христосъ съ вами!

Онъ вскочилъ и всплеснулъ руками.

— У нея ничего нѣтъ. Вы ей даете, что́ амъ угодно ,на ея тряпки... Все ваше...

— Помилуйте, Марья Орестовна!

— Но это фактъ. Вы, Евлампій Григорьевичъ, не понимали моей деликатности. Но пора понять ее. Десять лѣтъ прожить!..

И она въ носъ засмѣялась.

— Вотъ что я хотѣла вамъ сказать. Не удерживаю васъ. Вамъ пора по дѣламъ. Мои слова — не капризъ, не нервы... Я ѣду черезъ недѣлю. Остальное вы понимаете — ваша обязанность.

Марья Орестовна закрыла глаза. Все, что́ душило ея мужа, осталось у него въ груди. Онъ всталъ и бокомъ вышелъ изъ будуара.

Онъ боялся, что если у него вырвется какое-нибудь возраженіе, раздадутся истерическіе крики...

Въ будуарѣ все смолкло. Марья Орестовна открыла сначала одинъ глазъ, потомъ другой, повернула голову, оглянулась, встала и позвонила.

Берта принесла ей черное шелковое платье, ея „мундиръ“, какъ она называла.

XXIV.

До кабинета Евлампіи Григорьевичъ шелъ чуть не цѣлыхъ пять минутъ.

Ѣдетъ она на зиму, на годъ, навсегда... Ну, можетъ, смилуется... А то и соскучится?.. Но не въ этомъ главное горе. Что же онъ-то для Марьи Орестовны? Вещь какая-то? Какъ она рукой-то повела два раза по платью... Точно гадину хотѣла стряхнуть... Господи!...

Голова у него закружилась. Онъ былъ уже на галлереѣ и схватился рукою о карнизъ. Подбѣжалъ ливрейный лакей.

— Воды прикажете? — тревожно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не нужно, — выговорилъ съ трудомъ Нѣтовъ.

Ему стало стыдно. Люди подумаютъ, что у него съ женой вышла исторія, что его выгнали.

— Вели подать карету, — приказалъ онъ и прошелъ въ кабинетъ.

Тамъ онъ опрыскалъ себѣ голову одеколономъ съ водой, взялъ чистый платокъ и торопливо спустился съ лѣстницы.

Только-что дверца кареты захлопнулась и вороные взяли съ мѣста, изъ-за угла, отъ бульвара показалась пролетка. Евлампій Григорьевичъ узналъ Палтусова и раскланялся съ нимъ.

„Къ намъ",—подумалъ онъ и впервые что-то у него ёкнуло въ груди. Онъ не зналъ ревности, не смѣлъ ея знать, да и жена его такъ со всѣми „ровно" держала себя, что никакого подозрѣнія онъ имѣть не могъ. Ѣздили къ нимъ молодые и среднихъ лѣтъ и пожилые мужчины, военные чиновники, предводители дворянства, писатели, піанисты, художники, профессора, всякіе умные люди... Марья Орестовна только умныхъ и принимаетъ... Этотъ Палтусовъ сталъ недавно ѣздить... Обѣдалъ и запросто. У нихъ многіе такъ обѣдаютъ. Къ нему почтителенъ больше другихъ, обо всемъ солидно толкуетъ съ нимъ, ловко, не стѣснительно. Такого молодаго человѣка слѣдовало бы всячески поддержать. И въ дѣла бы не мѣшало ввести. Съ Марьей Орестовной держится степенно. Развѣ когда одинъ останется... Да что же это онъ спрашиваетъ? Кто онъ для нея? Вещь, самая тошная... Обезпечь ее! Слѣдуетъ... Говоритъ, что любитъ, а не догадался въ десять-то лѣтъ положить на ея имя въ

банкъ... Проценты бы наросли... Деликатности-то ея не понималъ. Довелъ до того, что она сама должна была сказать: „пятью копѣйками распорядиться не могу“.

Угрызенія заслонили въ душѣ мужа всѣ другія чувства. Онъ забылъ — куда онъ ѣдетъ, зачѣмъ, что ему надо говорить, чѣмъ распоряжаться?.. Онъ былъ близокъ къ нервному припадку.

Его не жалѣла жена. Берта подавала ей разныя части туалета. Марья Орестовна надѣвала манжеты, а губы ея сжимались и мысль бѣгала отъ одного соображенія къ другому. Наконецъ-то она вздохнетъ свободно... Да. Но все пойдетъ прахомъ... Къ чему же было строить эти хоромы, добиваться того, что ея гостиная стала самой умной въ городѣ, зачѣмъ было толкать полуграмотнаго „купеческаго брата“ въ персонажи? Объ этомъ она уже достаточно думала. Надо по другому начать жить. Только для себя...

Черезъ всѣ комнаты дошелъ звонокъ швейцара. Онъ дернулъ два раза—гости.

Это навѣрно Палтусовъ.

— Поскорѣе, Берта, застегивайте, — выговорила Марья Орестовна, озираясь на дверь въ кабинетъ.—Хорошо, я теперь сама... Скажите, чтобъ провели въ кабинетъ.

Берта вышла. Марья Орестовна застегнула сама остальныя пуговки. Ихъ было множество, и на груди, и на бокахъ, и на рукавахъ. Она

стерла съ лица пудру и поправила голубую косыночку, стягивавшую ей голову надъ косой. Съ лицомъ ей труднѣе было поладить. Оно не расправлялось. Попробовала она улыбнуться — выходило и кисло, и фальшиво. А она не хотѣла этого... Лучше пусть лицо будетъ разстроено.

Палтусовъ — другъ... Остальные не понимаютъ ее, а этотъ скоро понялъ, безъ всякихъ особенныхъ изліяній съ ея стороны.

— Какъ-то онъ одобритъ ея планъ?

Въ кабинетѣ шаги, смягченные ковромъ, остановились у письменнаго стола.

— Сейчасъ будутъ-съ,— послышался голосъ лакея.

XXV.

Палтусовъ стоялъ лицомъ къ двери въ будуаръ, откуда вышла Марья Орестовна. Онъ одѣлся во все черное. Отъ этого его бѣлокурая голова съ живописной бородой много выигрывала. Ни на чьемъ станѣ не останавливались такъ глаза Нѣтовой, какъ на его складной фигурѣ въ прекрасно сшитомъ сюртукѣ.

Они улыбнулись другъ-другу по-пріятельски. Но Палтусова эта женщина не привлекала. — Ему не нравились ни ея черты, ни выраженіе, ни тонъ, ни какъ она одѣвается. Онъ признавалъ ея умъ, выдержку, искусство, съ какимъ эта купчиха вышколила своего „Ев-

лампія Григорьевича“ и завела у себя „салонъ“. Но она его скорѣе раздражала. Никогда онъ не встрѣчался съ такой разсудочной, безсознательно-себялюбивой женской натурой. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему. По доброй волѣ онъ ни зачто бы не взялъ ее въ любовницы. Въ тѣлѣ онъ считалъ ее гораздо рыхлѣе и болѣзненнѣе, скептически относился къ ея бюсту, хотя и видѣлъ на вечерахъ, что плечи у нея красивы. Около нея онъ ни разу, даже оставаясь на единѣ, не испыталъ никакого пріятнаго волненія, не полюбовался искренно ни туалетомъ ея, ни лбомъ, ни изящной линіей головы. Полное равнодушіе чувствовалъ онъ въ тѣ минуты, когда она не производила въ немъ надсады своимъ „подстроеннымъ“ разговоромъ, худо скрытымъ тщеславіемъ, умничаньемъ, сухой злоязычностью, которая въ женщинахъ была ему противнѣе всего. Въ его глазахъ она говорила, думала, двигалась „на пружинахъ“.

Но они скоро сошлись. Онъ замѣтилъ, что Нѣтова имъ интересуется. Въ разговорахъ съ нимъ она брала менѣе увѣренный тонъ, спрашивала его совѣта въ разныхъ вопросахъ такта, знанія приличій, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать съ нимъ романъ или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процессъ... Съ ней онъ держалъ себя почтительно, но безъ всякой поблажки разнымъ

ея „штучкамъ“. Онъ ей на первыхъ же порахъ сказалъ:

— Марья Орестовна, вы ужь вашего супруга воспитывайте въ византійскихъ традиціяхъ, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будемъ. Для меня московскіе обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились дѣвочкой и съ умными господами дворянами бесѣдовали — это при васъ останется.

Она не много подулась, но съ тѣхъ поръ и стала держать себя съ нимъ на пріятельской ногѣ.

Отъ этого она не сдѣлалась для него симпатичнѣе. — Но онъ ѣздилъ къ Нѣтовымъ часто, обѣдывалъ запросто, провожалъ ее въ театръ, въ концерты. Его подзадоривало — кромѣ выполненія программы: расширять свои связи „въ этихъ сферахъ“ — какое-то „охотничье“ чувство... Точно онъ ждалъ: до чего у него дойдетъ дѣло съ этой „злючкой“ на какую степень самообмана способна будетъ она въ сношеніяхъ съ нимъ, что, наконецъ, выйдетъ изъ ихъ знакомства. Уваженія, настоящаго, честнаго, послѣдовательнаго, у него вообще не было ни къ кому изъ „обывателей“, какъ онъ называлъ всѣхъ этихъ *новыхъ* московскихъ буржуа. Онъ не считалъ себя обязаннымъ передъ ними къ совѣстливости человѣка, живущаго въ обществѣ равныхъ себѣ людей. — Онъ смотрѣлъ на себя какъ на „піонера“, на одного изъ предпріимчивыхъ выходцевъ, отправляющихся

въ Калифорнію, или на американскій „Дальній Западъ“.

Марья Орестовна скоро и близко подошла къ Палтусову съ протянутой рукой.

Прикосновенія этой руки онъ тоже не любилъ. Рука была высохшая, но влажная, болѣе, чѣмъ нужно, и на ея пожатіе онъ отвѣчалъ всегда довольно сильно, но по привычкѣ или чтобы заглушить брезгливое ощущеніе.

— Васъ застала моя записка? Благодарю. Вы у насъ останетесь обѣдать... да? Садитесь...

Палтусовъ видѣлъ, что тонъ ея былъ гораздо нервнѣе обыкновеннаго. Онъ тихо улыбался, идя за хозяйкой къ низкому дивану, около камина, скрытому на половину развѣсистыми листьями пальмы.

— Былъ дома, — спокойно говорилъ онъ, — дѣла всѣ покончилъ... останусь у васъ обѣдать...

Онъ взглянулъ на ея платье и спросилъ:

— Сколько пуговокъ?

— Не знаю!

— Слѣдовало бы сосчитать.

— Ахъ, Андрей Дмитріевичъ, полноте... вы мой юрисконсультъ.

— Вотъ какъ?

— Да... сегодня я прошу васъ настроить себя посерьезнѣе.

На диванчикѣ могли усѣсться двое. Половина ея шлейфа покрывала его ноги.

XXVI.

Въ немногихъ словахъ, дѣльно и ѣдко, высказала Марья Орестовна свою „претензію". Она не скрывала постояннаго пренебрежительнаго отношенія къ Евлампію Григорьевичу. Не желаетъ она дольше работать надъ его производствомъ въ генералы со звѣздой. Она хочетъ жить для себя. Ея планъ — уѣхать заграницу, основаться сначала тамъ; а позднѣе, гдѣ ей угодно въ Россіи, на средства, которыхъ она, при всемъ своемъ умѣ, не позаботилась получить отъ мужа заблаговременно, изъ гордости.

Палтусовъ уже зналъ достаточно исторію ея дѣвичества и выхода замужъ. Ему разсказывали, что отецъ Марьи Орестовны раззорился не задолго до смерти. — Женатъ онъ былъ на гувернанткѣ, барышнѣ дворянскаго рода, институткѣ, съ музыкой и литературными наклонностями. Мать и поселила въ дочери и сынѣ — Колѣ убѣжденіе въ ихъ дворянскомъ происхожденіи, въ томъ, что они „случайныя" купеческія дѣти. Она же и озаботилась дать имъ тонкое воспитаніе. — Евлампій Григорьевичъ явился якоремъ спасенія отъ неминуемой нищеты. Безъ него и сынъ не кончилъ бы курса въ университетѣ. Передавали Палтусову анекдоты о томъ, какъ Нѣтовъ влюбился, какъ невѣста на всю Москву срамила его, издѣвалась

надъ его безграмотствомъ и простотой. Однако, согласіе дала безъ всякой оттяжки.

И вотъ утекло десять лѣтъ. Марья Орестовна задумала „освободить“ себя отъ Евлампія Григорьевича, а своихъ денегъ у ней нѣтъ. Она получитъ то, что ей „слѣдуетъ“. Мужъ уже извѣщенъ и долженъ распорядиться, почувствовать всю глубину ея деликатности. Но этого ей мало. Она хочетъ дать ему острастку, чтобы онъ зналъ напередъ—что́ его ожидаетъ.

Говоря это, Марья Орестовна начала тяжелѣе дышать. Въ ней было что-то нездоровое.

„Она кончитъ какой-нибудь болѣзнью крови“, подумалъ Палтусовъ.

— Да, — выговорила она въ видѣ заключенія — я жить хочу, Андрей Дмитріевичъ... Силы мои я хочу тратить... на другія вещи...

— На что? — тихо спросилъ Палтусовъ.

— Ахъ, Боже мой! Что же вы меня совсѣмъ и за женщину не считаете?

— О! женщина вы несомнѣнная. Но будто вамъ нужно то, безъ чего ваша сестра существовать не можетъ?

— Что же это, напримѣръ?

— Напримѣръ... любовное чувство.

Онъ дурачился съ ней не безъ желанія поиграть. Для него это не было опасно.

— Отчего же?

Глаза ея поглядѣли на Палтусова обидчиво.

— Для васъ будетъ слишкомъ ужь накладно.

И онъ прибавилъ серьезнымъ тономъ:

— Право, Марья Орестовна, невыгодно... Живите въ умъ. А то проиграете.

— Мы это увидимъ позднѣе,— отвѣтила Нѣтова съ усмѣшкой. —Во всякомъ случаѣ вотъ какъ стоитъ дѣло.

— Дѣло,—повторилъ Палтусовъ ея выраженіе,—пока въ вашихъ рукахъ... Но не переступите за градусъ.

— Что вы хотите сказать?

— Ваша матеріальная самостоятельность стоитъ на первомъ планѣ. Преклоняюсь передъ вашей деликатностью и понимаю ее вполнѣ. Вы не хотѣли заикаться объ этомъ передъ мужемъ. Вы ждали.

— Даже и не ждала. Просто не думала. Вы, конечно, не повѣрите.

— Почему-же?

— Потому что вы считаете меня эгоисткой, интриганткой... Но я горда прежде всего. Я стояла выше этого.

— Евлампій Григорьевичъ, — перебилъ ее Палтусовъ: — конечно обезпечилъ уже васъ... на случай смерти.

— Я и этого не знаю. И никогда не справлялась.

Палтусовъ посмотрѣлъ на нее въ бокъ. Она не лгала.

— Сложная вы душа,—выговорилъ онъ: — а все-таки мой совѣтъ вамъ: обезпечить себя, но съ мужемъ не разрывать.

— Носить цѣпи, продавать себя, быть въ необходимости отвѣчать на его письма или рисковать, что онъ явится къ свѣтлому празднику ко мнѣ въ гости? Не хочу!

— Та, та, та! Вотъ женщины-то! Даже и умницы, какъ вы, хромаютъ логикой.

— Знаю, знаю... Сейчасъ будетъ Пигасовъ изъ „Рудина" и его стеариновая свѣчка.

— Обойдемся и безъ Пигасова. Разсудите... Вы разводиться не желаете?

— Нѣтъ.

— Просто уѣзжаете за границу, на неопредѣленное время? Прекрасно... Зачѣмъ человѣка, страстно въ васъ влюбленнаго, бить обухомъ по головѣ, объявлять ему, что онъ... для васъ не существуетъ? Не хотите его видѣть, всегда есть на это средства. Денежной зависимости и безъ того не будетъ... Сколько я васъ понимаю, вы требуете обезпеченія сразу.

— Да.

— Тѣмъ паче.

Она задумалась и черезъ минуту сказала:

— Вы, быть можетъ, правы.

XXVII.

Разговоръ наладился. Но ему захотѣлось продолжить „игру".

— Отчего же такъ это вдругъ, Марья Орестовна? Это на васъ не похоже.

Она начала говорить, какъ ей всегда была противна эта грязная, вонючая Москва, гдѣ нельзя дышать, гдѣ нѣтъ ни простора, ни воздуха, ни общества, ни тротуаровъ, ни искусства, ни умныхъ людей, гдѣ не „стоитъ" что-нибудь заводить, къ чему-нибудь стремиться, вести какую-нибудь борьбу.

И потомъ... эти пасквили.

Палтусовъ выслушалъ и поглядѣлъ на Марью Орестовну изъ-подлобья.

— Ага! Неужели они дали толчекъ?

— И да, и нѣтъ, — отвѣтила Нѣтова.

— Стоитъ!

— Очень стоитъ! — рѣзко повторила Марья Орестовна. — Съ такимъ человѣкомъ, какъ Евлампій Григорьевичъ, я никогда не буду избавлена отъ подобныхъ пріятностей.

Ему были извѣстны статейки московской газеты. Онѣ пришлись кстати, доложили лишнюю щепоть.

Съ этой темы они перевели разговоръ на болѣе пріятныя картины заграничной жизни.

— Что вы любите больше всего? Парижъ, Италію?

— Ничего особенно. Я глупо ѣздила... Всегда являлся Евлампій Григорьевичъ. Теперь я по другому распоряжусь... и...

— Ахъ, знаете что, Марья Орестовна, — перебилъ Палтусовъ: — вамъ нигдѣ не будетъ такъ хорошо, какъ здѣсь.

— Не можетъ этого быть.

— Повѣрьте! Надо во что-нибудь вдаться, иначе вы умрете отъ пустоты.

— Найду дѣло!

— Такого, чтобы поглотило васъ—нѣтъ, не найдете! Вы здѣсь — центръ.

— Чего это? — съ гримасой спросила она.

— Своего мірка. И этотъ мірокъ создали вы... Куда вы ни бросите взглядъ, все это дѣло вашихъ рукъ. Вы выбирали, вы приказывали, вы сортировали и обои, и мебель, и людей, и отношенія къ нимъ. Шутка!

— Для себя не жила! И все это мелко.

— Не стану спорить... А люди? Ихъ надо найти!

— Меня не забудутъ и старые друзья...— вырвалось у нея.

„Поиграю немножко", мелькнуло опять въ головѣ Палтусова.

— Друзья-то не забудутъ. Впрочемъ, не трудно и новыхъ завести. Много по Европѣ бродитъ охочаго народа.

— Что это вы, Андрей Дмитріевичъ,—недовольно замѣтила она.—Я съ дрянью никогда не зналась. Вы бы лучше пообѣщали мнѣ навѣстить меня.

— А вы когда сбираетесь?

— Скоро.

— Въ началѣ нашего сезона? Такъ-то вы заботитесь объ интересахъ вашихъ друзей.

— Кого же?

— Да вотъ хоть-бы меня.

— Вамъ отъ моего отъѣзда, я вижу, ни тепло, ни холодно.

— Ошибаетесь!—горячо возразилъ онъ, и только на этотъ разъ искренно.

— Врядъ-ли.

— Ошибаетесь, говорю вамъ. Вашъ домъ былъ для меня самый, какъ бы это сказать... позволите... безъ сантиментальности?

— Говорите пожалуйста.

— Самый выгодный.

— Вотъ какъ?

— Вы не обижайтесь... Самый выгодный. Здѣсь я встрѣчалъ разный людъ, нужный для меня. Вашъ супругъ безъ васъ совсѣмъ будетъ не то, что́ онъ былъ при васъ. Вы умѣли сдѣлать пріятными и вечеръ, и обѣдъ — тутъ онъ ужь началъ привирать — вашъ домъ избавлялъ отъ необходимости дѣлать визиты, рыскать по городу, разузнавать.

— Вы говорите точно тайный агентъ.

— Ха, ха, ха! Да, я отчасти такой именно агентъ. А недавно сдѣлался и настоящимъ дѣловымъ агентомъ.

— Гдѣ, у кого?

— Оставимъ это въ тайнѣ. Вы видите, вашъ отъѣздъ мнѣ не выгоденъ.

— А я сама?

Вопросъ выговоренъ былъ гораздо искреннѣе, чѣмъ Палтусовъ ожидалъ. Онъ засталъ его врасплохъ.

— Вы?

— Да, я?

Ея каріе глаза, прищурясь, глядѣли на него.

— И вы также.

— Выгодна?

— Очень.

Она отодвинулась.

— Андрей Дмитріевичъ... Зачѣмъ у васъ этотъ тонъ?.. Я заслуживаю другаго.

— Я только откровененъ. И что же тутъ обиднаго для молодой женщины?

— Выгодно!..

— Полноте, Марья Орестовна... Вы не сантиментальный человѣкъ.

— Вы не знаете, — живо перебила она: — какоіі я человѣкъ. До сихъ поръ я не жила... Я уже говорила вамъ.

Онъ съумѣлъ остановить разговоръ на этомъ спускѣ. Дальше онъ не хотѣлъ раздражать ее — не стоило. Безъ всякой задней мысли спросилъ онъ ее:

— Кто же будетъ представлять здѣсь ваши интересы?

— Денежные?

— Да.

— Надо сначала обезпечить ихъ, Андреіі Дмитріевичъ.

— Это сдѣлается. Только не натягивайте супружеской струны. Вы играли на Евлампіи Григорьевичѣ, какъ на послушномъ инструментѣ, но вы мало наблюдали за нимъ.

— Мало!

— Недостаточно. Съ такими натурами нужна особая сноровка... Въ немъ вообще что-то происходитъ, съ нѣкотораго времени.

Она презрительно повела губами.

— Увѣряю васъ, я говорю совершенно серьезно.

— Пускай его проживаетъ здѣсь, какъ знаетъ... Вы спрашиваете, кто будетъ здѣсь представитель моихъ интересовъ? Вотъ — случай чаще видѣть васъ.

— Меня? Выбираете меня своимъ chargé d'affaires? Для того, чтобы супругъ имѣлъ подозрѣнія?..

— Мнѣ все равно и теперь, а тогда и подавно.

Она встала и прошлась по комнатѣ.

Раздался звонъ швейцара.—Одинъ ударъ — пріѣздъ самого Евлампія Григорьевича.

— Супругъ и повелитель? — спросилъ Палтусовъ.

— Какъ это хорошо, что вы сегодня у насъ обѣдаете, — съ удареніемъ выговорила Нѣтова.

XXVIII.

Внизу въ сѣняхъ Евлампій Григорьевичъ закричалъ на швейцара, зачѣмъ онъ не выбѣжалъ вынимать его изъ кареты.

Этотъ окрикъ изумилъ гусарскаго вахмистра. Никогда баринъ не дѣлалъ ему и простыхъ замѣчаній, а тутъ разгнѣвался попусту.

— Осмѣлюсь доложить, — оправдывался онъ, — кареты я не разслыхалъ-съ. Стѣны толстыя, при томъ же окна замазаны.

— Нечего! — сердито обрѣзалъ его Нѣтовъ.

Сѣни и лѣстницу онъ оглядѣлъ съ нахмуренными бровями, чего опять съ нимъ никогда не было.

— Кто? — спросилъ онъ швейцара. — Кто гость?

— Господинъ Палтусовъ сидятъ у Марьи Орестовны.

Нѣтовъ началъ подниматься медленно, нетвердой походкой. Его испугало и раздосадовало то, что часъ передъ тѣмъ, съ нимъ вдругъ ни съ того ни съ сего сдѣлался обморокъ. Теперь онъ знаетъ, съ чего — разговоръ съ Марьей Орестовной. Но для его „званія" совсѣмъ неумѣстно падать въ обморокъ. И ничего онъ тамъ не слыхалъ въ засѣданіи комитета, гдѣ онъ почетный предсѣдатель, все путалъ, забывалъ, какъ зовутъ членовъ. Два раза онъ такъ подписалъ свое имя подъ исходящими бумагами, что дѣлопроизводитель долженъ былъ показать ему. На одной стояло вмѣсто „коммерціи совѣтникъ" — „коммерціи сотникъ", — а на другой имя Евлампій написано было безъ среднихъ буквъ. Ему стало обидно... Неужели же онъ такъ ужь и не можетъ стряхнуть съ себя гнета своей супруги?.. Ну, скучно ей, проѣдется... Какъ же ей не любить его? Только не желаетъ показать этого... Нельзя не любить...

Прежде Евлампій Григорьевичъ не замѣчалъ тяжести въ ногахъ, когда поднимался по лѣстницѣ. А тутъ, на верхней площадкѣ долженъ былъ отдышаться, и его опять шатнуло въ сторону.

Подбѣжалъ тотъ же лакей, что подалъ ему стаканъ воды. Нѣтовъ поглядѣлъ на него, и ему показалось, что глаза лакея смѣются надъ нимъ! А кто онъ? Хозяинъ! Баринъ! Почетное лицо!.. И не то что Краснопёрый или Лещовъ, а „хамъ" смѣетъ надъ нимъ подсмѣиваться!..

— Что ты ухмыляешься? — глухо спросилъ онъ ливрейнаго оффиціанта.

Оффиціантъ даже не понялъ сразу вопроса Нѣтовъ повторилъ

— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣтилъ оффиціантъ.

— То-то! не смѣть! — крикнулъ онъ и пошелъ въ кабинетъ.

Раздражило его и то, что Викентій не встрѣтилъ его на лѣстницѣ. — Пришлось звонить. А Викентій ожидалъ его двадцатью минутами позднѣе. И когда онъ замѣтилъ камердинеру съ горечью:

— Кажется, не много у васъ дѣла, — то ему опять показалось, что Викентій ухмыльнулся.

Щеки Евлампія Григорьевича зардѣлись. Онъ сдержалъ себя и только крикнулъ: — Сюртукъ подай! — голосомъ, который ему самому показался страшнымъ.

И борода не повиновалась щеткѣ. Онъ ее приглаживалъ передъ зеркаломъ и такъ, и

эдакъ; но она все торчала — не выходило никакого вида. Сюртукъ сидитъ скверно... Послѣ обѣда надо опять надѣвать фракъ — ѣхать въ другое засѣданіе. Тяжко, за то почетъ. Онъ долженъ теперь самъ объ себѣ думать... Жена уѣдетъ за-границу... на всю зиму... Успѣетъ ли онъ урваться хоть на двѣ недѣли? Да Марья Орестовна и не желаетъ...

Въ залѣ, разноцвѣтной, мраморной палатѣ, съ нишами, въ два свѣта, съ арками и украшеніями, въ венеціанскомъ стилѣ — Евлампій Григорьевичъ вдругъ остановился. Онъ совсѣмъ вѣдь забылъ, что́ ему сказала Марья Орестовна на счетъ ея денежныхъ средствъ... Какъ же это могло случиться? Вылетѣло изъ головы! Надо же сдѣлать смѣту... Какой капиталъ и въ какихъ бумагахъ?

Нѣтовъ круто повернулся и пошелъ назадъ, въ кабинетъ... Безъ счетовъ и записной книжки онъ ничего сообразить не можетъ. Къ обѣду еще успѣетъ... Да и объ чемъ ему говорить съ этимъ Палтусовымъ?.. Зачастилъ что-то. Не съ нимъ ли желаетъ Марья Орестовна заграницу отправиться?

Вопросъ остался безъ отвѣта. Мысль Евлампія Григорьевича перескочила опять къ счетамъ и записной книжкѣ. Торопливо присѣлъ онъ къ письменному столу; съ большимъ трудомъ окинулъ онъ размѣры своихъ цѣнностей... что-то такое забылъ, и долго не могъ вспомнить что́ именно.

XXIX.

Обѣдъ подали въ половинѣ шестаго. Столовая росписана фресками, вдѣланными въ деревянную свѣтло-дубовую рѣзьбу. Есть тутъ цѣлые виды Москвы и Троицы, занимающе полстѣны и поуже бытовыя картины изъ древней городской жизни. Вотъ московскій бояринъ угощаетъ заѣзжаго иностранца. Гость посоловѣлъ отъ медовъ и мальвазіи. Сдобная рослая жена выходитъ изъ терема съ опущенными рѣсницами, вся разукрашена въ оксамитъ и жемчуга и несетъ на блюдѣ прощальный кубокъ — посошокъ. Хозяинъ съ красной раздутой рожей хохочетъ надъ „нѣмцемъ“ и упрашиваетъ его „откушать“. Рѣзной дубовый потолокъ спускается низкими карнизами надъ этой характерной комнатой. Онъ изукрашенъ изразцами также, какъ и стѣны. Затѣйливая изразцовая печь занимаетъ одну изъ узкихъ поперечныхъ стѣнъ. Она вся росписана и смотритъ издали громаднымъ глинянымъ сосудомъ. Столъ съ четырьмя приборами пропадаетъ въ этой хоромине. Онъ освѣщенъ большой жирандолью въ двѣнадцать свѣчей. На стѣнѣ зажжены двѣ лампы люстры, подъ стиль жирандоли и отдѣлкѣ стѣнъ. Открытый поставецъ, съ мраморной доской, заставленъ закуской. Графинчики, бутылки и кувшины водокъ и бальзамовъ пестрѣютъ позади фарфоровыхъ цвѣтныхъ

тарелокъ. Посрединѣ приподнимается граненая ваза съ свѣжей икрой. Точно будутъ закусывать человѣкъ двадцать. У противоположной стѣны, между двумя фресками, массивный буфетъ дѣланъ на заказъ въ Нюренбергѣ, весь покрытъ скульптурной и рѣзной работой. Онъ имѣетъ видъ церковнаго органа. Вмѣсто металлическихъ трубъ блеститъ серебряная и позолоченная посуда. Майоликъ по стѣнамъ не видно: ни блюдъ, ни кружекъ. Архитекторъ не допускалъ этого.

Палтусовъ ввелъ Марью Орестовну изъ коридора-галлереи черезъ вторую гостиную. Больше гостей не было. Они подошли къ закускѣ. Въ отдаленіи стояли два лакея во фракахъ, а у столика съ тарелками — дворецкій.

— Докладывали Евлампію Григорьевичу? — спросила Марья Орестовна у лакея.

— Докладывали-съ.

— Кушайте, — обратилась она къ гостю и указала на икру.

Въ этотъ день Палтусовъ проголодался. Икра такъ и таяла у него на языкѣ. Доносился и ароматъ свѣжаго балыка и какой-то заливной рыбы. Смакуя закуски, онъ оглянулъ залу, въ головѣ его раздалось восклицаніе: какъ живутъ, „подлецы!“.

Это онъ говорилъ себѣ каждый разъ, какъ обѣдалъ у Нѣтовыхъ. Ихъ столовая и весь ихъ домъ и дали ему готовый матеріалъ для мечтаній о его будущихъ „русскихъ“ хоро-

махъ. До славянщины ему мало дѣла, хоть онъ и побывалъ въ Сербіи и Болгаріи волонтеромъ, квасу и тулупа тоже не любилъ; но палаты его будутъ въ „стилѣ", въ родѣ дома и столовой Нѣтовыхъ. Въ Москвѣ такъ нужно.

Неслышно очутился около него хозяинъ.

— А! Евлампій Григорьевичъ! — вскричалъ онъ: — Какъ вы подкрались...

— Тихонько-съ, — отвѣтилъ Нѣтовъ съ кислой улыбкой, давно надоѣвшей Палтусову... — Такъ лучше-съ...

И онъ засмѣялся отрывистымъ смѣхомъ.

Палтусовъ не считалъ его глупымъ человѣкомъ. Нѣтовъ по своему интересовалъ его. Этотъ смѣхъ показался ему почему-то глупѣе Евлампія Григорьевича. Онъ пристально поглядѣлъ ему въ лицо — и остановился на глазахъ... Ему сдавалось, что одинъ зрачекъ Нѣтова какъ будто гораздо меньше другаго... Что за странность!..

— Гдѣ изволили побывать? — спросилъ онъ. — Все засѣдаете?

— Засѣдаемъ-съ, засѣдаемъ, — подхватилъ Нѣтовъ развязнѣе и молодцоватѣе обыкновеннаго.

„Бодрится, — подумалъ Палтусовъ, — послѣ жениной трепки".

Марья Орестовна садилась за столъ и тихо сказала:

— Милости прошу.

— Не угодно ли-съ по другой? — при-

гласилъ Палтусова хозяинъ и налилъ ему алашу.

Они выпили, забили себѣ ротъ маринованнымъ лобстеромъ и сѣли по обѣ стороны хозяйки. Четвертый приборъ такъ и остался незанятымъ. Прислуга разнесла тарелки супа и пирожки. Дворецкій приблизился съ бутылкой мадеры. Первыя три минуты всѣ молчали.

XXX.

Такой обѣдъ втроёмъ выпалъ на долю Палтусова въ первый разъ. — Марья Орестовна не могла или не хотѣла настроиться помягче. Она плохо слушалась совѣтовъ своего пріятеля. На мужа она совсѣмъ не смотрѣла. Нѣтовъ замѣтно волновался, заводилъ разговоръ, но не умѣлъ его поддержать. Его разсѣянность вызывала въ Марьѣ Орестовнѣ презрительное подергиванье плечъ.

„Покорно-спасибо, — сказалъ про себя Палтусовъ послѣ рыбы, — въ другой разъ вы меня на такой обѣдъ не заманите“.

Но къ концу обѣда онъ началъ внимательнѣе наблюдать эту чету и бесѣдовать самъ съ собою. Она была въ сущности занимательна... Что-то такое онъ чуялъ въ нихъ, на чемъ, до сихъ поръ, не останавливался. Мужа онъ „допускалъ“... Смѣяться надъ нимъ ему было бы противно. Онъ замѣчалъ въ себѣ наклонность

къ великодушнымъ чувствамъ. Да и она вѣдь жалка. У него по крайней мѣрѣ есть страсть, въ рабствѣ у жены, любитъ ее, преклоняется, но страдаетъ. Не даромъ у него такіе странные зрачки. А эта купеческая Рекамье? Что въ ней говоритъ? Жила, жила, тянулась, дрессировала мужа, точно пуделя какого-то, и вдругъ — все къ чорту!... И тутъ не ладно... въ головѣ не ладно.

Палтусовъ такъ задумался, что Марья Орестовна два раза должна была его спросить:

— Будете на симфоническомъ?..

— На музыкалкѣ? — переспросилъ онъ. — Буду, если достану билетъ.

— А у васъ нѣтъ членскаго?

— Пропустилъ. Говорятъ, свалка была, на Неглинной, у Юргенсона?..

— Огромный успѣхъ!

— Да-съ, шибко торгуютъ, — пошутилъ Евлампій Григорьевичъ.

— Шибко, — поддержалъ его Палтусовъ.

— Потому что идетъ по своей дорогѣ, — тревожно заговорилъ Нѣтовъ, — идетъ-съ. Изволите видѣть, оно такъ въ каждомъ дѣлѣ. Чтобы человѣкъ только вѣру въ себя имѣлъ; а когда вѣры нѣтъ — и никакого у него форсу. Какъ будто монета, старая, стертая, не распознаешь, гдѣ значится орелъ, гдѣ рѣшетка.

Марья Орестовна не безъ удивленія прислушивалась.

— Совершенно вѣрно! — откликнулся Палтусовъ.

— Человѣкъ — на помочахъ идти не можетъ... Все равно малолѣтній всегда... А стоитъ ему на свои ноги встать...

„Вонъ онъ куда“ — подумалъ Палтусовъ и сочувственно улыбнулся хозяину.

— И тогда все по другому... Хотя бы и не потрафилъ онъ съ разу, да у него на душѣ лучше... И смѣлости прибудетъ!

— Хотите еще? — перебила хозяйка, обращаясь къ гостю.

— Пирожнаго?.. Благодарю. Курить хочу, если позволите.

— Вамъ разрѣшаю.

Евлампій Григорьевичъ смолкъ. Жена не смотрѣла на него. Она нашла, что его болтовня — дерзость, за которую она съумѣетъ отплатить. Но взглядъ Палтусова подсказалъ ей:

„Смотрите, не перейдите градуса. Сначала добейтесь своего. Вы видите — и въ немъ заговорило мужское достоинство“.

Евлампій Григорьевичъ предложилъ ему сигару и спросилъ, чего никогда не дѣлалъ:

— Угодно въ кабинетъ?.. Кофейку... и покурить въ свое удовольствіе?

Палтусовъ согласился, — довелъ хозяйку до салона и сказалъ ей шопотомъ:

— Не возмущайтесь, пожалуйста, я вашу же линію веду.

Она сдѣлала гримасу.

Въ кабинетѣ Евлампій Григорьевичъ засуетился, сталъ усаживать Палтусова, наливалъ ему ликера, вынулъ ящикъ сигаръ. Прежде онъ держалъ себя съ нимъ натянуто или неловко чопорно... Они сидѣли рядомъ на диванѣ. Нѣтовъ раза два поглядѣлъ на письменный столъ и на счеты, лежавшіе посрединѣ стола передъ кресломъ.

— Вотъ-съ, — заговорилъ онъ прямо, — вы, Андрей Дмитріевичъ, человѣкъ просвѣщенный. Вездѣ бывали. И сообразить можете, какъ по вашему, если дамѣ такой, какъ еслибы Марья Орестовна... примѣрно, за границей проживать? И вообще домъ имѣть свой... Какой годовой доходъ?

Такого вопроса не ожидалъ Палтусовъ. Мужъ положительно нравился ему больше жены. Онъ остается въ Москвѣ, надо его держаться. Это порядочный человѣкъ, прочный коммерсантъ, выдвинулся впередъ такъ или иначе „на линію" генерала.

— Годовой доходъ? — переспросилъ Палтусовъ.

— Да-съ?

— Двадцать тысячъ. Если тѣ же привычки будутъ, какъ и здѣсь... тридцать...

— Мало-съ. Я полагаю пятьдесятъ?...

— Коли въ Италіи, напримѣръ, жить, такъ на бумажные лиры сумма крупная.

Нѣтовъ разсмѣялся и замолчалъ.

Правый зрачекъ у него опять показался Палтусову меньше лѣваго.

— Что же-съ?.. По душѣ сказать, — онъ началъ изливаться: — такая сумма четвертая часть того, что́ мы имѣемъ. И каждый хорошій мужъ обязанъ первымъ дѣломъ обезпечить... Такъ ли-съ? И волю свою выразить, какъ слѣдуетъ... Особливо ежели благопріобрѣтенное... оно и совершено, да, знаете, въ голову другое-то не пришло? При жизни-то? Изволите разумѣть? При жизни мужа можетъ понадобиться... Такой оборотъ выдти?.. Безъ развода... Или тамъ чего... И безъ стѣсненья!.. Уѣдетъ жена пожить за границу!.. Она и спокойна. У ней свой доходъ. Простая штука... И любилъ человѣкъ... а между прочимъ не сообразилъ.

Онъ смолкъ и всталъ съ дивана, подошелъ къ столу, накинулъ нѣсколько костей на счетахъ, отставилъ ихъ въ сторону и потеръ себѣ руки. — Палтусовъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ и недоумѣньемъ.

— Марья Орестовна ждутъ васъ... Извините, что задержалъ... Я въ засѣданіе...

И Евлампій Григорьевичъ началъ жать ему руку, какъ-то присѣдая и улыбаясь.

— Знаете, что, — говорилъ Палтусовъ Марьѣ Орестовнѣ въ гостиной, берясь за шляпу; онъ никогда у ней не засиживался: — вы не найдете нигдѣ втораго Евлампія Григорьевича.

И онъ разсказалъ, объ чемъ изливался ему Нѣтовъ.

Марья Орестовна только потянула въ себя воздухъ.

— Ужь не знаю... Онъ точно какой шальной сегодня!..

„Будешь!“ — добавилъ отъ себя Палтусовъ и поцѣловалъ ея руку.

XXXI.

Ровно черезъ недѣлю хоронили Константина Глѣбовича Лещова.

Октябрь ужь перевалилъ за вторую половину. День выдался съ утра сиверкій, мокрый, съ иглистымъ, полумерзлымъ дождемъ. Часу въ одиннадцатомъ шло отпѣваніе въ старой, низенькой церкви упраздненнаго монастыря. По двору, въ каменной оградѣ расположилась публика. Въ церковь вошло немного. Тамъ и не помѣстилось бы, безъ крайней тѣсноты, больше двухъ сотъ человѣкъ. Служили викарный архіерей и два архимандрита. По желанію покойнаго, занесенному въ завѣщаніе, его отпѣвали въ томъ приходѣ, гдѣ онъ родился. Потемнѣлые своды церкви давили и спирали воздухъ, весь насыщенный ладономъ, копотью восковыхъ свѣчей и струями хлорной извести и можжевельника. Кругомъ всѣ жаловались, что не слѣдовало отпѣвать въ такой крохотной церкви. Безпрестанно, мужчины во фракахъ и шитыхъ мундирахъ выходили на паперть, набитую нищими. Дамъ насчитывали гораздо меньше мужчинъ. Слѣва отъ гроба, у придѣла, группа дамъ въ

черномъ окружала вдову покойнаго. — Аделаида Петровна стояла на колѣняхъ, и, отъ времени до времени, всхлипывала. — Ее находили очень интересной...

Пѣли чудовскіе пѣвчіе. Протодьяконъ оттягивалъ длинной минорной нотой конецъ возглашеній. Его „Господу помолимся" производило въ груди томильную пустоту. Когда зажигали свѣчи для заупокойной обѣдни, то архіерею, двумъ архимандритамъ и двумъ старшимъ священникамъ протодьяконъ подалъ по толстой свѣчѣ зеленаго воску. — Такую же получила и вдова.

Много разъ разносились уже по церкви слова „болярина Константина". Потъ шелъ со всѣхъ градомъ. Никто не молился. Кто-то шепчетъ, что будетъ „слово" — и всѣ ужасаются коптѣть еще лишнихъ полчаса.

Но и на дворѣ всѣ раздражались отъ мокрой погоды. У паперти стояла группа бойко болтающихъ мужчинъ. Тутъ встрѣтились знакомые самыхъ разнохарактерныхъ званій. Бритое лицо актера, — съ выдающимся носомъ и синими щеками, въ мягкой шляпѣ съ большими полями, — наполовину уходило въ мерлушковый воротникъ длиннаго чернаго пальто. Рядомъ съ нимъ выставлялась треугольная шляпа съ камеръ-юнкерскимъ плюмажемъ и благообразное дворянское лицо, простоватое и томное. Сбоку морщился плотный полковникъ въ каскѣ и съ рыжей бородой, по петлицамъ

пальто — военный судья. Они говорили разомъ, разсказывали веселые анекдоты, ругали погоду. Къ нимъ присосѣживались выходящіе изъ церкви и вновь прибывающіе.

По двору гуляли другія группы. Народъ облѣпилъ одну стѣну и выглядывалъ изъ-за главныхъ воротъ, обступалъ катафалкъ, крытый бѣлымъ глазетомъ съ бѣлыми перьями по бокамъ и по срединѣ. Экипажи останавливались у воротъ и потомъ отъѣзжали вверхъ по переулку и внизъ къ Дмитровкѣ. — Было грязно. Большая лужа выдалась на самой серединѣ паперти. Ее обходили влѣво, слѣдуя широко разбросанному можжевельнику. Фонарщики, въ черныхъ шляпахъ и шинеляхъ съ капюшонами, завернули подолы и бродили по двору, составивъ свои фонари вдоль стѣны, въ тяжелыхъ порыжѣлыхъ сапогахъ и полушубкахъ. Жандармы покачивались въ сѣдлахъ.

На похороны Лещова приглашено было поименно до шести-сотъ человѣкъ. Списокъ составлялъ Качѣевъ. Въ него попали купцы, помѣщики, директора банковъ, литераторы, профессора, актеры. Нѣсколько именъ говорили, что покойный посѣщалъ патріотическія гостиныя. Но оказалось, въ числѣ приглашенныхъ, и довольно вольнодумныхъ людей, либерально-мыслящихъ на европейскій ладъ, посѣщающихъ, впрочемъ, и патріотическія гостиныя. Покойный зналъ всю дѣловую Москву и сохранялъ связи съ интеллигенціей. Но по лицамъ,

провожавшимъ его въ послѣднюю обитель, трудно было узнать — кому его жаль. Только самые простые купцы, „какъ есть изъ русскихъ", входившіе въ ограду безъ шапокъ и осѣняя себя крестомъ, казалось, соболѣзновали его кончинѣ.

Служба все тянулась. Уже остряки давно напомнили объ адмиральскомъ часѣ. Какой-то лысый господинъ среднихъ лѣтъ выскочилъ съ паперти безъ шапки вслѣдъ за смуглой, долгоносой барыней въ цвѣтной шляпкѣ и началъ ей кричать:

— Не хочу знать этихъ мерзавцевъ!

И пошелъ по можжевельнику, размахивая рукою.

А дама усовѣщивала его, повторяя:

— Глядятъ! Глядятъ! Постыдись!

На что онъ еще задорнѣе крикнулъ:

— А мнѣ наплевать!..

Въ группѣ около паперти актеръ переглянулся съ собесѣдниками.

— Господа литераторы! — выговорилъ онъ съ актерскимъ подчеркиваньемъ. — Народъ сердитый!

— Сердитъ, да не силенъ!.. — крикнулъ военный судья, и всѣ трое расхохотались, послѣ чего вдругъ сдержали себя и уныло поглядѣли на входъ въ церковь...

— Претитъ? — спросилъ актеръ камеръ-юнкера.

— И очень!..

— Вы, господа, до кладбища?

— Ну, нѣтъ-съ, — отвѣтилъ за всѣхъ судья и запахнулся въ пальто.

Ударили на колокольнѣ, и похоронный гулъ поплылъ по отсырѣлому воздуху.

XXXII.

За полчаса до выноса тѣла изъ церкви, Палтусовъ входилъ въ ограду и осторожно пробирался, обходя тѣ мѣста, гдѣ грязь растоптали какъ мѣсиво. Онъ ожидалъ чего-то другаго... Съ Лещовымъ онъ познакомился только въ этомъ году и нашелъ его „очень занимательнымъ". Ему не разъ уже приходило на мысль, что онъ самъ идетъ по той же дорогѣ. Лещовъ представлялъ цѣлую полосу московской жизни. Онъ внесъ съ собою въ дѣла какую-то „идею". Патріоты съ славянскими симпатіями, которыхъ пріятели Палтусова звали „византійцами", считали его своимъ. Черезъ него они воспитали въ своемъ духѣ нѣсколько милліонщиковъ-купцовъ, заставляли ихъ поддерживать общества, посылать пожертвованія, записываться въ покровители „братьевъ", давать деньги на основаніе газетъ, журналовъ, на печатаніе книгъ и брошюръ...

Но теперь что-то покачнулось. Онъ не видитъ ни большаго горя, ни большаго смущенія. И единомышленниковъ-то Лещова три-четыре

человѣка, да и обчелся... Вотъ и на этихъ похоронахъ такъ же. Палтусовъ оглядѣлъ всѣ кучки. Его зоркіе глаза всюду проникли. На дворѣ онъ замѣтилъ только блѣднолицаго брюнета въ очкахъ изъ „толка", — да старца съ большой бородой въ старомодной шинели и шапкѣ, изъ-подъ которой падали на воротникъ длинные съ просѣдью волосы. Старецъ говорилъ въ кучкѣ университетскихъ, улыбался и прищуривалъ добрые глаза. До Палтусова донесся его хриплый грудной басъ провинціальнаго трагика и отрывки его горячихъ фразъ.

„Навѣрно будетъ говорить на могилѣ, подумалъ Палтусовъ и поспѣшилъ въ церковь.

Онъ не продрался къ серединѣ. Издали увидалъ онъ лысую голову коренастаго старика въ очкахъ съ густыми бровями. Его-то онъ и искалъ, для счету, хотѣлъ убѣдиться—окажутся ли на лицо единомышленники покойнаго. Вправо отъ архіерея стояли въ мундирахъ тщательно причесанные Взломцевъ и Краснопёрый. У обоихъ низко на грудь были спущены кресты, у одного Станислава, у другаго Анны.

Но въ церкви Палтусовъ не выстоялъ больше пяти минутъ. Мимо его прошмыгнулъ распорядитель похоронъ, Качѣевъ, тоже его знакомый, и замѣтилъ ему смѣшливо:

— Каковъ парничекъ-то, а?

Влѣво отъ паперти Палтусовъ примѣтилъ группу изъ троихъ мужчинъ, одѣтыхъ безъ

всякаго парада. Онъ узналъ въ нихъ зачинщиковъ разныхъ „контръ", направленныхъ противъ Нѣтова и его руководителей: покойнаго Лещова и Краснопёраго. Одинъ, съ большой мохнатой головой и рябымъ лицомъ, осматривался и часто показывалъ гнилые зубы. Двое другихъ тихо переговаривались. Они смотрѣли заурядными купцами: одинъ брился, другой носилъ жидковатую бороду. Вслѣдъ за Палтусовымъ спустился съ паперти и Краснопёрый и тотчасъ присталъ къ кучкѣ, гдѣ торчала треугольная шляпа камеръ-юнкера.

— Каковъ? — доносился до него шепелявый голосъ Краснопёраго. — Царство-то небесное какъ захотѣлъ заполучить!.. Перебѣжчикомъ на тотъ свѣтъ явится.

Кто-то изъ группы началъ его разспрашивать.

— Не нашелъ онъ, къ кому обратиться! — кричалъ Краснопёрый. — Меня не пожелалъ, видите ли... Стрекулистовъ какихъ-то въ душеприкащики взялъ... Хоть бы въ свидѣтели пригласилъ.

Черезъ минуту актеръ спросилъ:

— Двѣсти тысячъ?.. На школы?.. Молодецъ!

— Да помилуйте, батюшка... Одна гордыня! — кричалъ опять Краснопёрый.

„Вотъ оно что", отмѣчалъ про себя Палтусовъ. Все это его чрезвычайно занимало.

— Андрей Дмитріевичъ! — окликнули его.

Съ нимъ раскланивался Нѣтовъ, въ мундирѣ, въ персидской здѣздѣ, очень блѣдный и возбужденный.

— Позвольте познакомить... Братъ супруги моей... Николай Орестовичъ Леденщиковъ...

Палтусову подалъ руку худой блондинъ, въ длиннѣйшемъ пальто съ котиковымъ воротникомъ. Его прыщавое, чопорное лицо, въ золотомъ pince-nez, бритое, съ рыжеватыми усами, смотрѣло на Палтусова, приторно улыбаясь... Сестру онъ напоминалъ развѣ съ носа. Такого вида молодыхъ людей Палтусовъ встрѣчалъ только въ русскихъ посольствахъ за-границей, да за абсентомъ Café Riche, на Итальянскомъ бульварѣ. „Разновидность Виктора Станицына", опредѣлилъ онъ.

— Enchanté, — выговорилъ братъ Марьи Орестовны, съ необычайно старательнымъ и сладкимъ французскимъ произношеніемъ.

— Слышали, Евлампій Григорьевичъ, — спросилъ Палтусовъ: — завѣщаніе-то Лещова? Двѣсти тысячъ на школы!.. Благородно!

— Слышалъ-съ.

— Да развѣ не вы душеприкащикъ?..

— Нѣтъ-съ!.. Покойникъ просилъ... Дядюшка мой отказали... Ну, тому и обидно показалось!.. И всякій-бы на его мѣстѣ... Онъ обратился къ тѣмъ...

Нѣтовъ указалъ глазами на ту кучку, гдѣ стояли трое „враговъ" его.

— Неужели? — удивился Палтусовъ.

— И что-же-съ?.. Каждый воленъ поступать по совѣсти... Да и какія тутъ-съ партіи?.. Только чтобъ честные люди были... А иной и кричитъ: я русакъ, я стою за русское дѣло, а на повѣрку выходитъ...

Онъ не досказалъ и раздраженно оглянулся въ сторону паперти, гдѣ замѣтилъ вырѣзанныя ноздри своего родственника Краснопераго. Палтусовъ прислушивался къ его голосу и смотрѣлъ ему въ лицо. На его глазахъ съ этимъ человѣкомъ что-то происходило... Онъ сбрасывалъ съ себя ярмо...

— Пойдемте въ церковь,— пригласилъ Нѣтовъ своего зятя... — На кладбище поѣдете? — спросилъ онъ Палтусова, и не дождавшись отвѣта, пошелъ торопливой, развинченной походкой.

XXXIII.

Палтусовъ смотрѣлъ ему вслѣдъ. Умеръ Лещовъ. Марья Орестовна собралась жить въ раздѣлъ съ мужемъ. На чьемъ же попеченіи останется этотъ задерганный обыватель? Надо его прибрать къ рукамъ, пока не явятся новые руководители. Нѣтовъ раскланялся съ Краснопёрымъ и съ камеръ-юнкеромъ, мимоходомъ, не сталъ съ ними заговаривать, потомъ взялъ въ сторону, раскланялся и съ кучкой, гдѣ выглядывало рябое лицо его врага и „обличителя“, кажется, улыбнулся имъ. По-

далъ руку всѣмъ троимъ, что-то сказалъ, и сдѣлавъ жестъ правой рукой, перезнакомилъ ихъ съ зятемъ.

Это онъ заявляетъ свою самостоятельность... Въ день похоронъ дядьки показываетъ, что сумѣетъ всячески соблюсти себя и подняться... Говоритъ съ сѣдымъ генераломъ, съ членомъ суда. И очень что-то бойко... Не скоро доберется онъ до церкви. Вошелъ.

На паперти засуетились... Нищіе сбѣжали со ступенекъ и выстроились двумя рядами. Снесли крышку, пѣвчіе въ потертыхъ цвѣтныхъ кунтушахъ съ откидными рукавами, съ фуражками въ рукахъ, начали спускаться, лѣниво поводили головами и подбирали полы. Зазвучало „Со святыми упокой"... Толкотня усиливалась. Показалось духовенство. Протодьяконъ надѣлъ на себя теплую скуфью... Запестрѣли митры и камилавки... Гробъ несли на полотенцахъ артельщики и мелкіе конторщики банка. Распорядитель Качѣевъ что-то кричалъ въ церковь... Вдову поддерживали двѣ дамы... Ея головы не было видно...

На все это глядѣлъ Палтусовъ и раза два подумалъ, что и его, лѣтъ черезъ тридцать, будутъ хоронить съ такой же некрасивой и нестройной церемоніей, стоющей большихъ денегъ... Кисти гроба болтались изъ стороны въ сторону. Иглистый дождь мочилъ парчу. Вѣтеръ развѣвалъ жирные волосы артельщиковъ въ длинныхъ сибиркахъ.

За гробомъ поплелись сановныя лица и пріятели покойнаго. Камеръ-юнкеръ пошелъ слѣва; сзади несъ свой византійскій ликъ Взломцевъ; курносый, нахальный профиль Краснопёраго, въ шитомъ воротникѣ и бѣломъ галстухѣ, говорилъ скорѣй о молебнѣ съ водосвятіемъ, по поводу полученной „святыя Анны", чѣмъ о погребеніи друга и пріятеля... Нѣтовъ шелъ безъ шляпы, все такой же возбужденный, кидая кругомъ быстрые взгляды, говорилъ то съ тѣмъ, то съ другимъ знакомымъ.

Народъ снялъ шапки, но изъ приглашенныхъ многіе остались съ покрытыми головами. Гробъ поставили на катафалкъ съ трудомъ, чуть не повалили его. Фонарщики зашагали тягучимъ шагомъ, по двое въ рядъ. Впереди — два жандарма, лѣвая рука — въ бокъ, поморщиваясь отъ погоды, попадавшей имъ прямо въ лицо. За каретами двинулись обитыя краснымъ и желтымъ линейки, онѣ покачивались на ходу и дребезжали. Больше половины провожатыхъ бросились къ своимъ экипажамъ.

— Вы не съ нами-съ? — пригласилъ Палтусова Нѣтовъ, догоняя его на обратномъ пути: — у насъ ладно-съ...

Палтусовъ поблагодарилъ. Ему надо было заѣхать въ городъ; но онъ поспѣетъ на кладбище къ тому времени, когда будутъ опускать гробъ въ могилу.

— Ожидаемъ рѣчей-съ, — сказалъ Нѣтовъ.

— Вы не скажете-ли? — посмѣялся Палтусовъ.

— Можетъ и скажу-съ! — отвѣтилъ Нѣтовъ съ особеннымъ выраженіемъ.

Заграничный зять усмѣхнулся и протянулъ:

— Интересно...

„Но ты-то интересенъ ли? — спросилъ про себя Палтусовъ, усаживаясь въ пролетку...

Похоронное шествіе спускалось къ Большой Дмитровкѣ. Пролетка Палтусова черезъ Тверскую и Вознесенскія ворота была уже на Никольской, когда пѣвчіе поровнялись только съ угломъ Столешникова переулка. Минутъ черезъ пятьдесятъ онъ подъѣзжалъ къ кладбищу; шествіе близилось къ оградѣ. На сниманіе, заколачиваніе и спускъ гроба пошло не мало времени. Погода немного прояснилась. Стало холоднѣе; изморозь уже больше не падала.

Среди чугунныхъ и мраморныхъ памятниковъ, столбовъ, плитъ, урнъ и крестовъ, зіяла глиняная яма. Гробъ ушелъ низко; чтобы бросать землю на крышку гроба, приходилось или нагибаться, или опуститься на аршинъ. — Послѣ литіи, одинъ изъ архимандритовъ сказалъ краткое слово, восхваливъ „ученость“ и благочестіе покойнаго... Настала минута нерѣшительности... Полетѣли горсти песку... Его разносилъ артельщикъ; Качѣевъ наблюдалъ, чтобы всѣмъ хватило. Изъ толпы, топтавшейся въ молчаніи, вышелъ тотъ лысый старикъ съ надвинутыми

бровями, котораго Палтусовъ отыскивалъ въ церкви, во время отпѣванія.

Онъ началъ хрипло выкрикивать слова, словно подсказывалъ человѣку крѣпкому на ухо. — Его рѣчь состояла изъ цѣпи сочувственныхъ фразъ; но издали можно было принять ихъ за рядъ окриковъ. Точно онъ сердился на покойника и распекалъ его, какъ подчиненнаго. Сзади многіе ухмылялись... Но старикъ скоро кончилъ и швырнулъ въ гробъ большую горсть песку. — За нимъ забросали опоздавшіе... Всѣ начали переглядываться... На противный конецъ ямы, у ногъ покойника, спустился тотъ баринъ, съ длинными волосами, что горячо разговаривалъ въ оградѣ церкви, въ одной изъ группъ. Онъ долго установлялъ какое-то „исконное начало", и звонкія слова въ родѣ „прекрасное", „торжество", „крѣпость духа", разносились по кладбищу. Иные слушатели стали сомнѣваться — сведетъ ли онъ рѣчь свою къ концу. Поднялся шопотъ, а потомъ говоръ, острили, давали прозвища. Онъ все говорилъ и вдругъ, не докончивъ длиннаго періода, воззвалъ къ „вѣчнымъ началамъ правды, добра и красоты" — и раскланялся.

Раздались апплодисменты... Собирались расходиться... Но на краю могилы стоялъ новый ораторъ. Это былъ Нѣтовъ.

XXXIV.

Палтусовъ глазамъ своимъ не вѣрилъ. Ему сдѣлалось даже неловко. Онъ попятился назадъ, но такъ, что лицо и вся фигура Евлампія Григорьевича были ему видны.

— Вотъ, господа-съ, — слышалось ему, — умеръ человѣкъ рѣдкій... въ своемъ родѣ...

— Кто это говоритъ? — спросилъ кто-то сзади.

— Нѣтовъ!

— Батюшки!

— Какъ въ дѣяніяхъ апостольскихъ... Даръ получилъ по наитію!..

Но Палтусовъ прислушивался.

— И вотъ могила, господа... Иные сейчасъ скажутъ: нашъ онъ былъ, къ нашему согласію принадлежалъ.

„Согласіе? очень недурно!“ одобрилъ Палтусовъ и выдвинулся впередъ.

Евлампій Григорьевичъ скинулъ статсъ-секретарскую шинель съ одного плеча. Его правая рука свободно двигалась въ воздухѣ. Шитый воротникъ, бѣлый галстухъ, крестъ на шеѣ, на лѣвой груди — звѣзда, вся въ настоящихъ, самимъ вставленныхъ, бриллiантахъ, такъ и горитъ... Весь выпрямился, голова откинута назадъ, волосы какъ-то взбиты, линіи рта волнистыя, возбужденные глаза... Палтусову опять кажется, что зрачки у него

не ровны, голосъ съ легкой дрожью, но увѣренный и немного, какъ бы, вызывающій... Неузнаваемъ!..

— Зачѣмъ, — продолжалъ ораторъ: — намъ всѣ эти прозвища перебирать, господа?.. Славянофилы, напримѣръ, западники, что-ли, тамъ... Все это одни слова. А намъ надо дѣло... Не кличка творитъ человѣка!.. И будто нельзя почтенному гражданину занимать свою позицію? Будто ему кличка доставляетъ ходъ и уваженіе?..Надо это бросить... Жалуются всѣ;— рукъ нѣтъ, головъ нѣтъ, способныхъ людей и благонамѣренныхъ. Мудрено-ли это?.. Потому, господа, что боятся самихъ себя... Все въ кабалу къ другимъ идутъ!..

— Жена написала, а онъ заучилъ, — раздался надъ ухомъ Палтусова чей-то голосъ.

— Здѣсь она на похоронахъ?

— Нѣтъ, не видно что-то.

— Отзубрилъ знатно!

„Нѣтъ, это не Марья Орестовна, — думалъ Палтусовъ, продолжая слушать: — это экспромтъ. Евлампій Григорьевичъ не писалъ этого на бумажкѣ и не заучивалъ“.

— И вотъ, господа, — кончалъ Нѣтовъ: — помянемъ доброй памятью Константина Глѣбовича. Не забудемъ на что онъ половину своего достоянія пожертвовалъ!.. Не очень-то слѣдуетъ кичиться тѣмъ, что онъ держался такого или другаго согласія... Тѣмъ онъ и былъ силенъ, что себѣ цѣну зналъ!.. Такъ и каж-

дому изъ насъ быть слѣдуетъ!.. Вѣчная память ему!..

Къ концу рѣчи всѣ смолкли. Потомъ захлопали горячо и дружно.

— Емеля-то дурачекъ какъ расходился! — крикнулъ громко Краснопёрый, взялъ за руку старичка-генерала и пошелъ по мосткамъ къ выходу.

Нѣтову жали руку. Онъ стоялъ все съ непокрытой и откинутой головой. Глаза его перебѣгали отъ предмета къ предмету.

— N'est ce pas? — остановилъ Палтусова, двинувшагося за другими, сладкій братъ Марьи Орестовны... — Mой beau frère a très bien dit son fait? Только, кажется, были намеки... Какъ вы находите?

— Молодцомъ!.. — искренно похвалилъ Палтусовъ, протолкался и крѣпко пожалъ руку Нѣтова.

Евлампія Григорьевича окружили. Большая голова и гнилые зубы господина отъ враждебной группы виднѣлись рядомъ съ нимъ.

Когда Палтусовъ подходилъ и протягивалъ ему руку, „вожакъ оппозиціи" смѣялся и трясъ одобрительно волосами.

— Истину, истину изволили изречь... Евлампій Григорьевичъ... Вамъ зачтется... Хорошій баллъ поставимъ... Давно пора такъ-то!..

Нѣтова не обидѣлъ покровительственный голосъ. Его не оставляло возбужденіе. Рука у него вздрагивала.

— Другая полоса теперь! Другая-съ!.. — громко провозгласилъ онъ и надѣлъ бобровую шапку, а шляпу взялъ подъ мышку...

— Разскажите вашей сестрицѣ — тихо сказалъ Палтусовъ его зятю: — какъ отличился ея супругъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ, — выговорилъ тотъ и гостинодворскій акцентъ проскользнулъ въ дикцію, наломанную на дворянскій манеръ.

— Къ намъ откушать? — остановилъ Палтусова Нѣтовъ.

Палтусовъ отклонилъ приглашеніе.

— Не все на помочахъ, Андрей Дмитріевичъ! Не такъ-ли-съ?.. — почти азартно спросилъ его Нѣтовъ и полѣзъ въ свое четырехмѣстное ландо.

Палтусовъ простоялъ еще минутъ съ пять. Жандармы ругались съ кучерами линеекъ. Кареты поѣхали вереницей. Купцы разсаживались въ крытыя дрожки. Пѣвчіе, артельщики, похоронныя старухи и всякій сбродъ чуть не дрались, влѣзая въ линейки; народъ шлепалъ по грязи... Начало опять моросить.

„Надо держаться Нѣтова", рѣшилъ еще разъ Палтусовъ, и уѣхалъ изъ послѣднихъ.

XXXV.

Вечеромъ, за чаемъ, въ будуарѣ Марьи Орестовны, на атласномъ пуффѣ сидѣлъ братъ

ея, пріѣхавшій всего три дня назадъ и разсказывалъ ей, какой успѣхъ имѣла рѣчь Евлампія Григорьевича. Къ обѣду сестра его не выходила. Она страдала мигренью. Наканунѣ мужъ пришелъ ей сказать, что ея желаніе исполнено, и передалъ ей пакетъ съ цѣнными бумагами, приносящими до пятидесяти тысячъ дохода.

Легкая побѣда потѣшила ее, но не надолго. Евлампій Григорьевичъ сдѣлалъ это слишкомъ скоро, и когда отдавалъ ей слишкомъ тяжелый пакетъ, то въ лицѣ его она усмотрѣла необычайное выраженіе; оно говорило:

„Извольте, будемъ и безъ васъ жить съ царемъ въ головѣ...“

На брата она и безъ того не особенно надѣялась; но въ эти три дня онъ опять весь выдохся передъ ней. Отъ его тощей фигуры, прыщаваго лица, волосъ, изысканныхъ туалетовъ и батистовыхъ платковъ шелъ, во-первыхъ, ненавистный ей запахъ иланг-иланга... Она уже попросила его перемѣнить духи... Потомъ онъ началъ мямлить ей, приторно и желая соблюсти свое „консульское“ достоинство, что ему необходимо камеръ-юнкерство, что безъ этого званія онъ не можетъ существовать. Пять разъ съ разными новыми варіантами разсказалъ онъ ей, какъ его представляли „королевѣ и королю,“ какъ ихъ величества удивлялись, что такой „gentleman“ до сихъ поръ не отличенъ придворнымъ званіемъ. Ему и безъ того

тяжело носить фамилію „Леденщиковъ“. Не можетъ же онъ всѣмъ и каждому сообщать, что его мать была столбовая дворянка, племянница одного князя? Еще за границей имя не такъ плохо звучитъ, но въ Россіи, безъ прибавленья на карточкѣ: „Gentilhomme de la chambre de S. M. l'Empereur“ — показаться нельзя... И выходило, что хлопотать объ этомъ слѣдуетъ ей, его „чудесной“ Мари. А для этого надо нѣсколько большихъ обѣдовъ и вечеровъ, отрекомендовать его „особенно“ здѣшнимъ властямъ, поѣхать въ Петербургъ, тамъ завести знакомства въ высшихъ сферахъ, жертвовать, сдѣлаться дамой-патронессой, основать пріютъ, его помѣстить куда-нибудь почетнымъ попечителемъ. Съ милліоннымъ состояніемъ это такъ легко.

Нытье брата открыло вдругъ глаза Марьи Орестовнѣ на то, что ее ожидаетъ за границей. Братъ не оставитъ ее въ покоѣ. Онъ сдѣлается ея прихвостнемъ. Денегъ она же ему будетъ давать. И теперь она даетъ ему три тысячи. Очень ей пріятно будетъ видѣть, что онъ, ничтожный „консулъ“, пыжится быть дипломатомъ: онъ съ такимъ куринымъ мозгомъ не можетъ идти по службѣ. Кромѣ уколовъ самолюбія ничего ее не ждетъ. Ужь и ей разсказали, какъ ея братецъ на одномъ придворномъ балѣ такъ часто забѣгалъ впередъ всюду, гдѣ шла королева, что на него, наконецъ, обратили вниманіе, только не благосклон-

ное. Анекдотъ кто-то завезъ прошлой зимой сюда, и всѣ его знаютъ.

Своихъ плановъ она не сообщила ему вполнѣ. Но братъ засталъ ее еще въ острый періодъ ея душевной тревоги, и она ему намекнула на свое рѣшеніе отдѣлаться отъ Евлампія Григорьевича.

— Я тебя увѣряю, — деликатно выговаривалъ Николай Орестовичъ каждый слогъ, — твой мужъ очень хорошо... a très bien troussé son discours. Какъ тебѣ угодно, Мари, но здѣсь ты особа. И зачѣмъ тебѣ уѣзжать въ началѣ вашего московскаго сезона? Я не на то разсчитывалъ, дорогая моя. Извини, что я тебѣ противорѣчу.

Она заставила его замолчать и послала въ залу — сыграть ей вальсъ Шопена. Цѣлыхъ три часа слушала она его разведенныя сиропомъ рѣчи. Ея выкормокъ положительно раздражалъ ее. Жить съ нимъ за границей по цѣлымъ мѣсяцамъ врядъ-ли лучше, чѣмъ имѣть около себя такого мужа, какъ Евлампій Григорьевичъ.

И потомъ, въ ея мужѣ есть что-то новое. Оставить его въ покоѣ; только бы зналъ свою роль въ домѣ. Не оставаться съ нимъ за столомъ; а при постороннихъ пропускать мимо ушей его купеческое „изволите видѣть“. Теперь она съ собственнымъ большимъ состояніемъ. Какой мужъ сдѣлалъ бы это такъ джентльменски? Палтусовъ былъ правъ.

И съ этимъ человѣкомъ у ней далеко не все кончено. Онъ какъ будто играетъ съ нею. А, можетъ быть, онъ честный человѣкъ, не хочетъ показывать ей такого чувства, какого не находитъ въ себѣ. Но времени впереди много. Вотъ это — характеръ. Еслибъ онъ кидался на деньги, онъ бы сейчасъ же сталъ подбивать ее уѣхать за границу, съ капиталами. Онъ не бросится за ней. Даже и намека на это нѣтъ. Безъ него тамъ будетъ очень скучно, очень. Знаетъ она этихъ французовъ и англичанъ въ Трувиллѣ, въ Біарицѣ, венгерскихъ гусаръ въ Маріенбадѣ. Тяжело ей съ ними. Когда она говоритъ по-французски, у ней выходитъ все жидко, тускло, книжно, отзывается русской гувернанткой. И не пріобрѣсти ей блеска. Это дается или не дается. Вотъ Коля какъ старается, а все-таки комми изъ магазина Дарзанса или Море.

Братъ Марьи Орестовны сошелъ съ Шопена на какую-то сладкую мелодію нѣмца Гумберта, а потомъ заигралъ опереточный мотивъ. Головная боль сестры его утихла. Неподвижное положеніе на кушеткѣ усыпляло ее полегоньку. Передъ ея глазами сталъ узкій треугольникъ портьеръ черезъ всю амфиладу комнатъ. Вѣки слипались. Изъ залы долетали, но смягченныя коврами и шелкомъ стѣнъ и драпировокъ, фривольные звуки приторнаго Николая Орестовича. Но заснуть его сестрѣ мѣшали два видѣнія: — то спустится ей на грудь пакетъ съ цвѣтными

бумагами, го выплыветъ, точно изъ облака, красивая борода съ свѣтлымъ проборомъ на подбородкѣ.

XXXVI.

— Кто тутъ? — пугливо окликнула Марья Орестовна и открыла глаза.

Надъ ней наклонилась борода, но не та благообразная съ изящнымъ проборомъ, а растущая въ разныя стороны борода мужа. Лицо ея было блѣдно и испугано.

— Что съ вами-съ? — спросилъ онъ боязливымъ шопотомъ. — Я думалъ — обморокъ.

— Нисколько, — недовольно выговорила она, и подняла голову: — который часъ?

— Двѣнадцатый.

— Коля играетъ?

— Ушелъ къ себѣ.

— А-а!..

Она потянулась и привстала.

— Какъ свѣжо здѣсь.

— Жарòкъ, можетъ, у васъ? — заботливо спросилъ Евлампій Григорьевичъ.

Марья Орестовна встала и зѣвнула. Потомъ ей вдругъ сдѣлалось зябко, тошно, весь будуаръ завертѣлся у ней въ глазахъ. Ее накренило въ сторону. Руки мужа удержали ее.

Какая-то новая, неиспытанная ею боль отозвалась гдѣ-то въ тѣлѣ и заставила опуститься на кушетку. И такъ ей стало все противно,

она сама, этотъ будуаръ, весь домъ. цѣлый рядъ дней, сулящихъ ей какую нибудь тайную неизлечимую болѣзнь, медленную потерю силъ, нескончаемыя боли, кто знаетъ: душевный недугъ... Она разсердилась на свое малодушіе, но не въ силахъ была встать.

Евлампій Григорьевичъ бросился за горничной. Больную перенесли въ спальню. Мужъ вышелъ и сейчасъ пcслалъ верховаго за докторомъ. Прибѣжалъ братъ, сдѣлалъ глупую мину. Она его прогнала. Въ постелѣ головокруженіе прошло. Она опять забылась.

Пріѣхалъ годовой докторъ, постукалъ грудь, прислушался къ сердцу, ничего не нашелъ подозрительнаго, пошутилъ съ нею и намекнулъ на то, что, быть можетъ, она въ интересномъ положеніи.

Марья Орестовна сначала приняла это съ гримасой, потомъ, по уходѣ доктора, задумалась и вдругъ радостно вздохнула.

Дѣтей у ней не было! Обуза — дѣти, а безъ нихъ какая тоска, какъ она копается въ самой себѣ... Тогда — кровная, живая цѣль, не нужно изводиться въ ѣдкой и себялюбивой заботѣ о томъ — какъ бы мужа вывести на дворянскую дорогу, тревожиться всякой ничтожной газетной статейкой.

Въ будуарѣ она заслышала мужскіе шаги. Тамъ сидѣла ея камеристка.

Она позвонила.

— Берта, кто тамъ?

— Баринъ.

— Попросите его.

Глаза Евлампія Григорьевича загорѣлись въ полутьмѣ спальни. Онъ все еще былъ во фракѣ. — Корпусомъ онъ наклонился впередъ и на цыпочкахъ подходилъ къ кровати. Въ спальнѣ жены онъ не былъ больше мѣсяца. Лицо его смутило Марью Орестовну. Оно казалось ей слишкомъ возбужденнымъ.

— Присядьте, — сказала она ему и указала на край постели.

Нѣтовъ присѣлъ.

— Какъ докторъ? — серьезно, почти строго спросилъ онъ.

— Онъ вамъ ничего не сказалъ?

— Пишетъ рецептъ въ кабинетѣ...

— Говоритъ ничего... только... быть можетъ...

Щеки Марьи Орестовны зардѣлись.

— Что же такое-съ?

— Можетъ, я въ такомъ положеніи.

— Съ чего бы это-съ, — вырвалось у него. — Нельзя этому быть...

— Почему же? веселѣе вымолвила она.

Слова ея заставили его вскочить. Онъ метнулся по комнатѣ, въ уголъ, потомъ подошелъ къ кровати, взялся за спинку; ему ударило въ голову.

— Вотъ оно-съ, вскричалъ онъ. — Божье благословенье! Отчего же и не намъ-съ?... — Ха, ха!...

— Марья Орестовна слѣдила за его глазами. Глаза то вспыхивали, то тускнѣли, руки дрожали. — Ее схватило за сердце... Опять внутри у ней что-то кольнуло и заныло.

Этотъ мужъ больно ужь не милъ ей! Не можетъ онъ быть отцомъ ея ребенка... Она не мать. Да и весь онъ какой-то чудной сегодня. Непріятно на него смотрѣть!...

Горячія, сухія губы прикоснулись къ ея лбу... Ей захотѣлось плакать. Не желанное рожденье здороваго ребенка представилось ей, а собственная смерть...

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ КНИГИ.

КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

На дворѣ разыгралась вьюга. Рождество черезъ нѣсколько дней. — Переулокъ, выходящій на Спиридоновку, заноситъ съ каждымъ новымъ порывомъ вѣтра. Правый тротуаръ совсѣмъ замело. Газъ трепещетъ и мигаетъ въ обмерзлыхъ фонаряхъ. Низенькіе домики точно кутаются въ бѣлыя простыни. Заборы, покрытые и сверху, и снизу, рыхлымъ наметомъ снѣга, ныряютъ въ колеблющемся полусвѣтѣ переулка. Стужа не сильна, но вѣтеръ донимаетъ. — Переулокъ пустъ, а часъ еще не поздній, около девяти.

Будка на перекресткѣ примостилась къ одноэтажному деревянному дому, въ шесть оконъ, съ крылечкомъ. Только въ крайнемъ окнѣ ви-

денъ свѣтъ, онъ выходитъ изъ узенькой комнатки. Въ глубинѣ ея поставлена кровать; часть лѣвой стѣны ушла подъ лежанку, темную отъ печки. — Горитъ лампочка съ фарфоровымъ пьедесталомъ; отъ нея идетъ копоть; зеленый, сверху обгорѣлый, колпакъ, усиливаетъ темноту. На лежанкѣ виднѣется какая-то груда. Къ окну приставлены пяльцы, завернутые въ кисею. Другая стѣна почти вся занята сундукомъ, обитымъ жестью. Тутъ же ютится столикъ съ шитымъ коврикомъ. На немъ вазочка и колокольчикъ. Надъ сундукомъ вся стѣна увѣшана портретами: есть и литографія, и дагеротипы, и черные силуеты. Комнатка оклеена сѣренькими обоями. Въ углахъ отсырѣло и на потолкѣ въ двухъ мѣстахъ пятна.

Комнатка служитъ спальней, рабочей комнатой и гостиной двумъ старымъ женщинамъ. Одной уже подъ восемьдесятъ лѣтъ, другой подъ шестьдесятъ. У лампы нагнулась надъ вязаньемъ высохшая, большаго роста, блондинка съ просѣдью. Это меньшая старуха. Ея морщинистое, узкое лицо застыло въ улыбкѣ сжатаго рта, на половину беззубаго. Лысая около темени голова прикрыта обрывкомъ чернаго кружева. Узкія плечи, костлявый станъ, впалая грудь кутаются въ голубую косынку, завязанную за спиной узломъ. Прозрачныя руки такъ и трясутся отъ усиленнаго движенія длинныхъ спицъ.

Она вяжетъ платокъ изъ дымчатой, тонкой

шерсти. Почти весь онъ уже связанъ. Клубокъ лежитъ на колѣняхъ въ продолговатой, плоской корзинкѣ. Спицы производятъ частый, чиликающій звукъ. Слышно неровное, учащающееся дыханіе вязальщицы. Губы ея, плотно сжатыя, вдругъ раскроются, и она начинаетъ считать про себя. Изрѣдка она оглядывается назадъ. На кровати кто-то перевернулся на бокъ. Можно разглядѣть женскую голову, въ старинномъ чепцѣ, съ оборками, подвязанномъ подъ уши и короткое плотное тѣло въ кацавейкѣ. На ногахъ лежитъ одѣяло.

Въ комнаткѣ тепло только около печки. Изъ окна, отпотѣлаго и запыленнаго, дуетъ. Въ полуотворенную, одностворчатую дверку проникаетъ холодный воздухъ. И все-таки душно: — отъ лампы, отъ пыли, отъ разныхъ тряпокъ, натыканныхъ здѣсь и тамъ, коробокъ и ящичковъ. Пахнетъ заднимъ гнилымъ покоемъ дворянскаго домика. На лежанкѣ, на войлокѣ копошилось что-то въ корзинкѣ, укутанной сверху. Нѣтъ-нѣтъ, да и зашуршитъ, послышится грызенье, точно мышь скребется, а потомъ и пискъ. Изъ двери доносится стукъ маятника дешевыхъ, стѣнныхъ часовъ. Съ заворота улицы вѣтеръ ударяетъ въ уголъ дома; старыя бревна трещатъ; гулъ погоды проносится мимо окна и кидаетъ въ него горсти снѣга.

Но въ тѣсной, заброшенной комнаткѣ, гдѣ коптитъ керосиновая лампочка, идетъ работа съ ранняго утра, часу до перваго ночи. Восьмиде-

сятилѣтняя старуха легла отдохнуть; вечеромъ она не можетъ уже вязать. Руки еще не трясутся, но слеза мочитъ глазъ и мѣшаетъ видѣть. Ея сожительница видитъ хорошо и очковъ никогда не носила. Она просидитъ такъ ещё четыре часа. Чай они только-что отпили. Ужинать не будутъ. Та, что работаетъ, постелетъ себѣ на сундукѣ.

II.

— Фифина! — послышался съ кровати голосъ старшей старухи, звучный и низкій. Зубы у нея сохранились, и она выговариваетъ твердо.

— Что, maman? — отозвалась блондинка и повернула голову.

Она говоритъ надтреснутымъ высокимъ фальцетомъ. Отъ выпавшихъ зубовъ выходитъ свистъ. Есть наивность въ ея манерѣ говорить. Не трудно признать въ ней старую дѣвушку.

— Погляди на нашихъ тютекъ... Что-то они пищатъ. Есть ли у нихъ вода?

— Должна быть, maman...

— Посмотри, cher ange... Къ ночи они что-то безпокойны стали.

Та, кого старуха на кровати назвала Фифиной, оставила работу, положила бережно свое вязанье на столъ и тихо подошла къ лежанкѣ. Она приподняла темный платокъ съ корзины и заглянула туда.

— Что же, cher ange?

— Спятъ, maman, всѣ вмѣстѣ, прижались.

— Всѣ-ли?

— Всѣ.

— Ахъ, милые тютьки! — громко вздохнула старуха на кровати, потомъ зѣвнула и перекрестила ротъ. Pardon de t'avoîr derangée, — прибавила она хорошимъ французскимъ произношеніемъ.

Опять началось вязанье. Въ корзинѣ, стоявшей на лежанкѣ, жило цѣлое семейство песцовъ. Когда Фифина заглянула туда, они всѣ сбились въ кучу; точно небольшая муфта виднѣлась къ одной сторонѣ ихъ жилища.

Тутъ же положена имъ была ѣда, и поставлено блюдечко съ питьемъ. Песцы ищутъ тепла. Вели они себя тихо и зимой все больше спали. Эта семья считалась любимцами старухи. Остальныхъ держали на кухнѣ, на русской печи. Съ нихъ обирали пухъ, чистили его, отдавали прясть, а сами вязали платки, косынки и цѣлыя шали на продажу въ Ножовую линію и въ галереи на модные магазины. Цѣны стояли на это вязанье хорошія. Ихъ продавали за привозный товаръ съ макарьевской ярмарки, нижегородскаго и оренбургскаго производства.

Черезъ полчаса старуха спросила съ кровати:

— Мужчины уѣхали?

— Кажется.

— Ника не пришелъ проститься... Pas de cœur... Такъ вѣдь, Фифина?

— Не знаю, maman, какъ сказать.

— Ахъ, мать моя... Пора тебѣ свое мнѣніе имѣть.

— Pourquoi médire, maman?

— Вѣдь я бабка! Отъ меня какія же могутъ быть тайны?

Опять помолчали. Фифина — настоящее ея имя Фелицата Матвѣевна — поправила фитиль лампы, завязала поплотнѣе узелъ своего голубаго платка и расправила пальцы. Они снова запрыгали, передвигая спицами. Узоръ выходилъ правильно, скоро, ни одна петелька не была спущена.

— Фифина!

— Что вамъ угодно, maman?

Фелицата Матвѣевна звала „maman" свою пріемную мать и воспитательницу, Катерину Петровну Засѣкину.

— Тася придетъ?

— Разумѣется, maman...

— Да который часъ?

— Недавно было девять...

— Я бы пошла ее смѣнить... Да Héléne... не любитъ.

— Почему же, maman?

— Ахъ, mon ange, будто я не замѣчаю? Что съ нея взять... une momie!

— Да-а, — глубоко и громко вздохнула Фифина.

— Ты и нынче до часу?

— Надо завтра кончить, maman.

— Надо, надо.

Въ разговорѣ старухъ звучала одна и та же нота — подчиненія своей судьбѣ. У Фифины она выходила мельче и простоватѣе; у ея пріемной матери гораздо сильнѣе и сознательнѣе...

Старуха приподнялась и спустила ноги съ кровати. Ей захотѣлось самой поглядѣть, какъ спятъ ея милые звѣрки, дававшіе ей и Фифанѣ заработокъ на лишнюю чашку чаю, на платье и теплые чулки, на маленькій подарочекъ внукѣ.

Она ходила бодро и не горбилась. Небольшаго роста, недавно еще полная, Катерина Петровна въ этой затхлой и тѣсной комнатѣ сама держала себя опрятно, хотя носила уже третью зиму все тотъ же шелковой капотъ, перешитый два раза.

— Тютеньки!.. спятъ милые...

Она прозвала песцовъ „тютьками".

III.

У Катерины Петровны лицо бѣлое, почти не морщинистое, съ крупными чертами. Брови сохранились въ видѣ тонкихъ черточекъ. Изъ-подъ чепца не видно сѣдыхъ волосъ. Глаза уже потухли, а были когда-то нѣжно голубые. Ротъ не провалился; всѣ передніе зубы на лицо, и не очень пожелтѣли.

Она постояла надъ своими любимыми „звѣрушками", покачала головой, прикрыла ихъ и

подошла къ столу. Рядомъ темнѣло кожаное вольтеровское кресло. Она сѣла въ него. Фифина пододвинула ей скамейку.

— Вотъ совсѣмъ сна нѣтъ, — заговорила она, прищурившись на свѣтъ лампы.

— Еще рано, maman...

— Знаю... Да я уже чувствую... ходить бы надо. А гдѣ?.. По залѣ... Темно, да и не люблю... Héléne все пугается... боится Богъ знаетъ чего. Прежде Тася играла по вечерамъ. Теперь и этого нѣтъ.

Все это сказано было безъ ворчанія, а такъ, про себя. Старуху сокрушало всего сильнѣе то, что она не можетъ по вечерамъ работать. Фифина привыкла больше слушать, чѣмъ говорить, да и боится напутать въ счетѣ. Читать некому, съ тѣхъ поръ, какъ внучка должна часто быть около матери. Старуха опять вернулась на постель.

Лежитъ Катерина Петровна на постели, въ темнотѣ, чтобы не раздражать зрѣніе, лежитъ и перебираетъ старые — долгіе годы... Ей кажется, что она прожила цѣлое столѣтіе; но память у ней свѣтла, не по лѣтамъ. Ей прекрасно извѣстно, что родилась она въ началѣ этого вѣка. Двѣнадцатый годъ она отчетливо помнитъ. Родилась она тутъ въ Москвѣ у большого Вознесенья. Ихъ дома ужъ давно нѣтъ. Онъ былъ деревянный, на дворѣ, бревенчатый, темный, съ пристройками. Такихъ теперь что-то не видать въ Москвѣ. Помнитъ она, какъ

отецъ поступилъ въ ополченье. И мундиръ его помнитъ. Картузъ съ крестомъ... Вдругъ всполошились. Ихъ съ матерью, двумя свояченицами матери и сестренкой, — та послѣ умерла въ чахоткѣ, — отправили на своихъ во Владиміръ. Оттуда онѣ попали въ Нижній. Тамъ поселились онѣ противъ большаго дома на Покровкѣ, такая есть улица въ Нижнемъ, гдѣ жили институтки съ начальницей, привезенныя изъ Москвы же. Домъ былъ генеральскій. Отставной генералъ изъ „гатчинцевъ" командовалъ мѣстнымъ ополченіемъ. Мать познакомилась съ его семействомъ. Своя музыка была у нихъ, полонъ домъ дворни, въ нанковыхъ сюртукахъ, лакеи вязали чулки въ передней. Кончилась кампанія, перебрались опять въ Москву. Отецъ вскорѣ умеръ. Много ее учили, и по англійски; а по тогдашнему времени это было въ рѣдкость. Іогель танцамъ училъ, „Гюленъ-Сорша" также. На клавикордахъ — Фильдъ... Брала она и уроки арфы... Тогда арфа считалась для барышень красивымъ и поэтическимъ инструментомъ. Надо было при этомъ и пѣть. Писать литературнымъ слогомъ выучилась она только по-французски. По-русски всегда дѣлала ошибки. Да русскихъ писемъ и писать не къ кому было. За то французскіе стихи могла свободно риѳмовать. Позднѣе любила Пушкина и Батюшкова. Но это уже замужемъ, въ Петербургѣ. Просидѣла она въ дѣвицахъ до двадцати-одного года. Мать разбор-

чива была, да и она сама не торопилась. Нельзя сказать, чтобы она особенно влюбилась въ Никифора Богдановича Засѣкина. Ее всегда считали безчувственной. Стихи она писала, но увлеченій съ ней что-то не случалось. Онъ ей, однакожъ, понравился... Пріѣхалъ изъ Петербурга, всѣ имъ интересовались. Высокій, важный, не старый, живалъ по долгу въ чужихъ краяхъ. А главное — уменъ... Это она отлично поняла. И свое состояніе. Стало, не зарился на деньги... Какъ ужъ это давно!.. Свадьба, посаженымъ — главнокомандующій, — такъ по тогдашнему звали генералъ-губернатора, — въ „Модномъ журналѣ" князя Шаликова стихи ей посвящены были въ видѣ романса... И на музыку ихъ положили... Она сама пѣла и аккомпанировала себѣ на арфѣ. Вотъ ея миніатюрный портретъ виситъ на кости, съ птичкой на плечѣ. Находили, что она похожа была на m-lle Georges, только она меньше ростомъ и цвѣтъ волосъ не тотъ. Гдѣ лежатъ теперь ея кавалеры? Сколько милыхъ людей, изъ иностранной коллегіи, посольскихъ, изъ колоновожатыхъ, — нынче они по другому называются, — профессора инженернаго училища, выписанные изъ Парижа императоромъ... Профессоръ Базенъ... Что за умница! Другой еще... тоже французскій инженеръ... Фамиліи не припомнишь... Такого тонкаго французскаго разговора больше она уже не вела и не слыхала.

IV.

И четырнадцатое декабря... Точно вчера это было!

Нить воспоминаній Катерины Петровны прервется всегда на чемъ-нибудь .. Войдутъ, или встать захочется... Они опять поползутъ вереницей... Безъ нихъ слишкомъ тяжко было бы коротать зимніе вечера.

Дверь скрыпнула. Изъ темноты на порогѣ выплыла голова молодой дѣвушки. Блестѣли одни глаза, да бѣлѣлъ лобъ, съ котораго волосы были зачесаны назадъ и схвачены круглой гребенкой.

— Почиваетъ бабушка? — тихо спросила она Фифину, заглянувъ въ комнату.

— Нѣтъ, дружокъ, нѣтъ, — откликнулась обрадованнымъ голосомъ Катерина Петровна.

— Чай кушали?

Внука подскочила къ кровати и поцѣловала старуху въ лобъ. Свѣтъ настолько падалъ на молодую дѣвушку, что выставлялъ ея маленькую изящную фигуру, въ сѣромъ платьѣ съ косынкой на шеѣ. Талія перетянута у ней кожанымъ кушакомъ. Каблуки ботинокъ производятъ легкій стукъ. Она подняла голову, обернулась и спросила Фифину:

— Хотите, почитаю?..

Лицо ея теперь выдѣлялось яснѣе. Оно круглое, тонкій подбородокъ удлиняетъ его. На

щекахъ по ямочкѣ. Глаза полузакрыты, смѣются; но могутъ сильно раскрываться и тогда выраженіе лица дѣлается серьезнымъ и даже энергичнымъ. Глаза эти очень темные, почти черные при русыхъ волосахъ, распущенныхъ въ концѣ и перехваченныхъ у затылка черепаховой застежкой.

Ее звали Тася — уменьшительное отъ Таисіи. Это мало-дворянское имя дали ей по прихоти отца, который „открылъ" его въ святцахъ.

Тася подошла скорыми шажками и къ Фифинѣ, потрепала ее по плечу, нагнулась къ вязанью.

— Совсѣмъ мало осталось! — сказала она теплымъ, контральтовымъ голосомъ.

— Завтра кончу, — сообщила Фифина.

— Почитать вамъ, бабушка?

— Ты что, мой дружокъ, теперь-то дѣлала?

— Читала... Maman задремала только сейчасъ.

— Отдохни... Головка у тебя заболитъ здѣсь...

— Это отчего?

— Отъ лампы.

— Вотъ еще!

— Посиди у меня на кровати...

Тася сѣла на краю, положила лѣвую руку на плечо бабушки и нагнула къ ней свое забавное лицо. На душѣ у старухи сейчасъ же стало свѣтлѣть.

— Вамъ холодно, бабушка, милая, — говорила Тася. — Такой у насъ домъ смѣш-

ной!.. вездѣ дуетъ. Въ залѣ хоть тараканов морозь.

— Фи!..

Старуха покачала головой и мягко, укоризненно усмѣхнулась.

— Простите, бабушка, за слово... нецензурное!..

И она звонко расхохоталась. Ея серебристый смѣхъ прозвучалъ ясной струей вдоль старушечьей комнаты и замеръ.

Бабушка внутренно сокрушалась, что ея Тася возьметъ да и скажетъ иногда словечко, какого въ ея время дѣвушкѣ немыслимо было выговорить вслухъ... Или вотъ такую поговорку о тараканахъ... Но какъ тутъ быть?.. Кто ее воспитывалъ? И учили-то съ грѣхомъ пополамъ... Слава Богу, головка-то у ней свѣтлая... А что ее ждетъ? Куда идти, когда все рухнетъ?

Глаза старухи наполнились слезами. Она не могла приласкать этой „дѣвочки", не огорчившись за нее глубоко. А Катерина Петровна не считала себя чувствительной... Вотъ вѣдь старшая ея внука, Ляля, не выдержала, погибла для нея... и для всѣхъ... Развѣ не погибнуть — въ монахини пойти, да еще въ какую-то Дивеевскую пустынь, въ лѣсъ, конопляное маслище ѣсть съ мужичками, грубыми, пожалуй пьяными?.. Ходить по городамъ заставятъ за подаяньемъ... во всѣ трактиры, кабаки, харчевни... Шлепай по грязи, выноси ругательства отъ каждаго пьянаго дворника!.. Внука

Засѣкиной!.. Катерина Петровна не терпѣла ни монахинь, ни поповъ, ни богомолій, никакого ханжества. Не такія книжки она читала когда-то... Она давно привыкла молчать объ этомъ... Но Ляля умомъ не вышла... Можетъ, и лучше, что она теперь тамъ; а Тася? Что ее ждетъ?...

V.

— Нѣтъ, дружокъ, — отвѣтила Катерина Петровна, — не труди глазки. Ты посиди съ нами, а тамъ и поди къ себѣ. Мать-то совсѣмъ уложила?

— Задремала въ платьѣ, бабушка... Раздѣнемъ позднѣе.

— Не дозовешься, я думаю, этой принцессы-то.

Катерина Петровна тихо засмѣялась.

— Пелагеи?

— Да...

— Она больше въ кухнѣ пребываетъ... Дуняша тамъ сидитъ за дверью... Все носомъ клюетъ...

И слово „клюетъ" не такъ чтобы очень по вкусу Катерины Петровны, для барышни, но она пропустила его.

— Братъ уѣхалъ?

— Да, послѣ папы.

— Куда, не говорилъ?

— Онъ зашелъ на минутку къ maman. Ника со мной мало говоритъ, бабушка...

— Разумѣется...

— Что-жь тутъ мудренаго?.. Я для него глупа...

— Почему же это?

— Такъ... Скучно ему... Онъ собирается послѣ завтра...

— Слышишь, Фифина?

— Слышу, maman.

— Много пожилъ...

— Да что же ему здѣсь дѣлать? — съ живостью замѣтила Тася.

— Ахъ, милая ты моя дурочка, добра ты очень... Все выгородить желаешь братцевъ... А выгородить-то ихъ трудно, другъ мой... И не слѣдуетъ... Дурныхъ сыновей нельзя оправдывать... И всегда скажу — ни одинъ изъ нихъ не съумѣлъ, да и не хотѣлъ отплатить хоть малостію за все, что́ для нихъ дѣлали... Носились съ ними, носились... Какихъ денегъ они стоили... Перевели ихъ въ первѣйшій полкъ... Затѣмъ только, чтобъ фамилію свою...

— Бабушка, голубчикъ, — зажала ротъ старухѣ Тася, цѣлуя ее: — что старое поминать!..

— Ну хорошо, ну хорошо!.. Ты не желаешь... Будь по твоему...

Старушка прижала къ себѣ Тасю и долго держала ее на груди.

— Какъ ваши тютьки? — спросила дѣвушка и подошла къ лежанкѣ.

— Спятъ, — сказала Фифина.

— А-а, — протянула Тася: — я пойду, посмотрю, не започивала ли maman совершенно... Докторъ говоритъ, чтобы ее укладывать... Я бы надѣла халатъ...

— Надѣнь, — откликнулась Катерина Петровна.

— Еще не поздно... Не замѣтилъ бы кто-нибудь.

— Кто же это? — спросила Фифина.

— Андрюша Палтусовъ.

— Есть ему время, дружокъ, — замѣтила бабушка. — Il est dans les affaires.

— А мнѣ бы очень хотѣлось поговорить съ нимъ.

— О чемъ это?

— Послѣ скажу... Онъ могъ бы быть полезенъ папѣ... Не такъ ли, бабусекъ милый?

Тася опустилась на колѣни у кровати и глядѣла въ глаза старушкѣ.

— Никто нынче для другихъ не живетъ. На родственное чувство нельзя разсчитывать.

— Нельзя? — дурачливо переспросила Тася.

— Нельзя, дурочка, да и сердиться нечего... Всѣ обѣдняли, а то и совсѣмъ разорились... Связей ни у кого нѣтъ прежнихъ. Надо по другому себѣ дорогу пролагать... Гдѣ же тутъ разсчитывать на родственныя чувства?.. А

вотъ ты мнѣ что скажи — старушка понизила голосъ, — далъ ли что Ника?

— Кому, бабушка?

— Ну, отцу, что ли? Вѣдь доктору сколько времени не плачено?

— Больше мѣсяца.

— Ничего не далъ?

— Я не спрашивала...

— Да куда отецъ уѣхалъ?..

— Кажется, въ клубъ!..

— А то куда же?..

Катерина Петровна не договорила.

— Я, бабушка, — начала Тася, низко наклоняясь къ ней: — я съ Никой поговорю...

— Поговори...

— Только я не надѣюсь... Въ его глазахъ я такъ... Дѣвчонка... Немного поважнѣе Дуняши...

— Поважнѣе!.. — повторила Катерина Петровна.

— Слово ей очень не понравилось.

— Можетъ, сегодня... захвачу его...

Тася встала и поправила волосы, выбившіеся у ней сзади.

— Иди, иди, — сказала Катерина Петровна, вставши съ постели. — Одна про всѣхъ... Антигона...

— Почему Антигона, бабушка?

— А ты видно не знаешь, кто такое Антигона была?

— Какъ же не знать? Знаю. Эдипъ и Антигона.

— Семенову я видѣла... Помнишь, Фифина?

— Помню, maman.

— Грамотѣ плохо знала. А какой талантъ...

Старушка встала, выпрямилась, кацавейка ея распахнулась. Правую руку она подняла, точно хотѣла показать какой то жестъ.

— Антигона! ха, ха!..

Тася засмѣялась опять такъ же звонко, какъ въ первый разъ.

— Что смѣешься?.. Ты насъ поведешь всѣхъ... калѣкъ... Если во-время не приберетъ могилка...

— Полноте, полноте, бабушка! Такъ не надо! — остановила ее Тася, еще разъ поцѣловала и выбѣжала изъ комнаты.

Обѣ старухи переглянулись. Фифина снова опустила голову, и руки ея замелькали. Катерина Петровна медленно прошлась изъ угла въ уголъ, раза два вздохнула и легла на кровать.

— Фифина!

— Что вамъ угодно, maman?

— Quel avenir? Что будетъ съ нею? Страшно! Пока мы бродимъ — это наше дитя... Такъ-ли?

— Конечно, maman.

— Катерина Петровна смолкла и недвижно лежала на кровати.

VI.

Судьба Таси сокрушаетъ ее. А давно ли гремѣло у Долгушиныхъ? Умирали дѣти Катерины Петровны... Только одна дочь доросла до семнадцати лѣтъ и бойко выскочила замужъ. Такъ это скоро случилось, что мать не успѣла и привыкнуть къ наружности жениха. Отца уже не было въ живыхъ. Пенсіи ей онъ не оставилъ, но состояніе удвоилъ... Любилъ деньги, копилъ... Въ ломбардныхъ билетахъ лежало больше ста тысячъ на ассигнаціи. И женихъ Елены имѣлъ отличное состояніе. Въ полку служилъ въ самомъ видномъ. Скоро раскусила его Катерина Петровна. Но отказать не отказала. И безъ того начались съ дочерью припадки... Любовь такая, что весь Петербургъ кричалъ. Un beau brun! Усы, глаза на выкатѣ, плечи, танцовалъ мазурку лучше, чѣмъ въ ея время Иванъ Иванычъ Сосницкій въ русскомъ театрѣ. Стали жить вмѣстѣ. Домъ въ Шпалерной, дача на Петергофской дорогѣ, вояжи, въ двухъ деревняхъ какихъ-какихъ затѣй не было... А тамъ въ пять лѣтъ, не больше, залогъ, наличныя деньги прожиты и ея часть захватили. Дала. Позволила и свою долю заложить. Пошли дѣти, сначала мальчики. Въ домѣ что-то въ родѣ трактира... Военные, товарищи зятя, обѣды на двадцать человѣкъ, игра, туалеты и мотовство дѣтей, четырнад-

цать лошадей на конюшнѣ. Все это держалось въ эмансипаціи и разомъ рухнуло. Зять вышелъ въ отставку... Пришлось подвести итоги. Крестьянскій выкупъ пошелъ на долги. Земля осталась кое-какая... и ту продали. Вотъ тогда не надо было ей жалѣть ни дочери, ни зятя, подумать о Тасѣ. Разжалобили... И она осталась ни съ чѣмъ. Въ деревнюшкѣ, чуть не въ избѣ, прожила съ Фифиной пять зимъ. Схватился зять за службу... Дотянулъ въ губерніи до полковника. Сыновей просили выдти изъ полка. Меньшій по службѣ наскандалилъ, старшій и того хуже. Товарищи узнали, что онъ живетъ на счетъ какой-то барыни... И въ карты нечисто играетъ. Потомъ вдругъ огромное наслѣдство съ ея стороны... Наслѣдница дочь. Переселились въ Москву. Зять вышелъ въ отставку съ чиномъ генерала, купили домъ, зажили опять, пустились въ аферы... Какой-то заводъ, компаніономъ въ подрядѣ. Проживали до пятидесяти тысячъ въ годъ. И разомъ „въ трубу"! Старушка узнала силу этого слова. Имѣнье продали!.. Деньги всѣ ушли!.. Все, все... Остались чуть не на улицѣ... У нея же выклянчили послѣднюю ея землишку. Сыновья ничего не даютъ... Меньшій Петя живетъ на содержаніи у жены, пьяный, глупый; старшій Ника броситъ раза два въ годъ по три, по четыре радужныхъ бумажки... Вотъ и этотъ домишко скоро пойдетъ подъ молотокъ. Платить проценты не изъ чего. А ло-

шадей держать, двухъ клячь, кучера, дворника, мальчика, повара, двухъ дѣвушекъ. И дочь ея послѣ всякихъ безумствъ, транжирства, увлеченій итальянцами, скрипачами, фокусниками, спиритами, послѣ... всякихъ юнкеровъ, состоявшихъ при ней, пока у ней были деньги — заживо умираетъ: ноги отнялись... Она только хнычетъ, капризничаетъ, тяготится, требуетъ расходовъ. Не жаль ея Катеринѣ Петровнѣ, хотя она и родная дочь. Она видитъ передъ собою живое наказаніе. И сама чувствуетъ въ лицѣ этой дочери, какъ плохо она ее воспитала.

Но жалобами не искупишь ничего!.. И виновата ли она?.. Гибнетъ цѣлый родъ! Все покачнулось, чѣмъ держалось дворянство: хорошій тонъ, строгіе нравы, или хоть разсчетъ, страхъ, исканіе почета и добраго имени... расползлось или сгнило... Отецъ, мать, сыновья... безтолочь, лѣнь, дѣтское тщеславіе, грязь, потеря всякой чести... Такъ видно тому слѣдовало быть... Написано свыше...

Вотъ онѣ съ Фифиной не мѣняются... Но долго ли имъ самимъ вязать свою песцовую шерсть?.. Не ждетъ ли ихъ богадѣльня не нынче завтра?.. Да и въ богадѣльню-то не попадешь безъ просьбъ, безъ протекцій... У купчишки какого-нибудь надо клянчить!

Глубоко вздохнула Катерина Петровна. Личико ея Таси выглянуло передъ ней; а она лежитъ съ закрытыми глазами...

— Антигона, — прошептала старуха и задремала.

VII.

Тася вернулась въ спальню матери. Комната выходила на балконъ, въ палисадникъ. Изъ широкаго итальянскаго окна вѣяло холодомъ. Свѣча, въ низкомъ подсвѣчникѣ, съ бѣлымъ абажуромъ, стояла одиноко на овальномъ столѣ у ширмъ краснаго дерева; за ними помѣщалась кровать.— Она заглянула за ширмы.

Въ креслѣ, свѣсивъ голову на грудь, спала ея мать, — Елена Никифоровна Долгушина, закутанная по поясъ во фланелевое одѣяло. Отекшее землистое лицо съ перекошеннымъ ртомъ и закрытыми глазами смотрѣло глупо и мертвенно. На головѣ надѣта была вязаная, изъ сѣраго пуха, косынка. Обрюзглое и сырое тѣло чувствовалось сквозь шерстяной капотъ въ цвѣтахъ и яркихъ полоскахъ по темному фону. Она сильно всхрапывала.

Дѣвушка взяла мать за одно плечо и громко шепнула.

— Лягъ почивать, maman.

Глаза Долгушиной оставались закрытыми. Она что-то пробормотала.

— Почивать пора, maman!.. Дуняша! — крикнула Тася за дверь, гдѣ, въ темномъ углу на сундукѣ спала дѣвчонка.

Дуняша вскочила и со сна влетѣла въ

спальню, ничего не видя и не понимая. Ея ситцевая пелеринка вся сбилась, одна косица расплелась.

— Помоги уложить барыню, — сказала ей Тася дѣловымъ тономъ.

— Пора почивать, — повторила Тася, вернувшись къ матери терпѣливымъ голосомъ.

Елена Никифоровна подняла голову и взялась за ручку кресла.

— Зачѣмъ ты меня будишь? — недовольно спросила она дочь, не совсѣмъ твердо выговаривая слова: — я такъ хорошо спала!

На глаза ея надвигались плохо поднимающіяся вѣки. Она была точно въ полузабытьѣ.

— Докторъ приказалъ, ты знаешь!

— Докторъ, — протянула Елена Никифоровна: — оставь меня... Ай!..

Ее всю передернуло. Лѣвая рука сорвала съ ноги одѣяло и схватилась за колѣно.

— Опять невральгія? — спросила Тася. Лобъ ея наморщился.

— Впрыснуть! — проныла Долгушина.

— Такъ часто?!

— Впрыснуть, — почти захныкала мать и начала метаться на креслѣ.

— Помилуй, maman, ты пріучилась... Это очень вредно.

— Подай! Я сама!.. Подай! Дуняша, подай мнѣ машинку.

Она не договорила и начала томительно мычать. Тася знала, что боли не такъ сильны, а

просто ея матери хочется морфію. Почти каждый вечеръ повторялась та же сцена. Приходилось все-таки уступать.

Елена Никифоровна металась и ныла. Тасѣ стало страшно. Она взяла съ ночнаго столика пузырекъ съ иглой для впрыскиванья морфина, и очень ловко впустила ей въ ногу нѣсколько капель.

Оханье и нытье мгновенно смолкли.

— Quel délice!.. — восторженно выговорила Елена Никифоровна. — Я не могу быть безъ морфія, не могу... За что ты меня заставляешь мучиться?..

Тася ничего не отвѣчала. Съ матерью она держалась, какъ сидѣлка. Она опять повторила ей, что надо ложиться въ постель.

Съ помощью Дуняши она перевела мать, подъ руки, съ кресла на кровать, раздѣла и уложила. Послѣ впрыскиванія наступало всегда забытье, иногда съ легкимъ бредомъ. Мать не спросила ни объ отцѣ, ни о братѣ Таси. Она только днемъ, около полудня, дѣлалась говорлива. И то больше жаловалась или болтала про молодые года, про Петербургъ и своего „сынка“— кавалерійскаго юнкера, котораго Тася помнила очень хорошо. При этихъ воспоминаніяхъ Тасѣ дѣлалось не по себѣ. Она знала и то, что еще годъ назадъ, предъ тѣмъ, какъ начали отниматься ноги у Елены Никифоровны, мать безобразно притиралась, завивала волосы на лбу, пѣла фистулой, восторгалась оперными

итальянцами, накупала ихъ портретовъ у Даціаро и писала имъ записки; а у заѣзжаго испанскаго скрипача поцѣловала руку, когда тотъ въ благородномъ собраніи сходилъ съ эстрады. Да и то ли еще знала Тася! И не могла уберечься отъ такого знанія...

Дуняша получила нѣсколько приказаній, но по ея глазамъ было видно, что она все еще не очнулась. Тасѣ даже смѣшно стало глядѣть на усилія дѣвочки держать глаза открытыми.

— Ну ступай и позови Пелагею, — сказала она ей въ дверяхъ: — а на тебя надежда плоха.

— Сейчасъ, барышня, — прокартавила Дуняша, и такъ, какъ была въ ситцевомъ платьѣ, побѣжала въ кухню, черезъ дворъ.

VIII.

Надо было обойти остальныя комнаты, посмотрѣть, заперта ли дверь въ передней. Мальчика Мити навѣрно нѣтъ. Онъ играетъ на гитарѣ въ кухнѣ, въ обществѣ повара и горничной. А слѣдуетъ приготовить закусить отцу. Онъ въ клубѣ ужинаетъ не всегда, — когда деньги есть, а въ долгъ ему больше не вѣрятъ... Закуска ставится въ десять часовъ въ залѣ, на ломберномъ столѣ. Мальчикъ долженъ постлать потомъ отцу и брату, одному въ кабинетѣ, другому въ гостиной.

Тася завернула изъ корридорчика налѣво, въ свою комнатку. Тамъ стояла темнота. Она зажгла свѣчку, пошаривъ рукой на столикѣ у кровати. У ней было почище, чѣмъ въ другихъ женскихъ комнатахъ, но также холодно и черезъ день непремѣнно угаръ. У окна письменный столикъ, остатокъ прежней жизни, съ синимъ, теперь обтертымъ бархатомъ и рѣзьбой изъ цѣльнаго орѣха. Есть у ней и этажерка съ книгами, и швейная машинка, ручная, въ пятнадцать рублей... Да теперь и шить-то некогда. Только въ этой комнаткѣ она совсѣмъ дома. Здѣсь она можетъ уходить въ себя, задавать себѣ разные вопросы и думать... Тутъ же и всплакнетъ. А больше ни при комъ. Даже и съ бабушкой — никогда!

Почитать старушкамъ? Она предлагала. Онѣ долго просидятъ. А ей надо дожидаться брата Нику. Ника пріѣдетъ поздно, часу во второмъ, а то и позднѣе. Днемъ она никакъ его не схватитъ. И смѣлости у нея нѣтъ настоящей, а ночью, когда всѣ уснутъ, вотъ тутъ-то она и заговоритъ съ нимъ, какъ должно.

Книжку Тася взяла съ этажерки. Это былъ томъ сочиненій Островскаго. Она нагнулась надъ нимъ, просмотрѣла оглавленіе и заложила ленточкой на комедіи „Шутники". И старухамъ будетъ пріятно, и она прочтетъ лишній разъ Вѣрочку. Можетъ быть, сегодня у ней выйдетъ гораздо лучше.

Со свѣчей она прошла въ кабинетъ отца, гдѣ пахло жуковскимъ табакомъ. На диванѣ еще не было постлано. Въ залѣ не стояло закуски. Въ гостиной тоже не устроили спанья для Ники. Она дождалась прихода горничной Пелагеи — неряшливой и сонной брюнетки, послала Дуняшу за мальчикомъ Митей и всѣмъ распорядилась.

Старухи ждали ее. Она принесла книжку и присѣла къ лампѣ. Катерина Петровна уже два раза вставала и прохаживалась по комнатѣ до прихода Таси.

— Что такое, дружокъ?.. — спросила она.

— Пьесу, бабушка... Островскаго.

— Любишь ты этого Островскаго. А прежде объ немъ не слыхать было. Хмѣльницкій — вотъ былъ сочинитель...

— Я знаю, бабушка.

— Что знаешь-то?

— Волшебные за́мки.

— Да, да... Альнаскаровъ. Въ благородныхъ спектакляхъ все играли... И въ Петербургѣ... и здѣсь... помню.

— Вы послушайте,— обратилась Тася больше къ Фифинѣ, — какъ у меня выдетъ роль Вѣрочки.

— Это дочь старичка?—спросила Фифина:— ты намъ читала.

— Да, тихо отвѣтила Тася. — Давно... Бабушка не узнаетъ.

— Что, что? — весело спросила старуха.

— Ничего, бабушка, — подмигнула Тася и начала читать имена дѣйствующихъ лицъ.

— Что это за фамиліи нынче,— разсуждала въ полголоса Катерина Петровна, лежа на кровати.

А того не думала бабушка, что она первая заронила въ Тасю театральную искру... Сколько разъ та, маленькой дѣвчуркой, слыхала отъ бабушки длинные разсказы про театръ, про Семенову, Сосницкаго, Каратыгина, Брянскаго, Яковлева, мужа и жену Дюръ... Катерина Петровна любила ѣздить и въ русскій театръ. Тогда и дамы „хорошаго круга" посѣщали представленія новыхъ пьесъ. И про французовъ шли такіе же разсказы. Всѣхъ ихъ знала Тася поименно. Была madame Allan, Плесси, а изъ мужчинъ Лаферьеръ, давно, когда еще мать Таси ходила въ панталончикахъ. И про московскій театръ охотно говорила Катерина ПеровнаОтъ нея Тася узнала, что „Пет-овскій" театръ — такъ старуха называетъ до сихъ поръ Большой театръ—держалъ какой-то Медоксъ, какъ у него давали оперу „Русалка". Бабушка иногда напѣвала арію:

„Приди въ чертогъ златой,
О, князь мой дорогой", —

а потомъ уморительно дѣлала губами и повторяла стишки про какихъ-то „Тарабариковъ" и „Кифариковъ". Театръ Медокса сгорѣлъ. И опять горѣлъ тотъ же театръ недавно передъ

крымской войной, когда Таси не было на свѣтѣ. Еще простой плотникъ отличился, спасъ танцовщицу съ крыши, медаль ему повѣсили, и пьесу давали, гдѣ онъ выставленъ героемъ. Бабушка хвалила Щепкина, Рѣпину, знакома была съ Верстовскимъ. Онъ ей писалъ ноты въ альбомъ, еще въ Петербургѣ. И кто-то тутъ же, рядомъ чернымъ карандашомъ нарисовалъ его за фортепьянами... Знала Тася отъ бабушки, что въ афишахъ печатали, съ какого подъѣзда надо подъѣзжать къ театру и съ какимъ „лажемъ“ будутъ приниматься ассигнаціи. Она и афишу такую видѣла.

И незамѣтно театральная зала получила для Таси особое обаяніе. Она любила все въ театрѣ, какой бы онъ ни былъ: большой и роскошный или маленькій, вонъ какъ въ домѣ Секретарева или Нѣмчинова. Ее охватывала пріятная дрожь отъ запаха корридоровъ, газа, отъ вида капельдинеровъ, отъ люстры, занавѣса... Три раза она была на репетиціяхъ благотворительныхъ спектаклей. Одинъ разъ играла въ комедіи: „До поры — до времени“, ужасно сробѣла передъ выходомъ; но на подмосткахъ — „точно ее носили по воздуху ангелы“. Объ ней явилась хвалебная статейка въ газетахъ. Всякой книгѣ, роману, статьѣ она предпочитала пьесу, русскую или французскую. Особенно такую, гдѣ есть „хорошая“ женская роль.

Игралъ въ Москвѣ въ первый разъ Росси.

Мать еще тогда выѣзжала. Они абонировались. Мать восторгалась его голосомъ, лицомъ, покупала карточки, ѣздила представляться ему. Тася не пила и не ѣла послѣ „Лира“, „Макбета“, „Ричарда III“. Ей минутами казалось, что стоитъ только захотѣть и создашь „Дѣву Орлеанскую“, „Марію Стюартъ“, „Василису Мелентьеву“. Она запиралась по ночамъ и громкимъ шопотомъ читала монологи. Но трагедія не шла. Разъ она бросила взглядъ на себя въ зеркало и начала хохотать. Такъ смѣшна она самой себѣ показалась, въ роли Марины у фонтана, въ діалогѣ съ Димитріемъ. Тутъ она почувствовала, что́ ей надо изучать, о чемъ она можетъ мечтать... Но учиться? У кого? Въ консерваторіи?.. Гдѣ-же!.. Она одна во всемъ домѣ... Какъ мать бросить?... Да и средства нужны. Теперь о платѣ за ученье нечего и думать. Есть двѣ старушки, имъ можно каждый вечеръ читать и слушать самое себя. У бабушки свои взгляды. Она не понимаетъ теперешняго театра. Фифина все молчитъ...

IX.

Тася дошла до того мѣста въ комедіи „Шутники“, когда отецъ зоветъ дочь, и Вѣрочка выглядываетъ изъ окна. Выглянуть не откуда было Тасѣ. Она вытянула шею и сдѣ-

лала милую мордочку. Фифина поглядѣла на нее въ эту минуту и улыбнулась.

— Такъ? — радостно спросила Тася.

— Не знаю.

— Ахъ, тетя, — она иногда называла ее тетей, — что это вы какая? Никогда отъ васъ ничего не добьешься.

— Что такое? — вмѣшалась бабушка.

— Да вотъ я выглянула въ окно, спрашиваю Фелицату Матвѣевну — похоже ли, какое выраженіе?

— Да откуда же ты выглянула-то? — весело спросила Катерина Петровна.

— Ахъ, бабушка, какая вы право... Изъ окна. — На право отъ зрителей окно. — Ну, Вѣрочка и выглядываетъ изъ него.

— Хорошо, — ласково выговорила Фифина.

Она знала, что у Таси есть страсть къ театру, но помочь ей совѣтомъ она не могла. Для нея все было „хорошо".

Тася продолжала чтеніе. Она мѣняла голосъ, за мужчинъ говорила низкимъ тономъ, старалась припомнить, какъ произносилъ Шумскій. И его она видѣла въ „Шутникахъ" дѣвочкой лѣтъ тринадцати. Только она и жила интересомъ и содержаніемъ пьесы. Фифина считала про себя свои петли. Бабушка дремала. Нѣтъ, нѣтъ, да и пробормочетъ:

— Continue, mon bijou...

Но Тасѣ ловко. Она привыкла къ этой безмолвной аудиторіи. Точно она одна въ комнатѣ.

Предъ глазами ея театральная рампа, рожки газа, проволока, будка суфлера. Она бѣгаетъ по сценѣ, дурачится, смѣется, ласкаетъ стараго отца. Потомъ она видитъ, какъ на яву, сцену подъ воротами Китай-города. Это не она, а бѣдный чиновникъ, страстно мечтающій о томъ, какъ бы ему чѣмъ-нибудь скрасить жизнь своей доченьки. Вотъ онъ нашелъ пакетъ съ пятью печатями. Какъ онъ схватилъ его... Тася чуть не уронила лампу.

— Что, что такое? — просыпается бабушка.

Фифина отвѣчаетъ своимъ неизмѣннымъ простоватымъ тономъ:

— Ничего, maman.

Тасѣ ужасно весело. Но тотчасъ же затѣмъ охватываетъ ее горькая обида этого жалкаго Обрѐшенова. Она не можетъ продолжать. Въ горлѣ у ней слезы. Губы ея сводитъ книзу отъ усилія не расплакаться.

Бабушка громко всхрапнула. Фифина какъ будто понимаетъ. Въ послѣднемъ актѣ надо Вѣрочкѣ пройдтись по сценѣ свѣтлымъ лучемъ. Тася не спрашиваетъ самое себя: удастся ей это или нѣтъ? Она играетъ въ полную игру. Все вобрала она въ себя, всѣ чувства дѣйствующихъ лицъ. Ея сердце и болитъ, и радуется, и наполняется надеждой, вѣрой въ свою молодость. Еслибъ вотъ такъ ей сыграть на настоящей сценѣ въ Маломъ Театрѣ!.. Господи!

Тася закрыла глаза. Книга выпала у ней изъ рукъ.

— Все? — невозмутимо спросила Фифина.

— Да, — чуть слышно выговорила Тася.

Бабушка опять проснулась.

— Continue — шепчетъ она, — continue, chérie.

— Она кончила, maman, — докладываетъ Фифина.

— А?.. Ужь конецъ!.. Сколько же тутъ актовъ?.. Пять?..

Тася молчитъ. Она сидитъ съ закрытыми глазами. Ей не хочется выходить изъ своего мірка. Передъ ней все еще движутся живые люди, съ такими точно лицами, платьемъ, прическами, какіе она видѣла въ театрѣ, лѣтъ больше восьми назадъ.

Вѣрочку играла тогда ея любимая актриса...

Но было ли у ней столько чувства и огня, и веселости, какъ у Таси, вотъ сейчасъ?.. Кто рѣшитъ, у кого справиться?

Merci, дружокъ, merci... — бормотала Катерина Петровна. — Сна не было... а теперь... я чувствую, что засну...

— Бабушка милая! за откровенность спасибо! Почивайте...

— А который часъ?

— Скоро двѣнадцать, — сказала увѣренно Фифина.

— Пора и спать, — выговорила зѣвая Катерина Петровна. — Ты кончила, Фифина?

— Я сейчасъ постелю, maman.

— Дайте, я! — вызвалась Тася.

— Зачѣмъ это, дружокъ... Ты столько читала, трудилась!..

— Мы сейчасъ!

Онѣ поднялись вмѣстѣ съ Фифиной, принесли изъ темной коморки тюфячекъ, простыню, двѣ подушки и вязаное полосатое одѣяло. Старухи никогда не звали горничныхъ и дѣлали все сами. Постель была готова въ двѣ-три минуты. Тася простилась съ бабушкой, пожала руку Фифинѣ и спросила, стоя въ двери:

— Что скажете про Вѣрочку?

— Мастерица ты читать... Что же она, подъ конецъ-то умираетъ?

Тася расхохоталась.

— Нѣтъ бабушка! — Это не драма...

— А мнѣ казалось... къ этому идетъ дѣло.

Старуха начала тихо смѣяться и сдѣлала рукой внучкѣ.

„Сердиться на нихъ нельзя... Надо читать вслухъ... это главное... А потомъ?“

Тася остановилась со свѣчой въ рукахъ въ залѣ, гдѣ на ломберномъ столѣ виднѣлся подносъ съ графинчикомъ водки, бутылкой вина и закуской. Она поставила свѣчку на пьянино... Давно она не играетъ... И музыку она любила, увлекалась, одно время опереткой, разучивала цѣлыя партитуры. Но это не долго длилось. У ней голосъ, когда она запоетъ, жидкій, смѣшной. Да и далеко ушла та полоса ея дѣвичьей жизни, когда она видѣла себя въ опереточной примадоннѣ. Теперь она знаетъ, что такое она

будетъ на подмосткахъ, если когда-нибудь попадетъ туда.

Въ залѣ очень свѣжо. Тася вернулась къ себѣ, накинула на плечи короткое, темное пальтецо и начала ходить около пьянино. — Изъ передней раздалось сопѣнье мальчика. — Мать спитъ послѣ пріема морфія. Не надо ей давать его, а какъ откажешь? Еще мѣсяцъ, и это превратится въ страсть, въ родѣ запоя... Такіе случаи бываютъ... И докторъ ей намекалъ... Все равно умирать...

Тася поймала себя на этой мысли — и вспыхнула. Кому она желала смерти? Родной матери! Ужели она дошла до такого бездушія? Бездушіе ли это? Докторъ не скрываетъ, что ноги совсѣмъ отнимутся, а тамъ рука, языкъ... вѣдь это ужасно!.. Не лучше ли сразу?... Жизнь уходитъ вездѣ — и въ спальнѣ матери и въ комнатѣ старухъ. И отецъ доѣдаетъ послѣднія крохи... И братья... Оба „Мертвецы"!..

Она давно зоветъ ихъ такъ. Сегодня она попробуетъ... Но вѣдь спасти никто не можетъ все семейство? Дѣло идетъ о кускѣ, о томъ, чтобы дотянуть... Дотянуть!..

Въ передней вздрогнулъ надтреснутый колокольчикъ.

X.

Мальчикъ не сразу услыхалъ звонъ. — Тася растолкала его и осмотрѣла закуску, состоявшую

изъ селедки и кусочка икры. Хлѣбъ былъ одинъ черный.

Въ залу вошелъ ея отецъ. Валентину Валентиновичу Долгушину минуло пятьдесятъ-девять лѣтъ. Онъ одѣвался отставнымъ военнымъ генераломъ. Росту онъ средняго, съ четырехъугольной головой, на половину лысой. Лице его пожелтѣло. Подъ глазами лежали мѣшки и зеленоватыя полосы. Широкія бакенбарды торчали щетками. И безъ того густыя брови онъ хмурилъ и надувалъ губы. Въ глазахъ перебѣгалъ безпокойный огонекъ... Его генеральскій сюртукъ спереди у петель сильно лоснился. Шпоръ онъ уже не носилъ. Животъ его выдавался впередъ и одну ногу онъ слегка волочилъ. Его пришибъ года четыре назадъ первый ударъ.

— Еще не спишь? — спросилъ онъ дочь и бросилъ картузъ на тотъ столъ, гдѣ стояла закуска. — Et maman?.. Comment va-t-elle?..

Этотъ вопросъ задавалъ онъ каждый разъ, непремѣнно по-французски, но въ спальню жены входилъ рѣдко... Цѣлый день онъ все ѣздилъ по городу и домой возвращался только обѣдать и спать.

— Былъ маленькій припадокъ, — отвѣтила Тася.

— Que faire!

Валентинъ Валентиновичъ издалъ особый звукъ своими выпяченными губами, налилъ себѣ водки, отломилъ корочку чернаго хлѣба,

и сильно наморщилъ переносицу, прежде чѣмъ проглотить.

Потомъ онъ присѣлъ къ столу и началъ ковырять икру.

— Nica n'est pas rentré?

— Non, papa...

Съ отцомъ Тася говорила свободно; но больше смотрѣла на себя, какъ на наперсницу въ трагедіи, когда онъ изливался за ночной закуской или за обѣдомъ.

— Въ клубѣ его не было...

— Ты изъ клуба?

— Да... кабакъ! Ѣда отвратительная... Хотѣлъ заказать судачка. Подали такую мерзость — я приказалъ отнести назадъ. И что это за народъ теперь собирается... какіе военные? Шулеръ на шулерѣ... Я заѣхалъ... по дѣлу... Думалъ найти тамъ одного нужнаго человѣка.

О дѣлахъ отецъ говорилъ Тасѣ постоянно. Его не оставлялъ духъ предпріятій. Онъ все ищетъ чего-то: не то мѣста, не то залоговъ для подряда. Тася это знаетъ... Вотъ уже нѣсколько лѣтъ доѣдаютъ они крохи въ Москвѣ, а отцу не предложили, и въ шутку, никакого мѣста... хотя бы въ смотрители какіе... Она слышала, что какой-то отставной генералъ пошелъ въ акцизъ простымъ надзирателемъ, кажется... Отчего же бы и отцу не пойти?

— Не нашелъ? — равнодушно спросила она.

— Разумѣется, прождалъ, — съ какимъ-то удовольствіемъ отвѣтилъ Долгушинъ. — Вонъ

вездѣ, пахнетъ ѣдой, въ читальнѣ депешъ не могъ добиться... Кабакъ!..

Онъ крякнулъ и выпилъ рюмку краснаго вина.

Вино покупали крымское. Но и оно — шесть гривенъ бутылка. Отецъ не можетъ не пить краснаго вина... А долго ли онъ будетъ пить его? Доктору больше мѣсяца не плачено... Но говорить съ нимъ объ этомъ безполезно.

— Послушай, Таисія, — началъ опять генералъ другимъ тономъ: — который тебѣ годъ?

— Двадцать-второй, папа.

— Однако!..

Голосъ у него давно охрипъ; онъ думалъ, что хрипота къ нему очень идетъ...

— Ни больше, ни меньше, папа...

— Надо выѣзжать...

— Куда?

— Выѣзжать! здѣсь нечего и тратиться... А въ Петербургѣ другое дѣло. Братъ можетъ раскошелится...

— Ника?

— Это его дѣло! Мѣсяца два-три ты проведешь тамъ... Пора объ этомъ подумать.

— Полно, папа, — серьезно возразила Тася... — Maman — недвижима... Въ домѣ — никого.

— Maman будетъ недвижима... очень долго... Ты это знаешь.

— Я не пойду къ Никѣ!..

Она не боялась отца и знала, что все это онъ затѣялъ такъ, сейчасъ вотъ, ни съ того, ни съ сего.

— Партію нужно!..

— Ахъ, полно, — махнула она рукой и отошла къ пьянино.

Генералъ жевалъ селедку.

— Однако, мой другъ, — началъ онъ болѣе тронутымъ голосомъ: — вникни ты въ свое положеніе... Я мечусь, ищу, бьюсь и такъ и этакъ. Но развѣ моя вина...

— Да я и не виню тебя...

— Нѣтъ, моя это вина, что нынче такое подлое время? Qu'est-ce la noblesse? Rien!.. Всякая борода тычетъ тебя пузомъ и кубышкой. Неугодно ли къ нему въ подрядчики идти?.. Въ винный складъ надсмотрщикомъ... Этого еще недоставало!..

— Поступи на службу, — сказала опять очень серьезно Тася.

— Куда? Портить все, когда нужно только переждать. Меня возьмутъ, я знаю... И въ воинскіе начальники, и въ Западный край предводителемъ, мировымъ судьей.

„Никуда не возьмутъ", думала Тася.

— Но зачѣмъ я закабалю себя, когда у меня есть планъ?

Генералъ остановился.

— Служба вѣрнѣе...

— А вы?

— Мы останемся здѣсь... Тогда можно будетъ отдавать этотъ домъ въ наймы. Лошадей не надо.

— Ты мнѣ тычешь въ носъ лошадьми... Des rosses! Переводъ денегъ!

— Ты самъ же это находишь.

— Brisons-là!

Обыкновенно этимъ и оканчивались ночные разговоры. Отецъ смѣшно разсердится, скажетъ „brisons-là", или „нечего меня учить" — и выпрямится во весь ростъ.

Такъ вышло и теперь.

— Прощай!

Тася подошла къ нему. Онъ ее перекрестилъ и скрипя сапогами, ушелъ въ кабинетъ, куда за нимъ всегда отправлялся мальчикъ Митя, заспанный и безъ галстуха.

Тася проводила отца глазами, дождалась возвращенія мальчика, велѣла ему убрать закуску и тихонько пошла къ себѣ.

Она сняла платье, но не ложилась въ постель, а въ кофтѣ и туфляхъ присѣла къ столу и начала еще разъ перечитывать „Шутники".

Въ два часа позвонили. Она слышала шаги. Потомъ все стихло. Братъ ея, Ника, услалъ Митю и собирался спать. Раздѣвается онъ самъ. Она накинула платокъ и вышла изъ комнаты.

XI.

Въ гостиной, въ два окна, съ облѣзлой штофной мебелью и покосившимися половицами, на среднемъ диванѣ приготовили постель. Когда Тася пріотворила дверь, ея братъ Ника, — Никаноръ Валентиновичъ — снималъ съ себя сюр-

тукъ съ краснымъ воротникомъ и полковничьими погонами на бѣлой, кавалерійской подкладкѣ. Онъ обернулся на скрипъ двери.

— Tiens! — сказала она усмѣхнувшись.

Ника вышелъ въ отца — только на два вершка больше его ростомъ. — Онъ начиналъ уже толстѣть. Щеки съ черными бакенбардами по плечамъ, двойной подбородокъ, скулы, калмыцкіе глаза и широкій носъ, — все вмѣстѣ составляло наружность ремонтера, балетнаго любителя и клубнаго игрока. Ноги въ рейтузахъ онъ разставлялъ, какъ истый кавалеристъ. На крупныхъ пальцахъ его съ непріятно бѣлыми ногтями блестѣли кольца. Изъ-подъ манжеты лѣвой руки выползалъ браслетъ. Отъ него сильно пахло духами. Лицо раскраснѣлось и запахъ духовъ смѣшивался съ парами шампанскаго. Подъ сюртукомъ онъ жилета не носилъ. Бѣлая, тонкаго полотна рубашка, съ крахмальной грудью, золотыми пуговицами и стоячимъ, глухимъ воротникомъ, поверхъ офицерскаго галстуха, дѣлала грудь еще шире.

Тася подошла къ нему и взяла за обѣ руки.

— Ника, — начала она шопотомъ: — извини... Тебѣ не очень хочется спать?

— Какъ сказать!

— Ты сними галстухъ... Халатъ у тебя есть?.. Да не надо. Останься такъ въ рубашкѣ. Эта комната теплая.

— Въ чемъ дѣло? — шутливо-самодовольно спросилъ онъ горловымъ голосомъ, какой на-

гуливаютъ себѣ въ гвардейскихъ казармахъ и у Дюссо.

— Ты потише... Папа пріѣхалъ... Онъ можетъ проснуться. Мнѣ не хочется, чтобъ онъ зналъ, что я у тебя. Я тебя и подождала сегодня.

— Ладно.

Онъ отошелъ къ столу и снялъ съ себя часы на длинной и массивной цѣпочкѣ съ жетонами, двумя стальными ключами и золотымъ карандашемъ. На столѣ лежалъ уже его бумажникъ. Тася посмотрѣла въ ту сторону и замѣтила, что бумажникъ отдулся. Она сейчасъ догадалась, что братъ игралъ и пріѣхалъ съ большимъ выигрышемъ.

— Присядь... минутку. Я тебя не задержу.

Она было запрыгала около него, но удержалась. Не можетъ она говорить ему: „милый голубчикъ, Никеша", какъ говорила маленькой. Она не уважаетъ его. Тася знаетъ, за что его попросили выйти изъ того полка, гдѣ носятъ золоченыхъ птицъ на каскахъ. Знаетъ она, чѣмъ онъ живетъ въ Петербургѣ. Жалованья онъ не получаетъ, а только носитъ мундиръ. Да она и не желаетъ одолжаться по родственному, безъ отдачи.

— Спать хочется,— сказалъ онъ, опускаясь на постель и громко зѣвнулъ.

Тася сѣла рядомъ съ нимъ и лѣвую руку положила на подушку.

— Ника, — заговорила она шопотомъ, но внятно и одушевленно, съ полузакрытыми гла-

зами: — ты знаешь, въ какомъ мы положеніи? Вѣдь да? Отецъ все мечтаетъ о какихъ-то прожектахъ. Мѣста не беретъ... Да и кто дастъ? Maman не встанетъ. Ты вотъ уѣдешь... Черезъ мѣсяцъ, докторъ сказалъ мнѣ... ноги совсѣмъ отнимутся...

Сынъ поморщился и досталъ папиросу изъ массивнаго, серебрянаго портсигара.

— Къ тому идетъ, — выговорилъ онъ равнодушно.

— На что же жить? Я не для себя.

— Исторія старая... Сами виноваты... Я и такъ даю...

— Ника, Ника, выслушай меня. Я въ первый разъ обратилась къ тебѣ. Я не хочу тащить изъ тебя... На что разсчитывать? Вѣдь не на что? Ты согласись!

— Et après? — пробасилъ онъ.

— Отецъ сейчасъ говорилъ, что мнѣ надо въ Петербургѣ... выѣзжать...

— Съ кѣмъ это?..

— Должно быть, съ тобой.

— Со мной?

Ника опять поморщился.

— Ты не смущайся! Я не желаю.

— Да... родитель далъ маху!.. У меня для молодой дѣвушки... совсѣмъ... не подходящее мѣсто...

И онъ нахально засмѣялся.

— Тс!.. — остановила его Тася. — Пожалуйста, тише... Я и сказала... Все это не то.

Тася встала и въ волненіи прошлась по гостиной. Въ первый разъ будетъ она вслухъ высказывать свои планы... Не нужно ей одобренія Ники. Но необходима его поддержка.

Съ такимъ братомъ ей тяжелѣе, чѣмъ съ постороннимъ, дѣлиться самой горячей мечтой. Точно она собирается оторвать отъ сердца кусокъ и бросить его на съѣденіе.

XII.

— Когда же ты разрѣшишься?— цинически спросилъ братъ.

— Вотъ что, Ника. Въ двухъ словахъ...

Тася стала передъ нимъ. Ямочки пропали съ ея щекъ, грудь высоко поднималась. Волосы падали ей на лобъ.

— Говори скорѣй!

— Вотъ видишь... Партіи я не сдѣлаю... Выѣзжать не на что. Жениховъ у меня нѣтъ.

— А этотъ... Въ очкахъ...

— Кто? Пирожковъ?

— Ну, да.

— Никогда онъ на мнѣ не женится. Онъ такъ и останется холостякомъ... Да я и не думаю о замужествѣ. У меня другое призваніе...

— Призваніе... туда-же!..

— Да. Не смѣйся, Ника, прошу тебя.

Щеки Таси горѣли.

— Номтеи и ты!

— Моя дорога—театръ. Ты меня не знаешь. Для тебя это новость. Не возражай мнѣ, сдѣлай милость. Отецъ не станетъ упираться, если ты меня поддержишь.

— Я?

— Ты долженъ меня поддержать. Не для одной себя я это дѣлаю. Еще годъ — и отецъ, мать, бабушка, Фелицата Матвѣевна — нищіе, на улицѣ...

— А ты ихъ спасать будешь?..

— Не смѣйся, Ника, умоляю тебя. Я не воображаю о себѣ ничего... Ты меня не знаешь. Я не говорю тебѣ, что у меня огромный талантъ. Сначала надо увѣриться, а для того, чтобы знать навѣрно, надо учиться, готовиться.

— Connu!

— На это надо средства. И, главное, время... Вотъ я и подумала... Годъ должна я быть свободнѣе... Только годъ... И ходить въ консерваторію... или брать уроки. А какъ я могу? Около maman никого. Необходимо будетъ взять кого-нибудь... компаньонку или бонну, сидѣлку что-ли... Поїми, я не отказываюсь! Но вѣдь время идетъ. А черезъ годъ я могу быть на дорогѣ.

— Quelle idée!.. Въ статистки!..

— Ты не можешь такъ говорить, Ника. Наконецъ, я прямо тебѣ скажу: тебѣ вѣдь все равно. Ты насъ не жалѣешь... Сдѣлай, разъ въ жизни, хорошее дѣло...

Голосъ ея возвышался. Братъ крякнулъ совершенно такъ, какъ отецъ, и затянулся.

— Говори толкомъ!

— Ты играешь...

Она бросила быстрый взглядъ на бумажникъ.

— Ну, такъ что-жь?

— И сегодня выигралъ, я вижу... Не хочу я у тебя выпрашивать. Дай мнѣ взаймы...

— Безъ отдачи?..

— Нѣтъ, я серьёзно. Не обижай меня. Взаймы дай, вотъ сейчасъ — и больше у тебя въ теченіе года никто не попроситъ. Ни мать, ни отецъ, я тебѣ ручаюсь.

— Да я и не дамъ. Не разорваться же мнѣ!

Тася глядѣла все на бумажникъ. Оттуда выставлялись края радужныхъ бумажекъ. Батюшки! Сколько денегъ! Тутъ не одна тысяча. И все это взято въ карты даромъ, все равно, что вынуто изъ кармана. Да и какъ выиграно? Вѣдь брата ея и за карты тоже попросили выйти изъ полка.

— Да, да,— говорила она, схвативъ его за руки,— я знаю... Ты не давай отцу... Они уйдутъ зря... Не можешь на годъ, дай на полгода. Только на полгода, Ника. До лѣта. Взять сидѣлку на тѣ часы, когда меня нѣтъ. Консерваторія, или уроки... на все это... я сосчитала... не больше какъ сто пятьдесятъ рублей. Расходъ на лекарство... доктора. Дай хоть по сту рублей на мѣсяцъ, Ника! Черезъ полгода я буду знать...

— Что тебѣ не слѣдовало заниматься глупостями.

— Ну, да, ну, да — почти со слезами повторила Тася и просительными глазами смотрѣла въ широкое лоснящееся лицо брата. — Положись на меня, Ника. Я прошу взаймы. Меня не обманываетъ мое чувство.

— Тру-ля-ля! чувство!

— Ну, назови, какъ хочешь... Больше ничего не придумаешь... Вѣдь не пустишь же ты нашихъ стариковъ по міру... На Петю надежда плохая. Лучше не будетъ? Согласенъ...

Братъ лѣниво усмѣхнулся. Онъ былъ дѣйствительно въ солидномъ выигрышѣ, забастовалъ круто, послѣ того, какъ загребъ кушъ.

— Bonnet blanc, blanc bonnet... Только я родителю ничего не дамъ, — сказалъ онъ и взялъ въ руки бумажникъ. — И тебѣ загорѣлось сейчасъ же?

— Можешь проиграть, Ника!

— И то правда! Смекалка у тебя есть.

Онъ вынулъ изъ бумажника пачку пожиже.

— Счастливъ твой богъ, дѣвчурка, бери... Не считаю...

Но онъ отлично зналъ, что въ пачкѣ всего семьсотъ рублей.

Тася припала къ его плечу и разрыдалась.

XIII.

Братъ почти выпроводилъ ее отъ себя и сталъ раздѣваться, зѣвая и харкая. У него были уже одышка и катарръ. Вечеръ ему удался. Засыпалъ онъ съ папиросой въ зубахъ, и ему долго представлялся зеленый столъ... въ номерѣ Славянскаго Базара... плотная фигура купчика. Только ему говорили, что онъ милліонщикъ... А видно, что больше десяти тысячъ у него не было въ бумажникѣ. Тятеньки испугался. Какъ бишь его фамилія? Ну, да все равно... Рукавишниковъ, Сырейщиковъ... И туда же въ амбицію!.. Не такіе виды онъ видалъ... Вѣдь онъ не Расплюевъ. Изъ него „не нащеплешь лучины". Онъ помнитъ въ квартирѣ Колемина, когда полиція вошла въ большую комнату въ разгаръ игры, всѣ перетрусили... до гадости... А онъ и бровью не повелъ. И выигрышъ свой успѣлъ сгрести, какъ ни въ чемъ не бывало... тридцать золотыхъ. Не испугался онъ и имя свое дать полицейскому... Этакая важность! Есть чего стыдиться! Весь Петербургъ играетъ, въ двадцати притонахъ... И не въ такихъ еще... Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, вотъ когда его попросили изъ полка выдти, — никакихъ обысковъ не было... Модничанье одно! Прокурору захотѣлось себя показать. Тогда „пижоновъ", да и не однихъ пижоновъ стригли

безъ всякаго милосердія... Онъ счетчикомъ состоялъ, да и то какія деньги перепадали...

Папироса выпала у него изъ рукъ... Онъ засопѣлъ, но въ головѣ, до полнаго погруженія въ сонъ, все еще проходили соображенія и обрывки мыслей. Онъ даже разсмѣялся. Родитель „удралъ идею", нечего сказать! Тасю къ нему отправить на два мѣсяца. Жить у него... Чудакъ!.. Юза что ли съ ней станетъ выѣзжать въ гранъ-мондъ? Онъ и дома-то ночуетъ разъ въ недѣлю. Надо завтра купить гостинецъ Юзѣ, московскаго что-нибудь... мѣхъ у ней есть, да и дорого. Не говоритъ, до сихъ поръ, подлая, сколько у ней лежитъ въ государственномъ банкѣ билетовъ восточнаго займа? И когда напоишь ее — не развязывается языкъ. Залоговъ у ней тысячъ на двадцать пять есть. Годика съ два можно будетъ съ ней поваландаться, не больше... И скаредна дѣлается; да и расплывается, грудь уже не прежняя и на носу красныя жилки. Да и полька ли она? Врядъ-ли. Скорѣй жидовка, даромъ, что блондинка! Барыня... хорошаго рода, съ нервами... куда лучше... Было и ихъ не мало... Особенно если глупенька... То ли не житье?.. А все-таки денегъ нѣтъ... Осенью совсѣмъ проигрался... Надо почаще въ Москву ѣздить... на святки... къ свѣтлому празднику и въ сентябрѣ, когда отъ Макарія возвращаются... Но безъ Петербурга все-таки жить нельзя...

— Дура, Тася! — вслухъ выговорилъ братъ. „Собой жертвую!..“ Ну ихъ къ Богу!..

На этихъ словахъ Никаноръ Валентиновичъ повернулся къ стѣнѣ и тотчасъ же захрапѣлъ. На дворѣ вѣтеръ все крѣпчалъ. Но гулъ вьюги и трескъ стараго дома не мѣшалъ ему спать тяжелымъ сномъ игрока, у котораго желудокъ и печень готовятъ въ скоромъ будущемъ завалы и водяную.

А черезъ корридоръ, изъ комнаты его сестры, все еще выходилъ свѣтъ сквозь дверную щель. Тася сидѣла на кровати въ кофтѣ, съ распущенными волосами и держала въ рукахъ пачку сторублевыхъ. Она уже нѣсколько разъ ихъ перечла. Ихъ было семь штукъ — не больше, семьсотъ рублей. Этого хватитъ до іюля, по сту рублей въ мѣсяцъ. Ея ученье не будетъ стоить больше пятидесяти, компаньонку можно нанять за двадцать рублей. Спать она будетъ въ угловой. Остается еще не мало. Доктору рублей полтораста. Взять его надо годовымъ. Аптекѣ — около ста рублей. А потомъ можно долго забирать на книжку.

Спать она не можетъ. Съ деньгами въ рукахъ — чѣмъ-то вдругъ смущена. Время не ждетъ, завтра, или на этой же недѣлѣ надо начинать. Поговорить съ Андрюшей Палтусовымъ. Онъ все какъ-то подсмѣивается, даетъ ей разныя прозвища... Съ Пирожковымъ... Тотъ знаетъ все про театръ, отлично судитъ... вхожъ къ той... къ Грушевой... И на счетъ

консерваторіи все ей узнаетъ... Еще примутъ ли ее теперь послѣ праздниковъ?

Страшно! И сладко, и страшно! Отцу она не станетъ говорить. Просто скажетъ, что нашла работу... Какую?.. Онъ не захочетъ, чтобъ она давала уроки... Ну, все равно... Что-нибудь да выдумаетъ... А мать будетъ рада новому лицу... Ее мать не любитъ. Никогда и не любила. Лгать, или не лгать: какая у ней связь съ родными?.. Зачѣмъ же она сейчасъ говорила, что дѣлаетъ это для нихъ. Значитъ, лгала? И да, и нѣтъ. Жаль ихъ. Старухъ еще жалче. Тѣ честныя, тихія, сидитъ Фифина до глубокой ночи, бабушка встаетъ съ огнемъ и тоже вяжетъ... Все у ней вытянули... Она нищая, надо заработать и для нея, когда она въ полную дряхлость впадаетъ. А это скоро будетъ. И мать жаль. Хоть въ больницу неизлечимыхъ, такъ и то нужны деньги, комнату...

Тася опустила голову. Бумажки упали на кровать. Она этого не замѣтила, потомъ очнулась, увидала, что у ней нѣтъ ничего въ рукѣ, испугалась. Долго ли потерять? Она вскочила, подошла къ письменному столу и заперла деньги въ ящикъ, гдѣ у ней лежало нѣсколько тетрадокъ, переписанныхъ ея рукой — роли.

Пирожковъ представился ей въ эту минуту, его добрая усмѣшка, поощряющій тонъ, умные глаза сквозь очки. Она припомнила, что онъ весной, передъ отъѣздомъ въ деревню, разсказывалъ, какое жалованье получаютъ те-

перь актрисы въ провинціи, да не на оперетки только, на драму, комедію, ingénues. Ему говорилъ въ клубѣ, членъ комитета. Онъ приводилъ цыфры. Есть актрисы — ихъ нѣсколько — меньше тысячи рублей въ мѣсяцъ „и слышать не хотятъ.“

Тысячу рублей въ мѣсяцъ! Но деньги ли однѣ? Даже если и половину, треть этой суммы? А игра! Она сейчасъ бы пошла даромъ. Какже ей нейти, когда нужны эти деньги — безъ нихъ и ей на что же жить? Что дѣлать? Искать жениха? Продавать себя?

Пора, пора! Домъ — гробница, отъ всего ей больно, жутко, только старушки и согрѣваютъ. Отецъ, мать, братъ Ника... Лучше устроить тѣхъ, кого жалко, а самой — дальше, не знать ничего кромѣ подмостковъ. Ничего!

XIV.

Крутилъ легкій снѣжокъ, часу въ девятомъ, наканунѣ сочельника. Къ крыльцу, освѣщенному двумя фонарями, подъѣхали извощичьи сани. Отъ тротуара перекинуты мостки, съ набитыми на нихъ планками, обмерзлые и обтоптанные тысячью ногъ.

Изъ саней вылѣзъ, первымъ, высокій мужчина, въ цилиндрической шляпѣ, въ плотно застегнутомъ пальто съ неширокимъ, чернымъ, барашковымъ воротникомъ и началъ высажи-

вать даму, маленькую фигурку, въ шубкѣ, крытой сукномъ. Голова ея повязана была бѣлымъ, вязанымъ платкомъ. Лицо все ушло въ края платка. Только глаза блестѣли, какъ двѣ искристыя точки.

— Пріѣхали, — сказалъ Пирожковъ, — онъ привезъ Тасю, — такимъ тономъ, какимъ пугаютъ дѣтей, когда приводятъ ихъ къ дантисту.

— Ахъ, Иванъ Алексѣичъ! — раздался голосокъ Таси изъ-подъ платка... — Какъ вы пугаете!

И она разсмѣялась.

— Пожалуйте, пожалуйте, — продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ. — Авось пронесетъ, Таисія Валентиновна. Полезно будетъ бросить coup d'oeil... Можетъ и накроютъ насъ.

— Кто же? — не очень смѣло спросила Тася и остановилась на троттуарѣ.

Вправо, подальше, скучилось нѣсколько извощичьихъ саней парами, какія по вечерамъ дежурятъ около клубовъ. Тася была тутъ всего разъ, на спектаклѣ одного общества. Давали шекспировскую пьесу. Еще ей такъ захотѣлось тогда сыграть Беатриче изъ „Много шуму изъ ничего". Но тогда она была въ ложѣ, со знакомыми. А одну на простой вечеръ или спектакль ее бы не пустили. Ни отецъ, ни мать, ни бабушка... Сюда нельзя ѣздить дѣвушкѣ „изъ общества". Тутъ бываетъ „Богъ знаетъ кто". Это — актерская биржа. — И она одна,

вечеромъ, съ мужчиной... Должна будетъ скрывать до тѣхъ поръ, пока не объявитъ, чѣмъ она занимается.

Случилось все такъ скоро потому, что она не дождалась Палтусова, а вызывать его не хотѣла. Да и не надѣялась на него. Онъ навѣрно сталъ бы все подсмѣиваться... Такой эгоистъ ничего для нея не сдѣлаетъ!.. Она давно его поняла. Можетъ быть, онъ и согласится съ ея идеей; но поддержки отъ него не жди. Заѣхалъ очень кстати Иванъ Алексѣичъ. Съ нимъ не нужно долгихъ объясненій. Онъ понялъ сразу. Мягкій, умный, шутливый... Но задумался.

— Добрая моя Таисія Валентиновна, — говорилъ онъ ей третьяго дня, — они сидѣли въ залѣ, — и за обѣ руки ее взялъ: — выдержите ли? Вотъ вопросъ!

— Выдержу! — почти крикнула она.

— Охъ, хорошо, кабы такъ! А видѣли пьесу „Кинъ"?

Она видѣла самого Росси и не забыла сцены, гдѣ Кинъ отговариваетъ молодую дѣвушку отдаваться театру. Она плакала тогда и въ театрѣ, и у себя, вернувшись домой. Но что же это доказываетъ?

— Какъ я играла тогда въ любительскомъ спектаклѣ? — спросила она Ивана Алексѣевича.

— Огонекъ есть. Но довольно ли этого?

Она убѣжала въ свою комнату, схватила томъ, гдѣ „Шутники", увела Пирожкова въ

гостиную и прочла нѣсколько явленій съ Вѣрочкой.

Онъ зааплодировалъ.

— Ну, поговоримте, хорошій человѣкъ, — онъ всегда ее такъ зоветъ: — вамъ въ консерваторію не стоитъ поступать. А лучше заняться у опытнаго актера или актрисы. Теперь я немного поотсталъ отъ этого міра, но я васъ къ Грушевой свезу, если желаете.

Такой онъ былъ милый, что она чуть не разцѣловала его.

Вотъ тогда онъ и сказалъ ей:

— Въ видѣ опыта поѣдемъ... инкогнито въ такое мѣсто, гдѣ собираются артисты. Это вамъ дастъ предвкусіе. Можетъ, и отшатнетесь. Передъ Рождествомъ у нихъ дня три вакаціи. Мы тамъ много народу увидимъ.

Она смѣло согласилась. Ну что за бѣда, если ее кто-нибудь и встрѣтитъ? Кто же? Изъ знакомыхъ отца? Быть не можетъ. Да и надо же начать. Она увидитъ, по крайней мѣрѣ, съ кѣмъ ей придется „служить“ черезъ годъ. Слово „служить“ она уже слыхала. Актеры говорятъ всегда „служить“ а не „играть“.

Но когда Иванъ Алексѣевичъ взялся за ручку двери, у ней ёкнуло на сердцѣ.

— Разъ, — дурачился онъ: — два, три... Пожалуйте...

— А посторонніе бываютъ? — робко спросила она.

— Бываютъ-съ и посторонніе... Пожалуйте... Сожигать корабли, такъ сожигать!

Онъ отворилъ дверь. Они вошли въ наружныя сѣнцы, гдѣ горѣлъ одинъ фонарь. Навесено было снѣгу, на ногахъ. Пахнетъ керосиномъ. Похоже на входъ въ номера. Еще дверь... И ее отворилъ Пирожковъ. Назадъ уже нельзя!..

XV.

Иванъ Алексѣевичъ ввелъ ее во внутреннія сѣни, на три ступеньки. Ихъ встрѣтилъ швейцаръ въ потертой ливреѣ съ перевязью, видомъ мужичекъ, съ русой шаршавой бородой. Другой привратникъ тутъ же возился около него, въ засаленомъ полушубкѣ и валенкахъ.

Полъ былъ затоптанъ. Перила и стеклянная дверь — выкрашены въ темно-коричневую краску. Стѣны закоптѣли. Охватывалъ запахъ лакейскаго житья, смазныхъ сапогъ, тулупа и табаку. Тасѣ сдѣлалось вдругъ брезгливо. Она почуяла въ себѣ барышню, дочь генерала Долгушина, внучку Катерины Петровны Засѣкиной.

„Вѣдь это Богъ знаетъ что", мимоходно подумала она, и въ нерѣшительности остановилась на площадкѣ.

Швейцаръ отворилъ дверь. Пирожковъ обернулся и смотрѣлъ на нее поверхъ запотѣвшихъ очковъ.

Онъ понялъ ее колебаніе и ея брезгливость. Подбивать ли дальше милую дѣвушку, вводить ли ее въ этотъ „постоялый дворъ“ господъ артистовъ? Хорошо ли онъ поступаетъ?

Ивана Алексѣевича схватила за сердце мысль, что вѣдь онъ, Пирожковъ, могъ бы избавить ее отъ такой рискованной попытки... Зачѣмъ ему искать лучшей дѣвушки? Кончитъ вѣдь женитьбой. Въ томъ-то и бѣда, что онъ не искалъ... А тамъ, дома, развѣ ее ждетъ что-нибудь свѣтлое, или просто толковое, осмысленное?... Генералъ съ его потѣшной фанаберіей и „прожектами“, братъ шулеръ и содержанецъ, колченогая и глупая мать. Еще два-три года и, пойдетъ въ бонны, или... попадетъ на сцену; но ужь не на этакую, а на ту, гдѣ собой торгуютъ...

— Пожалуйте-съ! — крикнулъ онъ и предложилъ ей руку — подняться въ гардеробную. Тася поглядѣла вправо. Окошко кассы было закрыто. Лѣстница освѣщалась газовымъ рожкомъ; на противоположной стѣнѣ, около зеркала прибиты двѣ цвѣтныхъ афиши, — одна красная, другая синяя — и бѣлый листъ съ печатными заглавными строками. Лѣвѣе выглядывала витрина, съ краснымъ фономъ и въ ней полъ-листа, исписаннаго крупнымъ почеркомъ съ какой-то подписью. По лѣстницѣ шелъ половикъ, безъ ковра. Запахъ сѣней смѣнился другимъ сладковатымъ и чаднымъ отъ куренія порошкомъ и кухоннаго духа, проползавшаго черезъ столовыя.

Они взяли вправо, въ низкую комнату, уходившую въ какой-то провалъ, отгороженный перилами. Вдоль стѣны, на необитомъ диванѣ, лежало кучками платье. Въ углу, у конторки дежурилъ полный, бритый лакей, въ синемъ ливрейномъ фракѣ и красномъ жилетѣ. У перилъ стоялъ другой, худощавый, пониже ростомъ съ бакенбардами.

Пирожковъ записалъ что-то въ книгу и заплатилъ полному лакею. Долго снимала Тася шубку, калоши и платокъ. Она все сильнѣе волновалась. Барышня все еще не успокоилась въ ней. Платье она нарочно надѣла домашнее, сѣренькое съ кожанымъ кушакомъ. Но волосы заплела въ косу. Не богато она одѣта, но видно сразу, что ея туалетъ, перчатки, воротничекъ, лицо, манеры, мало подходятъ къ этому мѣсту.

И вдругъ на лѣстницѣ, когда они будутъ подниматься туда наверхъ, встрѣтится какой-нибудь знакомый отца...

— Знаете что, — угадалъ ея волненіе Пирожковъ: — если васъ кто спроситъ, какъ вы сюда попали, говорите — на репетицію.

— Какую?

— Ахъ, Боже мой, благотворительную!

Тася прошла мимо афишъ, и ей стало полегче. Это уже пахло театромъ. Ей захотѣлось даже посмотрѣть на то, что стояло въ листѣ за стекломъ. Половикъ по срединѣ широкой деревянной лѣстницы пестрѣлъ у ней въ глазахъ. Никогда еще она съ такимъ внутреннимъ

безпокойствомъ не поднималась ни по одной лѣстницѣ. Баловъ она не любила, но и не боялась — нигдѣ. Ей все равно было: идти ли вверхъ, по мраморнымъ ступенямъ благороднаго собранія или по красному сукну генералъ-губернаторской лѣстницы. А тутъ она не рѣшилась вскинуть голову.

Наверху она остановилась у бѣлыхъ перилъ, гдѣ стоялъ новый лакей.

— Есть репетиція? — спросилъ его Пирожковъ.

— Сейчасъ кончится.

— А въ конторѣ кто?

Тотъ назвалъ кого-то по имени и отчеству.

Тутъ Тася оглянулась. Она припомнила эту комнату — родъ площадки, съ ея голубой мебелью, множествомъ афишъ направо, темной дверью съ надписью — *контора*, и аркой. Лѣвѣе рядъ комнатъ. Она помнила, что совсѣмъ на-лѣво — опять бѣлыя перила и ходъ въ театральную залу съ двумя круглыми лѣсенками на галлерею.

— Оправились? — шепнулъ ей Пирожковъ.

— Не бойтесь, — шутливо сказала она.

— Надо начать съ чаевъ.

— Теперь?

— Подождите минутку, тамъ, въ проходной гостиной; а я забѣгу въ контору.

Онъ провелъ ее въ унылую, холодную комнату и посадилъ на диванъ.

XVI.

Противъ Таси, черезъ комнату, широкая арка, за нею темнота проходнаго закоулка и дальше чуть мерцающій свѣтъ, должно быть изъ танцовальной залы. Она оглядѣлась. Кто-то тихо говоритъ справа. На диванѣ, въ полусвѣтѣ единственной лампы, висѣвшей надъ кресломъ, гдѣ она сидѣла, она различила мужчину съ женщиной, суховатаго молодаго человѣка въ сѣрой визиткѣ и высокую, полногрудую блондинку въ черномъ. Лицъ ихъ Тасѣ не было видно. Они говорили шопотомъ и часто смѣялись.

„Кто это? — думала Тася: — любители или актеры?.. Или любовное свиданіе?.. Здѣсь удобно".

Ей стало неловко. Она имъ помѣшала.

Но пара не смущалась. Послышался смѣхъ блондинки.

„Скорѣе любители, чѣмъ актеры", опредѣлила про себя Тася.

Имъ весело. Никого они знать не хотятъ. Кто она? Дѣвица благородныхъ родителей, или такъ „чья-нибудь" дочь? Это все равно... Можетъ, въ ней большой талантъ скрывается. Также вотъ, какъ и она, Тася, пріѣхала тайкомъ въ клубъ, вкусить запретнаго плода. Какого?.. Искусства или другаго?...

Щеки Таси покрылись румянцемъ... Она все

знаетъ... Не маленькая... ingénue сбирается только на сценѣ играть. Сколько романовъ прочла, пьесъ, всего. Но „это“ на нее не дѣйствуетъ. Насмотрѣлась она на то, что у нихъ было въ домѣ. Когда въ книжкѣ она читала сцены свиданій, самыя страстныя или поэтическія... у ней не билось сердце. Сейчасъ ей представится другая сцена... житейская... Она дѣвочка тринадцати лѣтъ, но много уже понимаетъ, читала и Тургенева, и Жоржъ Занда... Разбѣжалась она въ будуаръ своей матери... Мать лежитъ на кушеткѣ, рядомъ — гусарскій юнкеръ. Онъ дневалъ и ночевалъ у нихъ. Тася знала, что maman даетъ ему денегъ. Объ этомъ говорили люди, горничныя. Она застала любовную сцену... И съ тѣхъ поръ, когда ей минуло семнадцать лѣтъ и позднѣе, она не могла думать о любви, чтобы передъ ней не встала сцена юнкера съ ея матерью и всѣ восторги Елены Никифоровны отъ итальянскихъ пѣвцовъ, скрипачей и наѣздниковъ.

Такъ и прошли ея первые дѣвичьи годы. Некогда ей было думать о любви. Вывозили ее всего одну зиму, когда ей ужь пошелъ двадцатый годъ. Но все ее стѣсняло и въ тѣхъ гостиныхъ, куда ѣздила ея мать. Въ собраніи она танцовала нѣсколько разъ... Но и тутъ мать портила ей настроеніе. Да и какъ можно было выѣзжать, тратиться на туалетъ, когда она отлично знала, что въ домѣ во всемъ недочетъ, доѣдаютъ послѣдніе гроши, взятые подъ залогъ

дома, за проданную землю, выклянченную у бабушки?.. Она отказалась отъ выѣздовъ... Потомъ ноги стали отниматься у матери. Прекратилась всякая посторонняя тревога. Тутъ и разрослось влеченіе къ сценѣ, дума о театрѣ, ученье ролей по ночамъ...

Пара встала съ дивана и стала ходить по комнатѣ.

— Вы ошибаетесь, — говорила блондинка.

— Да ужь нѣтъ, — возражалъ молодой человѣкъ: — вамъ это очень удалось. А вотъ Василиса Мелентьева — не скажу...

Тася взглянула съ любопытствомъ на блондинку и спрашивала себя: подходитъ ли ея наружность къ Василисѣ Мелентьевой?

Не о Василисѣ Мелентьевой шелъ споръ между молодыми людьми. Они нравились другъ другу. Это было сразу видно. Тася прислушивалась къ звукамъ ихъ голосовъ. Вотъ, еслибъ она также на сценѣ говорила, вышло бы и правдиво, и весело... Больше ничего вѣдь и не нужно... А какъ трудно все это выполнить!..

— Пожалуйте, — раздался надъ ней голосъ Пирожкова.

Его голова показалась изъ-за косяка двери.

Тася встала и поправила на шеѣ галстухъ.

— Куда? — спросила она.

— Въ столовую...

— Тамъ, кто же?

— Идемте, идемте...

Онъ взялъ ее подъ руку и повелъ мимо ков-

торы въ бѣлую залу, освѣщенную цѣлымъ рядомъ тускловатыхъ лампъ.

— Мы будимъ пить чай, — говорилъ Пирожковъ, и самъ какъ будто немного стѣсненный за Тасю. — Вы осмотритесь... Есть уже разные народы. Я нашелъ одного знакомаго старшину... Вы съ нимъ поговорите... Полезно заручиться для дебютовъ...

— Для дебютовъ! — вздохнула Тася.

— А что же? Для маленькихъ дебютовъ здѣсь.

— На клубной сценѣ я бы не хотѣла.

— Въ видѣ опыта.

XVII.

Столовая обдала Тасю спертымъ воздухомъ, гдѣ можно было распознать паръ чайниковъ, волны папироснаго дыма, запахъ котлетъ и пива, шедшій изъ буфета. На-лѣво отъ входа за прилавкомъ продавала печенья и фрукты женщина съ усталымъ лицомъ, въ темномъ платьѣ. Поперекъ комнаты шли накрытые столы. Вдоль правой и лѣвой стѣны столы поменьше, безъ приборовъ, за ними уже сидѣло по двое, по трое. Лакеи мелькали по залѣ.

Пирожковъ посадилъ Тасю за первый столъ, по лѣвой стѣнѣ, около окна, и заказалъ порцію чаю

Въ первый разъ она слышала эти слова: „порцію чая". Имъ подали подносъ съ двумя

чайниками, чашками и пиленымъ сахаромъ въ бумажномъ пакетцѣ. Черезъ столъ отъ нихъ сидѣло двое мужчинъ, оба бритые.

— Актеры, — шепнулъ ей Пирожковъ. — Одинъ здѣшній, другаго не знаю.

До Таси донеслась сильная картавость одного изъ нихъ, брюнета съ мелкими чертами красиваго лица.

— Актеръ? — переспросила она.

— Да.

— Какъ же онъ такъ сильно картавитъ?

— Что дѣлать!..

Она заварила чай. У правой стѣны, за двумя столиками, сидѣли и женщины. Одна глазастая, широкоплечая, очень молодая и свѣжая, громко говорила, почти кричала. Волосы у ней были распущены по плечамъ.

— Это кто? — спросила Тася.

— Не знаю... давно здѣсь не былъ.

На репетиціяхъ, за кулисами, гдѣ удалось быть раза два, она испытывала возбужденье, какого у ней теперь не было и слѣда... Ей даже не вѣрилось, что это одно и то же, что вотъ эти бритые мужчины и женщины съ размашистыми движеніями принадлежали тому міру, куда такъ рвалось ея сердце.

— Ну, что же — заговорилъ Пирожковъ и поглядѣлъ на нее добрыми глазами. — Не очень вамъ здѣсь нравится?.. Присмотритесь... Эта столовая, постомъ, была бы для васъ занимательнѣе. Тогда здѣсь настоящій рынокъ...

Чего хотите, и благородные отцы, и любовники, и злодѣи. И все это пріѣзжіе изъ провинціи а ужь къ концу почти полное истощеніе финансовъ.

Тася плохо слушала его.

— Вотъ что, — продолжалъ Пирожковъ: — на святкахъ будетъ тутъ сборный спектакль. Мнѣ старшина сейчасъ говорилъ. Но начать ли прямо съ попытки. Можно и „До поры, до времени" поставить. Какъ вы думаете?

— Право не знаю — отвѣтила Тася. — Я учиться хочу, Иванъ Алексѣевичъ.

— Съ новаго года и начнемъ... А пока для бодрости... Да вотъ и старшина.

Къ нимъ подошелъ сухощавый господинъ, въ бородѣ, въ золотомъ pince-nez, въ короткомъ пальтецо, съ крупными чертами лица, тревожный въ пріемахъ.

Пирожковъ представилъ его. Тася не запомнила ни фамиліи, ни какъ его звали по имени и отчеству.

— Чайку выпьете? — пригласилъ его Пирожковъ.

— Съ нашимъ удовольствіемъ, — сказалъ старшина и сѣлъ.

Онъ казался очень утомленнымъ.

— Много дѣла? — спросилъ Пирожковъ.

— Просто бѣда! И все одинъ!..

— А другіе?

— Эхъ!..

И онъ махнулъ рукой. . . .

— Что же предполагается на праздникахъ?

— Утренніе спектакли будутъ, дѣтскій праздникъ, костюмированный балъ съ процессіей, да мало ли чего!

— А какъ дѣла?

— Сборы — ничего! Только возня! Я вамъ скажу, скоро пардону запрошу!..

— Вотъ Таисія Валентиновна, — указалъ Пирожковъ на Тасю: — желала бы...

— Вамъ угодно дебютировать-съ? — высокимъ голосомъ выговорилъ старшина.

Тася сильно смутилась.

— Нѣтъ... я не для дебюта...

— Спектакликъ хотите? — не далъ онъ ей докончить. — Дни-то у насъ всѣ разобраны.

Къ старшинѣ подошелъ лакей въ ливреѣ и сказалъ ему что-то на ухо.

— Прошу извиненія, — сказалъ старшина и вскочилъ: — анаѳемское дѣло! — крикнулъ онъ на ходу Пирожкову и побѣжалъ въ контору.

„Зачѣмъ онъ меня сюда привезъ?“ думала Тася, и ей дѣлалось досадно на „добрѣйшаго“ Ивана Алексѣевича. Все это выходило какъ-то глупо, нескладно. Этотъ торопливый старшина совсѣмъ ей не нуженъ. Онъ даже не заикнулся ни о какомъ актерѣ или актрисѣ, съ которой она могла бы начать работать. А нравы изучать, только расхолаживать себя... Тутъ еще можетъ явиться какой-нибудь знакомый отца...

Она съ молодымъ мужчиной, за чаемъ... Точно трактиръ!

Тася затуманилась.

XVIII.

Изъ дверей, въ глубинѣ столовой, откуда виднѣлась часть буфетной комнаты, показался мужчина въ черномъ на распашку сюртукѣ. Его косматая, бѣлокурая голова и такая же борода рѣзко выдѣлялись надъ туловищемъ, нѣсколько согнутымъ. Онъ что-то проговорилъ, выходя къ буфету, махнулъ рукой и приближался къ столу, гдѣ сидѣли Тася съ Пирожковымъ.

— Ахъ! Иванъ Алексѣевичъ, — взволновалась и почти обрадовалась Тася: — вѣдь сюда идетъ Преженцовъ.

— Кто?

— Мой учитель... Вы не помните?..

— Не встрѣчалъ его...

— Да, это давно было... Какъ онъ измѣнился.... Онъ, онъ!

Косматая голова все приближалась. Тася окончательно разглядѣла и узнала своего учителя Преженцова. Онъ ходилъ къ нимъ больше года, студентомъ четвертаго курса, лѣтъ шесть тому назадъ, училъ ее русскимъ предметамъ, давалъ ей всякія книжки. Матери ея онъ не понравился; раза два отъ него пахло виномъ..

Только у него Тася и занималась, какъ слѣдуетъ. Онъ ей принесъ Островскаго... И самъ читалъ купеческія сцены пресмѣшно, и разсказы Слѣпцова хорошо читалъ... Чтожь! Она не боится встрѣчи съ нимъ, здѣсь въ этой столовой... Онъ все пойметъ...

Учитель ее замѣтилъ и узналъ.

— А-а! — крикнулъ онъ и скорыми шагами подошелъ къ столу.

— Николай Александровичъ! — обрадованно назвала его Тася.

Пирожковъ оглянулся на косматаго блондина. Отъ него пахнуло спиртными парами. Лицо его сильно раскраснѣлось.

— Какими судьбами? — спросилъ онъ Тасю.

Учитель крѣпко пожалъ ей руку.

— Вотъ, можно сказать, сюрпризъ. Вы здѣсь... И въ будничный день... Какими судьбами? А кавалеръ вашъ... Познакомьте насъ.

Она ихъ познакомила.

— А! — еще громче крикнулъ учитель. — Пирожковъ!.. Какъ пріятно... У насъ есть общіе пріятели... Калашникова... Василія Дмитріевича, знаете, а?

— Какъ же, — сказалъ со сдержанной улыбкой Пирожковъ.

— Я присяду... Можно?..

— Пожалуйста, — пригласилъ его Пирожковъ.

Тася поглядѣла на своего учителя. Его щеки,

глаза, волосы, все показалось ей немного подозрительнымъ...

— Такъ вотъ гдѣ я съ ученичкой-то столкнулся, — говорилъ Преженцовъ и держалъ руку Таси. — Ростомъ не поднялись... все такая же маленькая... И глазки такіе же... Вотъ голосъ не тотъ сталъ... возмужалъ... Ихъ превосходительство какъ изволитъ поживать? Папенька, маменька? Мамаша меня не одобряла... Нѣтъ!.. Не такого я былъ строенія... Ну и парле-франсе не имѣлось у меня. Бабушка какъ? Все еще здравствуетъ? И эта, какъ ее: Полина, Фифина!.. Да, Фифина!.. Бабушка — хорошая старушка!..

Онъ дѣлался болтливъ. Тася видѣла, что учитель ея выпилъ. Она не знала, какъ съ нимъ говорить. Это былъ какъ будто не тотъ Николай Александровичъ, не прежній.

Пирожковъ тоже почувствовалъ себя стѣсненнымъ.

— Вы здѣсь членъ? — спросилъ онъ Преженцова.

— Я-то? Это цѣлая исторія... Вотъ видите ли, какой казусъ случился... Меня здѣсь не выбрали. Не подхожу къ такому избранному заведенію. А сегодня съ пріятелемъ зашли выпить пива... Все равно... Вы не хотите ли?

Онъ перегнулся къ Тасѣ и спросилъ:

— А это знаменье времени... коли и вы съ нами сидите... Какой ужасъ!

Прошолъ по столовой старшина. А черезъ

минуту въ буфетѣ раздался крупный разговоръ.

Учитель Таси сейчасъ же всталъ, побѣжалъ туда и только крикнулъ:

— Такъ и есть!

Пирожковъ приподнялся и началъ глядѣть въ томъ же направленіи.

— Поѣдемте отсюда, — тихо сказала ему Тася.

Голоса все возвышались, перешли въ звонкіе, крикливые возгласы... Отъ буфета шелъ старшина и другой еще господинъ съ сѣдоватой бородой, а за нимъ учитель Таси.

— Вы не имѣли права! — говорилъ старшина.

— Я буду протестовать! — повторилъ господинъ съ бородой.

— Протестуйте... Сдѣлайте ваше одолженіе!

Учитель забѣжалъ впередъ и на всю залу крикнулъ:

— Оставь втунѣ, пренебреги... потребуемъ торжественнаго вывода... Идемъ, Вася...

И обратившись къ столу Таси и Пирожкова, кинулъ имъ:

— Прощенія просимъ!.. Видите, чаю съ вами пить не могу!.. Паршивая овца!..

Всѣ въ недоумѣніи глядѣли на эту сцену. Передъ конторой еще долго раздавались голоса, и потомъ внизу по лѣстницѣ.

Пирожковъ и Тася молчали. Ивану Алексѣевичу было не по себѣ.

„Зачѣмъ завезъ я ее сюда?“ спрашивалъ и

онъ себя. „Этакая досада! Такъ неудачно... И старшина ни на что ей не годенъ, а теперь и подавно“.

Она опустила голову и пила потихоньку чай.

— Таисія Валентиновна, — началъ Пирожковъ, состроивъ комическую мину: — простите великодушно... Не задача намъ.

— Поѣдемте, — шептала она.

— Да вы не бойтесь.

— Нѣтъ, поѣдемте, пожалуйста.

Онъ наскоро расплатился. Тася шла вслѣдъ за нимъ, все еще съ поникшей головой... И боялась она чего-то, и жутко ей было тутъ отъ всего, отъ этихъ лакеевъ, гостей, чаду, тусклаго освѣщенія, не находила она въ себѣ мужества сейчасъ же превратиться въ простую „актерку“, распивать чай въ перемѣну между двумя актами репетицій.

„Барышня я, барышня“, повторяла она, сходя въ швейцарскую, и была довольна тѣмъ, что никто изъ знакомыхъ отца не встрѣтилъ ее.

Вѣдь она уѣхала тихонько. Мать, хоть и разбита, но то и дѣло спрашиваетъ ее. Ей не скажешь, что ѣздила смотрѣть на актеровъ... Да и бабушка напугается...

— Какже, Таисія Валентиновна? — остановилъ ее Пирожковъ у кассы. — Первый блинъ комомъ. Угодно, чтобы я познакомилъ васъ съ Грушевой?

— Ахъ, погодите... Я что-то совсѣмъ маленькая.

— Подожду...

Тася свободно вздохнула на воздухѣ.

XIX.

На другой день, передъ обѣдомъ, дѣвчонка вбѣжала къ Тасѣ и заторопила ее:

— Маменька гнѣваются, пожалуйте поскорѣе.

Тася нашла мать въ креслѣ, въ сильной ажитаціи.

— Отравить меня хотите! — закричала Елена Никифоровна, таращa на нее глаза.

— Что такое, maman?

— Какая гадость! Ѣшь сама!

Она тыкала ложкой въ тарелку супа.

Тася попробовала и чуть замѣтно улыбнулась.

— Супъ хорошъ... изъ курицы.

Мать прослѣдила глазами ея усмѣшку и вся побагровѣла.

Не успѣла Тася выпрямиться, какъ на щекѣ ея прозвенѣла пощечина.

Она схватилась за щеку. Въ глазахъ у ней потемнѣло. Она сдѣлала надъ собой усиліе, чтобы не толкнуть мать.

Пощечина! Передъ дѣвчонкой Дуняшей! Ей, дѣвушкѣ по двадцать второму году!

Это ее ошеломило.

— Смѣяться!.. — кричала и заикалась мать: — смѣяться! Надо мной? Ахъ, ты мерзкая! Мерзкая... Тварь! Я тебѣ дамъ!

И она опять потянулась къ ней, но Тася схватила Елену Никифоровну за обѣ руки и посадила ее въ кресло.

— Не смѣйте, не смѣйте! — шептала она, съ нервной дрожью. — Я не позволю... хуже будетъ!..

Голосъ ея такъ задрожалъ, что мать испугалась.

— Ступай вонъ!.. Вонъ, вонъ! — кричала она и начала метаться и плакать: — морфію мнѣ, морфію!..

— Какого лекарства? — спросила Тасю Дуняша, задерживая ее.

— Не знаю!

И она кинулась въ свою комнату, внѣ себя. Щеки ея пылали, слезы душили ее, но не лились.

Дѣвочкой семи лѣтъ ее высѣкли разъ... Когда ей было четырнадцать лѣтъ, мать схватила ее за ухо, но она не далась... И теперь, двадцати одного года?.. Мать больна, разбита, близка къ параличу... Но развѣ это оправданіе?..

Бросилась Тася на кровать. Ее всю трясло. Черезъ минуту она начала хохотать. Съ ней случилась первая въ ея жизни истерика. Прежде она не вѣрила въ припадки, видя, какъ мать напускала на себя истерики. А теперь она будетъ знать, что это такое!

Изъ комнаты Таси ничего не долетало ни до старушекъ, ни до кабинета. Отца ея не

было дома и брата также. Какъ ни старалась она переломить себя, хохотъ все прорывался, и слезы, и судороги... Такъ билась она съ полчаса. Только и помогла себѣ тѣмъ, что уткнула голову въ подушки и обхватила ихъ обѣими руками.

Потомъ, сладивъ съ собою, сѣла на кровать и мутными глазами оглядывала свою комнату. Смеркалось... черезъ полчаса будетъ совсѣмъ темно. Ее зазнобило. Она встала и надѣла платокъ и тихо двинулась отъ кровати къ письменному столу.

Прибила мать! Дала пощечину, какъ горничной!.. Да и тѣхъ теперь нельзя бить. Жаловаться пойдутъ, а то и сами тѣмъ же отвѣтятъ. Примѣры были... На дняхъ, ей разсказывали про знакомую барыню. Но чего же она такъ изумляется? Чѣмъ она лучше Кунцевой?.. А той мать въ прошлую зиму надавала пощечинъ при постороннихъ. И до сихъ поръ кричитъ на нее, какъ на послѣднюю судомойку, ругаетъ ужасными словами, хоть и по-французски: pécore, salope, crapule! Она и не припомнитъ всего! И вѣдь это въ хорошемъ, барскомъ обществѣ... Самыя старыя фамиліи... И Леля Тарусина ей жаловалась, что мать ее бьетъ. А она графиня! Ей двадцать третій годъ. И всѣ терпятъ, злятся, презираютъ матерей, называютъ ихъ за глаза дурами, разсказываютъ про нихъ всякія гадости... А не уйдутъ! Почему?

Куда идти? Въ гувернантки? Не пойдутъ! И не знаютъ ничего серьёзно, да и боятся бѣдности. Какъ же имъ можно! Тутъ есть разсчетъ на мужа, а не выйдетъ, все равно на родительскихъ хлѣбахъ проживетъ, хоть и битая.

„Рабство! Рабство!“ — шепчетъ Тася, ходя по своей комнатѣ. „Какъ низко, гнусно!..“

Она ничего дурнаго не разсказываетъ знакомымъ про мать. Не могла она ее ни любить, ни уважать. И это уже не малое горе. Ей жаль было этой женщины. Она смотрѣла на нее, какъ на „Богомъ убитую“, ходила за ней, хотѣла съ ней дѣлиться, когда встанетъ на свои ноги, будетъ заработывать. Ее смущало еще сегодня утромъ то, что она хочетъ оставлять ее по цѣлымъ часамъ на попеченіе компаньонки.

Но теперь!.. Исчезли всѣ колебанія... Какъ бы мать ни была „убита“, она понимаетъ, что̀ дѣлаетъ. Вытерпѣть, это значитъ рисковать, что она будетъ драться каждый день...

Вотъ пріѣдетъ отецъ, Тася скажетъ ему, что къ матери нужно приставить постороннюю женщину. Если вчера, послѣ посѣщенія клубной столовой, у нея явилось малодушное чувство, то теперь... вонъ, поскорѣе, безъ всякихъ думъ и сомнѣній!..

Она не могла оставаться въ своей комнатѣ. Ей было душно. Перешла она въ залу, присѣла къ пьянино и заиграла громко, громко.

— Барышня, — прибѣжала Дуняша: — ма-

менька не приказываютъ играть... У нихъ головка болитъ.

— Хорошо, — отвѣтила Тася и захлопнула крышку.

Да, играть не слѣдуетъ. У матери боли. Но развѣ боли оправдываютъ битье по щекамъ взрослой дочери?

„Напишу къ Пирожкову", думала она „попрошу его поскорѣе повезти меня къ Грушевой, скорѣй, скорѣй!"

Она не слыхала, какъ въ передней позвонили. Ее засталъ въ залѣ, всю въ слезахъ, съ помятой прической, гость — ихъ дальній родственникъ — Палтусовъ.

XX.

Тася не видала Палтусова давно, больше двухъ мѣсяцевъ. Онъ ѣздилъ къ нимъ очень рѣдко. Прежде онъ больше интересовался ею, когда слушалъ лекціи въ университетѣ. Онъ же привезъ къ нимъ и Пирожкова. На родственныхъ правахъ они звали другъ друга „Тася" и „Андрюша".

— Что съ вами, кузиночка? — спрашивалъ ее Палтусовъ, уводя въ гостиную. — Вы какая-то растрепé — пошутилъ онъ и оглядѣлъ ее еще разъ.

Тася жала ему руку. Его пріѣздъ пришелся очень кстати.

— Андрюша милый, — заговорила она ласковѣе обыкновеннаго: — поддержите меня.

— Что такое?

Она не могла сказать ему, что мать дала ей пощечину. Этого она не скажетъ... кромѣ отца, никому. Онъ услыхалъ отъ нея только то, что ей теперь надо, сейчасъ, сію минуту.

— Пожалуйста, не труните надо мной, Андрюша, я долго готовлюсь къ этому.

Слово „сцена" было произнесено. Палтусовъ задумался. Ему жалко стало этой „дѣвочки", — такъ онъ называлъ ее про себя. Она умненькая, съ прекраснымъ сердцемъ, веселая, часто забавная. Женишка бы ей...

— Замужъ не хотите, Тася?

— За кого? — серьёзно спросила она. — Что объ этомъ толковать! Выѣзжать не на что. Такъ, я никому не нравлюсь... Да нѣтъ, Андрюша! Это совсѣмъ не то...

И она начала горячо развивать ему свою „идею". Онъ слушалъ съ тихой усмѣшкой. Очень все искренно, молодо, смѣло, что она говоритъ. Можетъ, у ней и есть талантъ. Жаль все-таки такую дѣвочку... Попадетъ на сцену... Это вѣдь помойная яма. Многія ли выкарабкиваются и могутъ жить на свой заработокъ?.. А она хочетъ кормить семью... Шутка! Жаль!.. Хорошая, воспитанная барышня, его родственница, все-таки генеральская дочь. Но и то сказать... семейка вымираетъ... гниль, дряхлость, глупое нищенство и фанаберія. А то такъ и

просто грязь. Стоитъ на этакого папашу съ мамашей работать!.. Уйти изъ дома — резонъ...

— Съ родителемъ поговорить что ли? — спросилъ Палтусовъ.

— Пока не надо, Андрюша... Послѣ, можетъ быть... а вы мнѣ все узнайте хорошенько... Вотъ Пирожковъ хотѣлъ; онъ добрый, но немного мямля... совсѣмъ не туда меня повезъ. Онъ знакомъ съ актрисой Грушевой.

— Да и я ее знаю!

— Знаете, я помню; вы мнѣ разсказывали.

— Такъ чего же вы хотите, кузиночка?

— Съѣздить къ ней, милый... предупредить... поговорить обо мнѣ хорошенько... чтобы она меня выслушала. Я приготовлюсь. Можетъ-ли она со мной заняться? Хоть эту зиму. А то я въ консерваторію поступлю, авось примутъ и съ новаго года.

Палтусовъ слушалъ. Все это было легко исполнить. Одинъ какой-нибудь визитъ. Довольно онъ своими дѣлами занимается. Не грѣхъ для такой милой дѣвочки потерять утро.

— Извольте-съ, — сказалъ онъ шутливо.

— Да? — радостно вырвалось у Таси.

— Брата нѣтъ? — спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ.

— А родитель?

— И отецъ еще не пріѣзжалъ.

— Какъ-же это онъ меня просилъ, а самъ по городу рыщетъ?

Палтусовъ всталъ и прошелся по гостиной. Онъ пріѣхалъ на просительную записку генерала. Тотъ писалъ ему, что возлагаетъ на него особую надежду. Сначала Палтусовъ не хотѣлъ ѣхать... Долгушинъ навѣрно будетъ денегъ просить. Денегъ онъ не дастъ и никогда не давалъ; заѣхалъ такъ, изъ жалости, по дорогѣ пришлось. Не любитъ онъ его рожи, его тона, всей его болтовни.

— Папа сейчасъ долженъ быть, — сказала Тася и подошла къ Палтусову. — Только вы, Андрюша, про меня ему ничего еще не говорите. Теперь не стоитъ... Я ему на дняхъ сама скажу, что съ матерью я ладить не могу, и надо взять компаньонку. Деньги у меня есть... на это...

— Гдѣ же добыли?

— Заняла, — шопотомъ отвѣтила Тася.

Она не скажетъ ему, что деньги взяла у брата Ники.

— Подождите минутку...

Ей хотѣлось, чтобы Палтусовъ подождалъ отца. Онъ ей скажетъ, что отецъ затѣялъ. Ей надо все знать. Кто же, кромѣ ея, есть взрослый въ домѣ?

Она смотрѣла на Палтусова. Въ гостиной было уже темновато. Его лицо никогда ей особенно не нравилось. И въ сердце его она не вѣрила. Сейчасъ она говорила ему „милый Андрюша“. Вѣдь это не хорошо! Нуженъ онъ ей, такъ она и ласкаетъ его словами.

Тася примолкла. Не довольна она была собой. Но что же дѣлать? Андрюша единственный человѣкъ, вокругъ нея, у котораго есть характеръ, знаетъ жизнь, ловокъ... Съ Иваномъ Алексѣевичемъ далеко не уйдешь. И что же она такое сдѣлала? Попросила переговорить съ актрисой. Если онъ эгоистъ, тѣмъ лучше... Хоть за кого-нибудь похлопочетъ безкорыстно.

— Вотъ и папа, — громко сказала Тася, услыхавъ звонокъ въ передней.

Палтусовъ закуривалъ папиросу.

— Задержитъ онъ меня!...

— Подите, подите... Вѣдь вы все равно не расчувствуетесь, — пошутила она.

И тому уже была она рада, что разговоръ съ Палтусовымъ отвлекъ ее отъ ощущенія обиды, заставилъ забыть о дикой выходкѣ матери.

Къ ней она не пойдетъ до завтра, даже, если мать и будетъ присылать за ней. Надо дать почувствовать. А отцу она сегодня же скажетъ, очень просто:

„Не хочу получать пощечинъ. Наймите компаньонку. Я ей буду платить“.

— Андрюша! — шепнула она, — одно словечко...

Палтусовъ подставилъ ухо.

— Позвольте мнѣ сказать отцу, что вы мнѣ дали взаймы...

— Онъ вытянетъ.

— Нѣтъ, я не дамъ.

— Говорите, Тася!

— Спасибо.

Это ей послужитъ. Отдать долгъ надо; вотъ она и скажетъ, что ей слѣдуетъ искать самой выгодной работы.

Палтусовъ пожалъ ей руку, пріостановился на порогѣ, обернулся и тихо сказалъ:

— Если вамъ понадобится... вы не скрывайтесь отъ меня.

У него на текущемъ уже лежало десять тысячъ.

Теперь не нужно.

„У него все лучше было взять, чѣмъ у Ники", мелькнуло въ головѣ Таси. „А кто его знаетъ, впрочемъ, чѣмъ онъ живетъ"?

XXI.

— А! волонтеръ!.. — встрѣтилъ генералъ Палтусова, въ кабинетѣ, гдѣ уже совсѣмъ стемнѣло.

„Волонтеромъ" прозвалъ онъ его послѣ сербской кампаніи. Палтусовъ не любилъ этого прозвища и вообще не жаловалъ безцеремоннаго тона Валентина Валентиновича, котораго считалъ „жалкимъ мыльнымъ пузыремъ". Но онъ до сихъ поръ не могъ заставить его перемѣнить съ собою фамильярнаго тона. Не очень нравилось Палтусову и то, что Долгушинъ говорилъ ему „ты", пользуясь правомъ старшаго родственника.

Сегодня, все это было ему еще непріятнѣе. Нуждается въ немъ, пишетъ ему просительныя записки, а туда же хорохорится.

— Здравствуйте, генералъ, — отвѣтилъ Палтусовъ насмѣшливо и небрежно пожалъ его руку.

Валентинъ Валентиновичъ снималъ сюртукъ, стоя у облѣзлаго письменнаго стола, на которомъ кромѣ чернильницы лежали только счеты и календарь.

Кабинетъ его вмѣщалъ въ себѣ большой съ проваломъ клеенчатый диванъ и два-три стула. Обои въ одномъ мѣстѣ отклеились. Въ комнатѣ стоялъ спертый, табачный воздухъ.

— Темно очень, генералъ, —замѣтилъ Палтусовъ.

— Сейчасъ, mon cher, лампу принесутъ. Митька! — крикнулъ онъ въ дверь.

Принесли лампу. Отъ нея пошелъ чадъ керосина. Долгушину мальчикъ подалъ короткое генеральское пальто, изъ легкаго сѣраго сукна.

— Ступай, — выслалъ его генералъ.

Палтусовъ сѣлъ на диванѣ и ждалъ.

— Ты извини, что подождалъ меня.

„То-то“ — подумалъ Палтусовъ и нарочно промолчалъ.

— Мои стервецы виноваты.

— Какіе такіе?

— Да лошади. Еле возятъ. Морковью скоро будемъ кормить, братецъ! Ха, ха, ха!

„Ну, братца-то ты могъ бы и не употреблять“, — подумалъ Палтусовъ.

— Зачѣмъ держите?

— Зачѣмъ? По глупости... Изъ гонору. — Генералъ опять засмѣялся, подошелъ къ углу, гдѣ у него стояло нѣсколько чубуковъ, выбралъ одинъ изъ нихъ, уже приготовленный, и закурилъ самъ бумажкой.

Палтусовъ поглядѣлъ на его затылокъ, красный, припухлый, голый, подъ всклоченной щеткой посѣдѣлыхъ волосъ, точно кусокъ сыраго мяса. Весь онъ казался ему такимъ ничтожнымъ индѣйскимъ пѣтухомъ... А говоритъ ему „братецъ“ и прозвалъ „волонтеромъ“.

— Плохандросъ! — прохрипѣлъ генералъ и зачадилъ своимъ жуковымъ. — Послѣдніе дни пришли... Ты вѣдь знаешь, что Елена безъ ногъ.

— Совсѣмъ? — холодно спросилъ Палтусовъ.

— Докторъ сказалъ; черезъ двѣ недѣли отнимутся окончательно... И ротъ уже свело. Une mer à boire, mon cher. Онъ присѣлъ къ Палтусову, засопѣлъ и запыхтѣлъ.

— Я тебя побезпокоилъ. Ну, да ты молодой человѣкъ... Службы нѣтъ.

— Но дѣла много.

— А-а... Въ дѣлахъ!.. Слышалъ я, братецъ, что ты въ подряды пустился.

— Въ подряды?.. Не думалъ. Вы, небось, ссудили капиталомъ?

— У Калакуцкаго, говорили мнѣ въ клубѣ, состоишь чѣмъ-то.

Палтусову не очень понравилось, что въ городѣ уже знаютъ про его „службу“ у Калакуцкаго.

— Враки!

— Однако и на биржѣ тебя видаютъ.

— Бываю...

— Ну да, я очень радъ. Такое время. Не хозяйствомъ же заниматься! Здѣсь только борода и почетъ. Ты пойдешь... у тебя есть нюхъ. Но нельзя же все для себя. Молодежь должна и нашего брата старика поддержать... Сыновья мои для себя живутъ... Отъ Ники всегда какое-нибудь вниманіе, хоть въ малости. А ужь Петька... Mon cher, je suis un père...

Генералъ не кончилъ и затянулся. Чувствительность ему не удавалась.

— Вы, ваше превосходительство, меня извините, — насмѣшливо заговорилъ Палтусовъ и посмотрѣлъ на часы.

— Занятъ небось? Биржевой человѣкъ.

— Спѣшу.

— Сейчасъ, сейчасъ. Дай передохнуть.

Онъ еще ближе подсѣлъ къ Палтусову и обнялъ его лѣвой рукой.

— Вы все жуковскій? — спросилъ Палтусовъ, отворачивая лицо.

— Привычка, братецъ!

— Дурная...

— Какая есть!

Генералъ началъ пикироваться.

XXII.

— Вотъ въ чемъ моя просьба, Андрюша.— Палтусовъ еще сильнѣе поморщился. — Есть у насъ тутъ родственникъ жены, троюродный братъ тещи, Куломзинъ, Евграфъ Павловичъ, не слыхалъ про него?

— Слышалъ.

— Извѣстный богачъ, скряга, чудодѣй, старый холостякъ. Однѣхъ уставныхъ граматъ до пятидесяти писалъ. И ни одной деревни не заложено. Есть же такіе аспиды! Къ намъ онъ давно не ѣздитъ. Ты знаешь... въ какомъ мы теперь аллюрѣ... Да онъ и никуда не ѣздитъ... Въ аглицкій клубъ разъ въ мѣсяцъ... Видишь ли... Моя старшая дочь, вѣдь ты ее помнишь, Ляля?

— Помню.

— Она ему приходится крестницей; но вышло тутъ одно обстоятельство. Une affaire de rien du tout... Поручиться его просилъ... По пустому документу... И какъ бы ты думалъ, этотъ старый шутъ m'a mis à la porte. Закричалъ, ногами затопалъ. Никогда я ничего подобнаго не видалъ ни отъ кого!

— Такъ вы теперь повторить хотите?

— Дай досказать, братецъ, — уже раздраженно перебилъ генералъ и прислонился къ спинкѣ дивана... — Вѣдь у него деньжищевъ однѣхъ полмилліона, страсть вещей, картинъ,

— Brisons-là... Я шутку допускаю... но есть всему мѣра.

— Я не шучу, — сухо сказалъ Палтусовъ и поднялся съ дивана. — Пропустите случай, хуже будетъ.

— Хуже... чего хуже?..

— Хуже того, что́ теперь есть. Тогда и надзирателя не дадутъ.

— Какъ вы смѣете?— крикнулъ Долгушинъ.

Но потѣхи довольно было Палтусову, онъ перемѣнилъ тонъ.

— Ну, ваше превосходительство, извините... Я не хотѣлъ васъ обижать. Извольте, такъ и быть, съѣзжу къ вашему Крезу.

— Я не желаю.

— Не желаете? — съ удареніемъ переспросилъ Палтусовъ.

— Если по родственному...

— Да, да. Для вашей дочери дѣлаю... не для васъ.

Долгушинъ что-то пробурчалъ и задымилъ.

Палтусовъ тихо разсмѣялся. Очень ужь ему жалокъ казался этотъ „индѣйскій пѣтухъ“.

— Когда же ты, братецъ? — какъ ни въ чемъ не бывало спросилъ генералъ.

— На дняхъ. Дайте адресъ.

Они разстались друзьями. Къ Тасѣ Палтусовъ не зашелъ. Было четыре часа.

XXIII.

На биржу онъ не торопился. У него было свободное время до поздняго обѣда. Сани пробирались по сугробамъ переулка. Бобровый воротникъ пріятно щекоталъ ему уши. Голова нѣжилась въ собольей шапкѣ. Лицо его улыбалось. Въ головѣ все еще прыгала фигура генерала съ чубукомъ и съ краснымъ затылкомъ.

Палтусовъ смотрѣлъ на такихъ родственниковъ, да и вообще на такое дворянство, какъ на нѣчто разлагающееся, имѣющее одинъ „интересъ курьеза". Слишкомъ ужъ все это ничтожно. Что такое несъ генералъ? О чемъ онъ просилъ его? Что за нелѣпость давать ему порученіе къ богатому родственнику?

Но поѣхать опять-таки „для курьеза" можно, посмотрѣть — полно, есть ли въ Москвѣ такіе „старые хрычи" съ пятьюдесятью деревнями, окруженные драгоцѣнностями? Палтусовъ не вѣрилъ въ это. Онъ видѣлъ кругомъ одно паденіе. Кто и держится, такъ и то проживаютъ одну треть, одну пятую прежнихъ доходовъ. Гдѣ же имъ тягаться съ его пріятелями и пріятельницами, въ родѣ Нѣтовыхъ или Станицыныхъ и цѣлаго десятка такихъ же коммерсантовъ?

Каждый разъ, какъ онъ попадаетъ въ эти края, ему кажется, что онъ пріѣхалъ осматри-

вать „катакомбы“. Онъ такъ и прозвалъ дворянскіе кварталы. Ѣдетъ онъ вечеромъ по Поварской, по Пречистенкѣ, по Сивцеву Вражку, по переулкамъ Арбата... Нѣтъ жизни. У подъѣздовъ хоть бы одна карета стояла. Въ комнатахъ темнота. Только гдѣ-нибудь въ передней или угловой горитъ „экономическая“ лампочка.

Фонари еще зажигали. Послѣдній отблескъ зари догоралъ. Но можно было еще свободно разбирать дома. Сани давно уже колесили по переулкамъ.

— Стой! — крикнулъ вдругъ Палтусовъ.

Небольшой домикъ съ палисадникомъ всплылъ передъ нимъ внезапно. Сбоку примостилось зеленое крылечко съ навѣсомъ, чистенькое, посыпанное пескомъ.

Сани круто повернули къ подъѣзду. Палтусовъ выскочилъ и дернулъ за звонокъ. На одной половинѣ дверей мѣдная доска была занята двумя длинными строчками съ большой короной.

Зайти сюда очень кстати. Это избавляло его отъ лишняго визита, да и когда еще попадетъ онъ въ эти края?..

Пріотворилъ дверь человѣкъ въ сюртукѣ.

— Княжна у себя?

— Пожалуйте.

Онъ впустилъ Палтусова въ маленькую, опрятную переднюю, уже освѣщенную висячей лампой.

Лакей, узнавъ его, еще разъ ему поклонился. Палтусовъ попадалъ въ давно знакомый воздухъ, какого онъ не находилъ въ новыхъ купеческихъ палатахъ. И въ передней, и въ зальцѣ съ складнымъ столомъ и роялью стоялъ особый воздухъ, отзывавшійся какими-то травами, одеколономъ, немного пылью и старой мебелью...

Онъ вошелъ въ гостиную, куда человѣкъ только-что внесъ лампу и поставилъ ее въ уголъ, на мраморную консоль. Гостиная тоже приняла его точно живое существо. Онъ не такъ давно просиживалъ здѣсь вечера за чаемъ и днемъ, часа въ два, въ часы дружескихъ визитовъ. Ничто въ ней не измѣнилось. Тѣ же цвѣты на окнахъ, два горшка у двери въ залу, зеркало съ бронзой, въ стилѣ имперіи, столъ, покрытый шитой шелками скатертью, другой — зеленымъ сукномъ, весь обложенный книгами, газетами, журналами, крохотное, письменное бюро, качающееся кресло, мебель ситцевая, мягкая, безъ дерева, какая была въ модѣ до крымской кампаніи, двѣ картины и на средней стѣнѣ въ овальной рамѣ портретъ свѣтской красавицы — въ платьѣ сороковыхъ годовъ, съ блондами и вѣнкомъ въ волосахъ. Чуть-чуть пахнетъ папиросами „maryland doux“, и запахъ этотъ подстать мебели и портрету. На окнахъ кисейныя гардины, шторы спущены. Коверъ положенъ около бюро, гдѣ два кресла стоятъ одно передъ другимъ и ждутъ двухъ мирныхъ собесѣдниковъ.

Палтусовъ потянулъ въ себя воздухъ этой комнаты, и ему стало не то грустно, не то сладко на особый манеръ.

Рѣдко онъ заѣзжалъ теперь къ своей очень дальней кузинѣ, княжнѣ Куратовой; но онъ не забываетъ ея и ему пріятно ее видѣть. Онъ очень обрадовался, что неожиданно очутился въ ея переулкѣ.

Изъ двери, позади бюро, безъ шума выглянула княжна и остановилась на порогѣ.

Ей пошелъ сороковой годъ. Она наслѣдовала отъ красавицы матери — что́ глядѣла на нее съ портрета — такую же мягкую и величавую красоту и высокій ростъ. Черты остались въ видѣ линій, но и только... Она вся потускнѣла съ годами, лицо потеряло румянецъ, нѣжность кожи, покрылось мелкими морщинами, ротъ поблекъ, лобъ обтянулся, бѣлокурыя волосы порѣдѣли. Она погнулась, хотя и держалась прямо; но станъ пошелъ въ ширину: сталъ костлявъ. Сохранились только большіе, голубые глаза и руки барскаго изящества.

Княжна ходила неизмѣнно въ черномъ послѣ смерти матери и троихъ братьевъ. Все въ ней было, чтобы нравиться и сдѣлать блестящую партію. Но она осталась въ дѣвушкахъ. Она говорила, что ей было „нѣкогда“ подумать о мужѣ. При матери, чахоточной, угасавшей медленно и томительно, она пробыла десятокъ лѣтъ на югѣ Европы. За двумя братьями тоже

не мало ходила. Теперь коротаетъ вѣкъ съ отцомъ. Состояніе съѣли, почти все, два старшихъ брата. Одинъ гвардеецъ и одинъ дипломатъ. Третій, нумизматъ и путешественникъ, умеръ въ южной Америкѣ.

Палтусовъ улыбнулся ей съ того мѣста, гдѣ стоялъ. Онъ находилъ, что княжна, въ своемъ суконномъ платьѣ съ пелериной, въ черной косынкѣ на рѣдкихъ волосахъ и строгомъ отложномъ воротникѣ, должна нравиться до сихъ поръ. Ее онъ считалъ „своимъ человѣкомъ" не по идеямъ, не по традиціямъ, а по расѣ. Расу онъ въ себѣ очень цѣнилъ и не забывалъ при случаѣ упомянуть, кому нужно, о своей „умницѣ" кузинѣ, княжнѣ Лидіи Артамоновнѣ Куратовой, прибавляя: „прекрасный остатокъ добраго стараго времени".

XXIV.

— Здравствуйте, — сказала она ему своимъ ровнымъ и низкимъ голосомъ.

Такихъ голосовъ нѣтъ у его пріятельницъ изъ купечества.

Глаза ея тоже улыбнулись.

— Давненько васъ не видно, садитесь.

Они сѣли на два ситцевыхъ кресла; княжна немного наклонила голову и потерла руки — ея обычный жестъ послѣ того, какъ ей пожмешь руку.

— Каюсь, — выговорилъ Палтусовъ полусерьезно.

Онъ любилъ немного пикироваться съ ней въ дружескомъ тонѣ. Темой, въ послѣдній годъ, служили имъ обширныя знакомства его „dans la finance“, какъ выражалась княжна.

— Гдѣ-же вы пропадаете?

— Да все дѣлишки. Я вѣдь теперь прикащикъ...

— Прикащикъ? Поздравляю...

— Это васъ огорчаетъ?

— Не очень радуетъ.

— Да почему же, chère cousine, — началъ онъ горячѣе. — Здѣсь, въ Москвѣ, надо дѣлаться купцомъ, строителемъ, банкиромъ, если папенька съ маменькой не припасли ренты.

Княжна вздохнула, повернула голову. и взяла съ своего бюро шитье, tapisserie. не оставлявшее ее, когда она бесѣдовала.

— Вы вздохнули? — спросилъ Палтусовъ.

— Не буду съ вами спорить, — степенно выговорила она: — у васъ своя теорія.

— Но вы не хотите оглянуться.

Она усмѣхнулась.

— Я ничего не вижу — это правда. Выхожу гулять на бульваръ и то въ хорошую погоду, въ церковь...

— Вотъ отъ этого!

— Послушайте, André,—она одушевилась:— развѣ въ самомъ дѣлѣ... cette finance... prend le haut du pavé?..

— Абсолютно!

— Вы не увлекаетесь?

— Нисколько.

И онъ началъ ей приводить факты... Кто хозяйничаетъ въ городѣ? Кто распоряжается бюджетомъ цѣлаго нѣмецкаго герцогства? Купцы... Они занимаютъ первыя мѣста въ городскомъ представительствѣ. Время прежнихъ Титовъ Титычей кануло. Милліонныя фирмы передаются изъ рода въ родъ. Какое громадное вліяніе въ скоромъ будущемъ! Судьба населенія въ пять, десять, тридцать тысячъ рабочихъ зависитъ отъ одного человѣка. И человѣкъ этотъ — не помѣщикъ, не титулованный баринъ, а коммерціи совѣтникъ или просто купецъ первой гильдіи, креститъ лобъ двумя перстами. А дѣти его проживаютъ въ Ниццѣ, въ Парижѣ, въ Трувиллѣ, кутятъ съ наслѣдными принцами, прикармливаютъ разныхъ упраздненныхъ князьковъ. Жены ихъ все выписываютъ не иначе какъ отъ Ворта. А дома, обстановка, картины, цѣлые музеи, виллы... Шопенъ и Шуманъ, Чайковскій и Рубинштейнъ, — все это ихъ обыкновенное menu. Тягаться съ ними нѣтъ возможности. Стоитъ побывать хоть на одномъ большомъ купеческомъ балѣ. Дошло до того, что они не только выписываютъ изъ Петербурга хоры музыкантовъ на одинъ вечеръ, но они выписываютъ блестящихъ офицеровъ, гвардейцевъ, кавалеристовъ, чуть не цѣлыми эскадронами, на ма-

зурку и котильонъ. И тѣ ѣдутъ и пляшутъ, и пьютъ шампанское, льющееся въ буфетахъ съ десяти до шести часовъ утра.

Палтусовъ весь раскраснѣлся. Картина увлекла его самого.

— Вотъ какъ! — точно про себя вымолвила княжна: — говорятъ... Я не отъ васъ перваго слышу... Какая-то здѣсь есть купчиха... Рогожина? Такъ, кажется?..

— Есть. Я бываю у нея.

— Это львица?

— Ея тятенька былъ калачникъ... да, калачникъ... А теперь къ ней всѣ ѣздятъ.

— Кто же всѣ?

— Да всѣ... Дамы изъ вашего же общества. Я въ прошломъ году танцовалъ тамъ съ madame Кузьминой, съ княжной Пронской, съ madame Ореусъ, съ Кидищевыми... Тоже общество, что у генералъ-губернатора.

— Est-elle jolie?

— На мой вкусъ нѣтъ. Умѣла поставить себя... Une dame patronesse.

— Она?

— А какъ бы вы думали?!

Княжна положила работу на колѣни.

— Однако, André, — заговорила она съ усмѣшкой: — всѣ эти ваши коммерсанты только и думаютъ о томъ, какъ бы чинъ получить... или крестикъ... Ихъ мечта... добиться дворянства... C'est connu...

— Да! кто потще славнѣе...

— Ils sont tous comme cela!

— Есть ужь и такіе, которые стали сознавать свою силу. Я знаю молодыхъ фабрикантовъ, заправляющихъ огромными дѣлами... Они не лѣзутъ въ чиновники... Кончитъ курсъ кандидатомъ... и остается купцомъ, заводчикомъ. Онъ честолюбивъ по своему.

— А въ концѣ, все-таки... il rève une décoration!

— Не всѣ! Словомъ, — это сила, и съ ней надо уже считаться.

— И вы хотите поступать къ нимъ... въ...

Слово не сходило съ губъ княжны.

— Въ обученіе, — подсказалъ Палтусовъ и немного покраснѣлъ. — Ничего больше — какъ въ обученіе!.. Надо у нихъ учиться.

— Чему же, André?

— Работѣ, сметкѣ, кузина, умѣнью производить цѣнности.

— Какой у васъ сталъ языкъ...

— Настоящій!.. Безъ экономическаго вліянія нѣтъ будущности для насъ.

— Для кого?

— Для насъ... Для людей нашего съ вами происхожденія... Если у насъ есть воспитаніе, умъ, раса, наконецъ, надо все это дисконтировать... а не дожидаться сложа руки, чтобы господа коммерсанты съѣли насъ — и съ хвостикомъ.

Лицо княжны стало еще серьезнѣе.

— Il y a du vrai... въ томъ, что вы говорите... Но чья же вина?

— Объ этомъ что же распространяться! Все, что есть лучшаго изъ мужчинъ, женщинъ... Я говорю о дворянствѣ, о самомъ видномъ, все это принесено въ жертву... Вотъ хоть бы васъ самихъ взять.

— Я очень счастлива, André!..

— Положимъ. Спорить съ вами не стану. Но теперь это къ слову пришлось. Переберите свою семейную хронику... Какая пустая трата силъ, денегъ, земли... всего, всего!..

— Не вездѣ такъ.

— Вездѣ, вездѣ!.. Я стою за породу, если въ ней есть что-нибудь, но негодую за прошлое нашего сословія... Одно спасеніе — учиться у купцовъ и сѣсть на ихъ мѣсто.

XXV.

— Рара! — обернулась княжна къ двери и привстала.

Всталъ съ своего кресла и Палтусовъ.

Въ гостиную вошелъ старичекъ, очень небольшаго роста. Его короткія ручки, лысая голова и бритое лицо, при черномъ, суконномъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ, пріятно настроивали. Щеки его съ мороза смотрѣли свѣжо; а глаза мигали и хмурились отъ свѣта лампы.

— Князь, здравствуйте... — сказалъ ему громко Палтусовъ.

Князь былъ туговатъ на одно ухо, почему

часто улыбался, когда чего-нибудь не разслышитъ. Онъ пожалъ руку Палтусова и ласково его обглядѣлъ.

Сваричку пошелъ семьдесятъ четвертый годъ. Двигался онъ довольно бодро и каждый день, какая бы ни была погода, ходилъ гулять передъ обѣдомъ по Пречистенскому бульвару.

— Bonjour, bonjour, — немного прошамкалъ онъ.

Переднихъ зубовъ онъ давно не досчитывался.

— Какъ погода? — спросила его дочь.

— Прекрасная, прекрасная погода, — повторилъ князь и сѣлъ на качающееся кресло.

— Съ бульвара? — обратился къ нему Палтусовъ.

— Мало гуляетъ въ этотъ часъ, мало, — проговорилъ князь и дѣтски улыбнулся. — Вѣтерокъ есть. Который часъ?

— Пять часовъ, papa, — отвѣтила княжна.

— Да, такъ и должно быть. Вы все ли въ добромъ здоровьѣ? — спросилъ онъ Палтусова: — давно васъ не было. Лиза, я на полчасика... Газету принесли?

— Да, papa.

— Что есть... въ депешахъ?

— Ничего особеннаго въ политикѣ. Большіе холода въ Парижѣ... бѣдствіе...

— А-а!.. Зима ихъ одолѣла. Хе, хе!. Скажите...

— Боятся, что ихъ занесетъ снѣгомъ.

— Скажите, пожалуйста!

Старичекъ зѣвнулъ, и его кругленькое, чистое личико совершенно по-дѣтски улыбнулось.

— Поди, рара...

— Я пойду...

Онъ всталъ, сдѣлалъ ножкой Палтусову, подмигнулъ еще и вышелъ скорыми шажками.

Этотъ старичекъ наводитъ на Палтусова родъ усыпленія. Когда онъ говорилъ, у Палтусова пробѣгали мурашки по затылку и по спинѣ. Точно ему кто чешетъ пятки мягкой щеткой.

— Какъ князь свѣжъ, — сказалъ тихо Палтусовъ, когда шаги старика стихли въ залѣ.

— Да, я очень довольна его здоровьемъ... особенно въ эту зиму.

— Ему который?

— Семьдесятъ три.

Палтусовъ помолчалъ.

— Кузина, ваша жизнь вся ушла на мать, на братьевъ, на отца... Ну, а послѣ его кончины?

Она сдѣлала движеніе.

— Но вѣдь это будетъ. Останетесь вы однѣ... Вы еще вонъ какая...

— André, я не люблю этой темы...

— Напрасно-съ... На что же вторая половина жизни пойдетъ? Все abnégation, да recueillement. Вѣдь это все отрицательныя величины, какъ математики называютъ.

— Я не согласна. У меня есть жизнь, вы это знаете. Маленькая по вашему. По моимъ

силамъ и правиламъ, André. Я васъ слушала сейчасъ до прихода рара, не спорила съ вами. Вы правы... въ фактахъ... Но сами-то вы слѣдите ли за собой? Простите мнѣ cette reprimande, ужь я старуха... Надо слѣдить за собой, а то легко s'embourber...

— Какія страшныя слова, кузина!

— Мнѣ кажется, это настоящее слово. По-русски вышло бы рѣзче, — прибавила она съ умной усмѣшкой. — Хотите, чтобъ я сказала вамъ мое впечатлѣніе... на счетъ васъ...

— Говорите.

— Вы ужь не тотъ, что годъ тому назадъ. У васъ были другія... d'autres aspirations... Вы начали смѣяться надъ вашимъ увлеченіемъ, надъ тѣмъ, что вы были въ Сербіи... волонтеромъ, и потомъ въ Болгаріи. Я знаю, что можно смотрѣть на все это не такъ, какъ кричали въ газетахъ... которыя стояли за славянъ. Но я васъ лично беру. Тогда я какъ-то васъ больше понимала. Вы слушали лекціи, хотѣли держать экзаменъ... Я ждала васъ на другой дорогѣ.

— Какой? — почти крикнулъ Палтусовъ и перевернулся въ креслѣ. — Въ ученые я не мѣтилъ, чиновникомъ не хочу быть — и это мнѣ надо поставить въ заслугу. Я изучаю русское общество, кузина, новые его слои... смотрю на себя, какъ на піонера.

— Піонеръ, — повторила княжна и на секунду закрыла глаза.

— Ищу живаго и выгоднаго дѣла.

— Выгоднаго, André?

— А то какъ же? Въ этомъ сила — повѣрьте мнѣ. Безъ опоры въ накопленномъ трудѣ ничего нельзя достать.

— Для себя?

— Нѣтъ-съ, не для себя, а для того же общества, для массы. для трудоваго люда. Я тоже народникъ, я, кузина, чувствую въ себѣ связь и съ мужикомъ, и съ фабричнымъ, и со всякимъ, кто потѣетъ... pardon за это неизящное слово.

— Можетъ быть... Только вы другой стали, André!.. И въ очень короткое время.

— Не мудрено... Но не говоритъ ли въ васъ задѣтое сословное чувство?

— Вы, сколько я вижу, не стыдитесь вашего происхожденія.

— Расу допускаю. Но особенно не горжусь тѣмъ, что я видѣлъ въ своей фамиліи.

— Зачѣмъ это трогать?

— Это законная жалоба, кузина... Родители передаютъ намъ наслѣдственно не запасы душевнаго здоровья, а часто одно вырожденіе.

— На то есть свобода воли, André!

— Свобода воли! А я вамъ скажу, что если кто изъ насъ въ теченіе десяти лѣтъ не свихнется, онъ долженъ смотрѣть на себя, какъ на героя!

— Все родители виноваты?

— На половину — да.

Онъ всталъ, подошелъ къ ней и нагнулъ голову.

— Пора мнѣ. Продолженіе слѣдуетъ.

— Sans rancune, André.

— Еще-бы!.. Вы вобрали въ себя всю добродѣтель нашего фобура.

— Не останетесь обѣдать?

— Нѣтъ, не могу. Званъ.

— Dans la finance?

— Къ купчихѣ на сверхъестественную привозную рыбу... barbue. Въ Москвѣ-то!

— Bon appetit!

Онъ поцѣловалъ у нея руку.

XXVI.

Поздно раскрылъ глаза Палтусовъ. Купеческій обѣдъ съ выписной рыбой „barbue" затянулся. Было выпито много разныхъ крюшоновъ и ликеровъ. Онъ это не очень любилъ. Но отказываться отъ обѣдовъ, ужиновъ и даже попоекъ ему уже нельзя. Онъ скоро распозналъ, что за исключеніемъ двухъ-трехъ домовъ построже, въ родѣ дома Нѣтовыхъ, все держится „за компанію", въ широкомъ, московскомъ значеніи этого слова. Безъ пріятелей, питья брудершафтовъ, безъ „голубчика" и „мамочки" никогда не войдешь въ нутро колоссальной машины, выкидывающей рубли, акціи, тюки хлопка, штуки „пунцоваго" товара. Художе-

ственныя стороны натуры Палтусова помогали ему... Онъ часто забавлялся про себя. Каждый день заводились у него новыя связи. Ему ничего не стоило, безъ всякаго ущерба своему достоинству, подойти къ тону любаго „обывателя". И никто, какъ думалось ему, не понималъ его. Иной, быть можетъ, считалъ за пройдоху, за „стрекулиста"; но ни у кого не хватало ума и чутья, чтобы опредѣлить то, что онъ считалъ своимъ „міровоззрѣніемъ".

Сторы были спущены въ его спальнѣ. Онъ еще жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, но за квартиру далъ задатокъ, переберется въ концѣ января. Ему жаль будетъ этихъ номеровъ. Здѣсь онъ чувствовалъ себя свободно, молодо, точно какой пріѣзжій, успѣшно хлопочущій по отысканію наслѣдства. Номерная жизнь напоминаетъ ему и военную службу, и время слушанія лекцій, и заграничныя поѣздки.

Номера, гдѣ онъ жилъ, считались дорогими и порядочными. Но нравы въ нихъ держались такіе же, какъ и во всѣхъ прочихъ. Стояли тутъ около него двѣ иностранки, принимавшія гостей... во всякое время. Обѣ нанимали помѣсячно нарядныя квартирки. Жило три помѣщичьихъ семейства, водилась картежная игра, останавливались заграничные нѣмцы, изъ комми-вояжеровъ. Но подъѣздъ и лѣстница, лизрея швейцара и половики держались въ чистотѣ, не пахло кухней, лакеи ходили во фракахъ, сливки къ кофе давали не прокислые.

Умывшись, Палтусовъ, въ свѣтло-сѣромъ сюртукѣ съ голубымъ кантомъ, перешелъ въ другую комнату, отдѣланную гостиной, и позвонилъ.

Корридорный служилъ ему отлично. Онъ получалъ отъ него по пяти рублей. То-и-дѣло Спиридонъ — такъ звали его — сообщалъ ему разныя новости о квартиранткахъ.

И на этотъ разъ, подавая кофе, онъ со степеннѣйшей миной своего усатаго, сухаго лица доложилъ:

— Изъ Петербурга есть пріѣзжій товаръ.

— Какой?

— Француженка.

— Дорого?

— Не объявляла еще.

Палтусовъ подумалъ, по уходѣ Спиридона, о своемъ вчерашнемъ разговорѣ съ княжной Куратовой. Его слегка защемило. Ея гостиная дышала честностью и достоинствомъ не напускнымъ, а настоящимъ. Неужели она вѣрно угадала — и онъ уже подернулся пленкой? А какъ же иначе? Безъ этого нельзя. Но жизнь на его сторонѣ. Тамъ, — усыпальница, катакомбы. Но отчего же княжна такъ симпатична? Онъ чувствуетъ въ ней женщину больше, чѣмъ въ своихъ пріятельницахъ „dans la finance".

Палтусовъ засидѣлся за кофеемъ. Перебралъ онъ въ головѣ всѣхъ женщинъ прошлой зимы и этого сезона. Ни одна не заставила его ни разу забыться, не дрогнулъ въ немъ ни одинъ

нервъ. Зато и притворяться онъ не хотѣлъ. Это ниже его. Онъ не Никита Долгушинъ. Но вѣдь онъ молодъ, никогда не тратилъ силъ зря, чувствуетъ онъ въ себѣ и артистическую жилку. Не очень ли ужь онъ слѣдитъ за собой? Надо же „поиграть" немного. Долго не выдержишь.

Двѣ женщины смотрѣли на него изъ рамокъ толстаго альбома: Анна Серафимовна... Марья Орестовна. Въ сущности ни та, ни другая — не его типъ. Съ Нѣтовой у него въ послѣднія шесть недѣль гораздо больше пріятельства. Но она собирается за-границу. Кажется, ей хотѣлось, чтобъ и онъ поѣхалъ. Съ какой стати? Въ этой женщинѣ есть что-то для него почти противное. Никогда она не вызоветъ въ немъ ни малѣйшихъ желаній. Хоть и надѣваетъ чулки по двадцати рублей пара. Все равно — она поручаетъ ему свои дѣла. Анну Серафимовну онъ не видѣлъ больше мѣсяца. Это — своеобразная фигура! Прекрасно сложена. У ней должна найтись „страсть" и смѣлость. Но такія женщины опасны.

Палтусовъ, одѣваясь, распредѣлялъ обыкновенно свой день. Онъ вспомнилъ про Долгушина, про разговоръ съ генераломъ, разсмѣялся и рѣшилъ, что заѣдетъ къ этому старику, Куломзову.

„Не однихъ купцовъ-милліонщиковъ, и баръ надо знать „поименно", разсудилъ онъ.

Сани ждали его у подъѣзда.

XXVII.

День держался яркій, съ небольшимъ морозомъ. Ѣзда на улицахъ, по случаю праздника, началась съ ранняго утра. Въ четверть часа докатилъ Палтусовъ до церкви Успенья на могильцахъ. Въ этомъ приходѣ значился домъ гвардіи корнета Евграфа Павловича Куломзова.

Городоваго ни въ будкѣ, ни на перекресткѣ не оказалось. Въ мелочной лавочкѣ кучеру Палтусова указали на свѣтло-палевый штукатуренный домъ съ мезониномъ и стеклянной галлереей, выходившей на дворъ.

— Къ которому подъѣзду прикажете? — спросилъ кучеръ у Палтусова.

Ихъ было два.

— Одинъ заколоченъ, — разглядѣлъ Палтусовъ.

Сани подъѣхали къ первому, рядомъ съ воротами.

Долго звонилъ Палтусовъ. Онъ уже заносилъ ноту обратно въ сани, когда дверь съ шумомъ отворилась.

— Евграфъ Павловичъ? — увѣренно спросилъ Палтусовъ у стараго лакея въ картузѣ съ позументомъ.

Тотъ помолчалъ и не сразу впустилъ гостя въ длинный свѣтлый ходъ, весь расписанный фресками. Направо и налѣво стояли вѣшалки.

— Какъ объ васъ доложить?

Палтусовъ далъ карточку. Старикъ пошелъ медленной походкой. Галлерея стояла не топленой. Въ глубинѣ ея, на площадкѣ, куда вели пять ступеней, виднѣлся каминъ съ зеркаломъ и боковая стѣна, расписанная деревьями и цвѣтами.

Пришлось подождать.

— Пожалуйте, — раздался дряблый голосъ старика. — Пожалуйте сюда. Тамъ холодно будетъ раздѣваться.

Онъ взбѣжалъ по ступенькамъ и взялъ вправо. Темная комната, — родъ пріемной, гдѣ онъ со свѣту ничего не разобралъ, — показалась ему, когда онъ скинулъ пальто, немного теплѣе галлереи.

— Наверхъ-съ, — повелъ его слуга: — въ мезонинъ пожалуйте.

Лѣстница съ деревянными перилами, выкрашенными подъ букъ, скрипѣла. По ступенькамъ лежалъ половикъ на мѣдныхъ прутьяхъ. Какъ только началъ Палтусовъ подниматься, сверху раздался сначала жидкій лай двухъ собачекъ, а потомъ глухое рычанье водолаза или датскаго дога.

„Да я въ звѣринецъ попалъ“, весело думалъ Палтусовъ, идя за слугой.

На площадку свѣтъ выходилъ изъ полуотворенной двери налѣво. Выскочилъ желтый, громадный песъ сенъ-бернардской породы, остановился въ дверяхъ и отрывисто залаялъ.

— Не бойтесь, — сказалъ старикъ: — Нерошка, тубо!.. Онъ не кинется.

Жидкій лай продолжался, но въ комнатѣ.

— Пожалуйте-съ.

Палтусовъ попалъ въ высокую комнату, свѣтлозеленую, окнами на улицу. Одну стѣну занимала большая клѣтка, раздѣленная на отдѣленія. Въ одномъ прыгали двѣ крохотныя обезьянки, въ другомъ щелкала бѣлка, въ просторной половинѣ скакали разноцвѣтныя птички. Онъ сейчасъ же замѣтилъ зеленыхъ попугайчиковъ съ красными головками.

Къ нему подбѣжали двѣ собачки, кингъчарльсъ, глазастыя, обросшія, черныя съ желтыми подпалинами, рѣдкой красоты. Пальцы лапъ у нихъ тоже обросли точно у голубей. Бѣгали онѣ, виляя задомъ и топчась на мѣстѣ. Лаять и та и другая перестали и замахали хвостомъ.

Въ лѣвомъ углу, въ ярко отчищенной круглой клѣткѣ сидѣлъ бѣлый какаду и покачивался.

„Звѣринецъ и есть“, подтвердилъ Палтусовъ и бросилъ взглядъ на остальное убранство комнаты. Мебель вся была соломенная, узорчатая. Стоялъ еще акварій. Цвѣты и горшки съ растеніями придавали ей оживленіе. Свѣтъ игралъ на всевозможныхъ оттѣнкахъ зеленой краски.

Когда Палтусовъ вошелъ — все немного притихло. Потомъ опять защелкало, запрыгало

и защебетало. Съ лѣвой стѣны отъ входа торчали оленьи рога и надъ шкапомъ съ чучелами выглядывала голова скелета какой-то большой птицы.

Эта гостиная заинтересовала его. Онъ съ любопытствомъ ждалъ выхода хозяина изъ узенькой двери, оклеенной также обоями, еле замѣтной между двумя горшками растеній. Собаки обнюхивали гостя. Сенъ-бернаръ поглядѣлъ на него грустными и простоватыми глазами и легъ подъ тростниковый столъ, на шкуру бѣлаго медвѣдя.

„Гдѣ же драгоцѣнности"? спросилъ себя Палтусовъ, вспомнивъ хриплую болтовню Долгушина. „Все-то вралъ курьезный дяденька, все-то вралъ".

Дверка скрипнула Палтусовъ выпрямился. Какаду крикнулъ. Собачки побѣжали къ хозяину.

XXVIII.

Къ Палтусову вышелъ скорыми шажками сухой старикъ въ туфляхъ и короткомъ свѣтломъ шлафрокѣ, выше средняго роста, бритый. Острый носъ и узкій овалъ лица моложавили его. Круглая голова блестѣла отъ припомаженнаго, рыжеватаго паричка съ хохломъ, какіе носили въ тридцатыхъ годахъ. Подъ носомъ торчали усы точно два кусочка подстриженной

и подкрашенной шерсти. Щеки сохранили неестественный румянецъ. Во всей наружности и въ домашнемъ туалетѣ хозяина проглядывала старомодная франтоватость холостяка. Палтусовъ успѣлъ разглядѣть, что онъ притираетъ щеки. Когда хозяинъ раскрылъ свой морщинистый ротъ съ блѣдными и тонкими губами, двѣ новыхъ челюсти такъ и заблистали. Держался онъ, слегка нагнувшись впередъ.

— Чѣмъ могу быть къ услугамъ вашимъ?— встрѣтилъ онъ гостя и, протягивая руки, любезно указалъ на одно изъ соломенныхъ креселъ.

Палтусовъ сѣлъ.

Хозяинъ вертѣлъ въ рукѣ его карточку.

— Палтусовъ, Андрей Дмитріевичъ, — твердо выговорилъ онъ. — Фамилія мнѣ очень знакома. Я служилъ въ колоновожатыхъ... съ однимъ Палтусовымъ... имя, отчество позабылъ.

— Это былъ, вѣроятно, Ѳедоръ Ильичъ — братъ отца — мой родной дядя.

— Весьма пріятно... Фамилія извѣстна... чѣмъ могу?.. — спросилъ опять хозяинъ и пристально поглядѣлъ на гостя.

— Евграфъ Павловичъ, — началъ Палтусовъ: — вы извините, если я скажу вамъ сразу, что мой визитъ кажется мнѣ самому... курьезнымъ...

— Какъ это? Не совсѣмъ понимаю, молодой человѣкъ.

Собачки влѣзли старику на колѣни, большой песъ легъ у ногъ.

— Видите ли, я взялся исполнить порученіе... одного вашего родственника. А мнѣ не хотѣлось бы безпокоить васъ. Я очень радъ съ вами познакомиться... Мнѣ такъ много говорили про васъ и вашъ домъ. Старая Москва уходитъ, надо пользоваться...

Куломзовъ усмѣхнулся.

— Вы опоздали, — сказалъ онъ: — у меня дѣйствительно были разныя вещи... картины, бронза... фарфоръ... Сорокъ лѣтъ собиралъ... для себя; но теперь ничего нѣтъ.

— Продали?

— Нѣтъ, Боже избави... Но здѣсь не держу. Въ деревню перевезъ все до послѣдней вазочки и заколотилъ низъ... Не топлю. И мебели тамъ нѣтъ никакой.

— Живете въ мезонинѣ?

— Въ трехъ комнатахъ. Вотъ это моя менажерія, люблю птицъ и всякихъ звѣрей... Тамъ мой кабинетъ. Половину книгъ оставилъ. Спальня... ванная... и все. Кухни не держу. Иногда въ клубѣ... рѣдко... а то гдѣ придется... въ кабачкѣ... въ Эрмитажѣ... въ Англіи у Дюссо.

„Книжки читаетъ“, отмѣчалъ про себя Палтусовъ.

— И круглый годъ въ Москвѣ?

— Въ деревню не ѣзжу... Что тамъ дѣлать?... Съ мужичками не спорю... вездѣ сдалъ землю... Имъ хорошо. За-границу ѣзжалъ... еще не такъ давно. Я вамъ, молодой

человѣкъ, не предлагаю курить... самъ не курю...

— Я не такой страстный курильщикъ.

— Такъ вы изволили упомянуть о родственникахъ моихъ. Кто это, любопытно? У меня нѣтъ никого.

„Каковъ генералъ!“ подумалъ Палтусовъ.

— Вотъ видите, Евграфъ Павловичъ, какъ я попался. А меня увѣрялъ Валентинъ Валентиновичъ Долгушинъ...

— А! вотъ что! Валентинъ! Понимаю...

И онъ улыбнулся.

— Вы его знаете?

— Какъ не знать!.. Онъ выдаетъ свою жену за мою прямую наслѣдницу. Весьма сожалѣю, молодой человѣкъ, что вы вдались въ этотъ... обманъ... Не занималъ ли онъ у васъ?

— Богъ миловалъ!

Они оба разсмѣялись.

— Именно... У меня была тутъ цѣлая исторія. Это — отпѣтый человѣкъ. И такими-то теперь полна Москва. Прожились, изолгались, того гляди, очутятся въ этихъ... какъ ихъ теперь называютъ?

— Въ червонныхъ валетахъ — подсказалъ Палтусовъ.

— Такъ, такъ... въ червонныхъ валетахъ... Вы понимаете...съ вами можно говорить.. Ну, куда, ну куда? — прикрикнулъ старикъ на одну изъ собачекъ, которая лѣзла къ нему на грудь и хотѣла лизнуть его прямо въ лицо.

Тутъ, Жолька, лежи... Вотъ, — обратился онъ къ гостю: — какая ласковая у меня собачурка. Изъ Испаніи самъ вывезъ, здѣсь нѣтъ такой чистой породы. Съ собаками и умирать буду. Былъ такой нѣмецкій философъ... какъ бишь его?.. вы должны знать... на фамиліи плохъ сталъ... Я французскія извлеченія читалъ изъ его мыслей... Онъ смотрѣль на жизнь здраво. Съ нами вѣдь природа шутки шутитъ. Мы своей воли не имѣемъ... бьемся, любимъ... любовь къ женщинѣ... это природа приказываетъ... воля... la volonté... Онъ это по своему объясняетъ...

— Не Шопенгауэръ ли? — спросилъ Палтусовъ.

— Именно! Онъ, онъ! И біографія его. Вотъ какъ я же... холостякомъ жилъ... У меня и книжки есть... хотите взглянуть?.. — Вотъ онъ и сказалъ, что умирать надо съ собаками. Я вамъ покажу... Не хотите ли перейти въ кабинетъ?.. Здѣсь свѣжо...

Онъ всталъ, спустилъ на полъ собачекъ и растворилъ дверку, приглашая рукой гостя.

XXIX.

Вторая комната, такихъ же размѣровъ, съ бѣлыми обоями, заставленная двумя шкафами краснаго дерева и стариннымъ бюро, съ металлическими инкрустаціями, смотрѣла гораздо скучнѣе. Направо, на каминѣ часы и канделябры желтой мѣди сейчасъ же бросились въ

глаза Палтусову своей изящной работой. Кромѣ нѣсколькихъ стульевъ и креселъ и двухъ гравюръ въ деревянныхъ рамахъ, въ кабинетѣ ничего не было.

— Вотъ въ этой книжкѣ...

Хозяинъ отыскалъ на бюро томъ въ желтой оберткѣ и подалъ Палтусову.

— Статья о Шопенгауэрѣ...

— Да, умный нѣмецъ...И своихъ колбасниковъ честилъ...Писать не умѣютъ... говорилъ. Это совершенно вѣрно, глаголъ подъ конецъ страницы. Есть ли смыслъ человѣческій?.. Что жь вы не сядете, чѣмъ могу?

„Память-то отшибло у него", подумалъ Палтусовъ и поглядѣлъ еще разъ на часть стѣны, ничѣмъ не занятую.

Его зоркій глазъ отличилъ отъ обоевъ закрашенную полосу, дырочку для ключа и темныя полоски съ трехъ сторонъ. Это былъ вдѣланный въ стѣну несгораемый шкафъ. Онъ отвелъ глаза, чтобы старикъ не замѣтилъ.

— Я не стану васъ безпокоить, — заговорилъ онъ весело и почтительно. — На генерала Долгушина я смотрю, какъ онъ этого заслуживаетъ. Но онъ мой родственникъ. Очень ужь присталъ ко мнѣ... и все обижается, когда ему скажешь, что лучше бы онъ выпросилъ себѣ мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ.

— Что́, что́ такое? Надзирателя? Онъ и на это не способенъ.

— Ваша правда!

Они опять посмѣялись. Старику нравился гость.

„А вѣдь ты ростовщикъ!“ вдругъ спросилъ про себя Палтусовъ и поглядѣлъ попристальнѣе на ротъ и зеленоватые тусклые глаза гвардіи корнета.

„Ростовщикъ на десятки тысячъ“, прибавилъ онъ.

Знакомству съ нимъ онъ порадовался на всякій случай.

— Никакихъ у меня наслѣдниковъ здѣсь нѣтъ, — началъ Куломзовъ: — очень пріятно было познакомиться.— Молодыхъ людей... какъ вы... люблю... Но генералъ напрасно безпокоится. Впрочемъ — бѣдность не свой братъ.

Онъ вздохнулъ.

— Жаль не его, — сказалъ Палтусовъ: — жена безъ ногъ, въ параличѣ... старуху-тещу онъ обобралъ... дочь — милая... дѣвица.

— Чего жалѣть? Сами виноваты... У меня здѣсь есть не мало старухъ... моихъ невѣстъ... хе, хе! охаютъ, жалуются... клянутъ теперешнее время... Дуры вы — я имъ говорю, когда къ нимъ заѣду: — вы — дуры, а время хорошее... Земля та же, ее не отняли. До эмансипаціи, — онъ произносилъ это слово въ носъ, — десятина въ моихъ мѣстахъ — пятьдесятъ рублей была, а теперь она сто и сто десять. Аренда... вдвое выше... Я ничего не потерялъ! Ни одного вершка. А доходы больше.

Хозяйство я бросилъ... Зато рента стала вдвое — втрое. И кто же виноватъ? Скажите на милость. Транжирятъ, транжирятъ... и все на вздоръ Жалости подобно. Только я не жалѣю никого... Не стоитъ, молодой человѣкъ, не стоитъ. Чего же удивляться, что дворянство теперь — нуль... такъ что-то... неодушевленное... ха, ха! Вотъ мретъ много народу. Это производитъ эффектъ... Ѣдешь такъ по Поварской, по бульвару... Тутъ въ этомъ домѣ всѣ вымерли, въ другомъ, въ третьемъ... Цѣлые переулки есть выморочные. Никого изъ моихъ-то сверстниковъ Тоскливо бываетъ... хоть и знаешь, что пора ложиться... туда... А все непріятно... Только этого и жаль. А что всѣ прожились... и пускай! Не то что въ надзиратели, будутъ и въ городовыхъ, въ извощикахъ, въ трубочистахъ, а то въ жулькахъ... въ этихъ... валетахъ... Хе, хе!..

Онъ долго смѣялся. Пора было Палтусову и откланяться.

— Жалѣю, — сказалъ онъ, поднимаясь: — что не могъ полюбоваться вашими коллекціями.

— Забито... въ ящикахъ... И деревеньку выбралъ глухую. Воровство большое. И отъ жидковъ отбою не было... все это они знаютъ, и точно въ лавочку какую бѣгали. Очень радъ... Съ племянникомъ сослуживца... Я всегда по утрамъ... милости прошу...

Собачки и желтый песъ проводили Палтусова до лѣстницы.

„Что же это“, кольнуло его, „а за Тасю-то бѣдную хоть бы слово сказалъ потеплѣе. Ну да все равно, ничего бы не далъ. А если онъ вретъ и генеральша — наслѣдница, нечего безпокоиться“.

Въ теченіе зимы онъ завернулъ еще къ этому подрумяненному читателю Шопенгауэра.

„Шопенгауэръ куда залетѣлъ! Москва! Другой нѣтъ!“

Палтусовъ былъ доволенъ этимъ визитомъ, хотя и назвалъ его „отмѣнно глупымъ“.

Слугѣ въ галунномъ картузѣ онъ далъ почему-то рубль.

XXX.

Завтракать заѣхалъ Палтусовъ къ Тѣстову; ѣсть ему все еще не хотѣлось со вчерашней ѣды и питья. Онъ наскоро закусилъ. Сходя съ крыльца, онъ прищурился на свѣтъ и хотѣлъ уже садиться въ сани.

— Куда вы? — крикнули ему сзади.

— Пирожковъ!

Иванъ Алексѣевичъ, въ неизмѣнной высокой шляпѣ и аккуратно застегнутомъ мерлушковомъ пальто, улыбался во весь ротъ. Очки его блестѣли на солнцѣ. Мягкія, бѣлыя щеки розовѣли отъ пріятнаго морозца.

— Со мной! не пущу, — заговорилъ онъ, и взялъ Палтусова по привычкѣ за пуговицу.

— Куда?

— Несчастный! Какъ куда? Да какой сегодня день?

— Не знаю право,— заторопился Палтусовъ, обрадованный, впрочемъ, этой встрѣчей.

— Хорошъ любитель просвѣщенія. Татьянинъ день, батюшка! Двѣнадцатое!

— Совсѣмъ забылъ.

Палтусовъ даже смутился.

— Вотъ оно что значитъ съ коммерсантами-то пребывать. Университетскую угодницу забылъ.

— Забылъ!..

— Ну ничего, во-время захватимъ. Ѣдемъ на Моховую. Мы какъ-разъ попадемъ къ началу акта, и мѣсто получше займемъ. А то эта зала предательская — ничего не слышно.

— Какъ же это?

Палтусовъ наморщилъ лобъ. Ему надо было побывать въ двухъ мѣстахъ. Ну, да для университетскаго праздника можно ихъ и по́-боку.

— Везите меня, нечего тутъ. Дѣло мытаря надо сегодня бросить.

Съ этими словами Пирожковъ садился первый въ сани.

Они поѣхали въ университетъ. Дорогой перемолвились о Долгушиныхъ, о Тасѣ, пожалѣли ее, рѣшили, что надо ее познакомить съ Грушевой и слѣдить за тѣмъ, какъ пойдетъ ученье.

— Баба-ёра,— сказалъ весело Пирожковъ.— Въ ней всѣ семь смертныхъ грѣховъ сидятъ.

Разсказалъ ему Палтусовъ о порученіи ге-

нерала. Они много смѣялись и съ хохотомъ въѣхали во дворъ стараго университета. Палтусовъ оглянулъ рядъ экипажей, карету архіерея съ форейторомъ въ мѣховой шапкѣ и синемъ кафтанѣ и ему стало жаль своего ученья, цѣлыхъ трехъ лѣтъ хожденія на лекціи. И онъ могъ бы быть теперь кандидатомъ. Пошелъ бы по другой дорогѣ, стремился бы не къ тому, къ чему его влекутъ теперь „Китай-городъ" и его обыватели.

— Alma mater! — шутливо сказалъ Пирожковъ, слѣзая съ саней, но въ голосѣ его какая-то нота дрогнула.

— Здравствуй, Леонтій, — поздоровался Палтусовъ со сторожемъ въ темномъ проходѣ, гдѣ ихъ шаги зазвенѣли по чугуннымъ плитамъ.

Пальто свое они оставили не тутъ, а наверху, гдѣ въ передней толпился уже народъ. Палтусовъ поздоровался и со швейцаромъ, сухимъ старикомъ, неизмѣннымъ и подъ парадной перевязью на синей ливреѣ. И швейцаръ тронулъ его. Онъ никогда не чувствовалъ себя, какъ въ этотъ разъ, въ стѣнахъ университета. Въ первой залѣ — они прошли чрезъ библіотеку — лежали шинели званыхъ гостей. Мимо проходили синіе мундиры, генеральскіе лампасы мелькали въ перемежку съ бѣлыми рейтузами штатскихъ генераловъ. Въ амбразурѣ окна приземистый господинъ, съ длинными волосами, весь ушедшій въ шитый воротникъ, съ Владиміромъ на шеѣ, громко спорилъ съ

худымъ, испитымъ юношей во фракѣ. Старое бритое лицо „суба“ показалось изъ дверей; и оно напомнило Палтусову разныя сцены въ аудиторіяхъ, сходки, волненія.

Пирожковъ шелъ съ нимъ подъ руку и то-и-дѣло раскланивался. Они провели какихъ-то пріѣзжихъ дамъ и съ трудомъ протискали ихъ къ кресламъ. Полукруглая колоннада вся усыпана была головами студентовъ. Сквозь зелень блестѣли золотыя цифры и слова на темномъ бархатѣ. Было много дамъ. На всѣхъ лицахъ Палтусовъ читалъ то особенное выраженіе домашняго праздника не шумно-веселаго, но чистаго, такого, безъ котораго тяжело было бы дышать въ этой Москвѣ. Шептали тамъ и сямъ, что отчетъ будетъ читать самъ ректоръ, что онъ скажетъ въ началѣ и въ концѣ то, чего всѣ ждали. Будутъ рукоплесканія... Пора, молъ, давно пора, университету заявить свои права...

Пропѣли гимнъ. Началось чтеніе какой-то профессорской рѣчи. Ее плохо было слышно, да и мало интересовались ею... Но вотъ и отчетъ... Все смолкло... Слабый голосъ разлетается въ залѣ; но ни одно „хорошее“ слово не пропало даромъ... Ихъ подхватывали рукоплесканія. Палтусовъ переглянулся съ Пирожковымъ, и оба они бьютъ въ ладоши, подняли руки, кричатъ... Обоимъ было ужасно весело. Кругомъ Палтусовъ не видитъ знакомыхъ лицъ между студентами; но онъ сливается съ ними...

Ему очень хорошо!.. Забылъ онъ про банки, конторы, Никольскую, амбары, своего патрона, своихъ купчихъ.

Вонъ сидитъ Нѣтова... И рядомъ хмурое лицо ея мужа. Онъ не подойдетъ къ нимъ. Онъ отъ нихъ за тысячи верстъ. Здѣсь чувствуетъ онъ, какъ ему съ ними тошно... Иванъ Алексѣевичъ подзадориваетъ его своей усмѣшкой, умными глазами, своимъ брюшкомъ; въ немъ есть что-то тонкое, культурное, доброе, чуждое всякихъ гешефтовъ.

„Гешефтъ“ — слово пронизало мозгъ Палтусова.

Опять рукоплещутъ. Еще сильнѣе. Онъ не слыхалъ за что, да развѣ это не все равно!

Всѣ смѣшались. Глаза у всѣхъ блестятъ. Онъ пожимаетъ руку постороннимъ.

— Ловко! Молодецъ! — кричатъ кругомъ его студенты.

Лица дѣвушекъ — есть совсѣмъ юныя — рдѣютъ... И онѣ стоятъ за дорогія вольности университета. И онѣ знаютъ, кто врагъ и кто другъ этихъ старыхъ, честныхъ и выносливыхъ стѣнъ, гдѣ учатъ одной только правдѣ, гдѣ знаютъ заботу, но не о хлѣбѣ единомъ.

— Куда вы? — спросилъ Пирожкова какой-то рыжій парень въ большихъ сапогахъ.— Неужто въ Благородку? Валите съ нами.

— Въ Эрмитажъ?

— Да.

— Ѣдемъ? — подмигнулъ Палтусову Пи-

рожковъ. — Вѣдь ужь сегодня путь одинъ — изъ Эрмитажа въ Стрѣльну.

Палтусовъ кивнулъ головой и молодо такъ оглянулъ, еще разъ, туго пустѣющую залу, каѳедру, портреты и золотыя цыфры на темномъ бархатѣ.

XXXI.

Извозчичья пара, взятая у купеческаго клуба, лихо летѣла къ Тріумфальнымъ воротамъ. Сани съ красной обивкой такъ и ныряли въ ухабы Тверской-Ямской. Мелкій снѣжокъ заволакивалъ свѣтъ поднимающейся луны. Палтусовъ и Пирожковъ, прихвативъ съ собой знакомаго учителя словесности изъ малороссовъ, ѣхали въ Стрѣльну. У нихъ стоялъ еще въ ушахъ звонъ, гамъ и ревъ отъ обѣда въ Эрмитажѣ. Они попали въ самую молодую компанію. На двѣ трети были студенты. Чуть не съ супа начались рѣчи, тосты, пожеланія. И безъ шампанскаго чокались и пили „здравицы" чѣмъ попало: краснымъ виномъ, хересомъ, а потомъ и пивомъ. „Gaudeamus" только въ началѣ пѣлась въ унисонъ. Перешли къ русскимъ пѣснямъ. Тутъ уже все смѣшалось, повскакало съ мѣстъ. Нельзя уже было ничего разобрать. Пошла депутація въ сосѣднюю комнату, гдѣ обѣдало нѣсколько профессоровъ. Привели двоихъ — одного бѣлокураго, въ оч-

кахъ, худощаваго, другаго, брюнета, очень еще молодаго, но непомѣрно толстаго. Обоихъ стали качать съ азартомъ, подбрасывая ихъ на воздухѣ. Толстякъ хохоталъ, взвизгивалъ, поднимался надъ головами точно перина и просилъ пощады. Товарищъ его выносилъ качаніе стоически. И Палтусовъ съ Пирожковымъ принимали участіе въ этомъ варварскомъ, но веселомъ чествованіи. До трехъ разъ принимались качать. Притащили еще двухъ профессоровъ, просили ихъ сказать нѣсколько словъ, ставили имъ вопросы, цѣловались, говорили имъ „ты", изливались, жаловались. Становилось тяжко. Въ корридорѣ вышелъ крупный споръ съ прислугой... Пора было и на воздухъ.

— Какъ вы господа? — спрашиваетъ ихъ учитель, когда они выѣхали на шоссе,— очень шумитъ въ головѣ?

— У меня нѣтъ... даже досадно, — откликнулся Палтусовъ.

— Наверстаемъ въ Стрѣльнѣ, — сказалъ Пирожковъ. — Тамъ полутрезвымъ оставаться нельзя, противно традиціи.

— Restauratio est mater studiosorum! — разсмѣялся учитель. — Его маленькіе хохлацкіе глаза искрились и слезились противъ вѣтра.— Автомедонъ, пошелъ! — крикнулъ онъ извозчику. — Pereat классическій обскурантизмъ!

— Браво, филологъ! — откликнулся Палтусовъ.

Въ головѣ его дѣйствительно не очень еще

сильно шумѣло; хоть за обѣдомъ онъ пилъ брудершафтъ съ цѣлымъ десяткомъ неизвѣстныхъ ему юношей. Одинъ отвелъ его въ уголъ, за колонну — обѣдали въ новой бѣлой залѣ — и спросилъ его:

— Совѣсть не потерялъ еще? Въ принципъ вѣришь?

Это была фраза опьянѣвшаго студента; но Палтусова она задѣла; онъ началъ увѣрять студента, что для него выше всего связь съ университетомъ, что онъ никогда не забудетъ этой связи, что судить можно человѣка по результатамъ, а время подлое — надо заручиться силой.

— Подлое время! Это ты правильно! — прокричалъ студентъ, и глаза его сразу посоловѣли. Онъ навалился обѣими руками на плечи Палтусова и вдругъ крикнулъ: — А ты кто такой, могу ли я съ тобой разговаривать? Или ты соглядатай?

Его пришлось отвести освѣжиться. Но это пьяное a parte всю дорогу щекотало Палтусова. Есть, видно, въ молодой честности что-то такое, отчего мурашки пробѣгаютъ и вспыхиваютъ щеки, даже и тогда, когда много выпито, точно отъ внезапнаго „memento mori“.

Пара неслась. Становилось все ярче. Мелькали, всѣ въ инеѣ, деревья шоссе. Вотъ и Яръ, весь освѣщенный, съ своей бесѣдкой и террасой, укутанными въ снѣгъ.

— Хочется напиться... до зеленаго змія! — крикнулъ учитель.

— Тамъ отъ одного воздуха опьянѣешь! — подхватилъ Пирожковъ.

Захотѣлось напиться и Палтусову; за обѣдомъ это ему не удалось. Но не затѣмъ ли, чтобъ не шевелить въ душѣ никакихъ лишнихъ вопросовъ? Когда хмѣль вступитъ въ свои права, легко и сладко со всѣми цѣловаться, и съ чистымъ юношей, и съ пройдохой-адвокатомъ, и съ ожирѣлымъ клубнымъ игрокомъ, съ кѣмъ хочешь! Не разбираешь: кто былъ студентомъ, кто нѣтъ.

Извозчикъ ухнулъ. Сани влетѣли на дворъ Стрѣльны, а за ними еще двѣ тройки. Вылѣзали всѣ шумно, переговаривались съ извозчиками, давали имъ на чай. Кого-то вели... Двое лепетали какую-то шансонетку. Сѣни приняли ихъ точно передбанникъ... Не хватало номеровъ вѣшать платье. Изъ залы и корридора лился цѣлый каскадъ хаотическихъ звуковъ: говоръ, пѣніе, бряцанье гитары, смѣхъ, чмоканье, гулъ, визгъ женскихъ голосовъ...

— Татьянушка! Выноси, святая угодница! — гаркнулъ кто-то въ дверяхъ.

XXXII.

Учителя словесности сейчасъ же подхватили двое пирующихъ и увлекли въ корридоръ, въ

отдѣльный кабинетъ. Палтусовъ и Пирожковъ вошли въ общую залу. По ней плавали волны табаку и пряныхъ спиртныхъ испареній жженки. Этотъ ароматъ покрывалъ собою всѣ остальные запахи. Лица, фигуры, туалеты, мужскія бороды, платья арфистокъ — все сливалось въ дымчатую, угарную, колышущуюся массу. За всѣми столиками пили; посрединѣ коренастый господинъ съ калмыцкимъ лицомъ, въ разстегнутомъ жилетѣ и во фракѣ, плясалъ; нѣсколько человѣкъ, взявшись за руки ходили, пошатываясь, обнимались и чмокали другъ друга. Красивый и точно восковой брюнетъ сидѣлъ съ арфисткой въ пестрой юбкѣ и шитой рубашкѣ, жалъ ей руки и тоже лѣзъ цѣловаться.

— A!.. Quelle chance!.. — встрѣтилъ Палтусова около двери въ боковую комнату братъ Марьи Орестовны, Nicolas Леденьщиковъ, во фракѣ и *бѣломъ* жилетѣ, по новой модѣ, и съ какой-то не-русской орденской ленточкой въ петлицѣ.

Палтусову очень не по вкусу пришлась эта встрѣча. Леденьщиковъ былъ на-веселѣ, закатывалъ глаза, подгибалъ колѣни и съ пренебрежительной усмѣшкой оглядывалъ залу.

— Одинъ? — спросилъ его Палтусовъ и шепнулъ Пирожкову: — уведите меня.

— Non, мы здѣсь... у цыганъ... Allons... Я васъ представлю... Здѣсь кабакъ...

— А вы бывшій студентъ? — съ своей характеристической улыбочкой освѣдомился Пирожковъ.

— Какой вопросъ!—обидѣлся Леденьщиковъ и оглядѣлъ Пирожкова.

— Знаете что, — сказалъ ему Палтусовъ, — вы ужь ваши онёры на ныньче оставьте.

— Comment l'entendez-vous...

— Да такъ. Сегодня надо быть студентомъ... или не быть здѣсь... Васъ ждутъ... Идите къ вашей компаніи... Меня тоже ждутъ.

Леденьщиковъ хотѣлъ что-то сказать и круто повернулся. Палтусовъ убѣжалъ отъ него, увлекая за собой Пирожкова.

— Тоже студентъ! — горячился Палтусовъ. Онъ зналъ, что Nicolas кончилъ курсъ... И этакихъ здѣсь десятки, если не сотни...

— И я этому радуюсь, — замѣтилъ Пирожковъ... Вотъ видите: большая борода... въ сюртукѣ по залѣ похаживаетъ... бакалейщикъ, а на магистра исторіи держалъ. Вотъ у насъ какъ!.. Пускай черносливъ продаетъ; а онъ все-таки нашъ.

Гдѣ-то запѣли: „Стрѣлочка"...

— Уйдемъ отсюда, — потащилъ Пирожковъ Палтусова, — этой пошлости я не выношу.

Они искали знакомыхъ. Но никого не попадалось. А пить надо! Безъ питья слишкомъ трудно было бы оставаться.

— Господа! Vivat academia! Позвольте предложить...

Ихъ остановилъ у выхода въ корридоръ совсѣмъ не „академическаго" вида мужчина, лѣтъ подъ пятьдесятъ, сѣдой, стриженый, съ плохо

бритыми щеками, въ вицмундирѣ, смахивающій на приказнаго старыхъ временъ. Онъ держалъ въ рукѣ стаканъ вина и совалъ его въ руки Палтусова.

Тотъ переглянулся съ Пирожковымъ.

— Отъ студента студенту, — пьянѣющимъ, но еще довольно твердымъ голосомъ говорилъ онъ, немного покачиваясь.

„Вы бывшій студентъ?“ хотѣли его спросить оба пріятеля.

— Сядемъ, выпьемъ съ нимъ, не все ли равно... — шепнулъ Палтусовъ Пирожкову.

— Вы одни? — спросилъ Пирожковъ.

— Не вижу однокурсниковъ... Старъ... и къ обѣду опоздалъ... Пріѣзжій я... вотъ сюда, къ столику... еще стаканчикъ...

— Нѣтъ не то! — скомандовалъ Палтусовъ: — вы съ нами жженки... вонъ тамъ... займемъ уголъ...

Съ любопытствомъ осматривали они своего новаго товарища. Не все ли равно съ кѣмъ побрататься въ этотъ день?.. Онъ говоритъ, что учился тамъ же, и довольно этого.

— Юристъ? — спросилъ его Палтусовъ, когда жженка была разлита.

— Всеконечно! Въ управѣ благочинія служилъ. За симъ въ губерніи погрязъ... въ полиціи... въ казенной палатѣ... бываетъ и хуже.

— А теперь?

Пирожковъ прислушивался и попивалъ.

— А теперь? При мировомъ съѣздѣ при-

ставъ... И то слава тебѣ, Господи... Не о томъ мечталъ... когда бралъ билетъ у Никиты Иваныча.

— Помнишь? — вскричалъ Палтусовъ и перешелъ съ нимъ на „ты“.

„Приказный“, такъ они опредѣлили его, сладко закрылъ глаза, выпилъ цѣлый стаканъ и откинулъ голову.

XXXIII.

— Какъ же не помнить? — воскликнулъ приставъ, поднялъ стаканъ и расплескалъ жженку: — пять съ крестомъ получилъ. Кануло, — въ голосѣ его заслышались слезы: — кануло времячко... Поминаютъ ли его добромъ?.. Поди небось... ругаютъ... теперешніе... вонъ что тамъ съ арфянками... маменькины сынки?.. А я сёмаръ!

— Ты сёмаръ? — переспросилъ его Палтусовъ.

Пирожковъ слушалъ и улыбался. Приказнаго онъ считалъ находкой для дня св. Татьяны.

— Сёмаръ... Изъ вологодской семинаріи. По двадцать-третьему году поступилъ. И только у Никиты Иваныча и почувствовалъ, что́ такое есть право.

Онъ говорилъ съ сѣвернымъ акцентомъ.

— Justitia... — подсказалъ Палтусовъ.

— А ты послушай... Я тебѣ представлю.

Точно живой онъ передо мною сидитъ. Влѣзетъ на каѳедру... знаете... тово немножко... Табачку нюхнулъ, хэ, хэ! Помните хехеканьето? „Господа, — онъ сильнѣе сталъ упирать на „о", — сегодняшнюю лексію мы посвятимъ сервитутамъ. А? хэ, хэ! Великолѣпнѣйшій институтъ!"

— Очень похоже, — крикнулъ Палтусовъ и ударилъ пристава по плечу.

— Похоже? Знаю, что похоже. Я тамъ въ губерніи сколько разъ воспроизводилъ... Великолѣпнѣйшій институтъ. Разные сервитуты были... Servitus ligni immittendi. А? Сосѣда бревномъ въ бокъ, дымку ему пустить. А?.. Дымку! Стѣна смежная, хэ, хэ, хэ! Servitus balnearii habendi, съ вѣничкомъ къ сосѣду сходить, съ вѣничкомъ... Servitus luminis, servitus prospectus, свѣтъ, солнце... для всѣхъ... А? Я — римлянинъ, я — свободнѣйшій гражданинъ! Не смѣешь отнимать у меня видъ... моремъ хочу любоваться, закатомъ! А? А русскій человѣкъ маленькій, убитый человѣкъ... Не знаетъ сервитутовъ... Иду на Москву рѣку. А? Хочу любоваться видомъ Кремля, хэ, хэ... Нельзя... мѣшаетъ домъ... домъ мѣшаетъ... Вывелъ откупщикъ... хэ, хэ... Eques!... всадникъ!... И не могу... потому что я — русскій человѣкъ... Скудный... захудалый человѣкъ"!..

— Ха, ха! — дружно расхохотались оба пріятеля.

Они придвинулись къ приставу. Палтусову

сдѣлалось необычайно весело... Онъ и самъ сознавалъ, что въ лекціяхъ того чудака, котораго представлялъ теперь передъ нимъ приставъ, била творческая, живая струя...

Точно въ отвѣтъ на эти мысли, приставъ вскричалъ:

— Понималъ ли ты, какой онъ есть артистъ? Высокаго таланта! А я понималъ. Маменькины сынки, въ узкихъ брючкахъ, только пошлые анекдотики разсказывали, да по ослиному гоготали, да хныкали по гостинымъ... Двойку мнѣ закатилъ!.. Семинаристъ проклятый!.. Кто зналъ, у кого въ мозгу не простокваша была, тому не ставилъ... Ну, „ты" говорилъ на экзаменахъ. Экая важность! Армяшка одинъ, восточный скудоумный человѣкъ, разъ началъ на него орать: „не смѣешь мнѣ говорить ты! Не смѣешь!" Онъ потомъ надъ собой подтруниваетъ: „обругалъ, говоритъ, меня восточный человѣкъ. Не тѣ времена... Ругательски обругалъ... И армяне тоже въ исторіи записаны... Римлянъ въ кои-то вѣки побили, при Тиграноцертѣ какомъ-то... Дай Богъ памяти!"

Глаза разсказчика подернулись масломъ. Память о любимомъ профессорѣ, успѣхъ передачи его голоса, манеры, мимики дѣйствовали на него подмывательно. И слушатели нашлись чуткіе.

— А эта лекція еще, — увлекался онъ, покачиваясь на стулѣ... — о фидеикомиссахъ?

— Что́ такое? — не разслышалъ Пирожковъ.

— О фидеикомиссахъ, — повторилъ при-

ставъ, — терминъ мудреный... Сушь, казуистика, а какъ у него выходило: романъ, картина, людей живописалъ, какъ художникъ... „Господа... былъ проконсулъ Лентулъ, хэ, хэ, хэ... Египтомъ правилъ... Губернаторъ... И награбилъ...“ — Онъ засунулъ руку въ карманъ панталонъ характернымъ жестомъ, — „много награбилъ... Танцовщицъ держалъ... хэ, хэ. Прелестныя танцовщицы были въ Египтѣ! Дѣти пошли... А что грабилъ... съ Августомъ дѣлился... Хэ! хе! Старъ сталъ... Дѣтей обезпечить надо. Пишетъ онъ цезарю: Rogo, precor, deprecor, fidei tuæ committo. Я тебѣ все отдалъ, что наворовалъ... Мошенникъ! Дѣтей моихъ не обидь... Честію прошу... тебѣ вѣрю... на слово... fidei committo... А?.. Вотъ откуда пошелъ институтъ“!..

Подражатель входилъ въ роль. Никогда еще Палтусовъ не слыхалъ такого вѣрнаго схватыванія знакомыхъ звуковъ и въ особенности этого „хэ, хэ“, извѣстнаго десяткамъ университетскихъ поколѣній.

— Спасибо, спасибо, — говорилъ онъ приставу и подливалъ, и подливалъ ему изъ серебряной миски.

Тотъ, пилъ но мало хмѣлѣлъ; возбужденіе поддерживало его. Ему страстно хотѣлось истощить всѣ свои воспоминанія. Слушатели поощряли его.

— Вотъ тоже, — заново одушевился разсказчикъ, — ругали его за отсталость... закорузъ-

лые педанты... Болтаютъ вѣчно, что въ числѣ цензоровъ проврался... Байборода обличилъ въ журналѣ. На смѣхъ подняли! Бѣсновался онъ тогда! Ну, навралъ. Экая важность... А вотъ мнѣ изъ новенькихъ сказывалъ... у насъ тамъ слѣдователемъ служитъ... Съ мозгомъ голова. Недавно... ну... лѣтъ пятнадцать... послѣ насъ, а то и меньше... Лексія — приставъ, и самъ произносилъ „лексія" — о лежащемъ наслѣдствѣ...

— Какомъ? Лежащемъ? — Пирожковъ расхохотался.

Разсказчикъ кивнулъ на него головой и комически спросилъ Палтусова:

— Не юристъ?

— Естественникъ.

— То-то. Лежащее наслѣдство... Haeredita jacens по-латыни. Штука мудренѣйшая... И такъ, и этакъ можно истолковать... Вотъ, приходитъ онъ и говоритъ: — „Господа! на hæreditas jacens... ученые смотрѣли до сегодня... хэ, хэ... какъ на юридическое лицо... И я тридцать безъ малаго лѣтъ повторялъ тоже... хэ... И съ каѳедры утверждалъ... Позвольте вамъ сказать, что я вралъ... И другіе врали. Вышла книжка... хэ, хэ! Нѣмецкая книжка... Жилъ недавно... въ Берлинѣ... одинъ жидъ, Ляссаль... Умнѣйшій человѣкъ, геніальнѣйшій. За актерку на дуэли убили... хэ, хэ! За актерку! Онъ доказалъ... какъ дважды два... что всѣ мы врали, хэ, хэ! Доказалъ, что hæredi-

tas jacens... лежащее наслѣдство есть фиксія... хэ... Фиксія?.. Каюсь... что же, хэ, хэ... и то сказать... Пухта вралъ, Савиньи вралъ... а они почище меня! Мнѣ и Богъ проститъ!"

Лицо „приказнаго" сіяло.

— Что! каковъ?.. это небось почестнѣе, чѣмъ по цѣлымъ годамъ квасы-то разводить по новымъ книжкамъ и считать себя непогрѣшимымъ? Тридцать лѣтъ ошибался. Прочелъ. Видитъ, вѣрно... Ну, и повинился!.. Вѣчная ему память! Старичекъ! Не вернется! А то онъ бы и здѣсь былъ. Въ послѣдній разъ... въ Сокольникахъ встрѣтился съ нимъ... Тоже что-то о евреяхъ зашла рѣчь. Способный, говорю, народъ, Никита Иванычъ, какъ тамъ ни чурайся ихъ. А онъ это въ синихъ брюкахъ своихъ, руку въ карманъ засунулъ лѣвую, съ палочкой, въ картузѣ идетъ... и говоритъ... „Мудренаго нѣтъ... хэ, хэ, при сотвореніи міра съ Іеговой кашу изъ одной чашки ѣли! хэ!" Кто такъ кромѣ его скажетъ?.. Артистъ!.. Искра была! Художникъ! Когда умирать собрался, могъ бы воскликнуть: Qualis artifex pereo!.. Ученость, братцы, наживное дѣло, а вотъ талантъ: воспитать въ насъ, неотесанныхъ, пониманіе... римскаго духа. И умирать буду, душу отведу на Никитѣ Ивановичѣ!

Всѣ примолкли. За то изъ залы и изъ сосѣдней комнаты несся все тотъ же пьяный гулъ... Хоръ подхватывалъ куплеты. Цыган-

скій женскій голосъ въ носъ, съ шутовскимъ вывертомъ прозудѣлъ:

„А поручикъ разсудилъ,
Пятьсотъ палокъ закатилъ!
Горрячихъ!..

И десятки голосовъ гаркнули вслѣдъ за солисткой:

— Горрячихъ!

— А мнѣ вотъ это противно! — заговорилъ приставъ, — хоть я и ушелъ отъ alma mater. „Закатилъ!“ Хороша цивилизація! Не римская... Вотъ были бы сервитуты. Я бы пошелъ да и сказалъ: оскорбляете мой слухъ, такіе-сякіе! Срамники! Хоть пѣсню-то почеловѣкоподобнѣе бы выбрали. Что-жь, что вы пьяны? И я пилъ... не меньше вашего, а не буду подтягивать: горрячихъ... Чего?.. Палокъ!.. Эхъ! Татарва, рабы, холопы! отъ головы до пятъ! Больше-то мы должно быть не стоимъ, какъ пятьсотъ палокъ!

— Брось ихъ! — успокоивалъ его Палтусовъ.

— Выпьемъ, товарищъ: отъ тебя духами пахнетъ, отъ меня приказной избой! А выпьемъ. Pereat stultitia, pereant osores!

Жженка не была еще допита. Потекли менѣе связныя рѣчи. Все вокругъ колебалось. Чадъ обволакивалъ пьющихъ и пляшущихъ. Пили больше по инерціи... Поцѣлуи, объятія грозили перейти въ схватки.

XXXIV.

Началось обратное движеніе въ городъ. Тройки, пары, одиночки неслись къ Тріумфальнымъ воротамъ. Часа въ два вышли на крыльцо и наши пріятели. Они поддерживали новаго знакомца. Онъ долго крѣпился, но на морозѣ сразу размякъ, говорилъ еще довольно твердо, только ноги отказывались служить.

— Жженка подкузьмила, — лепеталъ онъ,— давно не пилъ академическаго напитка.

Его посадили на широкую скамейку рядомъ съ Пирожковымъ. Палтусовъ помѣстился къ нимъ лицомъ на сидѣнье около облучка.

— Братцы, — жалобно просилъ онъ: — вы меня сдайте съ рукъ на руки. Я въ Челышахъ... въ третьемъ отдѣленіи.

— Опасно, — пошутилъ Пирожковъ.

— А!.. третье отдѣленіе... точно. И сегодня небось изъ пляшущихъ-то были соглядатаи.

Палтусовъ вспомнилъ, какъ студентъ спросилъ его: не изъ соглядатаевъ ли онъ?

— И пускай ихъ, — говорилъ приставъ. — Съ меня взятки-гладки... Нынче Татьянинъ день... можно и лишнее сказать... Римскаго духу нѣтъ въ насъ... И русскій человѣкъ — скудный, захудалый человѣкъ. Никита Иванычъ, батюшка! Ты воистину рекъ... А и соборы были земскіе... При тишайшемъ царѣ...

Недовольныхъ сто человѣкъ и больше... въ Соловки, на цѣпь... Вотъ-те и представители!

Сани подъѣзжали къ Тверскимъ воротамъ.

— Куда прикажете, господа? — обернулся извощикъ... По Грачевкѣ?

— Куда-а? — протянулъ приставъ.

— Приглашаетъ въ злачное мѣсто, слышишь? — сказалъ ему Палтусовъ. — Иванъ Алексѣевичъ... должно быть Татьянинъ день не можетъ иначе кончиться...

— Танцовщицы!.. Проконсулъ Лентулъ... Прелестнѣйшія! Возьмите и меня старичка... только не бросайте... Rogo, deprecor!..

Глазки Ивана Алексѣевича сластолюбиво щурились. — Пьяно тамъ, въ знаменитыхъ залахъ, наскочишь на скандалъ... Полѣзетъ какое-нибудь животное цѣловаться...Слюняво... Развѣ такъ келейно?.. И приказный будетъ забавенъ.

Онъ мигнулъ утвердительно.

— Трогай! — крикнулъ Палтусовъ.

— Эхъ вы, обывательскія!.. гикнулъ извощикъ.

Поскакалъ онъ внизъ по Страстному бульвару, мимо Эрмитажа, еще освѣщеннаго во второмъ этажѣ, вскачь пролетѣлъ площадь и подъемъ на Рождественскій бульваръ и ухнулъ на Грачевку.

— Крымъ, — узналъ приставъ и качнулъ головой. — Трущоба!..

Грачевка не спала. У трактировъ и номе-

ровъ подслѣповато горѣли фонари и дремали извощики, слышалась пьяная перебранка... Городовой стоялъ на перекресткѣ... Сани стукались въ ухабы... Изъ каждыхъ дверей несло виномъ или постнымъ масломъ. Кое-гдѣ въ угольныхъ комнатахъ теплились лампады. Давно не заглядывали сюда пріятели... Палтусовъ больше двухъ лѣтъ.

— Иванъ Алексѣичъ, — толкнулъ онъ Пирожкова...—Помните... Мы всей компаніей отъ Стародумова сюда?.. Какъ жилось тогда!

— Да что это вы, Андрей Дмитріевичъ, точно все извиняетесь. Очень ужь, батюшка, омѣщанились съ коммерсантами!

Палтусову и эти переулки сдѣлались дороги, нужды нѣтъ, что это — презрѣнная Грачевка! На душѣ было не то, не то и въ мысляхъ. Тогда не думалось о ловлѣ людей и капиталовъ. Одно есть только сходство съ тѣмъ временемъ. Нѣтъ любви... Нѣтъ и простой интриги. Ему стало даже смѣшно... Молодъ, ловокъ, вездѣ принятъ, нравится... еслибъ хотѣлъ... Но не захочетъ, и долго такъ будетъ.

Вскачь начали подниматься сани по переулку, въ гору, къ Срѣтенкѣ. По обѣ стороны замелькали огни, сначала въ деревянныхъ домикахъ, потомъ въ двухъ-этажныхъ домахъ, съ настежь открытыми ходами, откуда смотрѣли ярко освѣщенныя узкія крутыя лѣстницы.

— Юсъ! — растолкалъ Пирожковъ сосѣда.— Нашли новый сервитутъ.

— Какой? — пробормоталъ тотъ съ просонокъ.

— Увидишь, старче. Вылѣзай! — скомандовалъ Палтусовъ.

Извощикъ осадилъ лошадей. Круглый зеркальный фонарь бросалъ снопъ свѣта на тротуаръ. Они стояли у подъѣзда новаго трехъэтажнаго дома съ скульптурными украшеніями...

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

КИТАЙ-ГОРОДЪ

ТОМЪ II

КИТАЙ-ГОРОДЪ

РОМАНЪ

ПЕТРА БОБОРЫКИНА

ТОМЪ II

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ | МОСКВА

Гостиный дворъ, №№ 17 и 18 | Петровка, д. Михалкова, № 5

1883

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ (Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5).

КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

— Дома Иванъ Алексѣевичъ Пирожковъ? — спрашивала Тася Долгушина у толстенькой хорошенькой горничной въ сѣняхъ меблированныхъ комнатъ мадамъ Гужо́.

— А вотъ я сейчасъ узнаю-съ...

Горничная убѣжала. Тася поднялась по нѣсколькимъ ступенькамъ на площадку съ двумя окнами. Направо стеклянная дверь вела въ переднюю, налѣво лѣстница во второй этажъ. По лѣстницамъ шелъ коверъ. Пахло куреньемъ. Все смотрѣло чисто; не похоже было на номера. На стѣнѣ, около окна, висѣла пачка листковъ съ карандашомъ. Тася прочла: „Leider, zu Hause nicht getroffen“ — и двѣ большихъ буквы. Въ стеклянную дверь видна была передняя съ лампой, зеркаломъ и новой вѣшалкой.

Вотъ тутъ бы ей жить, еслибъ нашлась недорогая комната... Мать съ каждымъ днемъ ожесточается... Отцу Тася прямо сказала, что такъ долго продолжаться не можетъ... Надо думать о кускѣ хлѣба... Она же будетъ кормить ихъ. На Нику имъ надежда плохая... Бабушка сильно огорчилась, отецъ тоже началъ кричать „срамишь фамилію!“ Она потерпитъ еще, пока возможно, а тамъ уйдетъ... Скандалу она не хочетъ; да и нельзя иначе. Но на что жить одной?.. Наняла она сидѣлку. И та обойдется въ сорокъ рублей. Даромъ и учить не станутъ... Извощики, то-другое...

— Пожалуйте въ гостиную, — доложила горничная и мигнула своими калмыцкими глазками. — Иванъ Алексѣевичъ сейчасъ сойдутъ.

Изъ передней, гдѣ Тася сняла свое мѣховое пальтецо, она прошла въ гостиную съ двумя арками, сквозь которыя виднѣлась большая столовая. Столъ накрытъ былъ къ завтраку, приборовъ на шестнадцать. Гостиная съ триповой мебелью, ковромъ, лампой, картинами и столовая съ ея просторомъ и иностранной чистотой нравились Тасѣ. Пирожковъ говорилъ ей, что живетъ совершенно какъ въ Швейцаріи, въ какомъ-нибудь „пансіонѣ“, завтракаетъ и обѣдаетъ за табльдотомъ, въ обществѣ иностранцевъ, очень доволенъ кухней.

Тася присѣла на диванъ. Пробѣжала собачка. Двѣ горничныя доканчивали уставлять приборы. Было около одинадцати часовъ. На

столѣ передъ диваномъ около лампы лежалъ альбомъ. Она занялась альбомомъ.

— Извините, Таисія Валентиновна, — заговорилъ Пирожковъ и подошелъ къ ней маленькими шажками.

— Видите, Иванъ Алексѣевичъ, я васъ отыскала, вы, кажется, испугались за меня?..

— Почему такъ?

— Да съ того вечера, когда мы были въ клубѣ... Я сама тоже смутилась... Но съ тѣхъ поръ еще сильнѣе стремлюсь. На Андрюшу плохая надежда... его не залучишь... Повезите меня къ Грушевой...

— Извольте, извольте...

Пирожковъ присѣлъ около нея на диванѣ, хотѣлъ еще что-то сказать и остановился.

— Да вы какъ будто не сочувствуете... Иванъ Алексѣевичъ?

— Не подождать ли вамъ пріема въ консерваторію?..

— Нѣтъ,— горячо возразила Тася,— ждать мнѣ нельзя. Вотъ новый годъ прошелъ... скоро и масляница... Чтожь мнѣ ждать, Иванъ Алексѣевичъ?..

— А Петербургъ?

— Какъ Петербургъ?..

— Тамъ можно въ двухъ мѣстахъ учиться и...

— Нѣтъ, — перебила Тася, вся нервная и съ пылающими щеками, — не разстроивайте моего плана... Вы единственный человѣкъ во

всей Москвѣ. Въ Петербургъ я не поѣду... Гдѣ я тамъ буду жить! У брата я не стану...

Онъ самъ сейчасъ же сообразилъ, что у такого брата ей жить не пристало.

— Да вы скажите прямо, — продолжала она: — что васъ удерживаетъ?.. Я тогда сама поѣду къ ней.

Пирожковъ протянулъ Тасѣ руку.

— Таисія Валентиновна, — началъ онъ, — боюсь взять грѣхъ на душу.

— Вы все сцену изъ „Кина“ помните!..

— Нѣтъ, не одно это... Грушева талантлива и опытна. Если она заинтересуется вами, вы найдете отличную учительницу... Но какъ это сдѣлать, не бывая у нея, не входя въ ея общество?

— И войду... Я на все рѣшилась...

— Вы не посѣтуете на меня... Я на себя не возьму грѣха.

— Надо было раньше...

Тася отвернулась... Какой байбакъ этотъ Иванъ Алексѣевичъ! Совсѣмъ и на мужчину не похожъ... Все сочувствовалъ, почти подбивалъ и вдругъ какой-то cas de conscience.

— Мы поищемъ, — успокоивалъ ее Пирожковъ, — я поѣду къ Ивану Васильевичу... можетъ, онъ согласится...

— Не надо! — отрѣзала Тася.

— Вы не сердитесь на меня.

— Не надо, не надо! Извините, что побезпокоила.

Она встала. Пирожковъ мягко улыбался.

— Если угодно, — началъ онъ.

— Нѣтъ, я сама... Ахъ, мужчины, мужчины! — вырвалось у ней. — И Андрюшу не буду просить.

— Устроимъ иначе...

— Не надо, Иванъ Алексѣевичъ!

— Я за васъ боюсь...

— Мнѣ двадцать одинъ годъ... Слава Богу, совершеннолѣтняя.

Тася начинала не на шутку сердиться. Она пошла въ переднюю. Пирожковъ за ней. Онъ хотѣлъ-было объяснить ей многое, но Тася поспѣшно надѣла свою шубку, кивнула ему головой и сбѣжала съ лѣстницы.

— Позвоните, — кротко сказалъ ей вслѣдъ Пирожковъ съ площадки. Она дернула за ручку звонка, откуда проволока шла въ кухню.

Ей отперла другая, тоже хорошенькая, горничная. Тася почти выбѣжала на улицу.

Иванъ Алексѣевичъ вернулся въ залу и, заложилъ свои бѣлыя ручки на полную спину, началъ ходить вдоль накрытаго стола... Онъ немного задумался, но губы вскорѣ распустились опять въ улыбку.

Сердится барышня... Ничего! Да, онъ за нее испугался. Сначала онъ гораздо легче посмотрѣлъ на знакомство Таси съ Грушевой, такъ по-московски... Потомъ, какъ-то на дняхъ вспомнилъ все и сообразилъ.

Отворилась половинка двери изъ комнаты, выходившей въ столовую.

— Bonjour, madame,— поздоровался Пирожковъ.

Хозяйка отвѣтила ему громкимъ: „Bonjour, cher monsieur", и начала сама поливать цвѣты изъ небольшой зеленой лейки. Madame Гужó была дородная француженка, урожденка Москвы. Въ иныя минуты на нее жутко становилось смотрѣть — того и гляди хватитъ ее ударъ. Но она здравствовала, двигалась легко и скоро, точно пузырь по водѣ, на своихъ короткихъ ногахъ, всегда прекрасно обутыхъ. Голова ея, прикрытая маленькой косой и рѣдкими русыми волосами, совсѣмъ точно приросла къ шеѣ. Красное лицо съ сѣрыми, веселыми глазками и крошечнымъ носомъ слегка вздрагивало, когда она шла по комнатѣ. Темное шелковое платье — неизмѣнный ея туалетъ,— сидѣло на ней въ обтяжку, всегда отлично сшитое. Также неизмѣнно надѣвался узкій полотняный воротничекъ и банты изъ широкихъ лентъ.

По-русски ее звали Дениза Яковлевна. Она не потеряла манеры немного пѣть, когда говорила по-французски; русскій разговоръ вела также свободно съ тѣмъ изяществомъ произношенія, какое дается многимъ француженкамъ, родившимся въ русскихъ городахъ. Дениза Яковлевна любила Россію и находила, что въ Парижѣ и вообще за-границей жизнь маленькая, мѣщанская, и желала умереть въ Москвѣ.

Свой „пансіонъ“ она держала не то, чтобы особенно строго, но кое-кого къ себѣ не пускала, не прибивала вывѣски и даже не печатала объявленій въ газетахъ. Она принимала жильцовъ по рекомендаціи, больше иностранцевъ, охотнѣе мужчинъ, чѣмъ женщинъ. Ей хотѣлось, чтобы ея „maison“ былъ единственный во всемъ городѣ. Порядочность, мягкость, хорошій тонъ поддерживались ею и за табльдотомъ, гдѣ она сидѣла на хозяйскомъ мѣстѣ, противъ арокъ гостиной. Она любила завести игривый, но пристойный разговоръ и даже нѣмцевъ-контористовъ пріучала къ „causerie“. Кормила она своихъ жильцовъ сытнымъ французскимъ обѣдомъ, но не избѣгала русской ѣды. Завтраки были въ два блюда. Она не долюбливала тѣхъ, кто опаздывалъ, особенно къ завтраку, и затягивалъ ѣду до двухъ часовъ. Ровно въ двѣнадцать становилось на столъ первое, холодное блюдо.

Съ Пирожковымъ они скоро поладили. Она находила Ивана Алексѣевича едва ли не самымъ порядочнымъ изъ своихъ постояльцевъ. Такихъ молодыхъ людей, дворянскихъ фамилій, живущихъ по зимамъ, „des jeunes savants“, она предпочитала иностранцамъ, даже англичанамъ. Тѣ иногда оказывались за обѣдомъ или безобразно молчаливыми, или безцеремонными на свой ладъ. Въ прошломъ году она должна была сдѣлать выговоръ двумъ англичанамъ-пріятелямъ. Они вздумали бросать хлѣб-

ные шарики съ одного конца стола на другой. А иногда ни съ того, ни съ сего обидятся и что-нибудь скажутъ грубое, нѣмцы вспылятъ. Безъ ея вмѣшательства выходили бы исторіи. То-ли дѣло Пирожковъ!.. Говоритъ умно, тихо... il a toujours un petit mot pour rire.

— Хорошо почивали? — спросила madame Гужо́ по-русски.

— Прекрасно!

II.

Часы въ столовой пробили густымъ, медленнымъ боемъ двѣнадцать.

— Варя! — не громко крикнула Дениза Яковлевна горничной, садясь на свое мѣсто.

Стали собираться пансіонеры. Первымъ вошелъ нѣмецъ съ нѣжноголубыми глазами и рыжеватой бородкой, пріѣзжающій на зиму за свѣжей икрой, комиссіонеръ изъ Кенигсберга, потянулъ въ себя воздухъ и заткнулъ себѣ салфетку за галстухъ. Онъ молча поклонился въ сторону хозяйки. За нимъ пришла старая дѣвица-дворянка, лѣтъ подъ семьдесятъ, но еще подвижная, не очень сгорбленная, въ наколкѣ и шали. Она каждое утро, послѣ прогулки, съ десяти часовъ играла этюды и сонаты, справлялась часто о цѣнахъ на разныя бумаги, по-нѣмецки говорила какъ нѣмка, обожала пирожное, заводила разговоры на патріоти-

ческія темы, печенки боялась точно яду, а ветчину ѣла только вареную.

Въ боковыхъ комнатахъ около столовой жили пензенскія помѣщицы, мать съ дочерью. Онѣ пріѣхали на зиму. Дочь большая, широколицая, румяная, тяжелая на ходу, въ провинціальныхъ туалетахъ; мать — сухая, съ просѣдью, вѣчно въ кружевной косынкѣ, съ ужаснымъ французскимъ и нѣмецкимъ языкомъ вмѣшивалась во всѣ разговоры. Дениза Яковлевна съ трудомъ выносила ихъ, особенно мать. Но онѣ были „d'une famille honorable" и аккуратно платили. Съ собой онѣ привезли сорокъ пудовъ клажи, посуду, горшки, перины, соленье и варенье, даже кадушку моченыхъ яблоковъ. Онѣ было устроили у себя jours fixes, занимали столовую до трехъ часовъ ночи, собирали родню, офицеровъ, танцовали. Но Дениза Яковлевна прекратила эти вечеринки по жалобѣ всѣхъ квартирантовъ. Съ тѣхъ поръ эти дамы дулись на весь табльдотъ и поговаривали, что поѣдутъ доживать зиму въ Петербургѣ. Весь дворъ былъ заставленъ ихъ коробами и ящиками.

Онѣ вышли отъ себя одна за другой, поклонились на ходу и сѣли рядомъ. Дочь сейчасъ же обратилась къ Пирожкову и громко, точно она говоритъ на улицѣ, спросила его:

— Были на бенефисѣ?

— Нѣтъ, собираюсь на повтореніе...

— А я думала, вы намъ разскажете пьесу...

Пирожковъ промолчалъ. Пара пензенскихъ помѣщицъ сначала забавляла его; но въ немъ не было злости; смѣяться надъ ними не хотѣлось.

Собрался весь почти табльдотъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ контористовъ, занятыхъ по утрамъ. Противъ Пирожкова сѣлъ нѣмецъ съ женой и съ дочерью, дѣвочкой лѣтъ восьми, продающій какіе-то мѣшки въ хлѣбныхъ губерніяхъ, толстый швабъ съ тупымъ взглядомъ и бритыми усами, при бородѣ. Рядомъ съ швабомъ часовой фабрикантъ изъ Женевы, лысый брюнетъ, за сорокъ лѣтъ, съ тягучимъ французскимъ выговоромъ, чопорный, въ тугихъ, высокихъ воротничкахъ... Русскихъ молодыхъ людей кромѣ Пирожкова не жило въ пансіонѣ. Всего больше нравился ему англичанинъ, учитель и корреспондентъ, въ усахъ, въ характерной лондонской жакеткѣ и цвѣтномъ галстухѣ, говорившій на трехъ языкахъ, вѣжливый, образованный, самый порядочный изъ всѣхъ иностранцевъ. Онъ былъ, вмѣстѣ съ Пирожковымъ, слабостью Денизы Яковлевны. За то она не знала, какъ отдѣлаться отъ американца, верзилы вершковъ двѣнадцати, широкоплечаго, пучеглазаго, съ проборомъ посрединѣ и съ круглой живописной бородой. Онъ приходилъ завтракать и обѣдать, никому не кланяясь, точно въ трактиръ, не могъ выговорить ни одного звука по-французски или по-нѣмецки, изрѣдка бросалъ два-три слова англи-

чанину, откидывался на спинку стула, мылъ руки водой изъ графина и шумно полоскалъ ротъ.

Пензенскія помѣщицы и съ нимъ порывались бесѣдовать, но ихъ англійскій языкъ не пошелъ дальше пяти-шести вокабулъ.

Дѣвушки обносили первое холодное блюдо, винегретъ. Изъ двухъ оставшихся мѣстъ занялъ одно блондинъ, прилизанный, нѣмецкаго профиля, въ черномъ сюртукѣ и очкахъ, съ чуть замѣтной бородкой и усами — балтійскій урожденецъ, дерптскій кандидатъ правъ, проживавшій въ Москвѣ для практики русскаго языка. Все лѣто провелъ онъ около Химокъ, у стараго деревенскаго попа, получившаго извѣстность между нѣмцами искусствомъ практически обучать иностранцевъ, ѣлъ съ нимъ щи и кашу, болталъ съ двумя поповнами и вернулся хоть и съ прежнимъ акцентомъ, но съ гораздо бо́льшимъ навыкомъ. За табльдотомъ его обо всемъ спрашивали, посмѣивались надъ его памятью и обстоятельностью. Онъ уже зналъ множество вещей о Москвѣ, всевозможные адресы, часы и дни у докторовъ, адвокатовъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, въ банкахъ и конторахъ, праздники и названія книгъ и улицъ.

III.

Тасю попросила подождать минутку горничная, введя ее въ гостиную Настасьи Викторовны Грушевой.

На Пирожкова Тася махнула рукой, назвала его „тряпочкой“. Къ Палтусову она тоже не хотѣла обращаться... Всѣ они на одинъ ладъ... сначала сочувствуютъ, обѣщаютъ, дразнятъ, а потомъ и на попятный дворъ... Постыдно!.. Она мигомъ все сдѣлала, узнала адресъ Грушевой, когда ее вѣрнѣе застать, и безъ всякихъ рекомендацій взяла да и явилась.

Грушева жила въ небольшомъ штукатуреномъ флигелѣ съ подъѣздомъ на улицу. Тася легко нашла домъ и попала въ тотъ часъ, когда Грушева кончила завтракать. Гостиная, темноватая широкая комната съ низкимъ потолкомъ, заинтересовала Тасю. Стояло много цвѣтовъ. Темная, репсовая мебель наполняла комнату съ излишкомъ. На стѣнахъ висѣло множество фотографическихъ портретовъ. На двухъ столахъ лежали богатые альбомы. Въ шкафчикѣ изъ зеркальныхъ стеколъ поставлены были подарки: сервизъ, позолоченный вѣнокъ, серебряный выкованный ковчежецъ въ старинномъ вкусѣ. Эти подарки наполнили Тасю особымъ чувствомъ... Нигдѣ ничего подобнаго не дѣлается. Только въ театрѣ!.. Женщина можетъ съ гордостью выставлять цѣнныя вещи, поднесенныя ей въ бенефисъ отъ восторженныхъ почитателей. И воздухъ въ гостиной Грушевой казался Тасѣ особеннымъ... Пахло, правда, папиросами, но и еще чѣмъ-то хорошимъ, независимымъ трудомъ артистки... Будь это всякая другая квартира — она попала бы къ ба-

рынѣ, чиновницѣ, женѣ кого-нибудь или вдовѣ безъ всякой своей физіономіи... А тутъ женщина сама по себѣ значитъ все... И мужъ при ней только состоялъ бы... Онъ мужъ извѣстной артистки, ничего больше...

Изъ другой комнаты раздавались голоса, мужскіе и женскій... Тася раза два схватывала голосъ Грушевой, знакомый ей по сценѣ. Вѣдь она ужь не молода, а все еще на первомъ планѣ, переходитъ на другое, болѣе пожилое амплуа... и также талантлива. Про нее всѣ говорятъ, интересуются ею, встрѣчаютъ и провожаютъ рукоплесканіями, когда она читаетъ на какомъ-нибудь вечерѣ съ благотворительною цѣлью... Это особа. Сколько барынь желали бы играть такую роль... завидно!..

Изъ-за портьеры выглянуло сначала лицо. Тася узнала Грушеву, встала съ кресла и покраснѣла.

Къ ней подошла большаго роста женщина въ пестрой блузѣ. Широкое, поблеклое и морщинистое лицо ея улыбалось большимъ ртомъ и прищуренными, умными и вызывающими глазами. Ей казалось на видъ лѣтъ подъ сорокъ. Скулы у ней выдавались, довольно длинный носъ сохранялъ пріятную, волнистую линію и загибался немного кверху, зубы пожелтѣли, шея, видная изъ подъ кружевнаго воротничка отъ кофты, потемнѣла. На головѣ ея былъ надѣтъ домашній батистовый чепчикъ съ оборкой и лентами. На лобъ спускались городки изъ

темнорусыхъ волосъ. Станъ ея раздался, но былъ сухощавъ, почти съ плоской грудью. Большія кисти рукъ падали внизъ, какъ у актрисы, хорошо владѣющей ими. На длинныхъ пальцахъ Тася замѣтила нѣсколько колецъ.

— Садитесь, садитесь, — громко пригласила она Тасю, и сама присѣла къ ней на табуретъ въ позѣ старой знакомой, готовой выслушать что-нибудь занимательное.

Тася опустилась на кресло. Она назвала себя, Грушева сдѣлала жестъ головой. Тася въ двухъ словахъ объяснила ей поводъ своего визита. Она не хотѣла упоминать ни о Палтусовѣ, ни о Пирожковѣ, какъ о знакомыхъ Грушевой.

— Вотъ что-о! — оттянула актриса... — А въ консерваторію не хотите?

Тася объяснила ей, что уже поздно, а терять время до будущей осени она не хочетъ.

— Вамъ къ спѣху! — разсмѣялась Грушева и взяла со стола папиросу. — Курите? — спросила она... Нѣтъ? и прекрасно дѣлаете... У меня вотъ отъ куренья всѣ зубы пожелтѣли.

Она затянулась, еще больше прищурила глаза и нагнула голову къ самому лицу гостьи.

— Настасья Викторовна, — сказала Тася, — вы видите, я серьезно...

Ее опять охватило волненіе. Она не могла докончить.

— Вижу, голубчикъ, вижу!.. Вотъ что я вамъ скажу... Много у меня времени нѣтъ...

Знаете дѣло... Репетиціи, спектакли... я каждый день занята... А вотъ послѣ репетиціи... разъ, другой... въ недѣлю.

Она остановилась.

— Вы... при родныхъ?

— Да, — тихо отвѣтила Тася.

— Они какъ же на это смотрятъ? Кто вашъ отецъ?

— Генералъ, — съ усмѣшкой выговорила Тася, — и прибавила: — отставной.

— Вонъ видите... Вы меня, пожалуйста, не впутывайте... Я вамъ прямо скажу... Если сразу искры божьей не окажется... нѣтъ вамъ моего благословенія... И она потрепала ее по плечу.

Тася опять пріободрилась.

— Настасья Викторовна, — начала она рѣшительнымъ тономъ, — прослушайте меня.

— Роль какую?

— Да изъ „Шутниковъ"... Я знаю наизустъ... Со мной книга.

— Вонъ вы какая! Это хорошо! Книга съ вами есть?

— Есть.

Грушева оглянулась на дверь въ столовую.

— У меня тамъ гости... свои люди... для васъ самый полезный народъ... одинъ... Рогачевъ... артистъ... вы знаете... а другой авторъ... Сметанкинъ... Они завтракали у меня.

Она встала, подошла къ двери и крикнула:

— Идите сюда, господа!

IV.

Играть при актерѣ, при авторѣ! Сначала у Таси духъ захватило. Грушева, крикнувъ въ дверь, ушла въ столовую... Тася имѣла время пріободриться. Пьесу она взяла съ собой „на всякій случай". Книга лежала въ карманѣ ея шубки. Тася сбѣгала въ переднюю, и когда она была на порогѣ гостиной, изъ столовой вышли гости Грушевой за хозяйкой. За ними слѣдомъ показалась высокая дѣвочка лѣтъ четырнадцати въ длинныхъ косахъ и въ сѣренькомъ, еще полукороткомъ платьѣ.

— Дочь моя, — указала на нее Тасѣ Грушева.

Дочь похожа была на мать глазами и широкими скулами. Она присѣла и прошла черезъ гостиную.

Грушева познакомила Тасю съ обоими мужчинами. Актера Тася видѣла на сценѣ. Онъ былъ сухой, высокій блондинъ, съ большимъ носомъ и сѣрыми глазами на выкатѣ, въ короткомъ пиджакѣ и пестромъ галстухѣ. Авторъ — какъ-то на бокъ перекосившаяся фигурка, также бѣлокурая, взъерошенная, плохо одѣтая, съ ухмыляющимся, фальшивымъ лицомъ. Тася въ другомъ мѣстѣ приняла бы его за „человѣка".

— Mademoiselle Долгушина... какъ по имени? — спросила Грушева.

— Таисія Валентиновна.

— Намъ кофей подадутъ... А вы, господа, прослушайте... Владиміръ Антонычъ, — обратилась она къ автору, — вы вашу вѣдь успѣете прочесть?

— Конечно-съ, — пожимаясь сказалъ драматургъ.

— Я дома цѣлый день... Оставайтесь у меня обѣдать... а вы Костенька... давайте реплики этой барышнѣ... Сценку, другую... изъ „Шутниковъ". Наружность самая настоящая,. для ingénue. Не такъ ли, господа?

Актеръ одобрительно промычалъ, авторъ кисло усмѣхнулся. Грушева сѣла къ столу. Тася осталась посрединѣ гостиной, актеръ около нея на стулѣ, держалъ книгу, авторъ помѣстился на диванѣ.

Принесли кофей. Грушева кивнула Тасѣ головой: не желаетъ ли? Тася отказалась. Ей было не до кофею.

— Костенька! Начинайте! — скомандовала Грушева.

Актеръ далъ реплику. Тася заговорила. Сначала у ней немного перехватило въ горлѣ. Но она старалась ни на кого не глядѣть. Ей хотѣлось чувствовать себя какъ въ комнаткѣ старухъ, вечеромъ, при свѣтѣ лампочки, пахнущей керосиномъ, или у себя на кровати, когда она въ кофтѣ или рубашкѣ, вполголоса говорить цѣлыя тирады.

Сцена пошла все живѣе и живѣе... Актеръ

читалъ горловымъ, непріятнымъ голосомъ съ подчеркиваньемъ, но онъ держалъ тонъ; Тасѣ нужно было энергичнѣе выговаривать. Самый звукъ голоса настоящаго актера возбуждалъ ее. Онъ умѣлъ брать паузы и давалъ ей время на мимическую игру. Черезъ пять минутъ она вошла совсѣмъ въ лицо Вѣрочки.

— Вѣрно-съ! — откликнулся съ дивана авторъ жидкимъ голосомъ.

— Такъ, такъ, — какъ бы про себя выговорила Грушева.

Но эти два слова подхвачены были ухомъ Таси. Она пошла смѣлѣе, смѣлѣе. Въ голосѣ у ней заиграли и смѣхъ, и слезы... Движенія стали развязнѣе... Глаза блестѣли... щеки разгорѣлись... Точно она уже на подмосткахъ.

— Браво! — крикнула Грушева и поцѣловала ее. — Славно! Костенька! А!..

— Съ огонькомъ, — сказалъ актеръ и тоже всталъ.

Тася поблагодарила его за трудъ.

— Владиміръ Антонычъ, какъ находите? — спросила Грушева автора.

— Пониманье-съ, пониманье-съ и огонекъ... — сказалъ онъ, и его желтые глаза заискрились.

— Вамъ стоитъ поработать, — рѣшила Грушева. — Вотъ попросите, чтобы Владиміръ Антонычъ вамъ рольку далъ на дебютъ.

— Дебютъ... Еще далеко! — вырвалось у Таси.

— Не такъ далеко!.. Костенька... не правда ли, какъ это она хорошо сказала... въ томъ мѣстѣ?

— Весьма, весьма, — все съ той же важностью подтвердилъ актеръ и закурилъ сигару.

— Послушайте... ахъ забыла... имя у васъ мудреное... Такъ вотъ что, барышня... вы у меня побудьте... Владиміръ Антонычъ намъ пьеску новую прочтетъ... Вы прослушайте... Вѣдь ей можно? — обратилась Грушева въ сторону автора.

— Почему же-съ... Сдѣлайте одолженіе...

— Можетъ, и тутъ ролька найдется... У насъ теперь никого нѣтъ.

— Гдѣ? — громко вздохнула Тася.

— Садитесь, садитесь, вотъ сюда, — усадила ее Грушева рядомъ съ собой и взяла за руку. — Это нашъ Сарду, — шепнула она ей на ухо. — Ловко передѣлываетъ, отлично труппу изучилъ... Вы съ нимъ полюбезнѣе... въ самомъ дѣлѣ рольку напишетъ. Онъ нашъ поставщикъ.

Авторъ пошелъ за тетрадью въ столовую. Актеръ расположился на кушеткѣ съ ногами и продолжалъ курить. Тася, вся раскраснѣвшаяся отъ неожиданнаго успѣха, еле сидѣла на мѣстѣ.

— Костенька! — окликнула Грушева, — вѣдь право хорошо... Барышня-то?..

Онъ только одобрительно кивнулъ головой.

— Вы играли? — спросила Тасю Грушева.

— Разъ всего въ любительскомъ.

— И не играйте теперь больше, — сказалъ актеръ. — Любители-губители.

— Это онъ вѣрно, — подтвердила Грушева интонаціей изъ какой-то комедіи. — Ну, да мы поговоримъ съ вами, голубчикъ, послѣ завтра я свободна.

„Поставщикъ" вернулся и присѣлъ къ столу съ тетрадью.

„Вотъ я какъ, — радостно подумала Тася, — сочинителя буду слушать".

V.

Чтеніе продолжалось два часа. Авторъ читалъ по-актерски, мѣняя голоса; многое ему удавалось, особенно женскія интонаціи. Пьеса была въ двухъ актахъ, комедія, съ главной ролью для Грушевой. Лица носили русскія фамиліи, но вездѣ сквозила французская подкладка. Тася это понимала. Но ей нравились развитіе сюжета, отдѣльныя сцены, бойкость діалога. Она слушала внимательнѣе всѣхъ. Драматургъ это замѣтилъ и нѣсколько разъ улыбнулся ей. Грушева останавливала его часто: то заставитъ выкинуть слово, то найдетъ, что такая-то сцена „ни къ селу, ни къ городу". Тотъ отмѣчалъ на поляхъ карандашомъ. Актеръ былъ не совсѣмъ доволенъ своей ролью и больше мычалъ.

— А знаете что, — сказала Грушева, послѣ перваго акта: — у васъ эта Наденька-то... чуть намѣчена... А вы бы развили... Отличная ingénue выйдетъ...

— Какъ же теперь можно Настасья Викторовна? Пьеса процензурована... И бенефисъ вашъ черезъ мѣсяцъ.

— Вотъ бы ей, — Грушева указала на Тасю.

— Къ будущему сезончику соорудимъ.

И при чтеніи второго акта, Грушева останавливала автора, требовала сокращеній... Актеръ, напротивъ, находилъ, что ему „нечего почти говорить". Драматургъ убѣждалъ его въ томъ что онъ можетъ „создать цѣлое лицо." Начали они спорить, разбирать разныя сценическія положенія, примѣривать роли къ актерамъ, кому что пойдетъ и кто въ чемъ можетъ быть хорошъ. Тася все это слушала, затаивъ дыханіе, чувствовала, что она еще не можетъ такъ разсуждать, что она маленькая, не въ состояніи сразу опредѣлить, какая выйдетъ роль изъ такого-то лица: „выигрышная" или нѣтъ. Она слушала и щеки ея горѣли. Да, она рождена быть актрисой... Все ей нравилось, пріятно щекотало ее, будило неизвѣданное чувство борьбы, риска, новизны: и эта Грушева съ ея умѣлымъ пріятельскимъ разговоромъ, и близость „сочинителя", и актеръ съ его мычаніемъ, бритымъ подбородкомъ, одобрительными восклицаніями и требованіями. Въ этомъ именно мірѣ и будетъ ей хорошо,

ни въ какомъ другомъ. И что сравнится съ ощущеніями дебюта, когда и первая „читка“ доставила ей сейчасъ такое наслажденіе? Только тутъ и можно жить! Она и теперь чувствуетъ, что значитъ „сливаться съ лицомъ“, совсѣмъ забывать самое себя.

Кончилъ читать драматургъ. Грушева встала, подошла къ столу, нагнулась надъ нимъ и дѣловымъ тономъ сказала:

— Идетъ!

Актеръ спустилъ ноги съ кушетки и крикнулъ.

— Константинъ Григорьевичъ недоволенъ, — замѣтилъ сочинитель.

— Къ концу лучше роль.

— Полноте, Костенька, — успокоивала Грушева: — съ гримировкой и если воспользоваться хорошенько послѣдней сценой и очень живетъ. А купюры нужно! На одну треть извольте-ка покромсать, голубчикъ...

Стали торговаться, — что́ именно и сколько урѣзать. Авторъ сначала убѣждалъ, а потомъ сталъ входить въ амбицію.

Но Грушева повернула по своему, не дала ему горячиться, сама отчеркнула въ разныхъ мѣстахъ карандашомъ, и онъ послушался.

Тася начала прощаться съ ней. Грушева поцѣловала ее, увела въ спальню, потрепала еще разъ по плечу, сказала съ удареніемъ, что „искра есть“, назвала нѣсколько пьесъ и на-

значила два раза въ недѣлю между репетиціей и обѣдомъ.

— Какія же ваши условія, Настасья Викторовна? — чуть слышно выговорила Тася.

— Что?.. Условія?.. Да вы богатая?..

— Нѣтъ, — не затруднилась отвѣтить Тася.

— Уже это мы послѣ... Чтожь мнѣ съ васъ брать? Если настоящую плату... въ родѣ моихъ разовыхъ... Дорого! Вотъ въ Петербургѣ я слышала, по семидесяти-пяти рублей за роль берутъ... Я этимъ не живу, голубчикъ... Ходите...

— Даромъ, — шептала она, — я не хочу...

— Глядя, по разсмотрѣнію... — разсмѣялась Грушева.

Все это было сказано такъ добродушно и просто, что Тася чуть не прослезилась. Она бросилась цѣловать Грушеву.

— Глядя, по разсмотрѣнію, повторила Грушева и проводила ее въ переднюю.

Въ саняхъ Тася чуть не прыгала. И чего этотъ Пирожковъ пугалъ?.. Славная женщина! Сейчасъ оцѣнила, приняла участіе, такъ съ неї ловко и хорошо! И прилично... Правда, актеръ сѣлъ съ ногами на кушетку... Но они товарищи.

Полгода какихъ-нибудь и съ такою учительницей — дебютъ, поддержка. Всѣ ее знаютъ, слушаются, „сочинитель“ не очень-то съ неї разсуждаетъ. Взяла карандашъ и вычеркнула всѣ „длинноты“.

Захотѣлось Тасѣ заѣхать къ Пирожкову и сказать ему, что онъ „тряпочка". Но она не войдетъ къ нему, а только напишетъ тамъ на стѣнкѣ и попроситъ горничную..

Такъ она и сдѣлала — позвонила, вошла, оторвала листокъ и написала карандашомъ:

„Ахъ, Иванъ Алексѣичъ! Тряпочка вы! Была; нашли талантъ. Плыву на всѣхъ парусахъ и вамъ того же желаю".

Листокъ она свернула въ трубочку и отдала Варѣ.

Къ обѣду Тася поспѣла домой.

VI.

Только-что Пирожковъ поднялся къ себѣ послѣ завтрака, за нимъ прибѣжала Варя. Его прислала звать хозяйка.

— Очень нужно васъ, — прибавила запыхавшаяся Варя.

Онъ сошелъ внизъ. Дениза Яковлевна ходила по залѣ скорыми шагами въ большомъ волніи.

— Mon ami!.. — воскликнула она: — это ужасно! И тутъ, пополамъ по-французски, пополамъ по-русски разсказала цѣлую исторію своихъ несчастій, грозящихъ ей совершеннымъ разореніемъ.

Пирожковъ ничего не зналъ. Оказалось, что она заарендовала домъ у купца, пять лѣтъ

платила аккуратно, потомъ концовъ съ концами не свела и задолжала ему. Онъ въ уплату долга взялъ всю ея мебель и позволилъ ей продолжать дѣло уже въ званіи распорядительницы, за что она оставляла себѣ пятьдесятъ рублей, а весь чистый барышъ ему. Все шло хорошо; но она перестала ладить съ поваромъ. Онъ воровалъ, умничалъ, кричалъ на нее, а теперь, когда она его разочла, стакнулся съ приказчикомъ хозяина и грозитъ выгнать ее вонъ, буянитъ пьяный въ кухнѣ. Завтра будетъ приказчикъ... Онъ уже приходилъ разъ и сказалъ, что Гордѣй Парамонычъ приказалъ вамъ „отдать отчетъ и ежели дохода за три послѣдніе мѣсяца нѣтъ, то не прогнѣваться".

Дениза Яковлевна, разсказывая все это, то била кулакомъ по столу и вскрикивала „le gredin", то принималась плакать, то проклинала страну, гдѣ „нѣтъ никакихъ законовъ". Пирожковъ старался доказать ей, что нельзя было съ купчиной ладиться безъ контракта, не выговорить на бумагѣ даже того, какія вещи изъ мебели, посуды, бѣлья составляютъ ея собственность. Дениза Яковлевна соглашалась, называла себя „vieille sotte", а черезъ минуту начинала опять возмущаться, вздѣвать къ верху руки и кричать, что „dans ce gueux de pays tout est possible".

Иванъ Алексѣичъ предложилъ ей поговорить съ другими пансіонерами зачаемъ, не согласятся ли они обратиться съ письмомъ къ этому „Гордѣю Парамонычу", гдѣ сказать, что всѣ они чрез-

вычайно довольны госпожей Гужó и не желаютъ очутиться въ номерахъ, управляемыхъ грязнымъ поваромъ.

Дениза Яковлевна расцѣловала его въ обѣ щеки.

Пирожковъ тутъ же набросалъ текстъ письма. Въ десятомъ часу собирались жильцы пить чай. Дениза Яковлевна прилегла на постель. Ее душило. Она не могла справиться съ волненіемъ. Да и какъ же ей самой просить пансіонеровъ. Чай разольетъ Варя.

Сошли въ залу: старая дѣвица-дворянка, американецъ, дерптскій кандидатъ и помѣщица съ дочерью. Пирожковъ сообщилъ имъ въ чемъ дѣло. Мать съ дочерью разахались, вторила имъ старая дѣвица, кандидатъ сталъ порусски разсматривать дѣло съ юридической точки зрѣнія. Но когда Пирожковъ предложилъ подписать письмо, всѣ отказались, говоря что они не могутъ входить въ такія дѣла; американецъ ничего не понялъ и даже отвернулся отъ Пирожкова. Дениза Яковлевна изъ своей комнаты все это слышала. Отворилась дверь, она выбѣжала съ примочкой на головѣ, но въ застегнутомъ до верху корсажѣ, подбѣжала къ самовару и начала говорить. —Посыпались упреки, увѣреніе что ей ничего не надо, что она не думала выпрашивать у нихъ заступничества, что „cet excellent monsieur Pirochkoff“ самъ отъ себя предложилъ имъ, что она завтра же очутится „sur le pavé“, послѣ шестнадцати лѣтъ, впро-

долженіе которыхъ „elle gérait une maison modèle“... Кончилось слезами, дамы тоже заговорили, обидѣлись, дерптскій кандидатъ старался найти „законную почву“, Пирожковъ не зналъ куда ему дѣваться. Madame Гужó расплакалась и убѣжала обратно къ себѣ. Всѣ накинулись на Пирожкова. — Онъ надѣлалъ всю эту кутерьму; особенно брюзжала старая дворянка. Насилу онѣ ушли, спрашивая его же: а будутъ ли ихъ держать до конца мѣсяца и кому жаловаться, если вдругъ хозяинъ дома погонитъ сначала мадамъ Гужó, потомъ и ихъ?..

Варя попросила его къ Денизѣ Яковлевнѣ. На нее страшно было смотрѣть. До истерики дѣло, однако жь, не дошло. Пирожковъ сѣлъ у кровати и старался толкомъ разспросить ее: имѣетъ ли она хоть какія-нибудь фактическія права на инвентарь? Ничего на бумагѣ у ней не было. Онъ ей посовѣтовалъ, — отложивъ свой гоноръ — поѣхать завтра утромъ къ Гордѣю Парамонычу, просить ее оставить до весны, а самой искать компаньона.

— Perdue, perdue!.. — повторила Дениза Яковлевна, поводя налившимися кровью глазами.

Обѣщала она рано утромъ ѣхать къ хозяину, только просила Пирожкова быть дома, когда придетъ приказчикъ. Она боялась повара, ждала „quelque brutalité“ и жалобно охала, растягивала возгласы...

А внизу, въ кухнѣ бушевалъ пьяный по-

варъ, — его не хотѣли-было пускать ночевать.

Онъ вломился силою, занялъ свой уголъ, послалъ кухоннаго мужика за пивомъ, зажегъ нѣсколько свѣчей и порывался по лѣстницѣ въ комнаты.

— Я тебя, толстая колода! — хрипѣлъ онъ, нахлобучивая на затылокъ бѣлый беретъ: — вотъ тебя завтра фухтелями, фухтелями!..

Варя прибѣжала къ хозяйкѣ въ страшномъ перепугѣ. Дениза Яковлевна вскочила и хотѣла посылать за полицейскими. Пирожковъ насилу удержалъ ее. Онъ же долженъ былъ призвать дворника; но дворникъ держалъ руку повара, черезъ него и домовый приказчикъ подружился съ поваромъ.

До двѣнадцатаго часу пансіонъ находился въ осадномъ положеніи, пока поваръ не заснулъ, мертвецки напившись.

Старая дворянка сошла сверху освѣдомиться: будетъ ли завтра утромъ какой-нибудь завтракъ.

Пирожковъ, измученный, поднялся въ свою комнату. Онъ съ грустью посмотрѣлъ на свои книги, покрытыя пылью, на микроскопъ и атласы. День за днемъ уплывали у него въ заботахъ „съ боку-припёка“, Богъ знаетъ за кого и за что, точно будто самъ онъ не имѣетъ никакой личной жизни.

И вездѣ-то всплывалъ передъ нимъ купецъ. Въ исторіи его квартирной хозяйки, францу-

женки, опять онъ, опять „Гордѣй Парамонычъ". А вотъ самъ онъ — дворянское дитя — состоитъ въ какихъ-то приспѣшникахъ и сочувственникахъ, никому онъ не можетъ помочь, какъ слѣдуетъ, безсиленъ сдѣлать и пакость, и фактическое добро, никто за нимъ не охотится, не вожделѣетъ къ его мошнѣ, потому что „мошны"-то нѣтъ. Даже Тася и та написала: „Тряпочка вы, Иванъ Алексѣичъ".

Еще мѣсяцъ, два — и зима прошла, то есть цѣлый годъ; а все что-то притягиваетъ къ этой мужицкой и купеческой Москвѣ. Иванъ Алексѣичъ покраснѣлъ, вспомнивъ, какъ давно онъ не видался ни съ кѣмъ изъ прежнихъ знакомыхъ, университетскихъ, изъ того „кружка", который казался ему талантливѣе и лучше всего, что могъ дать ему Петербургъ.

VII.

Рано утромъ, часу въ девятомъ, въ передней на желтомъ ясеневомъ диванѣ уже сидѣлъ, сгорбившись, остриженный въ скобку мужичекъ-приказчикъ Гордѣя Парамоныча. Его приняли бы за кучера или старшаго дворника по короткой ваточной сибиркѣ изъ темно-синяго сукна и смазнымъ сапогамъ, пустившимъ духъ по гостиной и столовой. Тулупъ онъ оставилъ въ кухнѣ, черезъ которую и поднялся.

Горничныя, убиравшія обѣ комнаты, ходили

мимо него и шумѣли накрахмаленными юбками. Онъ имъ уже поклонился раза два, причемъ волосы падали ему на носъ и онъ ихъ отмахивалъ назадъ привычнымъ движеніемъ головы. Ему на видъ казалось лѣтъ подъ пятьдесятъ.

Варя уже два раза докладывала, что приказчикъ пришелъ; но Дениза Яковлевна, плохо спавшая, проснулась еще нервнѣе вчерашняго; а этотъ ранній приходъ прикащика разстроилъ весь ея планъ. Онъ предупредилъ ея визитъ хозяину. Какъ тутъ быть?.. Помочь, наставить ее можетъ только „cet excellent Pirochkoff". Варя была послана наверхъ. Ивана Алексѣевича будили въ нѣсколько пріемовъ. Къ девяти часамъ онъ, наконецъ, пробормоталъ, что сейчасъ одѣнется и сойдетъ внизъ. Дениза Яковлевна съ вечера уже приготовила свое черное шелковое платье съ кружевной мантильей и разложила ихъ по комнатѣ. Она одѣвалась торопливо, оборвала двѣ пуговки спереди на корсажѣ, который такъ и трещалъ. Больше полугода не надѣвала она этого платья.

— Что онъ дѣлаетъ? — спрашивала она у Вари въ пятый разъ о приказчикѣ.

— Сидитъ-съ...

— И ничего не говоритъ?

— Ничего-съ...

— А Филатъ?

Филатъ было имя повара, виновника всей

исторіи, въ самомъ дѣлѣ грозившей ей возможностью очутиться вдругъ „sur le pavé“.

— Дрыхнетъ-съ... — Варя разсмѣялась.

— Hein... что такое?

— Храпитъ-съ... — съ презрѣніемъ выговорила Варя и подала хозяйкѣ мантилью и батистовый носовой платокъ, спрыснутый одеколономъ.

— А тотъ... другой... поваръ?

— Еще не бывалъ-съ.

— Господинъ Пирожковъ?

— Сейчасъ сойдутъ... одѣваются...

Кофею Дениза Яковлевна напилась основательно. Съ пустымъ желудкомъ, какъ всѣ французы и француженки, она чувствовала себя и съ пустой головой. Для всякаго разговора по дѣлу, а особенно по такому, ей необходимо было имѣть что-нибудь „sur l'estomac“. Она скушала три тартинки. Въ залу не вошла она прежде, чѣмъ не услыхала короткихъ шажковъ Ивана Алексѣевича, съ перевальцемъ и съ пріятнымъ поскрипываніемъ.

— Il est là! — съ дрожью и глухо вскрикнула она, пожавъ руку Пирожкову.

— Кто?

Онъ съ просонья все еще не особенно понималъ, въ чемъ дѣло.

— Mais lui... le pricastchik... Je le connais!.. c'est l'ami de l'autre.

И она опустила жирный указательный палецъ внизъ, къ полу, желая показать,

что „тотъ“, то есть, поваръ Филатъ, тамъ внизу.

— Бѣда еще не большая, — успокоительно замѣтилъ Пирожковъ: — онъ вѣдь и хотѣлъ прислать приказчика.

Но Дениза Яковлевна заволновалась. Она не знаетъ, что съ нимъ говорить, не побывавъ у Гордѣя Парамоныча.

— Такъ ему и скажите... Онъ подождетъ...

— Mais il est capable de faire une saisie!..

— Какая saisie?.. — остановилъ ее Пирожковъ. — Ему не нужно прибѣгать ни къ какимъ мѣрамъ. Вѣдь здѣсь и безъ того все принадлежитъ вашему Гордѣю Парамонычу.

— Dieu, Dieu! — заплакала Дениза Яковлевна и схватилась за голову.

Предстояло повтореніе вчерашней сцены. Пирожковъ чуть замѣтно поморщился. Искренно жаль ему было француженку, но и очень ужь она его допекала своей тревожностью. Онъ видѣлъ, что она ничего не добьется. Дениза Яковлевна, кромѣ гонора женщины, смотрящей на себя какъ на тонко воспитанную особу, пріобрѣла въ Москвѣ чисто русское барство... Ей не по чину было кланяться всякому приказчику въ сибиркѣ и ладить съ пьянымъ поваромъ, хотя бы это былъ вопросъ о кускѣ хлѣба.

— Parlez lui de grace... — упрашивала она Пирожкова.

— Позовите его сюда...

— Non, non... я уйду!..

И она убѣжала опять къ себѣ. Пирожковъ дошелъ до передней, гдѣ приказчикъ кланялся ему уже разъ, когда онъ проходилъ мимо, и окликнулъ его:

— Вы отъ Гордѣя Парамоныча?

— Такъ точно, — мягко отвѣтилъ приказчикъ и сейчасъ же всталъ.

— Пожалуйте сюда...

Приказчикъ сталъ у порога гостиной. Пирожковъ объяснилъ ему, что Дениза Яковлевна сама поѣдетъ къ его хозяину, а онъ будетъ такъ добръ и обождетъ или съѣздитъ съ ней вмѣстѣ. .

— Да это они напрасно-съ, — заговорилъ прикащикъ, посматривая на полъ и въ бокъ:— Гордѣй Парамонычъ мнѣ препоручили. Со мной и документикъ, довѣренность... если мадамъ сумлѣвается... а такъ какъ по описи надо принять все и разсчетъ за три мѣсяца...

Пирожковъ потрепалъ его по плечу и тихо сказалъ:

— Вы, дружище, успѣете... а она дама, надо же и ей уваженіе сдѣлать...

— Это точно... Я подожду-съ...

— Вы ужь безъ Денизы Яковлевны ничего не производите... она боится...

— Что-жь я могу безъ нихъ? Напрасно онѣ безпокоятся...

Приказчикъ тряхнулъ волосами и прибавилъ:

— Женское дѣло!.. Извѣстно.

VIII.

Варя сбѣгала за извозчикомъ. Дениза Яковлевна надѣла на голову тюлевую косынку, на шею нитку янтарей и взяла всѣ свои книжки: по забору провизіи, приходо-расходную и еще двѣ какихъ-то. Она записывала каждый день; но чистаго барыша за всѣ три мѣсяца приходилось не больше ста рублей. Она успѣла разсказать это Пирожкову, пригласивъ его къ себѣ въ комнату еще разъ.

— Знаете, — шепнулъ онъ ей: — для своего спокойствія, возьмите вы его съ собой... приказчика...

— Онъ не поѣдетъ...

— Поѣдетъ... я ему скажу...

Въ передней мадамъ Гужо́ гордо поклонилась приказчику и предоставила Пирожкову переговорить съ нимъ.

— Вотъ онѣ — указалъ Иванъ Алексѣевичъ на француженку: — просятъ васъ съ ними доѣхать до Гордѣя Парамоныча.

— Да я и здѣсь подожду-съ... ничего...

— Успокойте... даму, — съ комической миной сказалъ Пирожковъ.

Приказчикъ помялся на одномъ мѣстѣ, повернулъ голову къ двери въ корридоръ, точно поджидая, не появится ли оттуда его благопріятель-поваръ, и выговорилъ:

— Это не суть важно...

Онъ взялъ со стула свою барашковую шапку и отошелъ къ двери.

— Сейчасъ... шубенка моя въ кухнѣ...

Дениза Яковлевна въ шелковой бѣличьей ротондѣ громко дышала и натягивала новую черную перчатку на лѣвую руку.

— Вы видите, онъ смирненькій, — сказалъ Пирожковъ.

— Oh! Ces moujiks! La perfidie même!..

Наконецъ-то она уѣхала; но Пирожковъ долженъ былъ обѣщаться не выходить изъ дома и дожидаться ея, — Гордѣй Парамонычъ въ пяти минутахъ ѣзды, на бульварѣ.

— Чаю вамъ баринъ или кофею? — спросила Варя, почувствовавъ къ нему большое сожалѣніе.

— Все равно, чего-нибудь... сюда.

Наверхъ онъ уже не хотѣлъ подниматься на какихъ-нибудь полчаса. Варя поставила ему большую чашку кофею на столикъ около двери въ комнату мадамы, подъ гравюру „Реформаціи“ Каульбаха, къ которой Пирожковъ сдѣлалъ привычку подходить и въ сотый разъ разглядывать ея фигуры. Принесла ему Варя и газету...

Пирожковъ остановился передъ окномъ, на половину заслоненнымъ растеніемъ въ кадкѣ. Шелъ мелкій снѣжокъ. Сбоку, влѣво виденъ былъ конецъ бульвара, вправо — пивная съ красно-синей вывѣской. Прямо изъ переулка поднимался длинный обозъ, должно быть, съ

Николаевской желѣзной дороги. Все та же картина зимней, будничной Москвы.

Раздался громкій, нервный, порывистый звонокъ.

„Это madame“, подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, и его доброе сердце сжалось, звонокъ что-то не предвѣщалъ ничего хорошаго, хотя могъ быть такой и отъ радости.

Не снимая своей мѣховой ротонды, вкатилась Дениза Яковлевна въ столовую красная и на ходу, задыхаясь, кинула ему:

— Venez, cher monsieur, venez!..

Сибирка прикащика, успѣвшаго сбросить съ себя тулупъ на лѣстницѣ, показалась въ глубинѣ анфилады.

„Вотъ наказанье!“ — про себя воскликнулъ Пирожковъ, отправляясь вслѣдъ за мадамой.

— Oh! le brigand!..— ужь завизжала Дениза Яковлевна и заметалась по комнатѣ.— Et lui, et sa femme, oh, les cochons!

Послѣдовательно она не въ состояніи была разсказывать. Наткнулась она на жену... та приняла ее за просящую на бѣдность... и сказала: „не прогнѣвайся, матушка“, передразнила она купчиху. „Elle m'a tutoyé!“ А самъ давно ей „ты“ говорилъ. Онъ только и сказалъ: „Ты мнѣ не ко двору!.. Тысячу рублей привезла ли за три мѣсяца?! „Mille roubles!“.. „За домъ мнѣ четыре тысячи даютъ безъ хлопотъ!“

— И дадутъ,— подтвердилъ Пирожковъ.

— Je suis perdue... — ужь трагически прошептала Дениза Яковлевна и упала на диванъ, такъ что спинка затрещала. — Il m'a donné mes quinze jours! Comme à une cuisinière!..

Слезы текли обильно, за слезами рыданія, за рыданіями какая-то икота, грозившая ударомъ. Удара боялся Иванъ Алексѣевичъ пуще всего.

— Вотъ что,— заговорилъ онъ ей такъ рѣшительно, что толстуха перестала икать и подняла на него свои круглые, красные глаза, полные слезъ: — вотъ что, у меня есть пріятель...

— Un ami, — машинально перевела она.

— Палтусовъ, онъ съ купцами въ знакомствѣ, въ дѣлахъ.

— Dans les affaires, — продолжала переводить Дениза Яковлевна.

— Надо черезъ него дѣйствовать... я сейчасъ поѣду.

— Голубчикъ! Родной, батюшка мой! — прорвало француженку.

Она начала душить Пирожкова, прижимать къ своей груди короткими, перетянутыми у кисти ручками.

— Oh, les Russes!.. Quel coeur! Quel coeur! — всхлипывала она, провожая его въ столовую, гдѣ еще стояла недопитая чашка Ивана Алексѣевича.

IX.

— Вотъ это хвалю! — встрѣтилъ Пирожкова Палтусовъ въ дверяхъ своего кабинета. — Позвольте облобызаться.

Иванъ Алексѣевичъ проѣхалъ сначала въ тѣ меблированныя комнаты, гдѣ жилъ Палтусовъ еще двѣ недѣли назадъ. Тамъ ему сказали, что Палтусовъ перебрался на свою квартиру около Чистыхъ Прудовъ.

Квартира его занимала цѣлый флигелекъ съ подъѣздомъ на переулокъ, выкрашенный въ желтоватую краску. Окна поднимались отъ тротуара на добрыхъ два аршина. По лѣсенкѣ заново выштукатуренныхъ сѣней шелъ красивый половикъ. Вторая дверь была обита свѣтло-зеленымъ сукномъ съ мѣдными бляшками. Передняя такъ и блистала чистотой. Докладывать о гостѣ ходилъ мальчикъ въ сѣромъ полуфрачкѣ. Въ этихъ подробностяхъ обстановки Иванъ Алексѣевичъ узнавалъ франтоватость своего пріятеля.

Первая комната — столовая, — тоже показывала заботливость хозяина, хотя въ ней и не бросалось въ глаза никакихъ особенныхъ затѣй. Тратиться сверхъ мѣры Палтусовъ не желалъ. Кабинетъ отдѣлалъ онъ гораздо богаче остальныхъ двухъ комнатъ, маленькаго салона и такой же маленькой спальни. Кабинетъ онъ оклеилъ темными обоями подъ ту-

рецкую ткань и уставилъ мягкой мебелью такого же почти рисунка и цвѣта. Книгъ у него еще не было, но шкафъ подъ черное дерево, завѣшенный изнутри тафтой, занималъ всю стѣну, позади кресла за письменнымъ столомъ, Комната смотрѣла изящнымъ „fumoir'омъ".

Пирожковъ и Палтусовъ не видались съ самаго Татьянина дня, когда они повезли приказнаго въ веселое мѣсто.

— Чему обязанъ,— шутливо спросилъ Палтусовъ, вводя пріятеля въ кабинетъ:— въ такой ранній часъ? Ужь не въ секунданты-ли?

Онъ на взглядъ Пирожкова пополнѣлъ, борода разрослась, щеки порозовѣли. Домашній, синій костюмъ, въ родѣ военной блузы, выставлялъ его стройную, крѣпкую фигуру. Пирожковъ замѣтилъ у него на четвертомъ пальцѣ лѣвой руки прекрасной воды рубинъ.

— Въ секунданты! — разсмѣялся Иванъ Алексѣевичъ. — Не тѣ времена. Вы въ губерніи сильный человѣкъ, мы къ вашимъ стопамъ прибѣгаемъ.

Палтусовъ подумалъ, что Пирожковъ дурачится, потомъ сѣлъ съ нимъ на низкій, глубокій диванчикъ, на двоихъ. Обстоятельно, полусерьезно, полушутливо разсказалъ ему пріятель исторію „о нѣкоемъ поварѣ Филатѣ, его другѣ приказчикѣ, Гордеѣ Парамонычѣ и его жертвѣ, французской гражданкѣ, Денизѣ-Элоизѣ Гужо́". Исторія насмѣшила Палтусова, особенно картина бушеванія повара и поведеніе

жильцовъ со старой дворянкой включительно, спустившейся внизъ узнать, дадутъ ли ей завтракать на другой день.

Но лицо Ивана Алексѣевича сдѣлалось вдругъ серьезнымъ.

— Гогартовская сцена,— сказалъ онъ: — но ее ужасно жаль, она вѣдь очутится sur la paille, какъ въ мелодрамахъ говорится. Я подумалъ, что спасителемъ можете быть только вы.

— Почему? — со смѣхомъ вскричалъ Палтусовъ.

— Купцовъ много знаете...

— Вотъ что...

Но на вопросъ, кто такой этотъ Гордѣй Парамоновичъ, Пирожковъ затруднился отвѣтить. Онъ не былъ увѣренъ — прозывается ли онъ Федюхинымъ или Дедюхинымъ.

— Такого не знаю, — уже дѣловымъ звукомъ откликнулся Палтусовъ.

Ему радъ онъ былъ услужить хоть чѣмъ-нибудь. Этого человѣка онъ выдѣлялъ изъ всего московскаго обывательства и никогда на него и въ помыслахъ не разсчитывалъ. Онъ записалъ его въ разрядъ милыхъ, безполезныхъ теоретиковъ, и даже, когда разъ объ немъ думалъ, сказалъ себѣ: „Если Пирожковъ проѣстъ свою деревушку, и я къ тому времени буду въ капиталахъ — я его устрою“.

— Справьтесь, другъ, справьтесь... Кто-нибудь изъ вашихъ знакомцевъ.

— Да кто онъ такой?.. ну хоть приблизительно.

— Кажется, кирпичемъ промышляетъ.

— Чудесно! коли это такъ, тогда мы до него доберемся. Да позвольте, можетъ быть и я вспомню... Дедехинъ... Федюкинъ...

Палтусовъ началъ припоминать. Пирожковъ окликнулъ его.

— Андрей Дмитріевичъ?

— Что прикажете, дорогой?..

— Вѣдь купецъ въ самомъ дѣлѣ все прибралъ къ своимъ рукамъ... въ этой Москвѣ...

— А вы какъ бы думали? — съ этими словами Палтусовъ вскочилъ и заходилъ передъ диваномъ.

Онъ попадалъ на свою любимую тему.

— Вы дайте срокъ, — прибавилъ Пирожковъ: — тутъ еще другая исторія... васъ тоже просить приказано... но только на обѣдъ... И здѣсь купецъ, и тамъ купецъ...

— Раскусили? — съ разгорѣвшими глазами вскричалъ Палтусовъ, наклоняясь къ гостю: — я говорю вамъ... никто и не замѣтилъ, какъ вахлакъ наложилъ на все лапу. И всѣхъ съѣстъ, если вашъ братъ не возьмется за умъ. Не одну французскую madame слопаетъ такой Гордѣй Парамонычъ! — А онъ навѣрно пишетъ „рупь“ — буквами „пь“. Онъ нѣмца нигдѣ не боится. Ярославскій калачникъ выживаетъ нѣмца булочника, да не то, что здѣсь,

а въ Питерѣ, съ Невскаго, съ Морской, съ Васильевскаго острова...

Рѣчь Палтусова прервалъ звонокъ.

— Пріемный часъ? — спросилъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Нѣтъ... я позднѣе принимаю... Это кто-нибудь свой. Можетъ, Калакуцкій... мой, такъ сказать, принципалъ... Вотъ было бы кстати... Онъ навѣрное знаетъ.

— Онъ вѣдь „enterperneur de bâtisses", какъ въ пѣсенкѣ поется?

— Именно.

Палтусовъ ввелъ въ кабинетъ Калакуцкаго и тотчасъ же познакомилъ съ нимъ Пирожкова.

Иванъ Алексѣевичъ не безъ любопытства оглядѣлъ фигуру подрядчика „изъ благородныхъ" и остался ею доволенъ; она показалась ему достаточно типичной.

— Душа моя, — торопливо захрипѣлъ Калакуцкій: — я къ вамъ на секунду... завернулъ, чтобы напомнить на счетъ...

Онъ отвелъ Палтусова къ окну и басовымъ хрипомъ досказалъ ему остальное.

Палтусовъ только кивалъ головой. По тому, какъ онъ держался съ „принципаломъ", Иванъ Алексѣевичъ заключилъ, что подрядчикъ имъ дорожитъ. Такъ оно и должно было случиться... Ловкій и бывалый молодецъ, какъ Палтусовъ, стоилъ дюжины подобныхъ „enterperneurs de bâtisses", про которыхъ поется въ шутовской

пѣсенкѣ... Пирожковъ сталъ ее припоминать и припомнилъ весь первый куплетъ:

„Que j'aime à voir autour de cette table
Des scieurs de long, des ébénisses,
Des enterperneurs de bâtisses,
Que c'est comme un bouquet de fleurs!"

— Вотъ, Сергѣй Степанычъ, обяжите маленькой услугой моего пріятеля, — заговорилъ громко Палтусовъ и подвелъ Калакуцкаго къ дивану.

— Чѣмъ могу?

Палтусовъ объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Какъ зовутъ этого Гордѣя Парамоныча?

— Не то Федюхинъ, не то Дедюхинъ, — стыдливо произнесъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Федюхинъ!.. А!.. Не Федюхинъ, батюшка, Нефединъ... Это вотъ такъ! Каменоломни имѣетъ...

— Да, да!..— обрадовался Пирожковъ.

— Знаю... мужикъ простота.

— А не плутъ?

— Плутъ... разумѣется... но плутуетъ онъ по-христіански, простота... жирный... все у него приказчики... Жена, говорятъ, бьетъ его... По пяти дней запоемъ пьетъ каждый мѣсяцъ.

— Какъ вы все это знаете? — вырвалось у Пирожкова.

— Еще бы, на томъ стоимъ... Его просить... да о чемъ же, я все въ толкъ не возьму.

— Сергѣй Степанычъ, вы позвольте мнѣ,—

вмѣшался Палтусовъ. — Вы вѣдь въ дѣлахъ съ нимъ...

— Былъ, да и теперь еще придется, по веснѣ.

— Ну, такъ я отъ васъ съѣзжу... и съ Иваномъ Алексѣевичемъ мы обсудимъ... чего практичнѣе добиваться для этой Гужó.

— Вотъ и прекрасно... Какой у васъ пріятель-то,— указалъ Калакуцкій Пирожкову на Палтусова.— На все время есть!.. Сдѣлалъ бы другой?.. Держите карманъ!.. Андрей Дмитріевичъ у насъ единственный... Вотъ всероссійская выставка будетъ на Ходынскомъ полѣ... Будемъ его выставлять! Merci, merci, mon cher... Еще на пару словъ... Мочи нѣтъ, какъ тороплюсь... Мое вамъ почтеніе, — онъ кивнулъ Пирожкову и увлекъ Палтусова въ столовую.

Тамъ еще минуты съ двѣ слышался его хрипъ, который то опускался, то поднимался. Оба чему-то разсмѣялись и шумно пошли въ переднюю.

„Хлестко живутъ,— думалъ Иванъ Алексѣевичъ, располагаясь поудобнѣе на диванѣ: — въ гору идутъ... Тутъ-то вотъ и есть настоящая русская жизнь, а не тамъ, гдѣ мы ее ищемъ... Палтусовъ и я — это взрослый человѣкъ и ребенокъ“.

Но Иванъ Алексѣевичъ не способенъ былъ кому-либо завидовать. Ему надо одно: быть болѣе хозяиномъ своего времени. Это-то ему

и не удалось. Быть можетъ, съ годами придетъ особый талантъ, будетъ и онъ умѣть ѣздить на почтовыхъ, а не на долгихъ въ своихъ занятіяхъ, въ выполненіи своихъ работъ.

— Каковъ... на вашъ вкусъ? — раздался надъ нимъ звонкій голосъ Палтусова.

— Принципалъ?

— Да.

— Матёръ!

— Между нами, — заговорилъ Палтусовъ потише:— онъ ненадеженъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Зарывается... Плохо кончитъ...

Иванъ Алексѣевичъ услыхалъ тутъ же цѣлую исповѣдь Палтусова: какъ онъ попалъ въ агенты къ Калакуцкому, какъ успѣлъ въ какихъ-нибудь три-четыре недѣли подняться въ его глазахъ, добылъ ему поддержку самыхъ нужныхъ и „тузистыхъ" людей, какъ онъ присмотрѣлся къ этому процессу „объегориванья" путемъ построекъ и подрядовъ и думаетъ начать дѣло на свой страхъ съ будущей же весны, а Калакуцкаго „lâcher", разумѣется, благороднымъ манеромъ, и сдѣлаетъ это не позднѣе половины поста. Тогда онъ начнетъ иначе, на другихъ основаніяхъ, безъ татарскихъ замашекъ, на англійскій, солидный образецъ. Да и въ Москвѣ есть люди въ такомъ вкусѣ... Пирожковъ услыхалъ имя какого-то Осетрова... Вотъ это человѣкъ! Университетскій кандидатъ, до всего дошелъ умомъ,

знаніемъ, безупречной честностью. Кредитъ по всему волжскому бассейну; безъ документовъ наберетъ сколько угодно денегъ въ Нижнемъ, Казани, Астрахани... въ Сибири... Вадимъ Павлычъ, одно слово — и кубышки раздаются и изъ нихъ текутъ рубли въ руки высокодаровитаго предпринимателя.

— Вы съ нимъ ужь въ дѣлѣ? — спросилъ Пирожковъ, проникаясь удивленіемъ къ своему пріятелю, къ той быстротѣ, съ которой онъ проникъ „въ міръ цѣнностей и производствъ", какъ выражался самъ Палтусовъ.

— Онъ мнѣ далъ два пая въ своемъ послѣднемъ крупнѣйшемъ предпріятіи, — конфиденціальнымъ тономъ сообщилъ Палтусовъ. — Это вздоръ; но дорого вотъ что: поддержать съ нимъ связь.

— Фортуну заполучите, — ласково спросилъ Иванъ Алексѣевичъ, пристально взглянувъ на пріятеля... — И невинность соблюдете.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Вотъ вамъ какъ духовнику все разсказалъ.

Но онъ забылъ или не хотѣлъ сообщить Пирожкову того, что наканунѣ Марья Орестовна Нѣтова, собираясь за-границу, поручила ему полной формальной довѣренностью завѣдываніе своимъ „особымъ" состояніемъ.

— Завлекательно, — выговорилъ Иванъ Алексѣевичъ.

Палтусовъ предложилъ ему закусить. Иванъ Алексѣевичъ съ большой радостью принялъ предложеніе.

— Но, любезный другъ, — говорилъ Пирожковъ, закусывая кускомъ ветчины — они перешли въ столовую: — все это такъ; а конечная цѣль? Дѣльцомъ быть хорошо только до извѣстнаго предѣла... для человѣка, вкусившаго, какъ вы, высшаго развитія.

Палтусовъ не смутился.

— Конечно, — согласился онъ: — чтожь! Вы думаете, я какъ парижскій лавочникъ или limonadier забастую съ рентой и буду ходить въ домино играть, или по-россійски въ трехъ каретахъ буду ѣздить, или палаццо выведу на Комскомъ озерѣ и тамъ хоръ музыкантовъ, балетъ; оперу заведу? Нѣтъ, дорогой Иванъ Алексѣевичъ, не такъ я на это дѣло гляжу-съ!.. Силу надо себѣ приготовить... общественную... политическую...

— Ну ужь и политическую...

— А вы какъ бы думали... Иванъ Алексѣевичъ?.. Изъ-за чего же вы всѣ бьетесь?..

— Кто всѣ? — кротко остановилъ Пирожковъ.

— А вотъ то, что называется интеллигенціей?

— Да мы ни изъ чего не бьемся, а киснемъ.

— Ха, ха! Именно! Я не хотѣлъ употреблять это слово... Я только временно примазывался, Иванъ Алексѣевичъ, къ университету... Но я вкусилъ все-таки отъ древа познанія... И люди, какъ вы, должны будутъ сказать мнѣ спасибо, когда я добьюсь своего... Если вы всѣ мечтаете о томъ, что́ ныньче называется „идея“,

ну представительство, что ли... пора подумать, кто же попадетъ въ вашу палату?..

— Палата! — вздохнулъ Пирожковъ.

— Кто? Вотъ отъ города Москвы? А? У кого въ рукахъ цѣлыя волости, округи, кто скупаетъ земли, кто кормитъ десятки тысячъ рабочихъ? Да все тѣ же господа коммерсанты, тотъ же Гордѣй Парамонычъ! Въ думѣ они выкурили дворянъ! Выкурятъ и въ вашей будущей палатѣ.

— Если такіе, какъ Андрей Дмитріевичъ, не возьмутся за умъ, — прибавилъ весело Пирожковъ.

— Безъ ложной скромности, да-съ!..

Палтусовъ выпилъ стаканъ вина.

— Вотъ такіе Калакуцкіе ничего не сдѣлаютъ... Это мыльные пузыри... Раздулся въ нѣсколько минутъ и пафъ!.. Но Осетровъ, вотъ сила... Мнѣ лучшаго образца и не надо!..

— Хоть бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на вашего богатыря.

— Познакомитесь... современемъ... Вотъ, дорогой Иванъ Алексѣевичъ, мой объектъ...

— Хвалю!

— Такъ вы нашимъ пріятелямъ и скажите: изъ тѣхъ, кто въ Ѳиваидѣ жили... Палтусовъ, молъ, только временно въ плутократію пустился... Силу накопляетъ.

— Пріятели! — подхватилъ съ горечью Пирожковъ... я никого не вижу... Просто срамъ...

Такую ослиную жизнь веду, ничего не дѣлаю, диссертацію заколодило.

— Эхъ, Иванъ Алексѣевичъ, не одни вы... тоже поютъ... здѣсь только и можно, что вокругъ купца орудовать... или чистой наукой заниматься... Больше ничего нѣтъ въ Москвѣ... Послѣ будетъ, допускаю... а теперь нѣтъ. Учиться, стремиться, знаете, натаскивать себя на хорошія вещи... надо здѣсь, а не въ Питерѣ... Но человѣку, какъ вы, коли онъ не пойдетъ по чисто ученой дорогѣ, нечего здѣсь дѣлать! Закиснетъ!..

Пирожковъ только вздыхалъ.

— Исключеніе допускаю... для сочинителя, романы кто пишетъ, комедію... О! здѣсь пища богатая! Такъ и черпай!.. А за симъ прощайте, буду васъ гнать — пора и за маклачество приниматься.

Онъ позвонилъ и приказалъ мальчику закладывать лошадь.

— И четвероногихъ завели? — спросилъ Пирожковъ, переходя съ хозяиномъ въ кабинетъ.

— Завелъ, дешевле обходится. А какое же у васъ еще дѣло ко мнѣ?

— Вотъ оно!.. Я забылъ, а вы помните... Поэтому-то вы и достигнете своего; а я съ диссертаціей-то превращусь въ ископаемаго, въ улитку... И назовутъ меня именемъ какого-нибудь московскаго трактира... Есть „Terebratula Alfonskii“. Ректоръ такой здѣсь былъ.

А тутъ откроютъ „Terebratula Patrikewii". И это буду я!

Пріятели поцѣловались. Палтусовъ предложилъ-было сани, но Иванъ Алексѣевичъ пошелъ гулять на Чистые Пруды. Они условились повидаться на другой же день утромъ: обработать дѣло мадамъ Гужо.

X.

Плохо освѣщенная зала Малаго театра пестрѣла публикой. Играли водевиль передъ большой пьесой. — Въ амфитеатрѣ сидѣло больше женщинъ, чѣмъ мужчинъ. — Всѣ посѣтительницы бенефисовъ значились тутъ на лицо. Верхняя скамья почти сплошь была занята дамами. Онѣ оглядывали другъ друга, надѣвали перчатки, наводили бинокли на бенуары и ложи бельэтажа. Двѣ модныхъ шляпки заставили всѣхъ обернуться, сначала на средину второй скамейки сверху, потомъ на правый конецъ верхней. У одной бенефисной щеголихи шляпка, въ видѣ большаго блюда, обшитаго атласомъ, сидѣла на затылкѣ, покрытая бѣлыми перьями; у другой — черная шляпка выдвигалась впередъ точно кузовъ. Изъ-подъ него выглядывала голова съ огромными цыганскими глазами. Двѣ круглыхъ, позолоченныхъ булавки придерживали на волосахъ этотъ кузовъ. Пришли еще три пары, всегда появляющіяся въ бене-

фисахъ, уже не первой молодости, барыни и купчихи, и при нихъ молодые люди, ражіе, съ русыми и черными бородами, въ цвѣтныхъ галстухахъ и кольцахъ.

Кресла къ концу водевиля совсѣмъ наполнились. Въ первомъ ряду неизмѣнно виднѣлись тѣ же головы. Между ними всегда очутится какой-нибудь проѣзжій гусаръ, или фигура помѣщика, иногда прямо съ желѣзной дороги. Онъ только-что успѣлъ умыться и переодѣться, и купилъ билетъ у барышниковъ за пятнадцать рублей. Въ бельэтажѣ и бенуарахъ не видно особенно изящныхъ туалетовъ. Купеческія семьи сидятъ, дочери впередъ, въ розовыхъ и голубыхъ платьяхъ, съ румяными щеками и приплюснутыми носами. Второй ярусъ почти сплошь купеческій. Въ двухъ ложахъ даже женскія головы, повязанныя платками. Купоны набиты разнымъ людомъ: пріѣзжія, небогатыя дворянскія семьи, жены учителей, мелкихъ адвокатовъ, офицеровъ; есть и студенты. Одну ложу совсѣмъ расперли человѣкъ девять техниковъ. Верхи — бенефисные: чуекъ и кацавеекъ очень мало, преобладаетъ учащаяся молодежь.

Убогій оркестръ, точно въ ярмарочномъ циркѣ, заигралъ что-то послѣ водевиля. Раекъ еще не угомонился и продолжалъ вызывать водевильнаго комика. Въ креслахъ гудѣли разговоры. Въ залѣ сразу стало жарко.

Вдоль поперечнаго прохода въ кресла подъ

амфитеатромъ уже встали въ рядъ: дежурный жандармскій офицеръ, частный, два квартальныхъ, два-три не дежурныхъ капельдинера въ штатскомъ, старичекъ изъ кассы, чиновникъ конторы и ихъ знакомые, еще нѣсколько неизвѣстнаго званія людей, всегда проникающихъ въ этотъ служебный рядъ.

Всѣмъ хочется посмотрѣть: какой будетъ „пріемъ" первой актрисѣ. По лѣвому корридору, мимо бенуара, уже понесли двѣ корзинки и вѣнокъ съ буквами изъ фіалокъ и гіацинтовъ. Пріѣхалъ уже старый генералъ въ очкахъ. Передъ нимъ вытянулись внизу, у дивана дежурный солдатикъ и у дверей въ кресла плацъ-адъютантъ. Капельдинеръ, съ этой стороны, развертывалъ билеты и глядѣлъ на нихъ въ pince-nez, прикладывая его каждый разъ къ носу. Въ глубинѣ корридора, на скамейкѣ, около хода за кулисы, старичекъ въ длинномъ сюртукѣ съ свѣтлыми пуговицами сидитъ и зѣваетъ.

Послѣ водевиля, сверху затопали по каменнымъ ступенямъ, началось перекочевыванье въ буфетъ черезъ холодныя сѣни мимо кассы, куда все еще приходили покупать билеты, давно распроданные. Сторожа, въ валенкахъ и полушубкахъ, совали входящимъ афиши. Изъ „кофейной",—такъ зовутъ буфетъ по-московски,—въ ободраную дверь валитъ паръ. Съ подъѣзда доносятся крики жандармовъ и окрики квартальныхъ. Подъ лѣстницей, при поворотѣ въ

кресла, молодецъ въ сибиркѣ бойко торгуетъ пирожками и крымскими яблоками. Въ фойе, гдѣ со всѣхъ лѣстницъ и изъ всѣхъ дверей такъ и вторгается сквозной вѣтеръ, публика уже толчется, ходитъ, сидитъ, усиленно пьетъ сельтерскую воду и морсъ. Такая же сибирка, какъ и внизу, едва успѣваетъ откупоривать бутылки, наливаетъ и плещетъ на полъ и подносъ. Оркестръ смолкъ. Раздался звонокъ со сцены. Два солдатика у царской ложи уже наполнили все фойе запахомъ своихъ смазныхъ сапогъ.

XI.

Передъ самымъ поднятіемъ занавѣса къ большой пьесѣ въ кресла вошелъ Палтусовъ. За зиму онъ пропустилъ много бенефисовъ; вечера были заняты другимъ. На этотъ бенефисъ слѣдовало поѣхать, припомнить немного то время, когда онъ съ пріятельской компаніей отправлялся въ купоны и вызывалъ оттуда, до потери голоса, сегодняшнюю бенефиціантку.

Онъ любилъ сидѣть въ мѣстахъ амфитеатра. Въ кассѣ ему оставили крайнее мѣсто на одной изъ нижнихъ скамеекъ. Войдя, онъ остановился въ проходѣ и оглядѣлъ въ бинокль всю залу. Напередъ зналъ онъ, кого увидитъ и въ бенуарѣ, и въ бельэтажѣ, и въ креслахъ. Съ

тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ заниматься Москвой въ качествѣ „піонера", онъ все больше и больше убѣждался въ томъ, что „общество" вездѣ одно и тоже — куда ни поѣдешь. Людей много, но люди эти — „обыватели", какъ выражается и его пріятель Пирожковъ. Вотъ, хоть бы сегодня — не къ кому подойти, ни одной интересной женщины. Все купцы и купцы! Палтусовъ начиналъ находить, что изучать ихъ полезно, но по вечерамъ надо хоть бы чего-нибудь поигривѣе. Направо, въ бенуарѣ — знакомое ему семейство. Онъ раскланялся издали. Страшно богатые и недурные люди, гостепріимные и не безъ образованія, но неизлѣчимо скучные. Налѣво тоже знакомые. Тутъ все на дворянскую ногу, жена сейчасъ о литературѣ заговоритъ. И онъ напередъ знаетъ: что именно, и какимъ тономъ.

Палтусовъ чувствовалъ себя вообще очень довольнымъ. За три дня передъ тѣмъ въ его дѣловой дорогѣ произошелъ поворотъ въ сторону скораго и большаго обогащенія. Онъ ужь болѣе не агентъ Калакуцкаго. Они распрощались безъ непріятностей, по-джентльменски Черезъ своего принципала онъ сошелся съ тѣмъ самымъ каменьщикомъ, у котораго madame Гужò завѣдывала меблированными комнатами. Этому мужику, по натурѣ доброму, но всегда въ рукахъ какого-нибудь приказчика, понравился статный и рѣчистый баринъ. Отъ него Палтусовъ узналъ въ точности, что Калакуцкій

сильно зарвался. Состоять при немъ не было никакого разсчета. Палтусовъ откровенно сказалъ Калакуцкому, что хочетъ попробовать начать свое дѣло. Тотъ не сталъ его удерживать. Купецъ обѣщалъ ему залоги. Навертывался выгоднѣйшій подрядъ. До весны все будетъ обработано.

Когда Палтусовъ садился на свое мѣсто, онъ бросилъ взглядъ вверхъ на ряды амфитеатра. Подъ царской ложей сидѣла Анна Серафимовна Станицына въ своей шляпкѣ съ гранатовымъ перомъ и черномъ платьѣ, прикрытая короткой перелинкой изъ чего-то блестящаго. Она его тотчасъ же замѣтила, поклонилась степенно, но глаза улыбнулись. Рядомъ съ ней раскинулась ея кузина Любаша безъ шляпки, съ длинными двумя косами, въ зеленомъ платьѣ съ вырѣзомъ на груди. Палтусовъ не зналъ, кто она. Онъ почтительно поклонился Станицыной, обратилъ вниманіе и на Любашу, и на блондина съ курчавой, чисто купеческой головой, сидѣвшаго рядомъ съ ней. Это былъ Рубцовъ.

Станицыну Палтусовъ не видалъ больше двухъ мѣсяцевъ. Хотѣлъ-было онъ на дняхъ поѣхать къ ней и поговорить съ ней на счетъ ея „муженька". Но онъ этого не сдѣлалъ изъ чувства нравственной щекотливости. Это было бы похоже на подлаживанье къ богатой купчихѣ, которая, въ концѣ-концовъ, можетъ настоять на разводѣ, выплатить своему Виктору

Миронычу тысячъ триста, четыреста отступнаго... Нѣтъ, Палтусовъ не такъ ведетъ свои дѣла съ купчихами. Вотъ хоть бы Марья Орестовна Нѣтова! Хоть онъ и не фатъ, а трудно ему было не понимать, что она къ нему начинала чувствовать... А развѣ онъ сталъ ее эксплуатировать?.. Она сама передъ отъѣздомъ за-границу попросила его быть ея „chargé d'affaires", дала ему полную довѣренность, поручила свой капиталъ, прямо показала этимъ, что довѣряетъ ему безусловно... Иначе и не могло случиться... Онъ такъ велъ себя съ ней...

Лицо Анны Серафимовны обратилось опять къ нему. Глаза ея, въ полусвѣтѣ театра, казались больше и еще красивѣе. Она немного похудѣла, носъ сталъ тоньше, черный корсажъ изъ шелковаго трико — самая послѣдняя мода— обвивалъ ея грудь и прекрасныя руки. Палтусовъ все это могъ осматривать на свободѣ въ свой бинокль. Препородистая женщина! Онъ не найдетъ привлекательнѣе ея въ гостиныхъ коммерсантовъ. Пора бы ему почаще бывать у ней. Она заслуживаетъ полной симпатіи... Свою печальную долю она несетъ съ достоинствомъ. Дѣло, какъ слышно, она ведетъ отлично, на фабрикѣ устроила школу... Чего же больше желать?.. Нѣтъ въ ней этого противнаго залѣзанья въ баре, не тянется она за титулованными дамами-патронессами, ѣздитъ только въ свое общество, и то очень мало...

А главное, вѣдь она свободная и одинокая

молодая женщина. Развѣ она можетъ считать себя обязанной чѣмъ-нибудь передъ Викторомъ Миронычемъ?.. Палтусовъ вспомнилъ тутъ разговоръ съ ней въ амбарѣ, въ началѣ осени, когда они остались вдвоемъ на диванѣ... Какая она тогда была милая... Только песочное платье портило. Но она и одѣваться стала лучше...

XII.

Занавѣсъ поднялся. Черезъ десять минутъ вышла бенефиціантка. Театръ захлопалъ и закричалъ. Послѣ перваго треска рукоплесканій, точно залповъ ружейной пальбы, протянулись и возобновлялись новые апплодисменты. Капельмейстеръ подалъ изъ оркестра корзины одну за другой. Съ каждымъ подношеніемъ рукоплесканія крѣпчали. Актриса-любимица кланялась въ тронутой позѣ, прижимала руки къ груди, качала головой, потомъ взялась за платокъ и въ волненіи прослезилась.

Когда-то Палтусовъ находилъ ее очень даровитой. Но съ годами, особенно въ послѣдніе два года, она потеряла для него всякое обаяніе. Они съ Пирожковымъ зачислили ее въ разрядъ „кривлякъ“ и въ очень молодыхъ роляхъ съ трудомъ выносили. Пьеса шла шекспировская. Бенефиціантка играла молоденькую, игривую и ѣдко-острую дѣвушку, очень старалась, брала всевозможные тоны и ни одной минуты не за-

бывала, что она должна плѣнить всѣхъ молодостью, тонкостью и блескомъ дарованія. Но Палтусову дѣлалось не по себѣ отъ всѣхъ этихъ намѣреній актрисы сильно за тридцать лѣтъ, съ круглой спиной и широкимъ, пухлымъ лицомъ. Онъ поглядѣлъ въ сторону Анны Серафимовны. Она тоже обернула голову. Глаза ея говорили, что и она чувствуетъ тоже самое.

„Вѣдь вотъ,— мысленно одобрилъ ее Палтусовъ, — понимаетъ... не то, что всѣ эти барыни и купчихи съ ихъ доморощенными восторгами“.

Въ слѣдующій антрактъ ему захотѣлось подсѣсть къ ней. Но это было не легко. Справа рядомъ съ ней сидѣла странная особа въ косахъ, налѣво, тоже рядомъ, курчавый молодецъ въ коричневомъ пиджакѣ.

„Вѣроятно родственники,— соображалъ Палтусовъ. — Вотъ это непріятно: — имѣть такую родню!“

Онъ всталъ, наклонилъ голову, улыбнулся Аннѣ Серафимовнѣ и показалъ ей, что ему хочется съ ней поговорить. Она поняла и что-то сказала Любашѣ. Та кивнула головой и вскочила съ мѣста. Ея широкія плечи, руки, размашистыя манеры забавляли Палтусова.

„Прогнала бы ихъ преспокойно, — говорилъ онъ про себя: — пускай идутъ ѣсть крымскія яблоки въ корридоръ“.

Но Любаша сама предложила Станицыной идти въ фойе...

— Сходи съ Рубцовымъ, — сказала Анна Серафимовна не безъ задней мысли.

— Сеня, желаете? — громко спросила Любаша черезъ Станицыну.

— Покурить мнѣ хочется...

— Мы сначала въ фойе... А оттуда и покурите.

— Какъ же ты одна останешься?

— Экая важность! Съѣдятъ меня, что ли?

— Я бы пошла, — хитрила Анна Серафимовна:— да я боюсь сквознаго вѣтра.

— А я не боюсь... Сеня! Айда!

Анна Серафимовна поглядѣла на Любашу и даже дернула ее легонько за рукавъ.

— А мнѣ наплевать! — шепнула Любаша своей кузинѣ, махнула рукой Рубцову и стала проталкиваться, задѣвая сидѣвшихъ за колѣна.

Не очень ловко было за нее Аннѣ Серафимовнѣ. Но ѣздить одной ей было еще непріятнѣе. Надо непремѣнно завести компаніонку, чтицу, да скоро ли найдешь хорошую, такую, чтобы не мѣшала.

Любаша и Рубцовъ ушли изъ креселъ. Анна Серафимовна взглянула влѣво. Палтусовъ улыбнулся и улыбкой своей благодарилъ ее. Ее этотъ человѣкъ очень интересуетъ. Только она-то для него, должно думать, не занимательна. Не бываетъ у ней по цѣлымъ мѣсяцамъ... Какое мѣсяцъ?.. Съ самаго Рождества не былъ!.. Ему не съ такими женщинами, какъ она, весело... Видно, всѣ мужчины на

одну стать... Во всѣхъ хоть чуточку да сидитъ ея Викторъ Миронычъ, который на дняхъ угостилъ таки ее векселькомъ изъ Парижа. Нашлись добрые люди, дали ему тридцать тысячъ франковъ, навѣрно по двойному документу. И тамъ этимъ не хуже нашего занимаются. О мужѣ она теперь думаетъ только въ видѣ векселей и долговъ. Человѣкъ совсѣмъ не существуетъ для нея. Свободно ей, никто не портитъ крови, не видитъ она, какъ бывало, его долговязой, жидкой фигуры, противной, подкрашенной шеи, нахальныхъ глазъ, прически, не слышитъ его фистулы, насмѣшечекъ, словечекъ и французскихъ непристойностей. Только днями засасываетъ ее одиночество. Если бы не дѣти — превратилась бы она въ злобнаго конторщика, въ хозяйку-колотовку. Утромъ — счеты, въ полдень амбаръ, вечеромъ опять счетныя книги, корреспонденція, хозяйственный разговоръ по торговлѣ и производству, да на фабрику надо съѣздить хоть раза два въ недѣлю. Да еще у ней все нелады съ нѣмцемъ-директоромъ, а контрактъ ему не вышелъ, рабочіе недовольны, были смуты, къ веснѣ, пожалуй, еще хуже будетъ. Деньжищъ за Виктора Мироныча по старымъ долгамъ выплачено шутка — четыреста тысячъ! — Даже ея банкиръ и пріятель Безрукавкинъ кряхтѣть начинаетъ, и у него не золотыя яйца насѣдка несетъ...

XIII.

Надо было Палтусову пробраться до самой середины верхняго ряда... Это не такъ легко, когда сидятъ все барыни. Анна Серафимовна смотрѣла на него, и только одни глаза ея улыбались, когда какая-то претолстая дама прибирала, прибирала свои колѣни, и все-таки не могла ухитриться пропустить его, а должна была подняться во весь ростъ...

— Чрезъ Ѳермопилы прошелъ! — сказалъ ей Палтусовъ и пріятельски пожалъ руку.

Онъ сѣлъ на мѣсто Любаши. Станицыной сильно хотѣлось упрекнуть его за то, что онъ забылъ ее.

— Вотъ и васъ увидала, — выговорила она съ улыбкой.

Это вышло гораздо задушевнѣе, чѣмъ, можетъ быть, она сама желала.

— Виноватъ, виноватъ, — говорилъ Палтусовъ и не выпускалъ еще ея руки: — забылъ васъ. Нѣтъ, это я лгу, не забылъ нисколько.

— А очень ужь дѣлами занялась?

— Да!

— Вы, я погляжу, Андрей Дмитричъ, смотрите на насъ, какъ бы это сказать... какъ на рѣдкихъ звѣрей...

— Ха, ха, ха, что вы! Господь съ вами!

— Право, такъ. Мы — звѣринецъ для васъ...

Или вы насъ на какое дѣло употребляете... Я вообще говорю... про купцовъ.

Въ словахъ ея слышалась тонкая насмѣшка. Палтусова это задѣло за живое; но онъ не сталъ оправдываться... Ему, въ то же время, и понравилась такая шпилька.

— Вы не въ счетъ, — полу-шутливо вымолвилъ онъ въ томъ же тонѣ.

Ихъ разговоръ шелъ вполголоса. Анна Серафимовна прикрывалась большимъ чернымъ вѣеромъ, за который заходило немного и лицо Палтусова.

— Полноте, — началъ онъ искренной нотой: — вотъ это-то и доказательство, что я на васъ совсѣмъ иначе смотрю.

— Что? Не понимаю!.. Ахъ, да! Что вы два мѣсяца глазъ не кажете?..

Аннѣ Серафимовнѣ сдѣлалось вдругъ весело. Столько времени она одна съ приказчиками и кой-какими родственниками... Вотъ только Сеня Рубцовъ — подходящій для нея человѣкъ; но и его она мало видитъ, онъ по ея же дѣламъ ѣздитъ: то на одной фабрикѣ побываетъ, то на другой... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, ей въ „черничку“ обратиться?

Она повторила свой вопросъ.

— Именно это, — подтвердилъ Палтусовъ и слегка наклонилъ къ ней голову.

— Мудрено что-то...

Длинныя свои рѣсницы Анна Серафимовна опустила въ эту минуту. Лицо ея въ полъ-

оборота приняло выраженіе тихой усмѣшки и граціи, которыхъ Палтусову еще не приходилось подмѣчать.

И ему стало особенно жаль эту самобытную, красивую и умную женщину, связанную съ такимъ мужемъ, какъ Викторъ Миронычъ... Надо хоть что-нибудь разсказать ей про его похожденія. Теперь можно.

— Знаете, — шопотомъ спросилъ онъ: — съ кѣмъ я кутилъ двѣ недѣли назадъ?

— Съ кѣмъ?

— Съ вашимъ мужемъ.

Она немного затуманилась, но тотчасъ же весело спросила:

— Нешто онъ здѣсь былъ?

— А вы не знали?

— Говорили мнѣ что-то... будто онъ въ Славянскомъ базарѣ проживалъ. Я вѣдь мимо ушей пропустила.

Эти слова отзывались уже другимъ чувствомъ. Прежде, полгода тому назадъ, она не стала бы такъ говорить съ нимъ о мужѣ. Презрѣніе ея ростетъ, да и тонъ у нихъ другой... Внутри что-то пріятно пощекотало Палтусова.

— Анна Серафимовна, — заговорилъ онъ еще искреннѣе: — вамъ бы надо имѣть свѣдѣнія повѣрнѣе.

Она сидѣла съ опущенной головой.

— Что объ этомъ! — вырвалось у нея. — Новаго ничего нѣтъ, все тоже.

— Здѣсь не мѣсто, — началъ-было Палтусовъ и остановился.

Глаза ихъ встрѣтились.

— Вы все однѣ? — спросилъ онъ.

— Да, и дома одна... Вотъ родственникъ мой наѣзжаетъ.

— Какой это?

— А что сидитъ рядомъ... Рубцовъ... его фамилія.

— Изъ какихъ?

— Вы хотите сказать: изъ русскихъ или изъ воспитанныхъ на иностранный ладъ?

— Ну, да!

— Онъ изъ умныхъ, — оттянула она... — Только вѣрно съ виду вамъ показался такимъ... Онъ въ Англіи долго жилъ.

— Въ Англіи? — переспросилъ Палтусовъ.

— И въ Америкѣ. Всякую работу работалъ. По восемнадцатому году уѣхалъ. Самъ себя образовалъ.

— Вотъ какъ! Анна Серафимовна, это отзываетъ романомъ: русскій американецъ, или изъ одной комедіи Сарду... вы знаете, вѣроятно?

— Онъ совсѣмъ не американецъ — русакомъ остался... Вотъ это я въ немъ и люблю. Другіе сейчасъ все обезьянить начнутъ, и шепелявость на себя напустятъ, и воротничекъ такой, и проборъ... а онъ все тотъ же.

— Вотъ что! — сказалъ съ удареніемъ Палтусовъ и бокомъ поглядѣлъ на нее.

XIV.

— Что это вы такъ на меня посмотрѣли? — спросила Анна Серафимовна.

— Ничего! Такъ!..

— Ахъ, Андрей Дмитричъ, вамъ-то не пристало.

Но она сказала это опять-таки *легче*, чѣмъ бы полгода назадъ.

— Что-жь такое? — сталъ съ живостью оправдываться Палтусовъ. — Не придирайтесь ко мнѣ... Хорошій человѣкъ, молодой, понимающій, да если-бъ вы къ нему и страстно привязались, какъ же иначе?.. Въ вашихъ-то обстоятельствахъ?!

Все это онъ выговорилъ тихо, только она могла его слышать въ общемъ гулѣ антракта. И ей пришелся очень по душѣ тонъ Палтусова, простота, пріятельское, искреннее отношеніе къ ней.

Въ отвѣтъ она подняла на него глаза и ласково остановила ихъ на немъ.

— Полноте, — выговорила она и прикрыла опять лицо вѣеромъ.

— Объ этомъ въ другой разъ, — уже совсѣмъ шутливо сказалъ Палтусовъ... — Такъ вы все одна. А кто же эта дѣвица съ длинными косами?

— Двоюродная сестра.

— Нигилистка изъ Татарской?

— Ха, ха! Какъ вы узнали?

— А въ самомъ дѣлѣ, развѣ нигилистка?

— Нѣтъ, какая нигилистка!.. А такъ — нраву моему не препятствуй, нынѣшняя... Они съ Рубцовымъ препотѣшно воюютъ. Только онъ ее побиваетъ... И тутъ вотъ, кажется, есть влеченіе.

— Съ ея стороны?

— Знаете, какъ прежде наши маменьки говорили: одно сердце страдаетъ, другое не знаетъ.

— Только вамъ съ ней... тяжело?

— Да-а.

— Вамъ бы взять чтицу.

— Я сама объ этомъ думаю... Да гдѣ?

— Поручите мнѣ.

Палтусовъ началъ говорить ей о Тасѣ Долгушиной. Мать ея умерла отъ нервнаго удара, разбившаго ее въ нѣсколько секундъ. Сидѣлка подавала ей ложку лекарства; она хотѣла проглотить и свалилась, какъ снопъ, съ своихъ креселъ... Генерала, среди его рысканій по городу, захватила продажа съ молотка домика на Спиридоновкѣ. Палтусовъ умолчалъ о томъ, что онъ далъ имъ поддержку, назначилъ родъ пенсіона старухамъ, отыскалъ генералу мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ и уже позаботился пріискать Тасѣ дешевую квартиру въ одномъ нѣмецкомъ семействѣ. Но онъ зналъ ея гордость... Надо было найти ей заработокъ, который бы не отнималъ у ней цѣлаго дня. Отъ Грушевой онъ, вмѣстѣ съ Пирож-

ковымъ, отвлекли ее не безъ труда... Они убѣдили ее дождаться осени для поступленія въ консерваторію, а пока подыскали ей руководителя изъ знакомыхъ учителей словесности, хорошаго чтеца... Все это сдѣлалось въ нѣсколько дней. Палтусовъ дѣйствовалъ съ такой задушевностью, что Пирожковъ сказалъ ему даже:

— Я думалъ, изъ васъ Чичиковъ выйдетъ, а вы — человѣкъ-рубашка!

— Это вздоръ! — отвѣтилъ Палтусовъ безъ всякой рисовки.

Дѣлать толковое добро доставляло ему положительное удовольствіе.

Анна Серафимовна кивала все головой, слушая его.

— Что-жь, — откликнулась она тотчасъ же: — я съ радостью возьму вашу родственницу...

— Когда привезти?

— Да каждый день я дома отъ четырехъ часовъ.

Палтусовъ нагнулся къ ея уху.

— Вотъ видите, все-то теперь коммерсантамъ служитъ. Генеральская дочь — въ чтицахъ...

— У купчихи, — подсказала Анна Серафимовна.

— Самъ генералъ — у табачнаго фабриканта въ надзирателяхъ.

— Вамъ досадно?

— Нѣтъ! Такая колея.

— А все у насъ, — вздохнула Анна Серафимовна: — ничего нѣтъ... Ее затрудняло слово.

— Гдѣ? — спросилъ заинтересованно Палтусовъ.

— Да и здѣсь, и здѣсь!

Она указала на голову и на сердце.

— Давятъ тебя со всѣхъ сторонъ...

— Тюки? — подсказалъ онъ.

— Да, да!

„Какая ты умница“, подумалъ Палтусовъ, всталъ и протянулъ ей руку.

Антрактъ кончился. Оркестръ доигрывалъ съ грѣхомъ пополамъ какой-то вальсъ. Любаша и Рубцовъ пробирались справа.

— Вы бываете въ концертахъ? — спросила тихо Анна Серафимовна.

— Въ музыкалкѣ?

— Такъ ихъ зовутъ? Я не знала. Да, въ музыкалкѣ.

— Билетъ есть; но въ эту зиму забросилъ, да знаете, въ родѣ барщины какой-то они дѣлаются.

— Это правда...

— Я завтра собираюсь, — проронила Анна Серафимовна и, подавая руку спросила: — Марья Орестовна Нѣтова какъ поживаетъ за границей?

Палтусовъ быстро поглядѣлъ на нее.

— Все хвораетъ.

„Вотъ что!“ прибавилъ онъ про себя и, вернувшись на свое мѣсто, задумался.

XV.

Она что-нибудь подозрѣваетъ, думаетъ, можетъ быть, что онъ находится въ связи съ Нѣтовой, слышала, пожалуй, про ихъ дѣловыя отношенія. Это надо разъяснить, показать ей все въ настоящемъ свѣтѣ... Онъ бы никакъ не хотѣлъ терять въ мнѣніи, именно, этой женщины.

Пьеса шла туго... Бенефиціанткѣ и первому любовнику удалась одна сцена. Публика вызвала ихъ нѣсколько разъ, но Палтусовъ сидѣлъ равнодушно, не хлопалъ, разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ. Малый театръ потерялъ для него прежнее обаяніе. Не могъ онъ себя наладить на молодое настроеніе... Пьеса казалась набитой ненужными вещами, хоть она и шекспировская, обстановка раздражала своей бѣдностью, актеры читали глухо, деревянно... Совсѣмъ не то, что бывало, когда они брали въ складчину ложу и послѣ, до пѣтуховъ спорили у себя въ номерахъ, за пивомъ... Насилу дождался онъ слѣдующаго антракта. Къ Станицыной онъ не поднялся. — Блондинъ и дѣвица съ косами оставались на своихъ мѣстахъ.

Палтусовъ пошелъ въ фойе и наткнулся на Пирожкова. Иванъ Алексѣевичъ ходилъ не снимая своей цилиндрической шляпы.

— Не то, — сказалъ ему Пирожковъ... — Хоть не ходи въ Малый театръ.

— Можетъ, мы сами не тѣ?

— У кого былъ талантъ, тѣ излѣнились; а новые изъ рукъ вонъ плохи...

— А Тасю давно видѣли? — спросилъ Палтусовъ.

— Да она здѣсь! Я съ ней въ купонахъ обрѣтаюсь, пожалуйте.

— Не посмотрѣла на трауръ свой?

— Чтожь трауръ? Страсть у нея... Въ послѣдней пьесѣ ingénue какая-то новая.

Пирожковъ взялъ Палтусова подъ руку и отвелъ за колонны.

— Спасибо, спасибо вамъ, дружище, — заговорилъ онъ, ласково глядя на Палтусова.

— А что?

— Да вотъ за эту дѣвицу... Она мнѣ все разсказала.

— Это пустяки.

— Однако, вы, я говорю, сложная натура. И купцовъ изловлять мастеръ, и позывы у васъ хорошіе.

— А вы вотъ что, — перебилъ его Палтусовъ. — Пойдемте-ка къ этой самой дѣвицѣ.

Онъ разсказалъ пріятелю, какой разговоръ онъ имѣлъ съ Станицыной.

Тотъ одобрилъ планъ.

Они поднялись въ корридоръ.

Пирожковъ вошелъ въ одну изъ дверокъ и показался оттуда, минуту спустя, ведя за руку Тасю.

Въ черномъ, суконномъ платьѣ, съ узкими

рукавами и отложнымъ воротникомъ, похудѣлая въ лицѣ, Тася смотрѣла совсѣмъ дѣвочкой и, подойдя ближе къ нему, сказала тихо:

— Вы на меня не дуетесь, Андрюша?

Она теперь такъ его звала.

— За что?

— А вотъ, что я въ театрѣ.

Палтусовъ пожалъ ей руку.

— Что я за цензоръ нравовъ?

— Такъ захотѣлось, такъ захотѣлось видѣть эту дебютантку!

Оба пріятеля рѣшили, что страсть къ сценѣ у ней — неисправимая. Палтусовъ предложилъ ей тутъ же познакомиться съ Станицыной и прибавилъ — почему.

Тася немного призадумалась, но тотчасъ же взяла Палтусова за руку и пожала.

— Вы славный! Я думала, вы другой! Хорошо... Это самое лучшее. Ведите меня къ вашей купчихѣ.

— Въ слѣдующій антрактъ сойдите въ фойе, а я ее приведу.

— Мнѣ еще и потому полезно будетъ, — соображала вслухъ Тася: — я увижу тамъ типы молодыхъ купчихъ. Это нужно изучить.

— Ненасытная!.. — разсмѣялся Пирожковъ.

— Да, это правда, — созналась Тася: — что̀ только театральное, все это мнѣ знать, жадность ужасная!

Тася увидала, что занавѣсъ поднимается и бросилась въ свою ложу.

XVI.

Аннѣ Серафимовнѣ понравилась „генеральская дочка“— такъ она назвала про себя Тасю. Она просила ее пріѣхать посидѣть за-просто. Она не стала говорить ей тутъ же о мѣстѣ чтицы или компаньонки. Ея тактъ не ускользнулъ отъ Палтусова. Когда она вернулась, Любаша, ходившая также въ фойе вмѣстѣ съ Рубцовымъ, сейчасъ же спросила:

— Это что за дѣвчурочка въ черномъ?

— Родственница Андрея Дмитріевича Палтусова. Славная, кажется, дѣвушка.

— Что же это она въ сукнѣ-то?

— Мать у ней умерла.

— Видно, не очень убивается.

— Ахъ, Люба, — остановила Анна Серафимовна:—до всего-то тебѣ дѣло!

— Она ничего... Должно быть, изъ оголтѣлыхъ?

— А вамъ что? — вступился Рубцовъ.

Онъ видѣлъ Тасю.

— Я люблю, когда съ нихъ фанаберію сбиваютъ,—продолжала задорно Любаша.

— Съ кого? — спросилъ Рубцовъ.

— Да съ дворянской дряни.

— Люба! — удержала опять Анна Серафимовна.

Люба поглядѣла на Рубцова, скосившаго на особый ладъ губы, и почувствовала какую-то

новую неловкость въ его присутствіи. Онъ былъ недоволенъ, но это-то и подзадоривало ее.

— Это господинъ Палтусовъ? — тихо спросилъ Рубцовъ Анну Серафимовну.

— Да...

Она хотѣла узнать: какъ онъ ему понравился; но побоялась рѣзкаго отзыва.

— Ловкій, по видимости, человѣкъ, — замѣтилъ Рубцовъ какъ бы про себя.

— Думаете, ловкій? — спросила она... — Вотъ, однако, не объ одномъ себѣ хлопочетъ!

— Ну, это еще не Богъ знаетъ что... Родственницу пристроить...

— Послѣ, — остановила его Анна Серафимовна, указавъ на поднимавшійся занавѣсъ.

Ей былъ непріятенъ тонъ Рубцова. И онъ сегодня не далеко ушелъ отъ Любы. Что у нихъ — а еще молодые люди — за замашка: ко всему относиться съ недовѣріемъ, съ злобностью какой-то!

Она, въ теченіе акта, раза два поглядѣла въ сторону Палтусова. Въ антрактѣ онъ издали раскланялся и уѣхалъ до конца пьесы. Онъ ей сказалъ наверху, что будетъ завтра въ концертѣ. И ей показалось, какъ будто онъ желаетъ говорить съ ней о своихъ отношеніяхъ къ Нѣтовой. Зачѣмъ это? Правда, она слышала разныя вещи. Она имъ не вѣритъ.

Однако, это ее все-таки тронуло. Значитъ, онъ дорожитъ ея мнѣніемъ. А она думала, что онъ и знать ея не хочетъ. У него есть

что-то и въ голосѣ, и въ движеніяхъ, и въ словахъ, что́ ей особенно нравится.

— Тетя,—Любаша толкнула ее подъ бокъ:— вы куда-то мечтами унеслись.

— Ахъ, это ты!

— Право, унеслись... все этотъ душка-штатскій васъ въ такую мерехлюдію привелъ.

— Пустяки какіе ты все говоришь, — сказала Анна Серафимовна и отвернула голову.

— Уменъ очень? — спросилъ ее Рубцовъ пять минутъ спустя.

— Вы про кого?

— Да все про вашего ловкача.

— Не зовите его такъ.

— Ну, не буду.

— Вы спрашиваете, уменъ-ли? Вотъ какъ-нибудь, если у меня встрѣтитесь — поэкзаменуйте его.

— Намъ гдѣ же-съ!

Рубцовъ рѣшительно не нравился ей въ этотъ вечеръ. Она хотѣла пригласить его напиться чаю послѣ театра, но не сдѣлаетъ этого. Съ нимъ она могла обо всемъ толковать: и о дѣлахъ, и о своемъ душевномъ настроеніи, но о Палтусовѣ разговоръ не пойдетъ; пускай они познакомятся. Да врядъ-ли сойдутся. Сеня гордъ, въ людей не вѣритъ, барченковъ не любитъ.

Конецъ шекспировской пьесы и маленькую комедію, гдѣ дебютировала новая ingénue, Анна Серафимовна прослушала съ чувствомъ

тяжести въ груди и въ головѣ. Только на воздухѣ ей стало легко. Она привезла Рубцова и Любашу въ своей каретѣ и должна была развезти ихъ по домамъ. Любаша напрашивалась на чай; но Анна Серафимовна напирала на поздній часъ. И мать ея будетъ безпокоиться.

— А вы, Сеня, домой? — спросила Любаша.

— А то куда же?

Анна Серафимовна улыбнулась въ темнотѣ кареты... Люба начинала ревновать ее къ Рубцову.

— Ну, вотъ вамъ и Шекспиръ! — крикнула Люба.— Такая пустяковина!.. И скучища непролазная!

— Это точно, — подтвердилъ Рубцовъ.

Спорить съ ними Станицына не могла. Пьеса прошла передъ ней точно рядъ туманныхъ картинъ.

Любашу завезли; Рубцовъ взялъ извощика на полпути. Домой Анна Серафимовна возвращалась одна. Было уже около часу ночи.

XVII.

Не спится Аннѣ Серафимовнѣ. Она живетъ все въ тѣхъ же хоромахъ, лежитъ на той же постели, что и передъ заключеніемъ „сдѣлки“ съ мужемъ. Низъ запертъ и не топится. Да и верхъ бы она заперла, кромѣ спальни, столовой, да дѣтской. Зачѣмъ ей столько комнатъ?

И вообще-то она не любитъ тратить по пустому деньги... Просторныхъ двѣ-три комнаты, чтобы чистота была, бѣлье тонкое, свѣту побольше. Платьевъ у ней много. На это она готова тратиться. По старому-то лучше жилось, все было на своемъ мѣстѣ; а теперь и мужчины, и женщины вышли изъ пазовъ, ни къ тѣмъ, ни къ этимъ не пристали. Она это чувствуетъ на самой себѣ. Что такое она? Вотъ хоть-бы Андрей Дмитріевичъ Палтусовъ, какъ онъ на нее смотритъ? И не купчиха, какія прежде бывали, и не барыня. Есть у ней въ головѣ неплохія вещи. На фабрикѣ надо многое уладить, казармы рабочихъ передѣлать, школу тоже по другому устроить. „Затѣи!" говорятъ разныя кумушки, „отличиться хочетъ, чтобы объ ней въ газетахъ написали, попасть потомъ въ почетныя попечительницы пріюта или въ предсѣдательницы общества".

Бьетъ два часа. Анна Серафимовна не спитъ.

Да, хорошо бы все это, что у ней есть на душѣ, раздѣлить съ милымъ человѣкомъ. Сеня Рубцовъ — малый умный и понимающій. Онъ не попрекаетъ ее затѣями. Только въ немъ чего-то недостаетъ. Можетъ быть, того же самаго, чего и въ ней нѣтъ. А все это-то и есть въ Андреѣ Дмитріевичѣ Палтусовѣ... Ей такъ кажется...

Десять разъ перевернулась Анна Серафимовна съ боку на бокъ. Тонкое полотно по-

душки нагрѣлось. Она и ее раза два перевернула. Она спитъ съ ночникомъ. Въ спальнѣ воздуху много и засвѣжѣло немножко. Чего бы, кажется, не спать?

Что ея за положеніе теперь! Вдова — не вдова, и не дѣвушка, и свободы нѣтъ. Хорошо еще, что мужъ дѣтей не требуетъ. По его безпутству какія ему дѣти; но настанетъ часъ, когда онъ будетъ вымогать изъ нея, что можетъ, этими самыми дѣтьми... Надо заранѣе приготовиться... Вотъ такъ и живи! Скоро и тридцать лѣтъ подползутъ. А видѣла ли она хоть одинъ денекъ свѣта, радости, вотъ того, чѣмъ зачитываются въ книжкахъ? Нужды нѣтъ, что послѣ бываетъ горе, безъ риску не проживешь...

Счастье!.. Это вотъ слово какъ часто повторяютъ, особливо въ книжкахъ. А она, видно, такъ и дни свои кончитъ, не узнавъ, что такое за счастье бываетъ на землѣ, особенно изъ-за котораго люди рѣжутся и топятся... А могла бы, и очень!.. Виктора Мироныча что ли испугалась, когда жила съ нимъ?..

Бьетъ три часа. Анна Серафимовна глядитъ на драпировку окна, приходящагося противъ кровати. Сонъ нейдетъ. Начинаетъ бить въ виски.

Хуже вдовства ея положеніе. А кто виноватъ? Сама. Прямо потребуй развода, а не пойдетъ добромъ — излови, докажи... Нешто это трудно съ такимъ развратникомъ? Ей вѣдь

разсказывали про бракоразводные процессы. Стоитъ это, много, десять тысячъ... И свидѣтели найдутся, которые подъ присягой покажутъ. Нѣтъ, на это она не пойдетъ! Изловить. Или откупиться?.. Теперь нельзя еще, и раньше двухъ лѣтъ не покроешь долговъ. Мужнину фабрику не поставишь на полный ладъ... Онъ, поди, и самъ не прочь. Развѣ такъ можно? Все устрой, очисти его отъ долговъ, работай для дѣтей изъ-за купеческой чести своей, а онъ все потомъ заберетъ, да и скажетъ: разводиться давай!.. Такой человѣкъ на себя вины не возьметъ. Ему новая женитьба нужна будетъ для какой-нибудь новой пакости.

Охъ! Пришла бы страсть-зазноба, въ мигъ бы она все перевернула! И развязки бы добилась. Половину своего бы собственнаго состоянія отдала. Что жадничать? У дѣтей будетъ кусокъ хлѣба! Ждать ли этой зазнобы? Не прошло ли уже время? Не выѣли ли горечь и обида и жизнь съ постылымъ мужемъ то, чѣмъ сердце любитъ, чѣмъ душа летитъ на встрѣчу другой душѣ?

Душно Аннѣ Серафимовнѣ подъ атласнымъ одѣяломъ. Хоть на какой бы нибудь пріятной мысли заснуть... А завтра-то? Въ концертѣ... Андрей Димитричъ обѣщалъ. Туалетъ надо бѣлый. Онъ къ ней идетъ. Любу не возьметъ съ собой. Одна поѣдетъ. Сядетъ въ дальней залѣ, около арки. Онъ найдетъ ее.

Бьетъ четыре часа. Анна Серафимовна за-

былась и что-то шепчетъ во снѣ. Ей снится амбаръ съ полками. На прилавкѣ навалены куски всякихъ цвѣтовъ... Но приказчикъ вырываетъ у ней изъ рукъ штуку сукна; штука развертывается, сукно протянулось черезъ весь амбаръ, потомъ дальше по улицѣ... Ей страшно. Она вскрикиваетъ и просыпается... Бьетъ пять часовъ.

XVIII.

По мраморной лѣстницѣ Благороднаго Собранія поднималась на другой день Анна Серафимовна — одна, безъ Любаши.

Она любила выѣзжать одна, и въ театръ лакея никогда не брала. Только на концерты Музыкальнаго Общества ѣздилъ съ ней человѣкъ, въ скромной черной ливреѣ, болѣе похожей на пальто, чѣмъ на ливрею. Первыя сѣни, гдѣ пожарные отворяютъ двери, хлопали, сквозной вѣтеръ такъ и гулялъ. Въ большихъ сѣняхъ стѣной стояли лакеи съ шубами. Всѣ прибывающія дамы раздѣвались у лѣстницы. Бѣлый и голубой цвѣта преобладали въ платьяхъ. По красному сукну ступенекъ поднимались слегка колеблющіяся, длинныя, обтянутыя женскія фигуры, волоча шлейфы или подбирая ихъ одной рукой. На площадкѣ передъ широкимъ зеркаломъ стояли нѣсколько дамъ и оправлялись. Правѣе и лѣвѣе у зеркала же

топтались молодые люди во фракахъ, двое даже въ бѣлыхъ галстухахъ. Они надѣвали перчатки. На этотъ концертъ съѣхалась вся Москва. Въ программѣ стояла пріѣзжая изъ Милана пѣвица и исполненіе въ первый разъ новой вещи Чайковскаго.

Мраморный левъ глядится въ зеркало. Его голова и щитъ съ гербомъ придаютъ лѣстницѣ торжественный стиль. Потолокъ не успѣлъ еще закоптиться. Онъ лѣпной. Жирандоли на верхней площадкѣ зажжены во всѣ рожки. Тамъ, у мраморныхъ сквозныхъ перилъ, мужчины стоятъ и ждутъ, перегнувшись книзу. На стулѣ сидитъ частный приставъ и разговариваетъ съ худымъ, желтымъ брюнетомъ въ сюртукѣ, имѣющимъ видъ смотрителя.

Анна Серафимовна остановилась на первой площадкѣ у зеркала, подождавъ немного, пока другія дамы отойдутъ. Сначала она смотрѣла внизъ по лѣстницѣ. Она стояла у перилъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онѣ заворачиваютъ наверхъ, около льва. Ей видна была вся суматоха и въ сѣняхъ, и лѣвѣе, за арками, гдѣ отдаютъ на сбереженіе платье, пріѣхавшіе безъ своей прислуги. Оттуда выбѣгали обдерганные, нечистые лакеи, нанимающіеся поденно, приставали къ публикѣ, тащили каждый къ себѣ, совали нумера. На прилавкѣ складывались шубы и пальто, галоши клались въ холщевые мѣшки — и все это исчезало въ глубинахъ помѣщенія съ перегородками. Публика все прибывала. „Вся

Москва" давала себя знать... Вошло уже болѣе двухъ тысячъ человѣкъ. Съ той площадки, гдѣ остановилась Анна Серафимовна, лѣстница и сѣни въ обоихъ своихъ отдѣленіяхъ, съ поднимающимися кверху дамами и мужчинами, толкотней за арками, съ толпой лакеевъ, нагруженныхъ узлами, казались какимъ-то однимъ тѣломъ, громаднымъ пестрымъ червемъ, извивающимся въ разныхъ направленіяхъ... И все это — Москва, „хорошее" общество, ѣздящее сюда каждую субботу. Она никого почти не знаетъ, кромѣ большихъ купеческихъ фамилій... Это все господа... А почему она не принимаетъ? Кто мѣшаетъ ей? На міру надо жить! Свое купеческое общество ее не тянетъ. Скучно ей въ немъ до тошноты.

Анна Серафимовна подошла къ зеркалу.

Около него только-что вертѣлись двѣ дѣвицы, одна въ ярко-красномъ, другая въ нѣжно-персиковомъ платьѣ, перетянутыя, съ длинными корсажами, въ цвѣтахъ, точно онѣ на балъ пріѣхали. Ихъ французскій языкъ раздражалъ ее... Онѣ, можетъ, и купчихи — нынче не разберешь... Одѣты обѣ богато... Шила на нихъ навѣрно Жозефина или Луиза съ Тверской. Своимъ бѣлымъ сливочнаго цвѣта платьемъ строгаго покроя, съ кружевными рукавами, Анна Серафимовна — довольна. Она не надѣла только бриллiантовыя пуговицы, большія, — каждая тысячи по двѣ... Не любитъ она своихъ вещей; ихъ дарилъ ей когда-то Викторъ

Миронычъ... Купленныхъ самой было немного; но всѣ очень цѣнныя.

Въ зеркало она видна себѣ вся, и за ней лѣстница — внизъ и вверхъ. Парадно почувствовала она себя, жутко немного, какъ всегда на людяхъ. Но ей ловко въ платьѣ, перчатки тоже прекрасно сидятъ, на шесть пуговицъ, въ глазахъ сейчасъ прибавилось блеску, даромъ что плохо спала, изъ-подъ кружевнаго края платья видны шелковые башмачки и ажурные чулки. Никогда она еще не находила себя такой изящной. Кажется, все тяжелое, купеческое слетѣло съ нея. Осмотрѣла она себя быстро, въ нѣсколько секундъ, поправила волосы, на груди что-то, достала билетъ изъ кармана, скрытаго въ складкахъ юпки, и легкими шагами начала подниматься... Глазамъ ея пріятно; но уже не въ первый разъ обоняетъ она запахъ сапожной кожи... И чѣмъ ближе къ входу въ первую залу, тѣмъ она слышнѣе. Запахъ этотъ идетъ отъ артельщиковъ въ сибиркахъ, приставленныхъ къ контролю билетовъ. — Она знаетъ отлично этотъ запахъ. — Ея артельщики ходятъ въ такихъ же сапогахъ. — Она подаетъ одному изъ нихъ свой абонементный билетъ. — Онъ у ней нумерованный, но въ большую залу она не пойдетъ, хорошо, еслибъ удалось занять поближе мѣсто за гостиной съ арками, тамъ, гдѣ полуосвѣщено. Вѣроятно, можно. Еще четверть часа до начала,

XIX.

У входа во вторую продольную залу направо — столъ съ продажей афишъ. Билетовъ не продаютъ. Въ этой залѣ, откуда ходъ на хоры, стояли группы мужчинъ, дамы только проходили или останавливались передъ зеркаломъ. Но въ слѣдующей комнатѣ, гостиной съ арками ведущей въ большую залу, ужь размѣстились дамы, по лѣвой стѣнѣ, на диванахъ и креслахъ, въ свѣтлыхъ туалетахъ, въ цвѣтахъ и полуоткрытыхъ лифахъ.

Анна Серафимовна бросила на нихъ взглядъ бокомъ. Она знала трехъ изъ этихъ дамъ, могла назвать и по фамиліямъ.... Вотъ жена желѣзно-дорожника въ рытомъ бархатѣ, съ толстой красной шеей, а у той мужъ въ судебной палатѣ что-то, а третья — вдова или „разводка" изъ губерніи, вездѣ бываетъ, рядится, на что живетъ — неизвѣстно... Всѣ три оглядываютъ ее. Ей бы не хотѣлось проходить мимо нихъ; да какъ же иначе сдѣлать? Виктора Мироныча и его похожденія каждая знаетъ... А ни одна, гляди, хорошаго слова про нее не скажетъ: „купчиха, кумушка, на „онъ" говоритъ, ему не такая жена нужна была". Каждую складочку осмотрятъ. Скажутъ: „жадная, платье больше трехсотъ рублей не стоитъ, а бриллiантовъ жалко надѣвать ей, неравно потеряетъ".

Щеки сильно разгорѣлись у Анны Серафи-

мовны... Она быстро, быстро дошла до одной изъ арокъ, гдѣ уже мужчины тѣснились такъ, что съ трудомъ можно было проникнуть въ большую залу. Люстры были зажжены не во всѣ свѣчи. Свѣтъ терялся въ пыльной мглѣ между толстыми колоннами; съ хоръ виднѣлись ряды головъ въ два яруса, открывались шеи, рукава, иногда цѣлый бюстъ... Все это тонуло въ темнотѣ стѣны, прорѣзанной полукруглыми окнами. За колоннами внизу, на диванахъ, сплошной цѣпью разсѣлись рано забравшіяся посѣтительницы концертовъ, и чѣмъ ближе къ эстрадѣ, помѣщающейся передъ круглой гостиной, тѣмъ женщинъ больше и больше.

Въ сторону эстрады заглянула-было въ большую залу и Анна Серафимовна, но сейчасъ же подалась назадъ. Въ гостиной вдоль арокъ, на четырехъ рядахъ креселъ, на большихъ диванахъ и по всей противуположной стѣнѣ жужжитъ цѣлый рой женскихъ сдержанныхъ голосовъ. Темныхъ платьевъ почти не было видно... Здѣсь только въ началѣ концерта слушаютъ, но разговоры не прекращаются. Это салонъ, приставленный къ концертной залѣ... Углубиться въ симфонію невозможно. Анна Серафимовна хоть и не считаетъ себя много смыслящей въ музыкѣ, но не одобряетъ этой гостиной.

Она прошла дальше въ полуосвѣщенную комнату покороче, почти совсѣмъ безъ мебели. Нѣсколько креселъ стояло у лѣвой стѣны и

около карниза. Она сѣла тутъ за угломъ, такъ, чтобы самой уйти въ тѣнь, а видѣть всѣхъ. Это мѣстечко у ней — любимое. Тутъ прохладно, можно сѣсть покойнѣе, закрыть глаза, когда что-нибудь понравится, звуки оркестра доходятъ, хоть и не очень отчетливо, но мягко. Они все-таки заглушаютъ разговоры... Найти ее во всякомъ случаѣ не трудно — кто пожелаетъ.

Вотъ приближается улыбающійся лысый господинъ въ черномъ сюртукѣ. Отъ него она хотѣла бы спрятаться. Непремѣнно подойдетъ и начнетъ говорить приторныя любезности. Не нужно ей и вотъ того крошечнаго гусарика въ красныхъ рейтузахъ и голубомъ ментикѣ... Онъ всѣхъ знаетъ, переходитъ отъ одной дамы къ другой, волосики на лбу расчесаны, какъ у ея сына Мити, что-то такое всѣмъ шепчетъ. А вотъ и пары пошли. Она ихъ давно замѣтила. Лучше не смотрѣть! Какое ей дѣло?.. Точно завидуетъ. Есть чему! Такъ открыто держать около себя любовниковъ — срамъ!

Оркестръ грянулъ. Это была „це-мольная" симфонія Бетховена. Анна Серафимовна не могла бы разобрать ее на фортепіано. Она ноты знала плохо, музыка не давалась ей никогда и въ пансіонѣ, но она любила эту именно симфонію, слыхала ее чуть не десятки разъ, могла своими ощущеніями описать ее. Она знала, что маленькая фраза въ нѣсколько нотъ будетъ на разные лады повторяться, и такъ и этакъ,

стремительнѣе, образнѣе, сложнѣе — и опять прозвучитъ въ первоначальной простотѣ. Рѣшительно не понимала Анна Серафимовна, какъ это можно сдѣлать что-то большое, широкое, забирающее за живое, могучее изъ нѣсколькихъ нотокъ, изъ какого-то окрика или точно кто палочкой или пальцемъ по стеклу ударилъ... И пѣнья віолончели ждала она въ andante. Не умѣетъ она выразить, почему въ этой мелодіи есть что-то, прямо отвѣчающее на ея душевные порывы, но что оно такъ — она въ этомъ убѣждена. А потомъ къ концу вдругъ пронесется какой-то вихрь: — могучій и страстный человѣкъ созываетъ всѣхъ на свое торжество.

XX.

Палтусовъ пріѣхалъ къ концу первой части концерта. Онъ остановился у входа въ гостиную съ арками. Наплывъ публики показался ему чрезвычайнымъ. Куда онъ ни поглядитъ, вездѣ туалеты, туалеты, открытыя или полуобнаженныя руки, цвѣты. Правда, тутъ уже „вся Москва", и та, что притворяется любительницей музыки, и та, что не знаетъ, гдѣ ей показать себя. Онъ давно говоритъ, что „музыкалка" превратилась въ выставку нарядовъ и невѣстъ, въ вечернюю голофтѣевскую галлерею, куда ѣздятъ лорнировать, шептаться по угламъ, громко говорить по срединѣ, зѣ-

вать, встрѣчаться со знакомыми на разъѣздѣ. Большой городъ, большое общество, когда видишь его въ кучѣ, и деньгами пахнетъ, и пожить хочется всѣмъ...

Глаза Палтусова искали Анну Серафимовну. Онъ вспомнилъ, что видалъ ее прежде въ дальней залѣ, въ сторонкѣ, за карнизомъ... Въ большую залу онъ не пойдетъ. Тамъ ея навѣрно нѣтъ. До антракта онъ постоялъ у первой арки, позади длиннаго хвоста мужчинъ, очень прифранченныхъ. Поклонился онъ хорошенькой докторшѣ въ розовомъ шелковомъ платьѣ, другой тоже красивенькой женщинѣ, женѣ адвоката, оглядѣлъ двухъ жидовочекъ, съ тонкими профилями, въ перетянутыхъ до нельзя лифахъ и трехъ дѣвицъ въ бѣлыхъ кашемировыхъ платьяхъ съ высокимъ воротомъ, сидѣвшихъ точно въ молочной ваннѣ.

Длинный молодой человѣкъ съ худощавымъ, румянымъ лицомъ и русой бородкой во фракѣ остановилъ Палтусова, когда онъ началъ пробираться чрезъ гостиную.

— А! докторъ! — откликнулся Палтусовъ, пожимая ему руку.—Я думалъ, вы въ Парижѣ.

— Всю зиму здѣсь, — отвѣтилъ тотъ съ кисловатой усмѣшкой.

— Все по женскимъ болѣзнямъ практикуете?

— Какъ же.

— Со старыми княгинями возитесь?

Докторъ повелъ плечами и засмѣялся.

— Всякихъ успѣховъ! — сказалъ ему Палтусовъ и пошелъ дальше.

Докторъ жилъ когда-то въ Ѳиваидѣ—на Срѣтенкѣ, но онъ тотчасъ по окончаніи курса поѣхалъ домашнимъ врачемъ съ барской фамиліей въ Парижъ и на итальянскую зимовку, и съ тѣхъ поръ понагрѣлъ уже руки около худосочныхъ, богатенькихъ и старенькихъ княгинь. Какъ личность, и по репутаціи, онъ былъ довольно-таки ему противенъ.

По теоріи Палтусова можно было располагать къ себѣ женщинъ, но непремѣнно молодыхъ, если уже не красивыхъ, завязывать черезъ нихъ связи, пользоваться ихъ довѣріемъ, но ни въ какомъ случаѣ не дѣйствовать черезъ нихъ на мужей и не ухаживать за ними изъ личныхъ разсчетовъ, когда онѣ стары, да еще имѣютъ на васъ любовные виды. Докторъ не отвѣчалъ такой программѣ.

— А! Палтусовъ, голубчикъ, — окликнулъ сзади ласковый, низковатый, женскій голосъ.

Онъ обернулся. Передъ нимъ заблестѣли два черныхъ, бархатныхъ глаза, смотрѣвшіе на него бойко и весело. Ему протягивала бѣлую, полуоткрытую руку въ свѣтлой шведской перчаткѣ статная, полногрудая, красивая дама лѣтъ подъ тридцать, брюнетка, въ богатомъ пестромъ платьѣ, переливающемъ всевозможными цвѣтами. Голова ея, съ отблескомъ черныхъ волосъ, бѣлые зубы, молочная шея, яркій,

алый ротъ заиграли передъ Палтусовымъ. На груди блестѣла бриллiантовая брошка.

— Людмила Петровна!

— Хорошъ, батюшка! Полгода глазъ не кажетъ!

— Виноватъ! Не оправдываюсь...

Это была его давнишняя знакомая, Людмила Петровна Рогожина. Онъ еще офицеромъ ѣздилъ въ домъ ея отца, читалъ ей книжки, немножко ухаживалъ. Тогда уже она обѣщала развернуться въ роскошную женщину. Изъ небогатой купеческой семьи она попала за мил-лiонера-мануфактуриста.

Сзади изъ-за ея плеча улыбался супругъ, бѣлый, съ розовыми щеками, пухлый, обросшiй какимъ-то мохомъ вмѣсто волосъ, маленькаго роста, съ начинающимся брюшкомъ, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ. Онъ несъ голубую съ серебромъ накидку жены.

— Артамонъ Лукичъ! мое почтенiе!—кивнулъ ему Палтусовъ и сдѣлалъ ручкой.

Тотъ усиленно замоталъ бѣлокурой головой съ плоскими, припомаженными височками.

— Виноватъ, — повторилъ Палтусовъ и нагнулъ голову къ плечу Рогожиной.

— Бестiя-то та уѣхала?—шепнула она ему въ ухо.

— Какая бестiя? — разсмѣялся онъ.

— А та! Нѣтиха!.. Кривляка-то?.. Дохлая!.. При ней небось состоите въ адъютантахъ!

— Полноте!

— Да ужъ нечего! Все знаю! Ну, Богъ проститъ. Вотъ что, голубчикъ. Ко мнѣ въ среду на масляницѣ. Большой плясъ. Невѣсту какую подхватить можно!.. У меня и титулованные будутъ. Пальчики оближете.

— Хорошо!

— То-то же. Безъ обмана.

Она пожала ему руку и поплыла. Супругъ тоже пожалъ руку и прибавилъ сладкимъ тенорокомъ:

— Безъ обману! Ха, ха, ха! Въ среду!

XXI.

Изъ своего угла Анна Серафимовна видѣла, какъ вошелъ Палтусовъ, съ кѣмъ раскланивался, съ кѣмъ поговорилъ. Рогожина въ этотъ вечеръ показалась ей особенно красивой. Онѣ были съ ней когда-то пріятельницами и до сихъ поръ — на „ты". Анна Серафимовна рѣдко ѣздитъ къ ней. Очень ужъ въ этомъ домѣ „вѣтерокъ порхаетъ", какъ она выражалась.

Когда Рогожина пожимала руку Палтусову, а потомъ что-то сказала ему на ухо — Анну Серафимовну ударило въ жаръ... Она начала обмахиваться вѣеромъ.

— Вотъ вы гдѣ! — заслышался сбоку голосъ Палтусова.

Онъ тотчасъ же сѣлъ рядомъ съ ней.

— Сейчасъ пріѣхали? — спросила она не тѣмъ тономъ, какимъ бы сама желала.

— Передъ антрактомъ.

Станицына показалась ему въ этотъ вечеръ гораздо больше дамой, чѣмъ когда-либо. Въ ней онъ цѣнилъ чистоту русскаго, старо-народнаго типа. Такихъ бровей ни у кого не было въ этой гостиной, да и глазъ также. Станъ ея сохранилъ дѣвическую стройность. Въ ней чувствовалась страстность женщины, не знавшей ни супружеской любви, ни запретныхъ наслажденій.

— У Рогожиной на масляницѣ большой плясъ, — заговорилъ Палтусовъ: — вы будете?

— Она меня не звала.

— Конечно позоветъ, поѣзжайте, — убѣдительно выговорилъ онъ.

— А вы? Собираетесь, небось?

— Буду.

— Видите что, Андрей Дмитріевичъ,— продолжала Станицына потише: — мнѣ какъ-то неловко.

Въ первый разъ она говорила нѣчто такое постороннему.

— Ахъ, полноте! — возразилъ Палтусовъ.— Зачѣмъ это дѣлать изъ себя жертву?

— Я не дѣлаю, Андрей Дмитричъ,— перебила она и сдвинула брови.

— Дѣлаете! — горячо, но дружескимъ звукомъ повторилъ Палтусовъ.— Изъ-за чего же

замъ отказывать себѣ во всемъ? Изъ-за того, что вашъ супругъ...

Она остановила его взглядомъ.

— Ну, не буду... Только вы, пожалуйста, не отказывайтесь отъ бала у Рогожиной,— рука его протянулась къ ней: — попляшемъ, поѣдимъ. шампанскаго попьемъ. Кадриль мнѣ пожалуйте сейчасъ же.

Никогда Палтусовъ не говорилъ съ ней такъ оживленно и добродушно.

— Не знаю... платье...

— Ахъ, Боже мой!

— Надо экономію соблюдать,— шутливымъ шопотомъ продолжала она.

— Вы въ эту зиму навѣрно не были и на одномъ балѣ.

— Нѣтъ, не была.

— Такъ раскошельтесь на пятьсотъ рублей.

— Не сдѣлаешь! — дѣловымъ тономъ сообразила Анна Серафимовна.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Да и нельзя, — прибавила она тѣмъ же тономъ.

— Почему же? Фирму надо поддержать?

— А какъ бы вы думали, Андрей Дмитріевичъ? Каждое кружевцо сочтутъ... Тысячи рублей и клади.

— Не скупитесь! Вѣдь теперь всѣ фабрики отличныя дѣла дѣлаютъ. Золотая пошлина выручила. У Макарья-то сколько процентиковъ изволили зашибить?

Они оба разсмѣялись надъ своимъ разговоромъ.

Ходьба и гулъ голосовъ стихли въ гостиной. Оркестръ заигралъ. Смолкли и Станицына съ Палтусовымъ. Онъ остался тутъ же, позади ея кресла.

Кто-то игралъ фортепьянный концертъ съ оркестромъ. Такая музыка не захватывала. Анна Серафимовна подъ громкіе пассажи пьяниста обдумывала свой туалетъ у Рогожиныхъ. Завтра же она поѣдетъ къ Жозефинѣ. А если та завалена работой, такъ къ Минангуа... Хочется ей что-нибудь побогаче. Что, въ самомъ дѣлѣ, она будетъ обрѣзывать себя во всемъ изъ-за того, что Викторъ Миронычъ съ „подлыми“ и „безстыжими“ француженками потерялъ всякую совѣсть? Да и въ самомъ дѣлѣ для фирмы полезно. Каждый будетъ видѣть, что платье тысячу рублей стоитъ. А ее знаютъ за экономную женщину. Давно уже она съ такимъ молодымъ чувствомъ не обдумывала туалетъ. Платье будетъ голубое. Если отдѣлать его серебряными кружевами? Нѣтъ, похоже на оперный костюмъ. Жемчугъ въ модѣ — фальшивымъ она не станетъ обшивать, а настоящаго жаль, сорвутъ въ танцахъ, раздавятъ... Что-нибудь другое. Ну, да портниха придумаетъ... Коли и Минангуа не возьметъ въ четыре дня сшить — къ Шумской или къ Луизѣ поѣдетъ...

Теперь ее тянетъ на этотъ балъ... Палту-

совъ упрашиваетъ. На балѣ, въ бѣломъ галстухѣ и во фракѣ, онъ представительнѣе всѣхъ. У него именно такой ростъ, какой нужно для молодаго мужчины на вечерѣ, въ танцахъ, въ любомъ собраніи. Вѣдь множество здѣсь всякихъ мужчинъ, а никто не смотритъ такъ порядочно и значительно, какъ онъ. Или „адвокатишка", она такъ и называла мысленно, или „конторщикъ", или мелюзга. Фраки натянули — обрадовались случаю; а всего-то въ нихъ и есть содержанія, что жилеты отъ Бургеса, да лаковые ботинки отъ Пироне.

И ее уже не смущаетъ то, что она сидитъ рядомъ съ Палтусовымъ въ полутемномъ уголкѣ на глазахъ всѣхъ сплетницъ.

XXII.

— Анна Серафимовна, — шопотомъ позвалъ ее сбоку Палтусовъ.

Она повернула голову.

— Концертъ этотъ вамъ не очень нравится?

— Нѣтъ.

— Можно поговорить?

Вмѣсто отвѣта она подалась назадъ. Теперь ее видно было только тѣмъ, кто сидѣлъ у стѣны и въ заднемъ ряду стульевъ, а Палтусовъ совсѣмъ скрылся за ея кресломъ.

— Правду мнѣ настоящую скажете? — спросилъ онъ, наклоняясь къ ея затылку.

— Я не охотница лгать.

— Вы зачѣмъ вчера въ театрѣ намекнули на мои отношенія къ Марьѣ Орестовнѣ?

Анна Серафимовна слегка покраснѣла.

— Намекали? — спросилъ съ удареніемъ Палтусовъ.

— Такъ что же?

— Это не отвѣтъ!

— Вамъ непріятно было?

— Нѣтъ,— перебилъ Палтусовъ: — такъ мы не будемъ говорить, Анна Серафимовна. Да здѣсь и не совсѣмъ удобно... Я хотѣлъ только увѣрить васъ, что никакихъ особенныхъ отношеній не было и не можетъ быть... Вы мнѣ вѣрите?

Его лицо было ей видно наполовину... Оно какъ будто немного поблѣднѣло... Голосъ зазвучалъ искренне. По ней пробѣжала внезапная дрожь.

— Я вамъ вѣрю, Андрей Дмитріевичъ.

Эти слова припомнили ей вдругъ сцену, видѣнную на одномъ бенефисѣ... Хорошая дѣвушка, купеческая дочь, ввѣряется любимому человѣку... А человѣкъ этотъ — воръ, онъ наканунѣ погрома, ему нужно ея приданое, онъ обводитъ ее, вызвалъ на любовное свиданіе у колодезя. Луна свѣтитъ, поэтическая минута. И эта дура сказала ему точь въ точь тѣ же слова: „я вамъ вѣрю“. И „жуликъ“ этотъ говорилъ тронутымъ голосомъ: актеръ гримировался ужасно похоже на Палтусова.

— Больше мнѣ ничего и не нужно,— слышался около нея его голосъ.

Онъ оправдывается? Стало быть, его за живое задѣло. Не хотѣла она его обидѣть вчера, а такъ, съ языка соскочило. Мало ли что говорятъ! Марья Орестовна — женщина тонкая, воспитанная совсѣмъ на барскій манеръ... Что же мудренаго, если бы и вышло между ними „что-нибудь". Но врядъ ли. Вотъ она за-границу уѣхала, слышно на полгода. Около денегъ ея поживиться?.. Нѣтъ! Зачѣмъ подозрѣвать?.. Гадко!

— Я вамъ вѣрю,— сказала еще разъ Анна Серафимовна и вбокъ подняла на него свои пушистыя рѣсницы.

„То-то", выговорилъ про себя Палтусовъ, „еще бы ты не вѣрила!"

Въ эту минуту онъ чувствовалъ между собой и всѣмъ тѣмъ людомъ, который мелькалъ предъ нимъ, цѣлую пропасть. Онъ вотъ никому не вѣрилъ изъ этихъ фрачниковъ. Каждый на его мѣстѣ извлекъ бы изъ дружескаго знакомства съ Нѣтовой, изъ ея тайной слабости къ нему, что-нибудь весьма существенное... Все кругомъ хапаетъ, воруетъ, производитъ растраты, теряетъ даже сознаніе того, что́ свое и что́ чужое. Теперь, войдя въ дѣлецкій міръ, онъ видитъ, на чемъ держится всякая русская афера. Только у нѣкоторыхъ купеческихъ фамилій и есть еще хозяйская, хоть тоже кулаческая, честность... Такую Анну

Серафимовну приходится уважать. Но и она должна уважать его, ставить его „на полочку“ уже по одному тому, какъ онъ съ ней ведетъ дѣло, какъ съ женщиной. Развѣ другой, на его мѣстѣ, не старался бы „примоститься“ тотчасъ послѣ того, какъ она осталась соломенной вдовой?.. Тутъ милліономъ пахнетъ. Виктора Мироныча спустить, до развода довести, отступнаго заплатить... Молодая женщина, не старше его, красивая, дѣльная, крупный характеръ. А онъ вотъ два мѣсяца у ней не былъ. Ему не нужно бабьихъ денегъ. Онъ и самъ пробьетъ себѣ дорогу. Какъ же ей не вѣрить ему и не уважать его? И будетъ еще больше уважать. И довѣрять ему станетъ, коли онъ захочетъ, точно такъ же, какъ Нѣтова, которую онъ можетъ обокрасть до тла, если ему это вздумается.

Глаза Палтусова перебѣгали отъ одной мужской фигуры къ другой.

„Все жулики!“ говорили эти глаза. Ни въ комъ нѣтъ того, хоть бы дѣлецкаго, гонора, безъ котораго: какая же разница между пріобрѣтателемъ и мошенникомъ?..

— Вѣрите? — спросилъ онъ послѣ небольшой паузы: — спасибо на добромъ словѣ.

Она тихо улыбнулась. Фортепьянный концертъ кончился среди треска рукоплесканій. Теперь говорить было удобнѣе, но почему-то они замолчали. На эстрадѣ, послѣ паузы, запѣла всѣмъ обѣщанная, пріѣзжая пѣвица —

сопрано. И въ разговорномъ салонѣ немного примолкли. Пѣвица исполнила два номера. Ей похлопали, но умѣренно. Она не понравилась.

— Экая невидаль! — сказалъ кто-то громко въ гостиной.

Нѣсколько дамъ переглянулись.

XXIII.

Оставалось еще два номера во второй части программы, но начался уже разъѣздъ. Изъ боковыхъ комнатъ, особенно изъ гостиной, стали подниматься дамы, шумя стульями, мужчины затопали каблуками, изъ большой залы потянулись также къ выходу. Слушать что-нибудь было затруднительно. Но Анна Серафимовна высидѣла до конца.

Палтусовъ предложилъ ей руку. Она еще въ первый разъ шла съ нимъ подъ руку, въ такомъ многолюдствѣ, предъ всей „порядочной" Москвой. Хорошо ли она дѣлаетъ? Знакомыхъ пока не попадалось. Но вѣдь ее многіе знаютъ въ лицо. Идти съ нимъ ловко; они одного роста. Съ Викторомъ Миронычемъ она терпѣть не могла ходить и въ первый и во второй годъ замужества, а потомъ онъ и самъ никуда почти съ ней не показывался...

Вотъ они въ той комнатѣ, откуда двѣ боковыя двери ведутъ на хоры и въ круглую го-

стиную. Сразу нахлынула публика. Съ хоръ спускались дамы и дѣвицы въ простенькихъ туалетахъ, въ черныхъ шерстяныхъ платьяхъ, старушки, пожилыя барыни въ наколкахъ, гимназисты, дѣвочки-подростки, дѣти.

— Посмотрите, какія милыя лица,— указалъ ей Палтусовъ на двухъ дѣвушекъ, остановившихся у одного изъ подзеркальниковъ.

Онѣ были навѣрно сестры. Одна высокая, съ длинной таліей, въ черной, бархатной кофточкѣ и въ кружевной фрезѣ. Другая пониже, въ малиновомъ платьѣ съ свѣтлыми пуговицами. Обѣ брюнетки. У высокой, щеки и уши горѣли. Изъ-подъ густыхъ бровей глаза такъ и сыпали искры. На лбу курчавились волосы, спускающіеся почти до бровей. Дѣвушка, пониже ростомъ, носила короткіе локоны вмѣсто шиньона. Носъ шелъ ломаной, игривой линіей. Маленькіе глазки искрились. Талія перехвачена была кушакомъ.

— Кто это? — спросила Анна Серафимовна.

— Не знаю ихъ фамиліи, но вижу всегда въ концертахъ и въ Большомъ театрѣ,— выговорилъ Палтусовъ.

Къ брюнеткамъ подошли трое мужчинъ: толстенькій офицеръ съ краснымъ воротникомъ, нервный блондинъ съ подстриженной бородой, въ длинномъ сюртукѣ и, по московской модѣ, въ бѣломъ галстухѣ, и черноватый франтъ во фракѣ и лайковыхъ башмакахъ, — съ виду иностранецъ.

Дѣвушка, повыше, заговорила съ военнымъ. Глаза ея еще больше заиграли. Другая улыбалась блондину.

— Вотъ толкуютъ — невѣстъ нѣтъ,— пошутила Анна Серафимовна: — а куда ни взглянешь — все хорошенькія дѣвушки.

— Милыя! — выговорилъ Палтусовъ.

— Что не женитесь?

— Время не пришло.

— Я не сваха, никого сватать не буду, — прибавила она серьезнѣе...— Да и вы, Андрей Дмитричъ, не женитесь. На это надо таланъ имѣть.

Она сказала „таланъ", а не „талантъ"— по-московски. Это ему понравилось.

— Батюшки,— прошептала вдругъ она: — не уйдешь отъ старика!

Ее замѣтилъ тотъ лысый господинъ, котораго она уже видала, когда пріѣхала. По дорогѣ онъ подошелъ къ брюнеткамъ; пожалъ имъ руки продолжительно, съ наклоненіемъ всего корпуса, щуря свои мышиные глазки.

Онъ подошелъ и къ Аннѣ Серафимовнѣ и сдѣлалъ жестъ, точно хотѣлъ приложиться къ рукѣ.

— Анна Серафимовна, — сладко проговорилъ онъ и глазки его совсѣмъ закрылись. — Какъ ваше здоровье? Викторъ Миронычъ какъ поживаетъ?

Каждый разъ онъ спрашиваетъ ее одно и тоже: — о здоровьѣ и о Викторѣ Миронычѣ.

— Благодарю васъ,— сухо отвѣтила она и рукой немного надавила на руку Палтусова, давая ему чувствовать, чтобы онъ повелъ ее дальше.

Они перешли въ послѣднюю залу, передъ площадкой. Здѣсь по стульямъ сидѣли группы дамъ, простывали отъ жары хоръ и большой залы. Разъѣздъ шелъ туго. Только половина публики отплыла книзу, другая половина ждала или „дѣлала салонъ". Всѣмъ хотѣлось говорить.

Мужчины перебѣгали отъ одной группы къ другой.

— Хотите присѣсть? — спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, здѣсь на виду очень.

— Все боитесь?

— Ахъ, Андрей Дмитричъ,— выговорила она полушопотомъ: — вы во мнѣ еще долго не выкурите... купчихи.

— Да и не нужно.

— Ой-ли? — вырвалось у нея.

И она довольно громко засмѣялась. Они вышли уже на площадку. Палтусовъ отвелъ ее въ сторону, направо.

— Надо подождать немного,— сказалъ онъ, указывая на толпу.

XXIV.

— Аннушка, здравствуй! — поздоровалась съ Анной Серафимовной Рогожина и стала передъ ними.

Мужъ накинулъ ей на плечи голубую мантилью, послѣ чего подбѣжалъ къ Станицыной и низко съ ней раскланялся.

Палтусову Рогожина подмигнула. Этотъ взглядъ, говорившій: „вотъ ты куда подбираешься!“ схватила Анна Серафимовна и внутренне съежилась. Она отдернула на половину руку, которую держалъ Палтусовъ.

— Здравствуй, — выговорила она степеннымъ тономъ.

— Искала тебя по всей залѣ... Ты что же это на твоемъ мѣстѣ не сидишь, а?

— Не люблю... Очень жарко и къ музыкѣ близко.

— Ну вотъ что, голубчикъ... У меня плясъ въ среду на масляницѣ... Тебя бы и звать не слѣдовало... Глазъ не кажешь. Вотъ и этотъ молодчикъ тоже. Скрывается гдѣ-то.— Рогожина во второй разъ подмигнула.— Пожалуйста, милая. Вся губернія пойдетъ писать. Маменекъ не будетъ... Только однѣ хорошенькія... А у кого это мѣсто не ладно,— она обвела лицо:— тѣ высокаго полета.

— Вотъ какъ,— кончикомъ губъ выговорила

Анна Серафимовна... Тонъ Рогожиной ее коробилъ.

— Будешь?

— Плохая я танцорка,— начала-было Анна Серафимовна.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ съ,— вмѣшался мужъ Рогожиной:— это никакъ невозможно. Людмилочка говоритъ истинную правду: однѣ только хорошенькія будутъ. Вамъ никакъ нельзя отказаться.

— Не мѣшайся! — крикнула Рогожина.

Станицына покраснѣла.

Къ нимъ подошелъ пріѣзжій генералъ, совсѣмъ бѣлый, съ золотыми аксельбантами. Онъ весь вечеръ любезничалъ съ Рогожиной.

— А! — заговорилъ онъ, обращаясь къ Рогожиной: — здѣсь салонъ... Esprit d'escalier!..

— Такъ будете, князь? — Рогожина повернулась къ нему и взяла его за обшлагъ рукава.

— Непремѣнно...

— Прощай! — сказала Рогожина Аннѣ Серафимовнѣ.— Пойдемте, князь.

Она увела старичка.

— Бой-баба стала моя Людмила Петровна! — замѣтилъ Палтусовъ.

— Ваша? — переспросила Станицина.

— Я вѣдь ее еще дѣвушкой зналъ... Мы съ ней даже на „ты" были одно время.

— У ней это скоро... А какъ вы скажете, Андрей Дмитричъ... Хорошо ли такой быть, какъ она?

— Въ какомъ смыслѣ?

— Такъ со всѣми обходиться?

— Видите, хорошо... Всѣ къ ней ѣздятъ... Вся Москва будетъ... Вотъ увидите... Только вы-то будьте...

— Буду,—тихо и полузакрывъ глаза выговорила она.

Палтусовъ проводилъ ее внизъ, отыскалъ ея человѣка и самъ надѣлъ на нее шубу. Въ пуховомъ, бѣломъ платкѣ Анна Серафимовна была еще красивѣе.

Онъ на нее засмотрѣлся.

— А ваша Тася! — сказала она ему у дверей вторыхъ сѣней:— когда же ко мнѣ?

— Послѣ завтра.

— Жду.

Еще разъ кивнула она ему головой и пошла, кутаясь въ песцовую шубу.

У прилавковъ, гдѣ выдавали платье, давка еще не прекратилась. Изъ дверей врывался холодный воздухъ. Палтусовъ разсудилъ подняться опять наверхъ.

Съ площадки, гдѣ зеркало, онъ увидалъ на верху у перилъ Нѣтова. Евлампій Григорьевичъ стоялъ нагнувшись надъ перилами и смотрѣлъ внизъ. Его лицо поразило Палтусова. Онъ не видалъ его больше недѣли. Нѣтовъ въ послѣдній разъ, какъ они видѣлись, былъ возбужденъ, говорилъ все о какихъ-то „предателяхъ“, просилъ прослушать статью, составленную имъ для напечатанія отдѣльной

брошюрой, гдѣ онъ высказываетъ свои „правила“. Къ этому человѣку онъ чувствуетъ жалость. Прибрать его къ рукамъ очень легко, но какъ-то совѣстно. Упускать изъ рукъ тоже не слѣдовало.

Нѣтовъ спустился на площадку. Онъ шелъ, глядя разбѣгающимися глазами. Шляпа сидѣла на затылкѣ. Фигура была глупая.

— Евлампій Григорьевичъ! — окликнулъ его Палтусовъ.

— А-а!.. Это вы!

Онъ точно съ трудомъ узналъ Палтусова, но сейчасъ же подошелъ, взялъ за руку и отвелъ въ уголъ.

— Когда ко мнѣ? — шепнулъ онъ таинственно.

— Когда прикажете,— отвѣтилъ Палтусовъ, поглядывая на него вопросительно.

— Жду!.. Пообѣдать! Навѣстите меня одинокаго!

И не прощаясь, онъ сбѣжалъ по ступенькамъ.

„Свихнется“, подумалъ Палтусовъ и не пошелъ за нимъ. Минуты три онъ стоялъ, облокотясь о пьедесталъ льва. Мимо него прошли сестры-брюнетки и за ними ихъ кавалеры. Тутъ двинулся и онъ.

XXV.

— Андрей Дмитричъ! Monsieur Палтусовъ! — крикнулъ кто-то сзади, съ площадки.

Его догонялъ маклеръ-нѣмчикъ, къ которому онъ обращался когда-то въ Славянскомъ Базарѣ отъ имени Калакуцкаго.

Карлуша былъ въ полной бальной формѣ. Изъ концерта онъ ѣхалъ на Моросейку, на празднованіе серебряной свадьбы къ нѣмецкимъ коммерсантамъ-милліонщикамъ.

— Маленечько подождите!

Онъ сбѣжалъ къ Палтусову и шепнулъ ему на ухо:

— Сергѣй то Степановичъ — въ трубу!

— Что вы говорите? — откинулся назадъ Палтусовъ.

Но онъ тотчасъ же подумалъ: „и слѣдовало ожидать".

— Скажите, что же? — заговорилъ онъ, беря маклера подъ локоть.

Они поднялись прямо на площадку.

— Да что — векселя пошли въ протестъ. Платежей нѣтъ. Дома на волоскѣ.

— И дома?

— Безпремѣнно! Мнѣ Леонтій Трофимычъ говорилъ, потому товарищество — тоже кувыркомъ!.. И я не радъ, что тогда обращался... Ну, да мое дѣло сторона. Вы нешто ничего не слыхали?

— Слышалъ кое что... Я вѣдь больше не занимаюсь его дѣлами.

— То-то! И разлюбезное дѣло... Прощайте. Мнѣ еще къ Теодору заѣхать... растрепались всѣ волосы отъ жары.— Да-съ, профарфорился герръ Калакуцкій.

— Какъ вы говорите?

— Профарфорился!.. Такъ Алексѣй Иванычъ все изволятъ выражаться... Наше вамъ,— съ огурцомъ пятнадцать.

Онъ засмѣялся, подалъ руку Палтусову и, сбѣгая съ ступенекъ, заложилъ свою складную шляпу съ синимъ подбоемъ подъ лѣвую мышку. Карлуша ѣздилъ въ бобровой шапкѣ.

Палтусовъ остановился. Онъ рѣшилъ сейчасъ же ѣхать къ Калакуцкому.

Его везъ извощикъ. Своихъ лошадей онъ ужь началъ беречь и не ѣздилъ на нихъ по вечерамъ. До дому Калакуцкаго было недалеко, но извощикъ тащился трусцой.

Палтусовъ предчувствовалъ, что „крахъ" для его бывшаго патрона наступитъ скоро. Хорошо, что онъ уже болѣе двухъ мѣсяцевъ какъ простился съ нимъ. Паевое товарищество задумано было, въ сущности, на фу-фу... Быть можетъ, къ веснѣ, еслибы Калакуцкому удалось завербовать двухъ-трехъ капитальныхъ „мужиковъ" — дѣло и пошло бы. Но онъ слишкомъ раскинулся. Припомнились Палтусову слова: „хапаетъ", сказанныя ему Осетровымъ. Вотъ тотъ такъ человѣкъ!

Это пахло полнымъ разореніемъ. Но большой жалости онъ не чувствовалъ къ Калакуцкому. И даже у него замелькали въ головѣ новыя соображенія. Подряды его бывшаго патрона не всѣ были захвачены съ глупымъ рискомъ. Есть и очень выгодные. Если бы заполучить хоть одинъ изъ такихъ стоющихъ подрядовъ? Вѣдь и домовъ у него цѣлыхъ три... Они пойдутъ за безцѣнокъ... Заложены давно. И строены-то были безъ копѣйки. Забастуй тогда Калакуцкій — и былъ бы онъ крупный домовладѣлецъ, выплачивалъ бы себѣ банковскіе проценты. Ему давали дутыя оцѣнки, на треть выше стоимости. Да и теперь можно еще сдѣлаться домовладѣльцемъ такимъ же способомъ. Все-таки кумовство нужно, или, лучше сказать — организованный обманъ. А тутъ дѣло чистое: пріобрѣлъ съ аукціона... Охотниковъ не мало найдется и съ своими деньгами. А у него сколько же своихъ-то? И двадцати тысячъ не найдется.

На этомъ вопросѣ остановилъ Палтусова толчокъ въ рытвину, выбитую сбоку улицы. Онъ оглянулся и крикнулъ:

— Стой!

Сани уже поравнялись съ огромнымъ четырехъ-этажнымъ домомъ о двухъ подъѣздахъ. Это и былъ одинъ изъ домовъ Калакуцкаго, гдѣ проживалъ самъ владѣлецъ.

Быстро расплатившись съ извощикомъ, Палтусовъ вбѣжалъ въ подъѣздъ, по сю сторону

большихъ воротъ, сквозь которыя виденъ былъ освѣщенный газовыми фонарями глубокій дворъ, весь обстроенный. Ворота стояли еще отворенными на обѣ половинки.

— Сергѣй Степанычъ? — спросилъ онъ у швейцара.

Тотъ встрѣчалъ его у лѣстницы безъ картуза. Палтусовъ замѣтилъ, что лицо у него разстроенное.

— Батюшка баринъ, — заговорилъ шопотомъ швейцаръ, сѣденькій старичекъ: — нездорово у насъ.

— Какъ нездорово?

— Сергѣй Степановичъ... — онъ досказалъ на ухо Палтусову... — Богу душу отдали...

— Когда?..

У Палтусова перехватило голосъ.

— Да вотъ съ часъ времени будетъ... Полиція тамъ, за слѣдователемъ... или бишь за прокуроромъ послали.

Семейства у Калакуцкаго не было. Но Палтусовъ зналъ, что онъ содержитъ немолодую уже танцовщицу изъ корифеекъ. Она жила въ томъ же домѣ, въ особой квартирѣ.

— А Лукерья Семеновна? — спросилъ онъ.

— Послали-съ... Онѣ въ театрѣ... Танцуютъ сегодня. Ждемъ съ минуты на минуту.

— Да жилъ онъ... хоть немного?

— Нѣтъ-съ... Какъ, значитъ, пистолетъ приставилъ къ виску — сразу!.. И камардинъ не вдругъ вошелъ. Чай заваривалъ... Входитъ

съ подносомъ, а они лежатъ, голова-то на письменномъ столѣ. У стола и сидѣли...

— Такъ тамъ полиція?

— Да-съ—околодочный и хожалый. Докторъ уѣхалъ, изъ части взяли... Что же ему за сухота теперь? И крови-то ничего почти не вышло... Въ мозгъ значитъ прямо... Страсти!

Старичекъ вздрогнулъ и перекрестился.

— Пожалуйте!.. — показалъ онъ рукой вверхъ.

XXVI.

Хозяйская квартира помѣщалась въ бельэтажѣ. Палтусовъ оглядѣлъ лѣстницу. Матовый, въ видѣ чаши, фонарь, коверъ съ мѣдными спицами, разостланный до первой площадки, большое зеркало надъ мраморнымъ каминомъ внизу, все такъ парадно и внушительно смотрѣло на него, вплоть до стѣнъ, росписанныхъ въ античномъ вкусѣ, темно-красной краской съ фресками. И въ этой отдѣлкѣ параднаго подъѣзда виднѣлся ловкій строитель изъ дворянъ, умѣвшій все показать „въ авантажѣ". Ничто не говорило, что за дверьми первой квартиры, по правую руку, доигранъ былъ послѣдній актъ дѣлецкой драмы.

„Навѣрно, уголовщина", сказалъ себѣ Палтусовъ. Онъ медленно поднимался по большимъ ступенькамъ широкой лѣстницы съ чугунными, бронзированными перилами.

Безъ уголовныхъ подробностей, изъ-за одной несостоятельности такой человѣкъ, какъ Калакуцкій, врядъ ли всадилъ бы себѣ пулю...

Онъ позвонилъ.—Отперъ человѣкъ Василій, съ перекошеннымъ лицомъ.

— Андрей Дмитричъ!—растерянно воскликнулъ онъ...— Какъ васъ Богъ принесъ?.. Пожалуйте!..

Въ передней сидѣлъ городовой въ киверѣ, въ пальто съ мѣховымъ воротникомъ и сонно хлопалъ глазами. При входѣ Палтусова онъ всталъ.

— Гдѣ? — спросилъ Палтусовъ.

— Въ кабинетѣ-съ. Такъ и оставили... Слѣдователь...

И камердинеръ повторилъ ему то, что́ онъ уже слышалъ отъ швейцара.

— Въ театръ послали,— конфиденціально сообщилъ камердинеръ.—Лукерья-то Семеновна... танцуетъ-съ... У нихъ сегодня, въ новомъ балетѣ, въ самомъ концѣ цѣлый номеръ. Ближе половины двѣнадцатаго не будутъ.

Камердинеръ былъ любитель балета и даже свободно выговаривалъ такія слова, какъ „pas de deux“.

Передняя освѣщалась стѣнной лампой. Висѣла ильковая шуба Калакуцкаго рядомъ съ пальто околоточнаго. На подзеркальникѣ лежала мѣховая шапка и на ней пара новыхъ свѣтлыхъ перчатокъ.

— Хотѣли въ балетъ ѣхать-съ,— доложилъ

еще камердинеръ, снимая пальто съ Палтусова...— И лошади были готовы... И вотъ!..

Онъ не докончилъ. Барина онъ жалѣлъ, хоть покойный и давалъ иногда зуботычины. Жалованья Василій получалъ тридцать рублей.

Палтусовъ прошелъ черезъ столовую и небольшую гостиную — онѣ стояли темными —и остановился въ дверяхъ кабинета между двумя тяжелыми портьерами. Свѣтъ высокой, фарфоровой лампы ярко падалъ на письменный столъ, занимавшій всю средину комнаты, просторной и оклеенной темными обоями. Изъ-за спинки креселъ,—передъ большимъ круглымъ столомъ,— Палтусову не видно было тѣла самоубійцы. Его оставили въ такомъ положеніи, какъ засталъ его камердинеръ, все еще боявшійся, что его схватятъ.— Околоточный присѣлъ къ письменному столу справа. Его курчавая, рыжеватая голова съ курносымъ въ очкахъ профилемъ рѣзко выдавалась на фонѣ зеленаго сукна и мглы кабинета за столомъ. Онъ писалъ. Слышно было скрипѣніе пера.

На Палтусова напало что-то схожее съ робостью. Въ трусости онъ не могъ себя упрекнуть. Ему не досталось Георгія, когда онъ былъ за Балканами въ волонтерахъ, но саблю за храбрость онъ имѣлъ. Однако, надо же было посмотрѣть недавняго „принципала“. Его начинала щемить мысль, что денежная карьера дворянина, собиравшагося обобрать купеческія

кубышки, можетъ очень и очень закончиться вотъ такимъ выстрѣломъ.

Палтусовъ вошелъ наконецъ въ кабинетъ. Околоточный поднялъ голову и тотчасъ же всталъ. Ему было плохо видно съ его мѣста. Онъ могъ принять Палтусова за слѣдователя или товарища прокурора.

— Не безпокойтесь,— сказалъ ему тихо Палтусовъ:— продолжайте ваше дѣло.

Околоточный пристально оглядѣлъ его и призналъ, что это не должностное лицо.

— Что вамъ угодно? — спросилъ онъ.

— Я заѣхалъ случайно къ Сергѣю Степановичу,— выговорилъ Палтусовъ; но не прибавилъ, что близко зналъ покойнаго, какъ его бывшій агентъ.

— Любезнѣйшій, — крикнулъ околоточный Василію:— постороннихъ-то не пускайте!

— Слушаю-съ,— трусливо откликнулся Василій изъ-за портьеры.

— Я на минуту,— сказалъ какъ бы извиняясь Палтусовъ.

Тутъ только, около самаго письменнаго стола, онъ разглядѣлъ тѣло Калакуцкаго. Голова лежала на обѣихъ рукахъ, сложенныхъ подъ нею. Кресло было придвинуто плотно къ столу. Тѣло подалось вправо. На лѣвомъ вискѣ чернѣлась повыше уха маленькая дырочка съ запекшейся кровью. Отложной воротничекъ рубашки былъ въ двухъ мѣстахъ забрызганъ. Лицо, видное Палтусову въ профиль, поблѣд-

нѣло и стало очень красивымъ съ его крупнымъ носомъ, длинными усами и французской бородкой. Можно бы принять мертвеца за спящаго... Одѣлся онъ дѣйствительно въ театръ,— въ двубортный, обшитый ленточкой сюртукъ, застегнутый на четыре пуговицы. Пистолетъ лежалъ на полу такъ, какъ его нашелъ Василій.

XXVII.

— Вы такъ и оставили? — обратился Палтусовъ къ околоточному и указалъ на трупъ.

— Да-съ... Лакей хотѣлъ на кушетку... Этого нельзя. Слѣдователь забранится. Навѣрняка и прокуроръ будетъ. Поди, какъ бы генералъ не пріѣхали.

И околоточный значительно поглядѣлъ на Палтусова.

— Вы не тревожьтесь,—сказалъ Палтусовъ:— я сейчасъ уйду.

— Да и вамъ лучше... Какое удовольствіе! И намъ-то съ этими самоубійствами житья нѣтъ. Вѣрьте слову... Хозяева меблированныхъ комнатъ обижаются чрезвычайно. Пріѣдетъ съ желѣзной дороги, какъ слѣдуетъ, номеръ возьметъ, спроситъ порцію чаю... А тамъ и выламывай двери. Ночью и натворитъ безобразія. Или опять въ баняхъ, или въ номерахъ для пріѣзжающихъ. Спервоначалу пройдется на счетъ женскаго пола...

— Да? — съ улыбкой переспросилъ Палтусовъ.

— Первымъ дѣломъ! Или у проститутки ночевалъ, — окажется изъ дознанія — или притащитъ съ собой, подъ утро отпуститъ ее, ну водка или ромъ — и на утро пукнетъ... Анаѳемское время, я вамъ скажу!

— Молодые отъ любви больше?

— Нельзя этого сказать, — вошелъ въ сюжетъ околоточный и даже выпрямился: — студентъ — отъ чувствъ... бывало это, или такъ, съ дуру, въ меланхолію войдетъ, оставитъ ерунду какую-нибудь, на письмѣ изложитъ, жалуется на все, правды, говоритъ, нѣтъ на свѣтѣ, а я, говоритъ, не могу этого вынести... Мечтанія, знаете. Женскій полъ отъ любви, точно... Гимназисты опять попадаются, мальчуганы. Они отъ экзаменовъ. А больше растраты...

— Растраты? — повторилъ Палтусовъ.

— Такъ точно. — Чуть деньги растратилъ, хозяйскія, или по довѣренности, или просто запутался...

Околоточный смолкъ на минуту и прибавилъ:

— Жуликовъ расплодилось, нѣсть числа!

И вздохнулъ.

— Не мало, — подтвердилъ Палтусовъ.

Онъ глядѣлъ все на голову Калакуцкаго. Сбоку отъ лампы стоялъ овальный портретъ въ орѣховой рамкѣ. На темномъ фонѣ выступала фигура танцовщицы въ балетномъ

испанскомъ костюмѣ и въ позѣ, съ одной вскинутой ногой.

— Нѣсть числа жуликовъ! — повторилъ околоточный и поправилъ на носу очки. — Генералъ нашъ хочетъ вотъ нашихъ-то, хотя бы мелюзгу-то карманную, истребить... Ничего не сдѣлаетъ-съ! Передѣвайся, не передѣвайся въ полушубокъ — не выведешь. А тысячныя-то растраты? Тутъ ужь подымай выше... Изволили близко знать Сергѣя Степановича? — вдругъ спросилъ онъ другимъ тономъ.

— Довольно близко, — отвѣтилъ Палтусовъ сдержанно.

— Какъ же это такое происшествіе?.. Въ дѣлахъ, видно, позамявшись?

— Должно быть...

— Удивленія достойно... Человѣка милліонщикомъ считали... Домъ одинъ этотъ на триста тысячъ не окупишь... Грѣхи!

— Нашли какое-нибудь письмо? — перебилъ Палтусовъ.

Его точно что удерживало въ комнатѣ мертвеца.

— Мы на столѣ ничего не трогали... Изволите сами видѣть... Вотъ около лампы пакетъ. Какъ будто только-что написанъ былъ и положенъ. Кровинка и на него угодила.

Вправо, выше лампы, около бронзоваго календаря лежало письмо большаго формата. На него дѣйствительно попала капля крови. Палтусовъ издали, стоя за кресломъ, прочелъ

адресъ: „Госпожѣ Калгановой — въ собственныя руки“.

— Вы прочли адресъ? — освѣдомился Палтусовъ.

— Прочелъ-съ... Рука у покойника четкая такая... Госпожѣ Калгановой. Это ихъ мамошка-съ!

— Что? — не разслышалъ Палтусовъ.

Околоточный ухмыльнулся.

— Мамошка-съ, я говорю, на держаніи, стало быть, состояла... Это они напрасно сдѣлали... Что же тутъ дѣвицу срамить? Лучше бы самолично отвезти или со служителемъ послать. Да всегда на человѣка, коли онъ это самое задумаетъ, найдетъ затмѣніе... Въ балетѣ онѣ состоятъ...

Онъ ткнулъ пальцемъ въ фамилію, написанную на конвертѣ.

— Послали за ней... Напрасно. Дурачье-люди. Прискачетъ, ревъ, истерика, крикъ пойдетъ... Въ протоколъ занесутъ, допрашивать еще станутъ, слѣдователь у насъ изъ молодыхъ, не умялся. И только одинъ лишній срамъ... Онѣ вѣдь въ этомъ же домѣ жительство имѣютъ.

— Я знаю,— выговорилъ Палтусовъ.

— Мнѣ вотъ отлучиться-то нельзя... А не надо бы допускать. А какъ не допустишь?

„Пускай ее!“ подумалъ Палтусовъ. Онъ не станетъ вмѣшиваться. Танцовщица утѣшится. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Вотъ развѣ покойный

что-нибудь наблудилъ; такъ „гражданская сторона“ доберется до разныхъ ея вещей и цѣнныхъ бумагъ. Сумѣетъ спустить. — Съ этой Лукерьей Семеновной онъ всего разъ объѣдалъ.

Околоточный вышелъ на средину кабинета. Палтусовъ сдѣлалъ также нѣсколько шаговъ къ двери.

— Прощайте,— громко сказалъ онъ.

— Мое почтеніе-съ... Вы хорошо дѣлаете, что не остаетесь... Протоколъ и все такое... И усталъ же я нынче анаѳемски,— околоточный весь потянулся: — передъ вечерними пожаръ былъ, только-что въ трактиръ зашелъ, подчасокъ бѣжитъ: мертвое тѣло!.. Мое почтеніе-съ!

Палтусовъ бросилъ еще взглядъ на голову самоубійцы и вышелъ изъ кабинета.

XXVIII.

Швейцара въ сѣняхъ уже не было, когда Палтусовъ проходилъ назадъ. Онъ спускался по ступенямъ замедленнымъ шагомъ, съ опущенной головой. Раза два обертывался онъ назадъ и оглядывалъ сѣни. На тротуарѣ, въ подъѣздѣ, онъ постоялъ немного и вмѣсто того, чтобы кликнуть извощика, повернулъ направо и вошелъ подъ ворота.

Оставалась отпертою только калитка на цѣпи. Дворникъ въ тулупѣ сидѣлъ подъ воротами на скамейкѣ. Въ глубинѣ подворотни, — она со-

держалась въ большой чистотѣ — горѣлъ полукруглый фонарь съ газовымъ рожкомъ.

Странно такъ показалось Палтусову, что въ домѣ совершенная тишина, даже дворникъ по обыкновенію дремлетъ, а хозяинъ дома — мертвый въ кабинетѣ, съ пулей въ черепѣ. Такая же тишина стояла на дворѣ. Онъ былъ гораздо больше, чѣмъ думалъ Палтусовъ. Въ глубинѣ помѣщались сараи, конюшни и прачечная, отдѣльнымъ флигелькомъ, и передъ нимъ родъ палисадника, обнесеннаго низкой чугунной рѣшеткой. Домъ шелъ кругомъ шестиграннымъ ящикомъ съ выступами въ двухъ мѣстахъ, со множествомъ подъѣздовъ. На дворѣ не валялось ни грудъ сколотаго снѣгу, ни мусору, ни кадушекъ. Снѣгъ совсѣмъ почти сошелъ съ него и подъ ногами чувствовался асфальтъ.

Палтусовъ вышелъ на самую средину, сталъ спиной къ рѣшеткѣ и долго оглядывалъ все зданіе. Въ него навѣрное вложено до пятисотъ тысячъ рублей. Постройка чудесная.

Видно, что подрядчикъ для себя строилъ. Расположеніе этажей, подъѣзды, выступы, хозяйственныя приспособленія,— все смотрѣло нарядно и капитально.

Въ душѣ бывшаго подручнаго самоубійцы-предпринимателя играло въ эту минуту проснувшееся чувство живой приманки — большой, готовой, сулящей впереди осуществленіе его плановъ... Вотъ этотъ домъ! Онъ отлично

выстроенъ, тридцать тысячъ даетъ доходу: пріобрѣсти его какимъ-нибудь „особымъ“ способомъ, — больше ничего не нужно. Въ немъ найдешь ты прочный грунтъ. Ты пойдешь дальше, но не замотаешься, какъ этотъ отставной поручикъ, кончившій самоубійствомъ.

Фасадъ дома всегда нравился Палтусову. На улицу онъ весь былъ выштукатуренъ и выкрашенъ темнымъ колеромъ. Со двора только нижній этажъ выведенъ подъ камень, а остальные оставлены въ кирпичикахъ съ обшивкой настоящимъ камнемъ. Калакуцкій любилъ вѣнскія постройки, часто похваливалъ ему разные дома на Рингѣ, новыя воздвигавшіяся зданія ратуши, музеевъ, университета.

Второй этажъ со двора смотрѣлъ также нарядно, чего не бываетъ въ другихъ домахъ. Каждое окно съ фронтономъ, колонками и балюстрадой внизу. Такъ аппетитно смотритъ на Палтусова вся стѣна. Онъ считаетъ окна вдоль и вверхъ по этажамъ. Есть что-то затягивающее въ этомъ ощупываніи глазомъ каменной громадины цѣнностью въ полмилліона рублей. Не слѣдовало ни въ какомъ случаѣ застрѣливаться, владѣя такимъ домомъ. Всегда можно было извернуться.

Палтусовъ закрылъ глаза. Ему представилось, что онъ хозяинъ, выходитъ одинъ ночью на дворъ своего дома. Онъ превратитъ его въ нѣчто невиданное въ Москвѣ, нѣчто въ родѣ парижскаго Пале-Рояля. Одна половина, — гро-

мадные магазины, такіе, какъ Лувръ, другая, — отель съ американскимъ устройствомъ. На дворѣ — скверъ, аллеи; службы снесены. Сараи помѣщаются на второмъ, заднемъ дворѣ. Въ нижнемъ этажѣ, подъ отелемъ — кафе, какое давно нужно Москвѣ, гарсоны бѣгаютъ въ курткахъ и фартукахъ, зеркала отражаютъ тысячи огней... Жизнь кипитъ въ магазинѣ-монстрѣ, въ отелѣ, въ кафе, на этомъ дворѣ, превращенномъ въ прогулку. Кругомъ лавки брилліантщиковъ, модные магазины, еще два кафе, поменьше, въ нихъ играетъ музыка, какъ въ Миланѣ, въ пассажѣ Виктора-Эммануила. Это дѣлается центромъ Москвы, все стекается сюда и зимой и лѣтомъ.

Тянетъ его къ себѣ этотъ домъ, точно онъ — живое существо. Не кирпичемъ ему хочется владѣть, не алчность разжигаетъ его, а чувство силы, упоръ, о который онъ сразу обопрется. Нѣтъ ходу, вліянія, нельзя проявить того, что сознаешь въ себѣ, что выразишь цѣлымъ рядомъ дѣлъ, безъ капитала или такой вотъ кирпичной глыбы.

Тихо вышелъ Палтусовъ на улицу. У подъѣзда, ведущаго въ квартиру Калакуцкаго, уже стояло двое саней. Онъ перешелъ улицу и сталъ у фонаря. Долго осматривалъ онъ фасадъ дома, а на сердцѣ у него все разгоралось желаніе обладать имъ.

XXIX.

Домой пріѣхалъ Палтусовъ въ первомъ часу. Мальчика онъ отпустилъ, сказавъ, что самъ раздѣнется.

Въ сюртукѣ и не снимая перчатокъ, присѣлъ онъ къ письменному столу, отперъ ключемъ верхній ящикъ и вынулъ оттуда бумагу. Это была довѣренность Марьи Орестовны Нѣтовой. Ея деньги положены были имъ, въ разныхъ бумагахъ, на храненіе въ контору государственнаго банка. Но онъ уже раза два вынималъ ихъ и мѣнялъ на другія.

Прощаясь, она сказала ему: — „Андрей Дмитричъ, вы не гонитесь за большими процентами, а впрочемъ, какъ знаете".

Онъ уже ей тогда говорилъ про акціи рязанской дороги и учетнаго банка.

— Какъ знаете, — повторила она: — я на васъ полагаюсь.

— Ну, а представится случай купить выгодно домъ?—такъ, между прочимъ, спросилъ онъ ее тогда.

— Домъ? Зачѣмъ! Я не знаю, — выговорила она съ гримасой: — какъ мнѣ изъ этой отвратительной Москвы уѣхать.

— Землю или вообще недвижимость?..

— Какъ разсудите, — повторила она. — Только, чтобы меня не привязали къ Москвѣ.

— А домъ доходный,— замѣтилъ онъ: — лучше земли.

— Какъ знаете.

Это были ея послѣднія слова.

Онъ припоминалъ ихъ, перечитывая бумагу. Читала ли она сама хорошенько эту довѣренность? Онъ ее списалъ съ обыкновенной формы полной довѣренности. По ней можетъ онъ и покупать, и продавать за свою довѣрительницу и расходовать ея деньги, какъ ему заблагоразсудится.

Кровь прилила къ головѣ Палтусова. Онъ два раза перечелъ довѣренность, точно не вѣря ея содержанію, всталъ, прошелся по кабинету, опять сѣлъ, началъ писать цыфры на листѣ, который оторвалъ отъ цѣлой стопки, приклеенной къ дощечкѣ.

Въ половинѣ втораго онъ вышелъ изъ дому. Мальчика онъ не будилъ, а заперъ дверь снаружи ключемъ, взялъ извощика и велѣлъ везти себя къ Тверскому бульвару.

На площади у Страстнаго монастыря онъ сошелъ съ саней.

Черезъ десять минутъ онъ опять стоялъ передъ домомъ Калакуцкаго. У подъѣзда дожидались тѣ же двое саней. Въ окна освѣщеннаго кабинета, сквозь расшитыя узорами гардины, видно было, какъ ходятъ; мелькали тѣни и въ слѣдующихъ двухъ комнатахъ, уже освѣщенныхъ.

Но это не занимало его. Онъ глядѣлъ на

домъ. Ночь дѣлалась свѣтлѣе. Фасадъ четырехъ-этажнаго зданія выступалъ между невзрачными домиками съ мезонинами и заборами. Нѣсколько балконовъ и фонариковъ бѣлѣлись въ полумглѣ ночи.

Обладать имъ есть возможность! Дѣло состоитъ въ выигрышѣ времени. Онъ пойдетъ съ аукціона сейчасъ же, по долгу въ кредитное общество. Денегъ потребуется не очень много. Да если бы и сто тысячъ — онѣ есть, лежатъ же безъ пользы въ конторѣ государственнаго банка, въ билетахъ восточнаго займа. Высылай проценты два раза въ годъ. Черезъ два-три мѣсяца вся операція сдѣлана. Можно перезаложить въ частныя руки. И этого не надо. Тогда векселя учтутъ въ любомъ банкѣ. На свое имя онъ не купитъ, найдетъ надежное лицо.

Въ мозгу его такъ и скакали одна операція за другой. Такъ это выполнимо, просто — и совсѣмъ не рискованно. Развѣ это присвоеніе чужой собственности? Онъ сейчасъ напишетъ Нѣтовой и она поддержитъ его; но онъ не хочетъ. Зачѣмъ ему одолжаться открыто, ставить себя въ положеніе кліента? Она довѣряетъ ему — ну и довѣряй безусловно. Деньги ей нужны только на заграничную жизнь, покупать она сама ничего не хочетъ. Откуда же грозитъ опасность?

И опять его потянуло внутрь. Онъ перешелъ улицу, нырнулъ въ калитку мимо того же дворника и обошелъ кругомъ, по тротуару, всю

площадь двора. Что-то особенно притягательное для него было въ этой внутренности дома Калакуцкаго. Ни на одинъ мигъ не всплыла передъ нимъ мертвая голова съ запекшейся раной, пистолетъ на полу, письмо танцовщицѣ. Подрядчикъ не существовалъ для него. Не думалъ онъ и о возможности такой смерти. Мало ли сколько жадныхъ аферистовъ! Туда имъ и дорога!.. Свою жизнь нельзя такъ отдавать... Она дорого стоитъ.

Такъ же тихо, какъ и въ первый разъ, вышелъ онъ на улицу. Сани все еще стояли. Только свѣту уже не было въ столовой. Голова Палтусова пылала. Онъ пошелъ домой пѣшкомъ.

XXX.

Домъ Рогожиныхъ горѣлъ огнями. Обставленная растеніями галлерея вела къ танцовальной залѣ. У входа въ нее помѣщался буфетъ съ шампанскимъ и зельтерской водой. Тутъ же стоялъ хозяинъ, улыбался входящимъ гостямъ и приглашалъ мужчинъ „пропустить стаканчикъ". Сѣни и лѣстница играли разноцвѣтнымъ мраморомъ. Огромное зеркало отражало длинныя вереницы свѣчей во всю анфиладу комнатъ.

Палтусовъ вошелъ въ галлерею передъ самымъ вальсомъ.— Хозяинъ подхватилъ его и заставилъ выпить шампанскаго.

— Вы не брезгуйте этимъ мѣстомъ, Андрей Дмитричъ,— говорилъ онъ, придерживая его за руку: — постойте здѣсь, всѣ дамы проходятъ. Ревизію можете произвести. Вы вѣдь женихъ... Еще стаканчикъ!

— Довольно,—рѣшительнымъ голосомъ сказалъ Палтусовъ.

— Веселѣй будете! Слава тебѣ, Господи, что зима на исходѣ. Къ Святой мы съ Людмилой—фюить!.. Въ мѣстечко Парижъ!... Калакуцкій, слышали, застрѣлился?

Этотъ вопросъ уже разъ сто предложили Палтусову въ послѣдніе пять дней.

— И видѣлъ.

— Разскажите, пожалуйста, голубчикъ! Вотъ хоть этакая исторія и то слава Богу. Немножко языки почешутъ. А то вѣрите... Вотъ по осени вернешься изъ-за границы, такая бодрость во всѣхъ жилахъ, есть о чемъ покалякать, что́ разсказать... И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Къ новому году и говорить-то никому ужь не хочется другъ съ другомъ; а къ посту ходятъ какъ мухи сонныя. Такъ какъ-же это Калакуцкій-то?

Румяное лицо хозяина такъ радостно улыбалось, точно будто онъ приготовился слушать скоромный анекдотъ. Палтусовъ передалъ ему что̀ самъ видѣлъ.

— А вѣдь вы знаете, что? Подлогъ открыли по подряду. Это мнѣ судейскій одинъ говорилъ.

Артаменъ Лукичъ еще шире осклабилъ свой ротъ.

По галлереѣ прошло нѣсколько дамъ.

— Статьи-то, статьи-то какія, — шепнулъ Палтусову хозяинъ и побѣжалъ раскланиваться.

Людмила Петровна сдержала слово: старыхъ и дурныхъ дамъ совсѣмъ не входило. Свѣжія лица, стройные или пышные бюсты рѣзко отличали купеческія семейства. Ужь не въ первый разъ замѣчалъ это Палтусовъ. Къ Рогожинымъ ѣздило и много дворянокъ. У тѣхъ попадалось больше худыхъ, сухихъ талій, слишкомъ длинныхъ шей. Лица были у нѣкоторыхъ нервнѣе, но неправильнѣе, съ некрасивыми носами. Туалеты купчихъ рѣшительно убивали дворянскіе.

Въ дверяхъ залы показалась хозяйка въ бѣломъ атласномъ платьѣ, съ красной камеліей въ волосахъ. Она принимала своихъ гостей запросто, особенно мужчинъ. Палтусову она шепнула:

— Посмотрите-ка, голубчикъ, какая барышня. Приданаго нѣтъ; за то тѣлеса!

Впереди высокой пожилой дамы съ пепельнымъ шиньономъ шла брюнетка. Палтусовъ видѣлъ ее не въ первый разъ. Онъ зналъ, что эта дѣвица — графиня Даллеръ. Ей минуло уже двадцать семь лѣтъ. Еще военнымъ онъ помнилъ ее на балахъ. Она должна выѣзжать не меньше десяти лѣтъ. Черные глаза, большіе, маслянистые, совсѣмъ испанскій овалъ

лица, смуглаго, но съ нѣжнымъ румянцемъ, яркія губы, бѣлыя, атласныя плечи, золотыя стрѣлы въ густой косѣ, огненное платье съ корсажемъ, обшитымъ черными кружевами, выступало передъ нимъ на фонѣ боковой двери въ ту комнату, гдѣ приготовленъ былъ рояль для тапера. Какая красавица! И сидитъ въ дѣвкахъ! Еще три-четыре года и начнетъ блекнуть. Рогожина вѣрно говоритъ: вотъ ему невѣста. Но когда? Когда онъ будетъ въ двухъ-стахъ тысячахъ дохода, не раньше. Такую ему нужно жену для салона, для отдыха отъ дѣлъ, съ бойкимъ жаргономъ, съ хорошей фамиліей, титулованную. Нужды нѣтъ, если она не очень умна.

— Представить васъ?—спросила Рогожина.

— Представьте, — почти обрадовался Палтусовъ.

Хозяйка подвела его къ этимъ дамамъ. Тетка дѣвицы важно поклонилась Палтусову. Дѣвица заговорила быстро, быстро, немного картавя на парижскій ладъ; глаза ея заметали искры, плечами она повела, а полная рука, въ перчаткѣ чуть не до плеча, замахала вѣеромъ. Во всемъ ея существѣ было что-то близкое къ отчаянію дѣвицы, считающей одиннадцатый сезонъ. Палтусовъ говорилъ съ ней и глядѣлъ на ея гибкую талію и пышный корсажъ Сколько тутъ рукъ перебывало, — на этой дѣвичьей тальѣ. Сколько военныхъ и штатскихъ кавалеровъ кружило ее въ вальсахъ, кадриляхъ и ко-

тильонахъ! Онъ пригласилъ ее на кадриль. Красавица такъ ласково взглянула на него, что онъ спросилъ тутъ же: не свободна ли была у ней и мазурка? Она отдала ему и мазурку. Ея французскій разговоръ очень напоминалъ ему парижскихъ женщинъ, съ какими ему случалось ужинать въ cabinets particuliers. Никто бы не сказалъ, что это незамужняя женщина. Но съ ней ему было весело. Какъ такая дѣвица жаждетъ жизни! Меньше двухъсотъ тысячъ ей нельзя проживать. За то, — жена будетъ заглядѣнье. Для такой захочешь получать и триста тысячъ доходу. И добьешься ихъ. Они пустились вальсировать. Она легла на его руку и отвернула голову, рѣсницы полуопустила. Танцуетъ она съ особой нѣгой. Бѣдная! И такъ-то вотъ вытанцовываетъ она себѣ партію... Одинъ, два, три тура... Кто-то наступилъ ей на платье, когда Палтусовъ сажалъ ее на мѣсто. Она, запыхавшись, говоритъ пѣвуче: „merci“ — и скорыми шагами пробирается въ гостиную.

XXXI.

Палтусовъ смотритъ ей вслѣдъ. Много тутъ и бюстовъ, и талій, и наливныхъ плечъ. Но у ней походка особенная... Порода сказывается. Онъ обернулся и поглядѣлъ на средину залы. Въ эту только минуту замѣтилъ онъ

Станицыну въ голубомъ. Она была хороша; но это не графиня Даллеръ. Купчиха! Лицо слишкомъ строго, держится жестко, не знаетъ, какъ опустить руки, цвѣты не хорошо нашиты и слишкомъ много цвѣтовъ. Голубое платье съ серебромъ — точно риза.

Ихъ взгляды встрѣтились. Анна Серафимовна покраснѣла. И Палтусова точно что кольнуло. Не волненіе влюбленнаго человѣка. Нѣтъ! Его кольнуло другое. Эта женщина уважаетъ его, считаетъ неспособнымъ ни на какую сдѣлку съ совѣстью. А онъ... Что же онъ? Онъ можетъ еще сегодня смотрѣть ей прямо въ глаза. Въ помыслахъ своихъ онъ ей не станетъ исповѣдываться. Всякій вправѣ извлекать изъ своего положенія все, что́ исполнимо, только бы не залѣзать къ чужому въ карманъ.

Разомъ пришли ему всѣ эти мысли. Онъ быстро подошелъ къ Станицыной, точно хотѣлъ подавить въ себѣ наплывъ непріятнаго чувства.

— Уже танцовали? — спросила она его и поглядѣла на него съ усмѣшкой женщины, чувствующей неловкость.

— Съ графиней Даллеръ,— отвѣтилъ Палтусовъ тономъ танцора.

— Поздравляю... Красавица.

Слова эти сорвались съ губъ Анны Серафимовны.

— Сколько хорошенькихъ! Молодецъ Людмила Петровна! Какой бомондъ!

У Анны Серафимовны явилась та же усмѣшечка неловкости.

Проиграли ритурнель.

— Вы со мной? — спросилъ Палтусовъ.

— А вы нешто забыли?

„Нешто“ рѣзнуло его по уху. Никогда она не смахивала такъ на купчиху. Ему стоило усилія, чтобы улыбнуться. Надо было подать ей руку. Станицына вздрогнула; онъ это почувствовалъ.

Они стали около дверей. Визави Палтусова былъ распорядитель танцевъ, низенькій офицеръ съ пухлымъ лицомъ.

— Масса хорошенькихъ! — еще разъ сказалъ Палтусовъ и оглядѣлъ пары кадрили.

Анна Серафимовна посмотрѣла на него и чуть замѣтно улыбнулась.

— Славный вечеръ, — замѣтила она. — Людмила Петровна — мастерица.

Она не завидовала хозяйкѣ бала. Всякому свое. У Рогожиной умѣнье давать вечера. И то хорошо. Заставляетъ ѣздить къ себѣ настоящихъ барынь. Сколько ихъ тутъ!..

— Какъ вамъ нравится вонъ та дѣвица... вы ее не знаете?

Онъ указалъ глазами на графиню Даллеръ, забывъ, что о ней уже былъ разговоръ.

— Видала. Она давно выѣзжаетъ.

— Да, лѣтъ десять, — подтвердилъ Палтусовъ. — Прежде я какъ-то мало замѣчалъ ее.

— А теперь замѣтили,— подчеркнула Станицына.

— Мнѣ ее жаль.

— Что такъ?

— Посмотрите... Это цѣлая трагедія. Десять лѣтъ выѣзжаетъ!..

— Какая жалость!

Тонъ ея раздражалъ Палтусова. Многого совсѣмъ не понимаютъ эти купчихи, даже и умныя.

И Анна Серафимовна никогда не сознавала такъ рѣзко разницу между собой и Палтусовымъ. Какъ ни возьми, все-таки онъ баринъ. Вотъ титулованная барышня, небось, привлекаетъ его. Понятно. А что бы мѣшало ей самой привлечь къ себѣ такого мужчину? Вѣдь она ни разу не говорила съ нимъ задушевно. Онъ, быть можетъ, этого и ждетъ. Разговоръ ихъ во время кадрили не клеился. Въ шенѣ, послѣ шестой фигуры, Анна Серафимовна не захотѣла участвовать. Палтусовъ повелъ ее въ дамскій буфетъ.

Весь въ живыхъ цвѣтахъ — гіацинтахъ, камеліяхъ, розахъ, нарциссахъ — поднимался буфетъ съ дессертомъ. Графиня Даллеръ пришла туда позднѣе. Она приняла чашку чаю изъ рукъ Палтусова и сѣла. Онъ стоялъ надъ нею и любовался ея бюстомъ, полными плечами, шеей, родинкой на шеѣ, ея атласистыми волосами, такъ красиво проткнутыми золотой стрѣлой.

Кто-то заговорилъ съ Станицыной и отвелъ ее въ сторону. Палтусовъ этого и не замѣтилъ даже. Кавалеръ увлекъ графиню Даллеръ при первыхъ звукахъ новаго вальса. Палтусовъ не пошелъ танцовать. Ему захотѣлось было одному, походить по этимъ купеческимъ хоромамъ. Онъ былъ въ особомъ возбужденіи... Вотъ еще мѣсяцъ, другой, много полгода, ну годъ, — и онъ станетъ членомъ той же семьи пріобрѣтателей и денежныхъ людей. Нѣтъ, нѣтъ, да у него и пробѣгутъ по спинѣ мурашки... Онъ все обсудилъ... Опасности, риску — нѣтъ никакого. Больше нечего и думать. Лучше вбирать въ себя краски, ощущенія вечера. На что ни упадетъ взглядъ — все нарядно и богато. Этотъ буфетный салонъ обдаетъ васъ запахомъ живыхъ цвѣтовъ. Со стѣнъ массивныя лампы и жирандоли лили свѣтъ на темномалиновый штофъ. Вазы съ фруктами и конфектами, стѣна камелій, серебряный самоваръ, бритыя лица оффиціантовъ пестрѣли предъ нимъ. И все это купецъ заказалъ, все это ему сдѣлали. А вѣдь во все это можно вложить свой дворянскій вкусъ... Года черезъ два.

Изъ дверей виднѣлась средина танцовальной залы со скульптурнымъ потолкомъ, блѣдными штофными стѣнами и венеціанскими хрустальными люстрами. Контрастъ съ буфетной комнатой пріятно щекоталъ глазъ. Дверь налѣво вела въ первую столовую. Палтусовъ зналъ уже, что тамъ съ 10 часовъ устроенъ родъ

ресторана. Это было по-московски. Онъ заглянулъ туда и остановился въ дверяхъ... Тамъ уже шла желудочная жизнь.

XXXII.

Въ этой первой столовой ѣли съ самаго начала вечера. Она дѣйствительно смотрѣла залой ресторана. Накрыты были маленькіе столики. На каждомъ лежали карточки, какъ въ трактирѣ. Оффиціанты подходили и спрашивали — что угодно. За однимъ изъ столиковъ сидѣло трое любителей ѣды изъ купцовъ и не старый еще генералъ съ бѣлымъ крестомъ на шеѣ. Купцы подливали ему, красные, потные, завязавшись салфетками. Палтусовъ узналъ генерала. Еще такъ недавно всѣ носились съ нимъ, какъ съ героемъ. А теперь онъ заживается въ Москвѣ, въ нумерѣ гостиницы, пріѣхалъ, слышно, искать денегъ или компаньона на какой-то „гешефтъ". Видно, энтузіазмъ — дѣло скоротечное. Компаньоны что-то не являются. Быть можетъ, къ нему же, Палтусову, направятъ этого генерала, какъ къ дѣльному человѣку, ходко пошедшему въ дѣловомъ мірѣ?.. Ему вспомнилась сцена изъ его волонтерской жизни... Тогда и онъ на все смотрѣлъ иначе... Во что-то вѣрилось. Не очень, впрочемъ, долго. Развѣ не слѣдовало предвидѣть, что герой кончитъ исканьемъ московской ку-

бышки, чтобы не перебиваться въ бѣдности до конца дней своихъ? Всѣ сюда идутъ!

Импровизованный ресторанъ наполнялся. Охотниковъ засѣсть съ самаго начала вечера за столы явилось очень много. Дамъ еще не было. Трактирнымъ воздухомъ сейчасъ же запахло. Наемные оффиціанты внесли съ собой суету клубной службы и купеческихъ парадныхъ поминокъ у „кандитера". Столовую уже началъ обволакивать паръ... Свѣчи горѣли тусклѣе.

Палтусовъ прошелъ мимо стола съ генераломъ. Ему хотѣлось оглядѣть и другія комнаты. Онъ зналъ, что должна быть по близости еще комната съ закуской, равняющейся цѣлому ужину, съ водкой, винами и опять шампанскимъ.

Въ закусочной, помѣщавшейся въ курильной комнатѣ, рядомъ съ кабинетомъ хозяина, Палтусовъ наткнулся на двухъ профессоровъ и одного доктора по душевнымъ болѣзнямъ. Онъ когда-то встрѣчалъ ихъ въ аудиторіяхъ.

Изъ профессоровъ одинъ былъ очень толстый брюнетъ, съ выдавшимся животомъ, молодой человѣкъ въ просторномъ фракѣ. Его черные глаза смотрѣли насмѣшливо. Въ эту минуту онъ запускалъ въ ротъ ложку съ зернистой икрой. Другой, блондинъ, смотрѣлъ отставнымъ военнымъ. Вдоль его худыхъ, впалыхъ щекъ легли длинные загнутые кверху усы. Оба выказывали нѣкоторую свѣтскость

— Что-съ, — громко шепнулъ Палтусову толстый: — каковы купчишки-то? Всю губернію заставили у себя плясать!

— Есть экземпляры богатые, — сказалъ громко блондинъ.

Онъ былъ естествоиспытатель.

— Изъ какого класса? — спросилъ его весело Палтусовъ.

— Изъ головорукихъ!

Они расхохотались.

— Вы танцовать?

— Да, пойду, — отвѣтилъ Палтусовъ толстому.

— Нѣтъ, мы вотъ закусить; а закусимъ, и въ ресторанчикъ въ томъ же заведеніи, спросимъ паровую стерлядку или дичинки!

— И бутылочку холодненькаго, — прибавилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, хозяинъ ужь заставилъ насъ пропустить по три стакана.

— Вотъ локаютъ-то! — вскричалъ толстый.

Всѣ трое опять разсмѣялись. Въ балагурствѣ этихъ профессоровъ заслышались ему звуки завистливаго чувства. Палтусовъ подумалъ:

„Прохаживайтесь, милые друзья, надъ купчишками, а все-таки шампанское ихъ локаете и объѣдаетесь зернистой икрой. Съѣдятъ эти купчишки и васъ, какъ съѣли уже дворянство“.

Профессора ушли. Къ Палтусову пододвинулся докторъ-психіатръ, благообразный, франтоватый, съ окладистой бородой, большаго роста.

— А вы все въ Москвѣ? — спросилъ онъ, выпивъ рюмку портвейну.

— Пустилъ корни!

— Что вы!.. Вольный казакъ и коптите въ нашей трясинѣ!.. Хотите, видно, нажить душевную болѣзнь?

— Полноте, — разсмѣялся Палтусовъ: — вы, должно быть, какъ докторъ Круповъ всѣхъ считаете сумасшедшими?

— Не всѣхъ, а что на волѣ ходятъ кандидаты въ Преображенскую — это вѣрно.

— Кто же, напримѣръ?

— Да, вотъ хоть бы, — заговорилъ потише докторъ: — Нѣтовъ, Евлампій Григорьевичъ, знаете?

— Знаю, —отвѣтилъ спокойно Палтусовъ: — онъ здѣсь?

— Въ карты играетъ въ кабинетѣ.

— И что?

— Готовъ! Прогрессивный...

— Какой? — переспросилъ Палтусовъ.

— Прогрессивный параличъ.

— Скажите, пожалуйста!

И Палтусовъ припомнилъ странные глаза Евлампія Григорьича, его взглядъ, звукъ голоса.

Онъ задумался.

— Нѣтовъ въ кабинетѣ?

— Да!

Палтусовъ отошелъ отъ доктора. Въ кабинетъ онъ не заглянулъ. Ему почему-то не хотѣлось идти раскланиваться съ Евлампіемъ

Григорьичемъ. Начинали кадриль. Онъ бросился искать свою даму.

Танцы чередовались. Послѣ третьей кадрили очистили залу и открыли форточки. Хозяйка плавала по комнатамъ, подмигивала мужчинамъ, пристраивала дѣвицъ, сама много танцовала. Хозяинъ съ масляными глазами, дежурилъ у шампанскаго и говорилъ неприличности. Таперъ-итальянецъ переигралъ всѣ свои опереточные мотивы. Вечеръ удался на славу.

XXXIII.

Мазурку украшалъ проѣзжій гвардейскій гусаръ въ малиновыхъ рейтузахъ, съ худенькимъ, дѣвичьимъ личикомъ и маленькой головкой на длинной худой шеѣ. Онъ выучился танцовать мазурку въ Варшавѣ. Никто кромѣ него не позволялъ себѣ выкидывать ногу впередъ и нѣсколько вверхъ и дѣлать ею потомъ родъ вензеля. Дирижеръ танцевъ, армейскій пѣхотинецъ, съ завистью поглядывалъ на эти „выкрутасы", какъ онъ назвалъ своей дамѣ штуки гусара. Мазурку соединили съ котильономъ. Въ комнатѣ, гдѣ игралъ таперъ, на столѣ разложены были всѣ вещицы для котильона: множество небольшихъ букетовъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ, звѣзды, банты, картонныя головы. Все это пестрѣло и блестѣло въ свѣтѣ двухъ канделябръ. Нетанцующіе мужчины

подходили и разсматривали эти предметы; иные дотрогивались до нихъ. Таперъ игралъ также сильно и шумно, какъ и въ началѣ вечера. Ему была поставлена бутылка шампанскаго на столикъ около рояля.

Анна Серафимовна сидѣла около двери этой проходной комнаты. Ее пригласилъ на мазурку биржевой маклеръ, знакомый Палтусова. Напротивъ нихъ, у двери въ гостиную, помѣстился Палтусовъ съ графинею Даллеръ. Они разговаривали живо и громко. Онъ близко-близко глядѣлъ на свою даму. Имъ было очень весело... Поболтаютъ, посмѣются и оглянутъ залу. Въ ихъ глазахъ Станицына читала:

„Отчего же и не повеселиться у купчишекъ".

Она не слыхала, что́ ей говорилъ ея кавалеръ. Карлуша прискучилъ ей ужасно перечисленіемъ тѣхъ вечеровъ, на какихъ онъ долженъ „обязательно" плясать до поста.

Насилу дождалась она ужина.

Ужинъ подали около четырехъ, на отдѣльныхъ столикахъ въ столовой — побольше, рядомъ съ рестораномъ. Растенія густо обставляли эту залу и дѣлали ее похожей на зимній садъ. Воздухъ сгустился. Испаренія широкихъ листьевъ и запахъ цвѣтовъ наполняли его. Огни двухъ люстръ и стѣнныхъ жирандолей выходили ярче на темной зелени.

Свою даму Палтусовъ посадилъ за столикъ въ четыре прибора, подъ тѣнь развѣсистой пальмы. Онъ во время мазурки раза два по-

глядѣлъ на Станицыну. Ему сдѣлалось немного совѣстно. Надо бы лишній разъ выбрать ее въ котильонѣ, а онъ сдѣлалъ съ ней всего одинъ туръ, точно тяготился ею. Милая она женщина; да пріѣлись ему ужь очень купчихи... Онъ ей скажетъ это при случаѣ.

— Вы позволите около васъ? — раздался голосъ Карлуши.

Маклеръ велъ подъ руку Станицыну.

Палтусовъ наклонилъ голову.

— Jolie femme, — сказала громко его дама и улыбнулась Станицыной.

Пара сѣла. Купчиха и титулованная барышня оглядѣли другъ друга. Станицына разгорѣлась отъ танцевъ. Одинъ разъ и Палтусовъ наклонился въ ея сторону и сказалъ что-то, обидное по своему снисходительному тону.

Станицына замолчала. Ей стыдно стало и за своего кавалера. Онъ то-и-дѣло вмѣшивался въ разговоръ другой пары, фамильярничалъ съ Палтусовымъ, отчего того коробило. Дѣвица съ роскошными плечами улыбнулась раза два и ему.

И конца ужина Анна Серафимовна на силу дождалась.

Карлуша проводилъ Анну Серафимовну по галлереѣ и въ сѣни и крикнулъ:

— Человѣкъ Станицыной!!.

Графиня Даллеръ уже уѣхала. Палтусовъ поднимался по лѣстницѣ въ галлерею. Наемные ливрейные лакеи обступили его, спраши-

вая его номеръ. Онъ увидалъ на площадкѣ у зеркала Анну Серафимовну и подошелъ къ ней.

Щеки ея горѣли. Глаза съ поволокой играли и немного какъ бы злобно улыбались.

— Проводили вашу красавицу? — спросила она и покачнулась всѣмъ корпусомъ.

— Проводилъ, — простымъ тономъ выговорилъ Палтусовъ.

— Остаетесь еще?

— Нѣтъ, пора.

Глаза Станицыной сдѣлались еще ярче.

— Анна Серафимовна, пожалуйте! — раздался снизу голосъ маклера.

— Вы съ нимъ? — спросилъ Палтусовъ и улыбнулся.

— Какъ съ нимъ? — живо переспросила Станицына.

— Онъ васъ провожаетъ?

— Съ какой стати!

— Чтожь, это, кажется, дѣлается въ Москвѣ.

— Не знаю... А вашу лошадь вы отпустили?

— Отпустилъ.

— Хотите, я васъ подвезу?

— Подвезите.

— Пожалуйте! — крикнулъ нѣмчикъ.

— Иду.

Палтусовъ спустился вслѣдъ за нею. Ему показалось странно, что строгая Станицына пригласила его въ карету. Нѣмчикъ укуталъ ее и сказалъ нѣсколько прибаутокъ.

— Вы еще остаетесь? — спросила она.

— Ручку у хозяйки поцѣловать? Это — первымъ дѣломъ.

Онъ убѣжалъ. Палтусовъ надѣлъ шубу, далъ лакею двугривенный и отворилъ дверь Аннѣ Серафимовнѣ.

— Поѣдемте,— смѣло сказала она. Ея глаза сверкнули въ полутьмѣ улицы.

XXXIV.

Карета глухо загремѣла по рыхлому масляничному снѣгу. Внутрь ея свѣтъ отъ фонарей проходилъ двумя мерцающими полосками. Палтусовъ сѣлъ въ уголъ и поглядѣлъ сбоку на Анну Серафимовну.

Она замолчала. Ей вдругъ стало очень стыдно и даже немного страшно. Что за выходка? Зачѣмъ она пригласила его? Это видѣли. Да если бы никто и не видалъ — все равно. Будь онъ другой человѣкъ, старичокъ Кливкинъ — ея вѣчный ухаживатель, даже кто-нибудь изъ самыхъ противныхъ адъютантовъ Виктора Мироныча... А то Палтусовъ!

И ему было неловко. Приглашеніе Анны Серафимовны походило на вызовъ. Въ ней заговорило женское чувство, очень близкое къ ревности. Ни за что онъ не воспользуется имъ. Конечно, другой на его мѣстѣ сейчасъ же бы началъ дѣйствовать... Взялъ бы за руку, подсѣлъ бы близко-близко и заговорилъ на не-

трудную тему. Вѣдь она такая красивая — эта Анна Серафимовна, по своему не хуже той дѣвицы... Не виновата она, что у ней нѣтъ чего-то высшаго, того, что французы называютъ „fion“.

Онъ не придвигался. Съ женщинами у него особыя, строгія правила. Были у него любовныя исторіи. Въ нихъ онъ почти всегда только отвѣчалъ — не изъ фатовства, но такъ случалось. И не помнитъ онъ, чтобы женщина захватила его совсѣмъ, чтобы онъ самъ безумствовалъ, бросился на колѣни или замеръ въ изнеможеніи отъ полноты страсти или сильнаго, случайнаго порыва.

Ничего такого съ нимъ не бывало, сколько онъ себя помнилъ. Онъ нравился нѣсколькимъ, его отличали, пожалуй, увлекались, на все это онъ отвѣчалъ, какъ молодой человѣкъ со вкусомъ и нервами, когда нужно. Зачѣмъ же станетъ онъ теперь пользоваться, быть можетъ, минутнымъ капризомъ хорошей и несчастной женщины? Сдѣлаться ея любовникомъ, такъ, просто, изъ мужскаго тщеславія или потому, что это „даромъ“ — пóшло! Онъ на это не способенъ! Привязаться къ ней, жениться? Нѣтъ! Обуза. Живой мужъ, разводъ, исторія... У ней большое состояніе... Какой же это будетъ имѣть видъ? Точно онъ обрадовался устроить свою „фортуну“, разбогатѣть на жениныхъ хлѣбахъ. Никогда!

Отъ шубы Анны Серафимовны шелъ смѣ-

шанный запахъ духовъ и дорогаго пушистаго мѣха. Ея изящная голова, окутанная въ бѣлый серебристый платокъ, склонилась немного въ его сторону. Глаза искрились въ темнотѣ. До Палтусова доходило ея дыханіе. Одной рукой придерживала она на груди шубу, но другая лежала на колѣнахъ и кисть ея выставилась изъ-подъ края шубы. Онъ что-то предчувствовалъ, хотѣлъ обернуться и посмотрѣть на нее пристальнѣе, но не сдѣлалъ этого.

Молча проѣхали они минуты съ двѣ. Это молчаніе начало тяготить его. Анна Серафимовна вдругъ закрыла глаза и откинулась въ глубь кареты. Стыдъ прошелъ. Ей пріятно было сидѣть рядомъ съ нимъ. Что-то жгучее вдругъ защемило у ней въ груди и потомъ сладко разлилось по всему тѣлу. Столько лѣтъ она терпитъ несносную долю!.. Молода, красива, горячая кровь льется по жиламъ, и некого приласкать, хоть разъ въ жизни отдаться безъ оглядки. Въ головѣ ея стали мелькать образы. Все его лицо представляется. Сидятъ они одни въ амбарѣ послѣ ея сцены съ мужемъ. И тогда онъ глядѣлъ на нее такъ добро, жалѣлъ ее, она ему нравилась. Теперь,— онъ смущенъ.

— Хорошій вы человѣкъ,— раздался тихій голосъ Палтусова.

Онъ беретъ ея свободную руку. Въ горлѣ ея сперся духъ. Ей неудержимо захотѣлось плакать. Она быстро обернулась къ нему, вски-

нула руками, обвила ими вокругъ его шеи и начала цѣловать крѣпко, точно душила его, молча. Только ея горячее, порывистое дыханіе слышалось въ каретѣ.

Ухабъ заставилъ карету покачнуться. Анна Серафимовна отняла руки также быстро, схватила ими за голову и зарыдала. Палтусовъ хотѣлъ что-то сказать и пододвинулся. Она отстранила его рукой и совсѣмъ отвернулась. Рыданія она сдержала и выпрямила голову.

— Слышите.... — шептала она прерывающимся голосомъ: — я васъ умоляю... ничего между нами не было, ничего, ничего!

— Успокойтесь,— сказалъ онъ тихо.

— Ничего!.. Это... это!.. Я не знаю что́... Господи!

Она закрыла лицо руками и уже тихо заплакала.

Палтусовъ не двигался, онъ оставлялъ ее плакать минуты двѣ.

— Полноте,— началъ онъ дружескимъ тономъ.

— Андрей Дмитричъ... вы честный человѣкъ... Оставьте меня... Нешто не довольно того, что было?...

Анна Серафимовна не договорила. Щеки ея горѣли, даже уши подъ платкомъ точно жгли ее. Она готова была выпрыгнуть изъ кареты.

— Прошу васъ,— произнесъ Палтусовъ самымъ искреннимъ тономъ.

Она смолкла, подавила слезы, глотала ихъ, чувствовала себя точно маленькой.

— Андрей Дмитричъ... — начала она и не договорила.

Онъ понялъ, что всего лучше ему выдти изъ кареты.

— До моей квартиры два шага,— сказалъ онъ мягко и покойно.

Анна Серафимовна молчала. Палтусовъ дернулъ за шнурокъ, но кучеръ не сразу остановилъ лошадей. Пришлось дернуть еще разъ.

— Хорошій вы человѣкъ,— прошепталъ онъ наклонившись къ ней. — Я вашъ другъ, имѣйте ко мнѣ побольше довѣрія.

И онъ поцѣловалъ ея руку, лежавшую поверхъ темной бархатной шубы.

„Не любитъ, не любитъ", повторяла про себя Анна Серафимовна. „Господи, срамъ какой!.."

Она ничего не могла сказать ему, не могла и протянуть руки. Она сидѣла точно окаменѣлая.

Карета остановилась у бульвара. Палтусовъ вышелъ, заперъ дверку, прежде чѣмъ лакей соскочилъ съ козелъ, запахнулъ свою шубу и крикнулъ кучеру:

— Трогай!

Было около пяти часовъ утра. Еще не на-

чинало свѣтать; но ночь уже минула. Онъ оглянулся. Стоялъ онъ на площади у въѣзда на Арбатъ, въ десяти шагахъ отъ рѣшетки Пречистенскаго бульвара. Фонари погасли. Онъ посмотрѣлъ на правый угловой домъ Арбата и вспомнилъ, что это трактиръ „Прага". Разъ какъ-то еще вольнымъ слушателемъ онъ шелъ съ двумя пріятелями по Арбату, часу въ двѣнадцатомъ. И всѣмъ захотѣлось ѣсть. Они поднялись въ этотъ самый трактиръ, сѣли въ угловую комнату. Кто-то изъ нихъ спросилъ сыру „бри". Его не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли цѣлый кругъ. Запивая пивомъ, они весь его съѣли и много смѣялись. Какъ тогда весело было! Тогда онъ мечталъ о кандидатскомъ экзаменѣ и о какой-нибудь „либеральной" профессіи, адвокатствѣ, писательствѣ...

А теперь?

Палтусовъ вошелъ на Пречистенскій бульваръ, сѣлъ на скамейку и смотрѣлъ вслѣдъ быстро удалявшейся каретѣ. Только ея глухой грохотъ и раздавался. Ни души не видно было кругомъ, кромѣ городоваго, дремавшаго на перекресткѣ. Истома и усталость отъ танцевъ приковывали Палтусова къ скамьѣ. Но ему не хотѣлось спать. И хорошо, что такъ вышло!.. Ему жаль было Станицыну... Но не о ней сталъ онъ думать. Завтра надо дѣйствовать. Поскорѣй въ Петербургъ — не дальше первой недѣли поста.

Онъ оглянулся. Некрасива матушка-Москва; куда ни взглянешь — все сѣро, грязно, запущено, тускло. Пора очищать ее, пора добираться и до ея сундуковъ... Смѣлымъ Богъ владѣетъ!..

Подползъ извощикъ. Палтусовъ взялъ его.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ.

КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

КНИГА ПЯТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

I.

Вторая недѣля поста. На улицахъ оттепель. Желтое небо не шлетъ ни дождя, ни снѣга. Лужи и взломанные, темнобурые куски уличнаго льду, — вотъ что видѣла Любаша Кречетова изъ окна гостиной Анны Серафимовны.

Любаша пріѣхала рано для нея. Она вставала въ одиннадцатомъ часу; а сегодня ей удалось быть одѣтой въ десять, чаю напилась она наскоро. Въ четверть двѣнадцатаго она входила уже въ сѣни дома Станицыныхъ.

— Анна Серафимовна выѣхали, — сказалъ ей швейцаръ.

Что-нибудь экстренное заставило ея двоюродную сестру выѣхать утромъ. Обыкновенно она выѣзжала послѣ двухъ. Но Любаша все-таки прошла на верхъ, завернула въ дѣтскую,

гдѣ бонна-англичанка играла съ дѣтьми въ какую-то поучительную игру, и справилась у Авдотьи Ивановны, въ которомъ часу приходитъ новая „компаньонка“.

Авдотья Ивановна доложила ей, что барышня „приходятъ“ разно — какъ условятся съ Анной Серафимовной — иной разъ днемъ, къ полудню, а то и вечеромъ „сидятъ“. Весь день никогда не „остаются“.

— Ты что же,— оборвала ее Любаша: — объ ней говоришь, точно она Милитриса Кирбитьевна какая: остаются, сидятъ?

— А какъ же, матушка? — степенно и кротко спросила Авдотья Ивановна.

— Не велика фря! Мамзель!

— Генеральскаго роду. Сразу видно.

— Въ надзирателяхъ, слышь, отецъ-то, въ акцизныхъ.

— Чтожь, матушка,— возразила Авдотья Ивановна: — это несчастіе, Господь попустилъ. А сейчасъ видно, барышня... обращеніе одно. И добрѣйшей души. Гордости никакой.

— Еще бы! Изъ милости!.. Чего тутъ гордиться?

Любаша и рвала, и метала. Она не хотѣла даже и продолжать разговора о „мамзели“, который сама же начала. Все это оттого, что наканунѣ Рубцовъ сидѣлъ у нихъ и говорилъ о Тасѣ Долгушиной съ сочувствіемъ. Любаша нѣсколько разъ перебивала его возгласомъ:

— Губы!

— Что такое губы? — далъ онъ ей окрикъ уже не въ первый разъ.

— Губы у вашей милости особенныя, когда вы объ этомъ генеральскомъ потрохѣ изволите росписывать.

Рубцовъ вскочилъ съ кресла.

— Глупо и грубо! — выговорилъ онъ, поводя презрительно губами... — Вамъ, сестричка, до такого потроха далеко, хоть онъ и генеральскій!

Съ тѣмъ и ушелъ. Любаша бросилась было догонять его, да остановилась посрединѣ залы.

— Наплевать! — вслухъ сказала она и пошла въ свою комнату, стащила съ себя платье, порвала на лифѣ три пуговицы, раздѣлась вплоть до рубашки и начала хохотать со злости.

Что за чудо-юдо, эта генеральская дочь? Отчего это Семенъ Тимоѳеичъ изволятъ, говоря о ней, на особый манеръ губами поводить? Надо „обнюхать" ее. Завтра же она на цѣлый день отправится къ Станицыной, спозаранокъ; туда явится, навѣрно, и „мериканецъ", умѣющій только поддразнивать ее, какъ негодную дѣвчонку-птичницу или судомойку!

Такъ она и сдѣлала. Туалетомъ своимъ она, хоть и второпяхъ, но занялась больше обыкновеннаго, вымыла руки старательно, вычистила ногти, волосы завернула на затылкѣ и заткнула модной шпилькой.

— А Семенъ Тимоѳеичъ, — не утерпѣла, спросила она Авдотью Ивановну: — когда бываетъ больше?

— Да тоже разно,— продолжала докладывать та, не мѣняя своего истоваго и благодушнаго тона: — частенько и днемъ... Сегодня навѣрно будутъ: Анна Серафимовна посылали за нимъ и приказывали просить подождать.

Любаша выслушала это немного поспокойнѣе; но внутри у ней продолжало клокотать. „Навѣрно тутъ были разныя „миндальности". Эта генеральская мамзель подъ шумокъ начала лебезить съ купеческимъ братомъ. Думаетъ: у него милліоны. А онъ только черезъ край о себѣ воображаетъ; а никогда изъ него настоящаго негоціанта не выйдетъ. Анна Серафимовна вотъ что-то директоромъ-то не беретъ... И шельма же эта тетя, чтобъ у ней побольше мужчинъ бывало, такъ она дѣвицу наняла,— читать, изволите видѣть, занимать пріятными разговорами... Сама она по-французски-то съ грѣхомъ пополамъ, да и на „онъ" отшибаетъ ея говоръ. Такъ подъ прикрытіемъ тонковоспитанной барышни — оно будетъ куда превосходнѣе!.."

Надоѣло Любашѣ стоять у окна и хлопать глазами на уличную слякоть. Она подошла къ зеркалу, вдѣланному въ стѣну. И вся эта гостиная съ золоченой мебелью, ковромъ, лѣпнымъ потолкомъ раздражала ее.

„Черти, дьяволы!" бранилась она изъ себя... „И за какимъ шутомъ, прости Господи, чертоги такіе вывели? Мужъ съ женой не живутъ вмѣстѣ. Она скаредъ, дѣлами заправляетъ, надъ каждой копѣйкой дрожитъ... Такъ и

жила бы на своей фабрикѣ... А то лектрису ей понадобилось. На-ко, поди!.. На Волгѣ-то тамъ тятька за косы таскалъ; а здѣсь барыню изъ себя корчитъ и подъ предлогомъ благочестія шашни со всѣми заводитъ"...

II.

Тася вошла такъ тихо въ гостиную, что Любаша увидала ее только въ зеркало и круто повернулась на одномъ каблукѣ.

„Такъ вотъ эта Милитриса Кирбитьевна!.. Этакая пиголица: носъ въ пуговку, голова комочкомъ, волосики жидкіе; дѣвчоночка изъ пріютскихъ; только что талія узка; да и манеръ никакихъ не видно".

Анна Серафимовна уже говорила Тасѣ про свою двоюродную сестру. Тася видѣла ее въ театрѣ, въ тотъ бенефисъ, когда познакомилась съ Станицыной. Сверху, изъ своихъ купоновъ, она замѣтила лицо и фигуру Любаши. когда та говорила, нагнувшись къ Станицыной, Ея размашистыя манеры она также замѣтила и спросила еще тогда Пирожкова:

— Будто-бы это купчиха?

— А что? — откликнулся онъ.

— Да она отзывается... какъ бы это сказать?

— Должно быть, изъ купеческихъ дарвинистокъ. Нынче и такія есть.

Вотъ уже недѣля, какъ Тася ходитъ къ

Станицыной. Она все еще присматривалась къ этому, совсѣмъ новому для нея міру... Ей было гораздо ловчѣе, чѣмъ она думала. Анну Серафимовну она сразу поняла, почувствовала въ ней характеръ, заинтересовалась ею, какъ оригинальнымъ типомъ. Въ головѣ Таси сидѣло множество лицъ изъ купеческихъ комедій. Она все и сравнивала. Анна Серафимовна ни подъ какое лицо не подходила. Съ Рубцовымъ они уже разговаривали. И его она прикидывала къ разнымъ „Ванямъ", „Андрюшамъ" и „Митямъ" изъ пьесъ Островскаго, но и онъ отзывался совсѣмъ не тѣмъ; только въ говорѣ былъ слышенъ иногда купеческій братъ... Въ немъ все прочно сложилось. Онъ много жилъ, много видалъ за-границей, работалъ, говорилъ грубовато, смѣло, безъ утайки и съ какимъ-то „себѣ на умѣ" въ глазахъ, которое ей нравилось. На счетъ Любаши Анна Серафимовна ее предупредила, сказала ей даже:

— Ужь вы, пожалуйста, извините ей — для нея законъ не писанъ, юродство на себя напустила; а дѣвушка недурная и съ мозгомъ.

Тася протянула Любашѣ руку и выговорила:

— Я васъ знаю. Вы — кузина Анны Серафимовны... Садитесь, пожалуйста.

Любаша на рукопожатіе отвѣтила; но внутренно опять обругала ее: какъ смѣетъ изъ себя хозяйку представлять? Сейчасъ: „садитесь"— точно она къ ней пришла въ гости.

Но тихій и веселый тонъ Таси посмягчилъ

ее немножко. Она сѣла и закурила папиросу. Тася положила принесенную съ собой книгу на столъ и подсѣла къ ней.

— Тетя загуляла? — спросила Любаша.

— Какое-нибудь спѣшное дѣло, — замѣтила Тася...— Анна Серафимовна всегда дома въ это время.

„Да ты что меня, мать моя, занимаешь?“— начала опять обрывать про себя Любаша.

Лицо у ней стало злое, глаза потемнѣли. Она ихъ отводила въ сторону; но нѣтъ, нѣтъ, да и обдастъ ими Тасю. Той сдѣлалось вдругъ тяжело. Эта дарвинистка принесла съ собой какое-то напряженіе, что-то грубое и безцеремонное. На лицѣ такъ и было написано, что она никому спуску не дастъ и на все человѣчество смотритъ — какъ на скотовъ.

— Что теперь читаете съ тетей? — спросила Любаша: — романъ, небось, какой французскій?

— Нѣтъ, статью одну критическую.

— Ишь ты!

Въ залѣ по паркету приближались шаги. Любаша покраснѣла. Она узнала шаги Рубцова. Тася тоже подумала: не онъ ли? Ей бы теперь очень пріятенъ былъ его приходъ. Она просто начинала побаиваться Любашу.

Обѣ дѣвушки обернулись разомъ, когда вошелъ Рубцовъ.

Любаша сейчасъ же отмѣтила, про себя, что „Сеня“ одѣтъ гораздо франтоватѣе обыкновеннаго. Къ нимъ онъ ходитъ въ „похожалкѣ“—

сѣренькій сюртучекъ у него такой, затрапезный. Тутъ же, извольте полюбоваться, пиджакъ темносиній и галстухъ новый, и воротнички особенные. А главное, усы началъ отпускать, не хочетъ, видно, смахивать на голландца-машиниста съ парохода.

Рубцовъ уже два-три раза разговаривалъ съ Тасей. Онъ подошелъ къ ней съ протянутой рукой и совсѣмъ не такъ, какъ онъ поздоровался потомъ съ Любашей. И это рѣзнуло Любашу по сердцу. Въ первый разъ, когда онъ обѣдалъ съ Тасей у Анны Серафимовны, въ началѣ онъ высматривалъ „генеральскую дочь", какъ-то она еще поведетъ себя. Но Тася начала разсказывать про свою страсть къ сценѣ, про отца и мать, про старушекъ — онъ размякъ. Послѣ обѣда онъ самъ уже присѣлъ къ ней. Она читала какую-то новую повѣсть. Ея голосокъ повѣялъ на него пріятной теплотой. И такъ бойко передавала она разговорную рѣчь, чувствовался юморъ и пониманіе.

— Барышню вы хорошую пріобрѣли, сестричка, — сказалъ онъ Станицыной черезъ три дня.

— Пришелъ ее послушать, небось? — спросила Анна Серафимовна.

— Чтица толковая... И такая субтильненькая, дворянское дитя, а безъ важничанья. Хвалю!

Во второй вечеръ Рубцовъ заговорилъ съ Тасей безъ всякихъ прибаутокъ и угловатостей, такъ что Станицына диву далась.

— Нѣтъ Анны Серафимовны,— встрѣтила его Тася.

Любаша сейчасъ же вмѣшалась въ разговоръ.

— Тетя-то ненасытная какая,— заговорила она, напуская на себя передъ Рубцовымъ еще большую развязность.

— Почему такъ? — суховато спросилъ онъ.

— Къ дѣламъ ненасытная... На Макарьевской, видно, въ этомъ году хочетъ полмилліона зашибить! Вонъ какъ ее спозаранку по городу носитъ...

Тася чуть замѣтно усмѣхнулась. Рубцовъ понялъ значеніе этой усмѣшки.

— Сестричку-то извините,— сказалъ ей Рубцовъ, мотнувъ какъ-то особенно головой.

— Что такое? а? — закричала Любаша и встала.

— Очень ужь, для великаго поста, удержу себѣ не имѣете.

— Это что еще?

Въ другое бы время Любаша начала браниться. А тутъ она точно чѣмъ подавилась, замолчала и съежилась.

— Великій, небось, постъ идетъ,— все съ тѣмъ же спокойнымъ балагурствомъ сказалъ Рубцовъ.— Говѣете, поди?

— Отстань! — вырвалось у Любаши.

Она рѣзко встала и отошла къ окну. Тася вопросительно поглядѣла на Рубцова и тотчасъ же улыбкой какъ бы замѣтила ему: „зачѣмъ вы ее дразните?“

— Вы позволите васъ послушать? — обратился къ ней Рубцовъ, сѣлъ поближе и потеръ руки.

— Сегодня беллетристики не будетъ... критическая статья.

— Тѣмъ пріятнѣе-съ.

Любаша у окна не проронила ни одного слова... Ей дѣлалось невыносимо. И гдѣ это рыщетъ „мерзкая“ тетя? Вотъ разлетѣлась сама компаньонку высматривать. И радуйся теперь!

III.

Станицына быстро вошла въ гостиную и остановилась въ двухъ шагахъ отъ двери. Она была очень блѣдна.

— Извините, Таисія Валентиновна, заждались вы меня. Любаша, здравствуй... Сеня! Спасибо. На минутку пожалуй сюда.

Она не подошла къ нимъ здороваться и жестомъ показала Рубцову.

— Сейчасъ,—обратилась она къ дѣвицамъ.— Сеня, на два слова!

Рубцова она увела черезъ залу въ свою уборную, небольшую комнату, около дѣтской.

Ни шляпы, ни пальто съ мѣховой отдѣлкой она не снимала.

— Дѣла, Сеня! —заговорила она отрывисто.— Викторъ Миронычъ угостилъ на этотъ разъ

изрядно... Сто тысячъ франковъ, срокъ послѣ завтра.

— Ловко! — вырвалось у Рубцова.

— И на фабрикѣ не ладно.

— Что такое?

— Дѣло дойдетъ, пожалуй, до стачки... А я этого не хочу. Нѣмца я разочту... Неустойку плачу.

— Сколько?

— Десять тысячъ... Но это важнѣе. Ты идешь ко мнѣ?

Рубцовъ помолчалъ.

— Скорѣй говори.

— Да мы, сестричка, вдругъ какъ не поладимъ?

— Это почему?

— Такъ, я замѣчаю.

— Полно...

Она вскинула на него рѣсницы.

— Вы привыкли теперь къ другимъ людямъ...

— Не болтай пустаго, Сеня,— строго сказала она...— Ты знаешь, что я тебя разумѣю за честнаго человѣка. Дѣло ты смыслишь.

— Ну ладно, ну ладно,— шутливо заговорилъ онъ и взялъ ее за руку.

Рука дрожала.

— Сестричка, милая,— почти нѣжно вымолвилъ онъ: — что же это вы какъ разстроились? Стоитъ ли? Все уладимъ. А отъ Виктора Мироныча и надо было ждать этого. Ваша воля носить ядро-то каторжное!..

— Что же мнѣ дѣлать? — почти съ плачемъ воскликнула она и опустилась на стулъ.

— Извѣстное дѣло — что!

— Говори.

— Оставить его на вѣки вѣчные.

— Я не хочу, чтобъ дѣти...

— Полноте,— остановилъ ее Рубцовъ: — къ чему жадничать?

— Я не жадничаю.

— Анъ, жадничаете. У васъ свое состояніе большое. Хватитъ на двоихъ. Ну, хотѣли поддержать имя, фирму, что ли, опытъ произвели. Ничего вы не подѣлаете! Купить у него мануфактуру... Достанетъ ли у васъ на это собственнаго капитала или кредита?.. Да онъ и не продастъ. Онъ безъ продажи съ молотка не кончитъ. А вы не пожелаете покупать съ аукціона, пока онъ вашъ мужъ; да и не нужно вамъ.

— Я не жадничаю, — повторила она, задѣтая его словами.

— Это все отчего идетъ? Гдѣ корень?

— Развестись надо! — обронила она.

— Правильно!

— Шутка сказать!

— И совсѣмъ не трудно... Что же, пятнадцати тысячъ цѣлковыхъ, что ли, не найдется?

— Дешевле будетъ,— точно про себя выговорила Станицына.

— И дешевле... Такіе доки есть по этой части.

Рубцовъ понизилъ голосъ и опять взялъ ее за руку.

Анна Серафимовна закрыла на минуту глаза.

„Вѣдь вотъ и онъ — честный малый и умница — говоритъ то же, что и она себѣ уже не разъ твердила... Разореніе и срамъ считаться женой Виктора Мироныча!..“

— Не знаю, Сеня, — промолвила она.

— Да вѣдь это, сестричка, все равно что когда зубъ гнилой заведется. Одно малодушіе, элексирами его разными смачивать, ковырять, пломбу вкладывать. Дайте дернуть хорошенько. И конченое дѣло!..

— Это дѣло длинное, а выйдти теперь-то какъ...

— По векселю? Заплатить — извѣстно.

— Оградить себя чѣмъ ни есть...

— Ничѣмъ не оградите. Ужь позвольте вамъ замѣтить, что тогда вы сгоряча такую сдѣлку предложили супругу-то... Онъ парень не глупъ, сейчасъ же смекнулъ, что ему это на руку... Ступай на всѣ четыре стороны, вотъ тебѣ, батюшка, пенсіону тридцать тысячъ, долги твои всѣ покроемъ, а если тебѣ заблагоразсудится, голубчикъ, еще навыпускать документиковъ, мы съ полнымъ удовольствіемъ...

— Полно, Сеня, — остановила Анна Серафимовна. — Ну да, глупость великую сдѣлала въ тѣ поры, каюсь...

— А теперь тѣмъ же манеромъ желаете?

— Охъ, не знаю!

Но она застыдилась самой себя. Точно она какая дѣвочка-подростокъ... И такъ, и этакъ...

Лицо у ней приняло сейчасъ же степенный видъ.

— Ты, что же, Сеня, идешь ко мнѣ?

— Да, коли у васъ никого нѣтъ, не стоять же дѣлу...

— Спасибо... Ну, я сейчасъ... поди къ барышнямъ, я приду... Ты у насъ на цѣлый день?

— На цѣлый, коли милости вашей будетъ угодно.

Она усмѣхнулась и ласково кивнула ему головой.

IV.

Оставшись одна, Анна Серафимовна опустила голову — она забыла, что была въ шляпкѣ и пальто — и сидѣла такъ минутъ съ пять.

Прошло больше десяти дней съ того, что̀ случилось въ каретѣ. Она видѣла Палтусова всего разъ, мелькомъ, въ Большомъ театрѣ. Она возила дѣтей въ балетъ, въ утренній спектакль, въ концѣ масляницы. Онъ подошелъ къ бенуару; а потомъ въ слѣдующій антрактъ вошелъ и въ ложу. Такъ долженъ былъ поступить умный, тонко чувствующій человѣкъ. Никакой перемѣны въ тонѣ, разговорѣ. Да и какъ же ему было вести себя?

Даже, если бы онъ и готовъ былъ полюбить ее? Вѣдь она вела себя, какъ безумная... Она замужемъ, желаетъ жить „въ законѣ", блюдетъ свое достоинство, гордость, и хочетъ оставить дѣтямъ имя добродѣтельной матери...

А въ каретѣ кинулась!.. И онъ хоть бы взглядомъ сказалъ ей: „что же вы ломаетесь, не угодно-ли и дальше пойдти, я такъ дурачить себя не позволю!" Не любитъ. Равнодушенъ? Противна она ему? Кто это сказалъ? Чего же она-то ждетъ? Зачѣмъ не высвободитъ себя? Вотъ Сеня Рубцовъ и тотъ прямо говоритъ: „скиньте вы съ себя это каторжное ярмо!"

Она встала, сняла пальто и шляпу, начала стягивать перчатки, потомъ поправила волосы передъ зеркаломъ. На лбу ея не пропадала морщина. Изъ гостиной доносились молодые голоса. Вотъ эти „юнцы" не знаютъ, небось, ея заботы. И между ними что-нибудь тоже будетъ. Люба и теперь ужъ гоняется за Рубцовымъ. Ахъ! Зачѣмъ ей самой не восемнадцать, не двадцать лѣтъ?

Любаша все еще стояла у окна, когда Анна Серафимовна вернулась въ гостиную. Рубцовъ снова разговаривалъ съ Тасей.

— Извините, Таисія Валентиновна,— сказала съ особенной вѣжливостью Станицына:— я васъ заставила даромъ просидѣть.

„Вотъ какія нѣжности" — думала Любаша:— „все меня хочетъ поразить своими „учливостями".

— Да вы сегодня, кажется, очень утомлены, не до чтенія.

— Дѣйствительно... Сеня,— обратилась къ Рубцову Станицына: — вѣдь надо бы намъ на фабрику съѣздить.

— Когда угодно.

— Да хоть сегодня.

— Я свободенъ.

— Это далеко? — спросила Тася.

— Нѣтъ, за Бутырками, въ полчаса можно долетѣть,— отвѣтила Станицына.

— Я никогда не бывала ни на одной фабрикѣ,— сказала Тася.

— Не хотите ли? — предложила Станицына и поглядѣла на Рубцова.

Тотъ одобрительно кивнулъ головой.

— Очень бы интересно,— выговорила Тася серьезно и наивно.

— Вотъ и будущій директоръ фабрики,— указала Станицына на Рубцова.

— Семенъ Тимоѳеичъ? — весело вскричала Тася.

Любаша сейчасъ же отошла отъ окна.

— Честь имѣю проздравить, ваше степенство, — сошкольничала она и присѣла.

Анна Серафимовна подумала въ эту минуту, что вѣдь Долгушина — кузина Палтусова. Вотъ она увидитъ фабрику. Онъ узнаетъ отъ нея какъ ведется дѣло... Заинтересуется и самъ, быть можетъ попросится посмотрѣть.

„Показать ей школу, порядокъ на фабрикѣ. Пускай же она ему все разскажетъ“...

— Славно, тетя! — крикнула Любаша. — Возьмите и меня.

За эту поѣздку она схватилась. Дорогой и тамъ, на фабрикѣ, можно будетъ какъ-ни-какъ поддѣть эту барышню-чтицу. Она ничего навѣрно не читала стоющаго, только пьески да романы... Въ естественныхъ наукахъ — навѣрняка — ни бельмесъ. Вотъ она и поразспроситъ ее, такъ, между прочимъ, и на счетъ химіи и разнаго другаго. Случаи будутъ.

— А тетенька заволнуется?

— Эка важность! Ну пошлите, что къ обѣду не буду...

— Обѣдать у меня. Мы вернемся къ шести часамъ... Вамъ занятно будетъ,— обратилась Станицына къ Тасѣ.

— Какъ же! какъ же! — весело откликнулась та и даже захлопала въ ладоши.

„Актерка поганая“,—выбранилась Любаша:— „все — нарочно, егозитъ передъ Сенькой“.

— Да у насъ нѣмецкая масляница будетъ!— оживленно выговорилъ Рубцовъ и потеръ руки...— Вѣдь мы на тройкѣ, небось, сестричка?

Рѣшили ѣхать на тройкѣ. Пока привели сани — всѣ трое закусили. Анна Серафимовна была разсѣяна. Любаша нѣсколько разъ пробовала поддѣвать Тасю. Рубцовъ каждый разъ не давалъ ей разойтись. Тася старалась не смотрѣть на то, какъ Любаша дѣйствуетъ но-

жемъ и вилкой, и не понимала еще, чего отъ нея хочетъ эта купеческая „злюка“.

V.

Тройка миновала Бутырки. Погода прояснилась. Тасю посадили рядомъ съ Анной Серафимовной. Противъ нея сѣлъ Рубцовъ. Рядомъ съ нимъ — на передней же скамейкѣ — Любаша. Она сама предложила Тасѣ помѣститься на задней скамейкѣ, но ей было очень непріятно, что Рубцовъ „угодилъ“ напротивъ „мамзели“.

Тася ѣхала и вспоминала другую тройку, когда они скакали разъ въ паркъ къ Яру, съ Грушевой. Опять она съ купцами. Должно быть, изъ этого ужь не высвободишься. Все купцы! И ѣдетъ она не къ цыганамъ, а на фабрику, въ первый разъ въ жизни. Что-то такое крѣпко-жизненное входило въ сердце Таси. Ея теперешняя „хозяйка“ — милліонщица,— настоящій человѣкъ, управляетъ двумя фабриками, сколько народу подъ командой! И какая у ней выдержка! Всегда ровна, привѣтлива, а на душѣ у ней навѣрно не ладно... Даже эта Любаша — нужды нѣтъ, что она вульгарна — все-таки характеръ. Что чувствуетъ, то и говоритъ. И у ней навѣрно сто тысячъ приданаго, и она будетъ тоже завѣдывать большой торговлей или фабрикой, если мужъ

попадется плохенькій. Глаза Таси перешли къ Рубцову. Онъ сидѣлъ молодцовато, въ мѣховой шапкѣ... Отложной куній воротникъ красиво окладывалъ овалъ его лица. Похожъ, разумѣется, на приказчика, если посмотрѣть дворянскими глазами... А тоже — натура. Вотъ директоромъ цѣлой фабрики будетъ... Все дѣло, работа... Не то, что въ ихъ дворянскихъ переулкахъ...

Сани ныряли въ ухабы. Любаша вскрикивала... Всѣмъ сдѣлалось веселѣе. Рубцовъ раза два спросилъ Тасю:

— Не безпокою ли я васъ?

Взяли влѣво. Кругомъ забѣлѣло поле. Вдали виднѣлся лѣсокъ. Кирпично-красный ящикъ фабрики стоялъ на дворѣ за низкимъ заборомъ.

Директора не было на фабрикѣ. Станицына имѣла съ нимъ объясненіе утромъ въ амбарѣ. Онъ не возвращался еще изъ города.

Ихъ встрѣтилъ въ сѣняхъ его помощникъ, коренастый остзейскій нѣмецъ, въ курткѣ и безъ шапки. Лицо у него было красное, широкое, съ черной, подстриженной бородкой. Анна Серафимовна поклонилась ему хозяйскимъ поклономъ. Тася это замѣтила.

Они вошли въ помѣщеніе, гдѣ лежали груды грязной шерсти. Воздухъ былъ пресыщенъ жирными испареніями. Рядомъ промывали.— Въ чанахъ прѣла какая-то каша и выходила оттуда въ видѣ чистой желтоватой шерсти. Рабочіе кланялись хозяйкѣ и гостямъ. Они

были всѣ въ однѣхъ рубашкахъ. Анна Серафимовна хранила степенное, чисто-хозяйское выраженіе лица. Любаша какъ-то все подмигивала. Ей хотѣлось показать и Станицыной, и Рубцову, что они „кулаки".

— Здѣсь ужь такое мѣсто,— обратилась Станицына къ Тасѣ:— чистоту трудно наблюдать.

— Что вы оправдываетесь, тетя! Сами увидимъ,— вмѣшалась Любаша.

Заглянули и туда, гдѣ печи и котлы. Тасѣ жаль сдѣлалось кочегаровъ. Запахъ масла, гари, особый жаръ, смѣшанный съ парами, обдали ее. Рабочіе смотрѣли на нихъ добродушно своими широкими, потными лицами. У одного кочегара воротъ рубашки былъ разстегнутъ и ноги босыя.

— Такъ легче! — съострила Любаша...— Добровольная каторга,— прибавила она громко.

Анна Серафимовна посмотрѣла на нее съ укоризной. Рубцовъ сказалъ ей насмѣшливо:

— Не хотите ли по верхней вонъ галлереѣ пройтись? Тамъ градусовъ сорокъ. Пользительно будетъ.

Въ нижнихъ топленыхъ сѣняхъ и на чугунной лѣстницѣ показалось очень холодно послѣ паровиковъ. Они поднялись на верхъ.

Прядильныя машины всего больше заняли Тасю. Въ огромныхъ залахъ ходило взадъ и впередъ, двигая длинныя штуки на колесахъ, по пяти, по шести мальчиковъ. Хозяйка говорила съ ними, почти каждаго знала въ лицо.

Рубцовъ шелъ позади дамъ, подробно объяснялъ все Тасѣ; отвѣчалъ и на вопросы Любаши, но гораздо кратче.

— А что вотъ этакій мальчикъ получаетъ?— позволила себѣ спросить Тася, понизивъ голосъ.

— Извѣстно, малость, — вмѣшалась Любаша.

— Рублей шесть,— сказалъ Рубцовъ.

— Да, — подтвердила Анна Серафимовна.

— Не разорительно! — подхватила Любаша.

Тася не знала, много это или мало.

На окнахъ за развѣшанными кусками сукна сидѣли дѣвушки, въ ситцевыхъ капотахъ, повязанныя цвѣтными платками, больше босыя.

— Что онѣ дѣлаютъ? — спросила Тася.

— Пятнышки красятъ, — пояснила сама Анна Серафимовна.

Дѣвушки прикладывались кисточками къ чуть замѣтнымъ бѣлымъ пятнышкамъ сукна. Онѣ смотрѣли бодро, отвѣчали бойко.

— Небось, рублика три жалованья? — сказала Любаша и поморщилась.

— Пять рублей,— сухо сообщила Станицына.

Она рѣшительно сожалѣла, что взяла съ собой свою кузину. Ей пріятно было показать Тасѣ, какое у ней благоустройство на фабрикѣ; а эта Любаша разстраивала все впечатлѣніе своими неумѣстными окриками и выходками.

Минутъ съ двадцать проходили они по другимъ заламъ, гдѣ ткацкіе паровые станки стояли плотнымъ рядомъ и шелъ несмолкаемый гуль колесъ и машинныхъ ремней. Побывали

и въ самомъ верхнемъ помѣщеніи со старыми ручными станками.

VI.

Въ большой комнатѣ, гдѣ лежали всякія вещи: металлическіе прессы, образчики, бракованные куски сукна, Любаша остановила Рубцова. Анна Серафимовна еще не сходила съ Тасей съ верхняго этажа. Рубцову захотѣлось курить.

— Сеня,— начала Любаша: — ты идешь къ ней въ директоры?

Она не сказала даже къ „тетѣ".

— Иду.

— Есть охота!.. Въ наймиты!

— Это почему?

Рубцовъ прислонился къ столу, взялъ въ руку пачку образчиковъ и, наморщивая одинъ глазъ, сталъ ихъ разсматривать.

— Да все какъ въ услуженіе.

— Все вы зря...

— И не вѣрю я ей ни на грошъ! — заговорила горячо Любаша и заходила взадъ и впередъ между двумя шкапами.

— Кому ей? — спросилъ Рубцовъ.

— Да хозяйкѣ твоей, Аннѣ Серафимовнѣ. Зачѣмъ она насъ сюда притащила?

— Сами напросились.

— Точно мы не понимаемъ. Выставить себя хочетъ благодѣтельницей рода человѣческаго:

какъ у ней все чудесно на фабрикѣ! И рабочихъ-то она ублажаетъ! И дѣтей-то ихъ учитъ!.. А все едино, что хлѣбъ, что мякина... Такая же каторжная работа... Постой-ка такъ двѣнадцать часовъ около печки или покряхти за станкомъ...

— Какъ же быть?

— Ахъ, ты, американецъ! Какъ же быть?!.. Прежде ваша милость что-то не такъ изволила разсуждать?

— Эхъ!..— вырвалось у Рубцова.

— Да, извѣстно, испортился ты! — почти крикнула Любаша и подскочила къ нему. — Разсуди ты одно: рабочій полтинникъ въ день получаетъ...

— И до трехъ рублей.

— Ну до трехъ... На своихъ харчахъ, небось? А бабы, а дѣвки? Пять цѣлковыхъ, и копти цѣлый день! А барыши идутъ, изволите ли видѣть, на уплату долговъ Виктора Мироныча и на чечеревятъ Анны Серафимовны... Сколотить лишній милліончикъ, тогда откупиться можно... Развестись... Госпожей Палтусовой быть!

— Это почему?

— Смотрите, какая мудрость догадаться, что она, какъ кошка, врѣзамшись... Все господа дворяне соблазняютъ... Такая ужь у насъ теперь болѣзнь купеческая...

Она вызывающе-насмѣшливо взглянула на него. Рубцовъ чуть замѣтно покраснѣлъ.

— Слушать тошно!

— Это отчего? — уже совсѣмъ разсердилась Любаша, близко подошла къ нему и взяла его за руку... — Это отчего? Или и у вашей милости рыльце-то въ пушку?..

Рубцовъ отвелъ ее движеніемъ руки.

— Вы бы, Любовь (онъ въ первый разъ ее такъ назвалъ), лучше на себя оглянулись. Другіе люди живутъ какъ люди, — кто какъ можетъ, а вы только бранитесь, да безъ толку болтаете. — Книжки читали, да разума ихъ не уразумѣли. Нѣтъ, этотъ товаръ-то дешевый!.. А угодно другимъ въ носъ тыкать ихъ кулачествомъ, такъ такъ бы и поступали... Не трудно это сдѣлать... Подите къ тѣмъ, кому ваши деньги понадобятся... Отдайте ихъ...

Любаша вся раскраснѣлась сразу, повела глазами и стала противъ Рубцова.

— И отдамъ, когда мнѣ захочется. Когда онѣ у меня будутъ! — глухо крикнула она, но тотчасъ же ея голосъ зазвучалъ по другому, глаза мигнули разъ, другой, и какъ будто подернулись влагой. — У меня теперь ничего нѣтъ, — продолжала она уже не гнѣвно, а искренне: — а когда меня выдѣлятъ, я сумѣю употребить съ толкомъ деньгу, какая у меня будетъ. Я и хотѣла... по душѣ съ тобой говорить... Устроили бы не кулаческое заведеніе... Коли ты другой человѣкъ, не промышленникъ, вотъ бы и могъ...

Она не досказала, обернулась и отошла къ

окну, испугалась, что заплачетъ и выкажетъ ему свою слабость...

— Эхъ вы! — задорно крикнула она прежнимъ тономъ, оборачиваясь лицомъ къ Рубцову.— Всѣ-то вы на одну стать!.. Ну васъ!

Любаша готова была бы „оттаскать" его въ эту минуту. И зачѣмъ это она въ „чувствіе" вдалась съ этакимъ „чурбаномъ", съ „шельмой-парнишкой"... Ему дворянка нужна — видимое дѣло. Сколотить себѣ капиталъ и разъѣзжать съ женой, генеральской дочерью, по заграницамъ!..

— Желаю вамъ всякаго успѣха! — сухо сказалъ Рубцовъ, бросилъ на полъ окурокъ папиросы и затопталъ его.

Очень ужь она ему надоѣла въ послѣднія двѣ недѣли.

— Слышишь! — крикнула Любаша.— Я тебѣ ничего не говорила... ничего!

Дверь отворилась. Станицына вошла первая. Любаша опять отскочила къ окну. Лицо Таси сдѣлалось ей въ эту минуту такъ ненавистно, что она готова была броситься на нее.

— По домамъ? — спросилъ Рубцовъ.

— Вотъ Таисіи Валентиновнѣ желательно на школу поглядѣть...

— Да,— подтвердила Тася.

— И то дѣло,— сказалъ Рубцовъ и двинулся за ними.

Любаша пошла, кусая ногти, послѣдней.

VII.

Отправились сначала въ „казарму". Аннѣ Серафимовнѣ хотѣлось, чтобы родственница Палтусова видѣла, какъ помѣщены рабочіе. Побывали и въ общихъ камерахъ и въ квартиркахъ женатыхъ рабочихъ. Въ одной изъ камеръ стоялъ очень спертый воздухъ. Любаша зажала себѣ съ гримасой носъ и крикнула:

— Ну, вентиляція!..

Она же подбѣжала къ одной изъ коекъ и также громко крикнула:

— Насѣкомыхъ-то сколько! Батюшки!

Анна Серафимовна покраснѣла и тотчасъ же сказала, обращаясь къ Тасѣ и Рубцову:

— Директоръ съ рабочими изъ-за чистоты тоже воевалъ. Не очень-то любитъ ее... нашъ народецъ...

— Вентилировать можно бы, — замѣтилъ Рубцовъ.

— Да и постельки-то другія завести,— подхватила Любаша.

Тася только слушала. Она не могла судить — хорошо ли содержатъ рабочихъ или нѣтъ. У нихъ въ людскихъ, куда она иногда заходила, и грязи было больше, совсѣмъ никакихъ коекъ, а ужь о тараканахъ и говорить нечего!..

Въ казармѣ женатыхъ рабочихъ воздухъ

былъ тоже „не перваго сорта“, по замѣчанію Любаши; нумера смотрѣли веселѣе, въ нѣкоторыхъ стояли горшки съ цвѣтами на окнахъ, кое-гдѣ кровати были съ ситцевыми занавѣсками. Но малые ребятишки оставались безъ призора. Ихъ матери всѣ почти ходили на фабрику.

— Кто побольше — учатся, — замѣтила Анна Серафимовна.

Любаша замолчала. Она только взглядывала на Рубцова. Всѣхъ троихъ: и его, и Тасю, и Станицыну она посылала „ко всѣмъ чертямъ“.

Въ школѣ они застали послѣобѣденный классъ. Дѣвочки и мальчики учились вмѣстѣ. Довольно тѣсная комната была набита дѣтьми. И тутъ стоялъ спертый воздухъ. Учитель, — черноватый молодой человѣкъ съ чахоточнымъ лицомъ, — и весь классъ встали при появленіи Станицыной.

— Пожалуйста, садитесь,— сказала она, немного стѣсненная.

Лишнихъ стульевъ не было. Посѣтители сѣли на окнахъ. Анна Серафимовна попросила учителя продолжать урокъ.

Учитель, стоя на каѳедрѣ, говорилъ громко и раздѣльно фразы и заставлялъ классъ схватывать ихъ на память. Послѣ каждой фразы онъ спрашивалъ:

— Кто можетъ?

И десятокъ дѣвочекъ и мальчиковъ подскакивали на своихъ мѣстахъ и поднимали руку.

— Откуда учитель? — тихо спросила Тася у Анны Серафимовны.

— Изъ учительской семинаріи.

Раза два-три выходили „осѣчки". Вскочитъ мальчуганъ, начнетъ и напутаетъ; классъ тихо засмѣется. Учитель сейчасъ остановитъ. Одна дѣвочка и два мальчика отличались памятью: повторяли отрывки изъ басенъ Крылова въ три-четыре стиха. Тасю это очень заняло. Она тихо спросила у Рубцова, когда онъ пододвинулся къ ихъ окну:

— Это все на счетъ Анны Серафимовны?

— Какъ же, — съ удовольствіемъ отвѣтилъ онъ.

Станицына улыбнулась и сказала Тасѣ:

— А къ осени хочу два класса устроить... тѣсно; а можетъ быть, и ремесленную школу заведу.

— Благое дѣло! — подтвердилъ Рубцовъ.

Любаша молчала. Она подошла къ каѳедрѣ, когда остальные посѣтители уходили, и спросила учителя:

— Жалованье что́ получаете?

Учитель быстро поглядѣлъ на нее недоумѣвающими глазами и тихо отвѣтилъ:

— Шесть сотъ рублей-съ.

— Съ харчами?

— Квартира и дрова.

Онъ кивнула головой и пошла съ перевальцемъ.

Анна Серафимовна спускалась молча съ

лѣстницы. Она была недовольна посѣщеньемъ фабрики. Правда, въ рабочихъ она не нашла большой смуты. О стачкѣ ей наговорилъ директоръ. Его она разочтетъ на дняхъ. Съ Рубцовымъ она поладитъ.

Разговоръ съ Любашей немного разстроилъ Рубцова. Его мужская гордость была задѣта. Не этой „шалой озорной дѣвчонкѣ" учить его благородству. Не кулакъ онъ! И не станетъ онъ потакать — хотя бы и въ директоры пошелъ — хозяйской скаредности. Его „сестричка" — баба хорошая. Нѣмецъ былъ плутъ, зналъ свой карманъ, ненавистничалъ съ фабричными. Можно все на другую ногу поставить. Только зачѣмъ ему такія палаты, какія выведены тутъ на дворѣ для директора? Онъ — одинъ... Глядѣлъ онъ вслѣдъ Тасѣ. Она семенила ножками по рыхлому снѣгу... Такая милая дѣвушка — въ мамзеляхъ!

Лицо Рубцова вдругъ просвѣтлѣло. Что-то заиграло у него въ головѣ.

А Тася шла задумавшись. Она чувствовала, что ей, генеральской дочери, придется долго-долго жить съ купцами... даже если и на сцену поступитъ.

VIII.

Мертвенно-тихо въ домѣ Нѣтовыхъ. Два часа ночи. Евлампій Григорьевичъ вернулся

вчера съ вечера, объ эту же пору, и нашелъ на столѣ депешу отъ Марьи Орестовны. Депеша пришла изъ Петербурга и въ ней стояло: „Буду завтра съ курьерскимъ. Приготовить спальню“. Больше ничего. Послѣднее письмо ея было еще съ юга Франціи. Она не писала около трехъ мѣсяцевъ.

Депеша его не обрадовала и не смутила. Прежнихъ чувствъ Евлампій Григорьевичъ что-то не находилъ въ себѣ. Вотъ на вчерашнемъ вечерѣ онъ жилъ настоящей жизнью. Тамъ ему хоть и дѣлалось по временамъ жутко, за то подмывали разныя вещи. Богатый и литературный баринъ пригласилъ его на свой понедѣльникъ. Его хотѣли опять залучить. Вспоминали покойнаго Лещова, предостерегали, видимо добивались, чтобы онъ опять плясалъ по ихъ дудкѣ. Тамъ были и его родственнички — Красноперый и Взломцевъ. Красноперый много болталъ, Взломцевъ отмалчивался. Хозяинъ сладко такъ говорилъ. Въ немъ, значитъ, нуждаются. Извѣстно, что: денегъ дай на газету... А онъ ихъ отбрилъ! Они думали, что онъ не можетъ ходить безъ помочей; анъ вышло, что очень можетъ. Ни въ правыхъ, ни въ лѣвыхъ, ни въ какихъ онъ не желаетъ быть! Хотѣлъ онъ вынуть изъ кармана свое „жизнеописаніе“ и прочесть вслухъ. Онъ три мѣсяца его писалъ и напечатаетъ отдѣльной брошюрой, когда подойдутъ выборы, чтобы всѣ знали — каковъ онъ есть человѣкъ.

Вернулся онъ сильно возбужденный, въ головѣ зародилось столько мыслей. И вдругъ эта депеша... Марья Орестовна отставила его отъ своей особы сразу и навѣщать себя заграницей запретила. Потосковалъ онъ вначалѣ, да что-то скоро забывать сталъ. Казалось ему минутами, что онъ и женатъ никогда не бывалъ. Любовь куда-то ушла... Боялся онъ ея, а теперь не боится... Все-таки она женскаго пола. Попросту сказать — баба! Куда же ей противъ него? Вотъ онъ всю зиму думалъ, и говорилъ, и даже писалъ самъ... Можетъ, ей непріятно бы было, чтобы онъ ее встрѣтилъ на желѣзной дорогѣ. Онъ и не поѣхалъ. Послалъ карету съ лакеемъ.

Ее привезли. Изъ кареты вынесли. Пріѣхалъ съ ней и братъ. Понесли и по лѣстницѣ. Она совсѣмъ зеленая; но голосъ не измѣнился... Первымъ дѣломъ язвительно сказала ему:

— На вокзалъ-то не пожаловали... И хорошо сдѣлали...

Братъ шепнулъ ему, что надо сейчасъ же за докторомъ. Евлампій Григорьевичъ распорядился, но безъ всякой тревоги и суетливости.

Только-что ее уложили въ постель, онъ ушелъ въ кабинетъ и не показывался. Это очень покоробило брата Марьи Орестовны. Евлампій Григорьевичъ, когда тотъ вошелъ къ нему въ кабинетъ, встрѣтилъ его удивленно. Онъ опять засѣлъ за письменный столъ и поправлялъ печатные листки.

— Братецъ...— началъ полушопотомъ Леденщиковъ: — вы видите, въ какомъ она положеніи.

— Кто-съ? — спросилъ разсѣянно Нѣтовъ.

— Мари.

— Да!.. Докторъ сейчасъ будетъ.

— Я думаю, нужно консиліумъ... Я боюсь назвать болѣзнь...

Нѣтовъ не слушалъ. Глаза его все возвращались къ листкамъ, лежащимъ на столѣ.

— Я долженъ васъ предупредить...

— А что-съ?

— Да какъ же... Мари вѣдь опасна...

— Опасна-съ?

Евлампій Григорьичъ оставилъ свои листки и повыше приподнялъ голову.

Братъ Марьи Орестовны, при всей своей сладости, сжалъ губы на особый ладъ. Такая безчувственность просто изумляла его, казалась ему совершенно неприличной.

— А вотъ докторъ что̀ скажетъ... Я ничего не могу... Не обучали-съ...

Глаза Нѣтова бѣгали. Онъ почти смѣялся. Леденщиковъ даже сконфузился и пошелъ къ сестрѣ. Она его прогнала.

Пріѣхалъ годовой докторъ. Евлампій Григорьевичъ поздоровался съ нимъ, потирая руки, съ веселой усмѣшкой, проводилъ его до спальни жены и тотчасъ же вернулся къ себѣ въ кабинетъ. Леденщиковъ въ кабинетѣ сестры прислушивался къ тому, что въ спальнѣ. Минутъ

черезъ десять вышелъ докторъ съ разстроеннымъ лицомъ и быстро пошелъ къ Нѣтову. Леденщиковъ догналъ его и остановилъ въ залѣ.

— Серьезно? — прокартавилъ онъ.

— Очень, очень! — кинулъ докторъ.

Онъ сказалъ Нѣтову, что надо призвать хирурга; а онъ будетъ ѣздить для общаго леченья, намекнулъ на то, что понадобится, быть можетъ, и консиліумъ.

Нѣтовъ слушалъ его въ позѣ дѣловаго человѣка и все повторялъ:

— Такъ-съ... такъ-съ...

Докторъ раза два поглядѣлъ на него пристально и, уходя, на лѣстницѣ сказалъ Леденщикову:

— Вы ужь займитесь уходомъ за больной. Евлампій Григорьичъ очень пораженъ.

— Пораженъ? — переспросилъ Леденщиковъ... — Не знаю, мы его нашли такимъ же... страннымъ...

Братъ Марьи Орестовны желалъ одного: чувствительной сцены съ своей „безцѣнной" Мари.

IX.

Въ спальнѣ Марьи Орестовны тяжелый воздухъ. У ней на груди — язва. Перевязывать ее мучительно-больно. Она лежитъ съ закинутой головой. Ее оскорбляетъ ея болѣзнь — кар-

бункулъ. Съ этимъ словомъ Марья Орестовна примирилась... Мазали, мазали. Она ослабла,— это показалось ей подозрительнымъ. Это былъ ракъ. Доктора сказали ей, наконецъ, обиняками.

Собралась она тотчасъ же въ Москву — умирать. Такъ она и рѣшила про себя. Братъ повезъ ее. Она этого не желала. Онъ присталъ. Довезли бы и такъ, довольно было ея толковой и услужливой горничной-нѣмки. Заграницей братъ ей еще больше опротивѣлъ. Имѣла она глупость сказать ему, что у ней есть свое состояніе... Онъ, хотя и глупъ, а полегоньку многое отъ нея выпыталъ. Вотъ теперь и будетъ канючить, приставать, чтобы она завѣщаніе написала въ его пользу... А она не хочетъ этого. Будь Палтусовъ съ ней понѣжнѣе... Она бы оставила ему половину своихъ денегъ. Писалъ онъ аккуратно и мило, почтительно, умно... Но къ ней самъ не собрался, даже и намека на это не было... Гордъ очень... Насильно милой не будешь! Все-таки она посовѣтуется съ нимъ... Довольно этому тошному братцу—„клянчѣ"— и ста тысячъ рублей... Камеръ-юнкерства-то ему что-то не даютъ; да и мало ли болтается камеръ-юнкеровъ совсѣмъ голыхъ?

„Не встану",— говоритъ про себя больная:— „нечего и волноваться". И минутами точно пріятно ей, что другіе боятся смерти, а она — нѣтъ... Заново жить?.. Какая сладость! За-

границей она — ничего. Здѣсь опостылѣло ей все... Одинъ человѣкъ есть стоющій, да и тотъ не любитъ...

Да, сдѣлать бы его своимъ наслѣдникомъ, дать ему почувствовать, какъ она выше его своимъ великодушіемъ, такъ и сказать въ завѣщаніи, что: „считаю-молъ васъ достойнымъ поддержки, вѣрю, что вы съумѣете употребить даруемыя мною средства на благо общественное; а я почитаю себя счастливой, что открываю такому энергическому и талантливому молодому человѣку широкое поле дѣятельности“...

Въ головѣ ея эти фразы укладываются такъ хорошо. Голова совсѣмъ чиста, и останется такой до послѣдней минуты — она это знаетъ.

А то можно по другому распорядиться. Ну, оставить ему что-нибудь, тысячъ пятьдесятъ, что ли. да столько же брату, или побольше, чтобы не ходилъ по добрымъ людямъ и не жаловался на нее... Да и то сказать, гдѣ же ему остаться безъ добавочнаго дохода къ жалованью. Да и удержится ли онъ еще на своемъ консульскомъ мѣстѣ? Она даетъ ему три тысячи въ годъ, иногда и больше. И надо оставить столько, чтобы проценты съ капитала давали ему тысячи три, много четыре.

Остальное связать со своимъ именемъ. Завѣщать двѣсти тысячъ — цыфра эффектная — на какое-нибудь заведеніе, напримѣръ, хоть на профессіональную школу... Никто у насъ не учитъ дѣвушекъ полезнымъ вещамъ. Все

науки, да литература, да контрапунктъ, да идеи разныя... Вотъ и ее, Марью Орестовну, заставь скроить платье, нарисовать узоръ, что-нибудь склеить или устроить, дать рисунокъ мастеру, — ничего она не можетъ сдѣлать. А въ такой школѣ всему этому будутъ учить.

Два часа продумала Марья Орестовна. И боли утихли и про смерть забыла... Завѣщаніе все у ней въ головѣ готово... Вотъ пріѣдетъ Палтусовъ, она ему сама продиктуетъ, назначитъ его душеприказчикомъ, исполнителемъ ея воли... Онъ выхлопочетъ, чтобы школа называлась ея именемъ...

Лежитъ она съ закрытыми глазами, и ей представляется красивый двухъ-этажный домъ, гдѣ-нибудь въ сторонѣ Сокольниковъ или Нескучнаго, на дворѣ за рѣшеткой... И ярко играютъ на солнцѣ золотыя слова вывѣски: „Профессіональная школа — имени Маріи Орестовны Нѣтовой". И каждый годъ панихида въ годовщину ея смерти: генералъ-губернаторъ, гражданскій губернаторъ, попечитель, всѣ власти, самыя сановныя дамы. Сколько простоитъ заведеніе, столько будетъ и панихидъ. Но этого еще мало... Палтусовъ составитъ ея жизнеописаніе. Выйдетъ книжка къ открытію школы... Ее будутъ раздавать всѣмъ даромъ, съ ея портретомъ. Надо, чтобы сняли хорошую фотографію съ того портрета, что виситъ у Евлампія Григорьевича въ кабинетѣ. Тамъ у ней такое умное и пріятное вы-

раженіе лица... Палтусовъ съумѣетъ сочинить книжку...

И желаніе его видѣть стало рости въ Марьѣ Орестовнѣ съ каждымъ часомъ. Только она не приметъ его въ спальнѣ .. Тутъ такой запахъ... Она велитъ перенести себя въ свой кабинетъ... Онъ не долженъ знать, какая у нея болѣзнь. Строго на-строго накажетъ она брату и мужу ничего ему не говорить... Лицо у ней блѣдно, но то же самое, какъ и передъ болѣзнью было.

Она такъ мало интересовалась леченьемъ, что отвѣтила брату, сказавшему ей насчетъ консиліума:

— Пускай! Все равно!

X.

На консиліумѣ смертный исходъ былъ научно установленъ. Операціи дѣлать нельзя, антоновъ огонь уже образовался и будетъ разъѣдать, сколько бы ни рѣзали.

Годовому доктору поручили сказа ть Евлампію Григорьичу, что надо приготовить Марью Орестовну.

Онъ это принялъ такъ равнодушно, что докторъ поглядѣлъ на него.

— Приготовить? — переспросилъ Евлампій Григорьичъ и улыбнулся. — Извольте. Я скажу-съ. Всѣ смертны. Оно, знаете, и лучше. чѣмъ такъ мучиться.

и званія разныя... Не твоего это ума. Лещовъ умеръ, у дяди своего дѣла много, Краснопе-рый тебя же будетъ вездѣ въ шуты рядить... Брось!.. Живи такъ — въ почетѣ, ну, добрыя дѣла дѣлай, давай стипендіи, картины, что ли, покупай. Только не торчи ты во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой, если желаешь, чтобы я спокойно въ могилѣ лежала. Совѣтуйся съ Палтусовымъ, съ Андреемъ Дмитріевичемъ... И по торговымъ дѣламъ... А лучше бы всего, чтобъ тебя приказчики не обворовывали, живи ты на капиталъ, обрати въ деньги... Ну, домъ-то этотъ держи... угощай, что ли, Москву... Дадутъ и за это генерала... Числись какимъ-нибудь почетнымъ попечителемъ... А дашь покрупнѣе взятку, такъ и Станислава повѣсятъ черезъ плечо...

Евлампій Григорьевичъ не дослушалъ жены. Онъ всталъ, подошелъ къ ея изголовью, разставилъ какъ-то странно ноги, щеки его покраснѣли, глаза загорѣлись и гнѣвно, почти злобно уставились на нее.

— Не ваша сухота, не ваша сухота! — заговорилъ онъ обиженнымъ тономъ: — мы не въ малолѣтствѣ... Вы о себѣ лучше бы, Марья Орестовна... напутствіе, и отъ всѣхъ прегрѣшеній... А я на своихъ ногахъ, изволите меня слышать и понимать? На своихъ ногахъ!.. И теперь какую въ себѣ чувствую силу, и что я могу, и какъ хочу отдать себя, значитъ, обществу и всему гражданству, — я это

довольно ясно изложилъ... И брошюра моя готова... Только, можетъ, страничку-другую...

Онъ махнулъ рукой и опять заходилъ.

— Сядь!..— приказала она ему.

Но онъ не послушался и заговорилъ съ такимъ же волненіемъ.

— Оставь меня! — утомленно сказала она.

Нѣтовъ ушелъ.

Ей было все равно. Поглупѣлъ онъ или собирается совсѣмъ свихнуться. Не стóитъ онъ и ея напутствія... Пусть живетъ, какъ хочетъ... Хоть гаремъ заводи въ этихъ самыхъ комнатахъ... Авось Палтусовъ не дастъ совсѣмъ осрамиться.

XI.

Два раза посылала она на квартиру Палтусова. Мальчикъ и кучеръ отвѣчали, каждый разъ, одно и тоже, что Андрей Дмитричъ въ Петербургѣ, „адреса не оставляли, а когда будутъ назадъ — неизвѣстно". Кому телеграфировать? Она не знала. Ея братъ придумалъ, послалъ депешу къ одному сослуживцу, чтобы отыскать Палтусова въ отеляхъ... Ждали четыре дня. Пришла депеша, что Палтусовъ стоитъ у Демута. Туда телеграфировали, что Марья Орестовна очень больна, „при смерти", велѣла она сама прибавить. Полученъ отвѣтъ: „буду черезъ два дня".

Прошли сутки... А его нѣтъ... Что же это такое?.. Онъ довѣренное лицо, у него на рукахъ все ея состояніе, ему шлютъ отчаянную депешу, онъ отвѣчаетъ: „буду черезъ два дня", и — ничего.

Сколько ей жить? Быть можетъ, два дня, быть можетъ, недѣлю — не больше... Она хотѣла распорядиться по его совѣту, оставить на школу тамъ, что ли, или на что-нибудь такое. Но нельзя же такъ обращаться съ ней!..

Ну, не нравится она ему, какъ женщина, такъ, по крайней мѣрѣ, покажи вниманіе. Вотъ они — тонкіе, воспитанные мужчины... За ея ласку, довѣріе...— такая расплата!! Его только она и отличала изо всей Москвы. Его мнѣніемъ только и дорожила, въ послѣдній годъ особенно... Пропади пропадомъ все ея состояніе! Не хочетъ она никакого завѣщанія писать. Еще утомляться, подписывать, слушать, братецъ будетъ канючить, съ Евлампіемъ Григорьевичемъ надо будетъ говорить... Кто наслѣдникъ, тотъ пускай и будетъ наслѣдникъ. Мужу четвертая часть опять вернется, остальное тому... глупому, долговязому.

Досадно ей, горько... Но оставить на школу: кому поручить? Украдутъ, растащутъ, выдетъ глупо. А то еще братецъ процессъ затѣетъ, будетъ доказывать, что она завѣщаніе писала не въ своемъ умѣ. Его сдѣлать душеприказчикомъ?.. Онъ только самъ станетъ величаться... Довольно съ него.

На другой день съ утра Марья Орестовна почувствовала себя легко... Пришелъ братецъ. Она поглядѣла на него съ насмѣшливой улыбкой и спросила:

— Ты что же не просишь меня?

— О чемъ, Мари?

— Да чтобъ побольше денегъ тебѣ оставила?

Онъ опустилъ глаза и покраснѣлъ.

— Ахъ, полно... Безцѣнная моя,— началъ было онъ.

— Сладокъ ты очень, дружокъ,— перебила она его...— Не обижу.

— Твоя воля, Мари, священна для меня... Но еслибъ ты желала...

Марья Орестовна тихо разсмѣялась.

— Завѣщанія, хочешь ты сказать? Для тебя невыгодно будетъ.

Леденщиковъ глупо и испуганно поглядѣлъ на нее.

Она расхохоталась и тотчасъ же поморщилась отъ боли. Онъ наклонился къ ней.

— Мари, дорогая...

— Ступай, ступай!

Очень ужь сдѣлались ей противны его лицо, голосъ, фигура, полу-фальшивая сладость его тона.

Тутъ въ головѣ у ней пошла муть, жаръ сталъ подступать къ мозгу, въ глазахъ зарябило. Она подняла было голову и безпомощно опустила на подушку.

— Ступай, ступай! — повторила она еще разъ.

И захотѣлось ей умереть сегодня же, но одной, совсѣмъ одной, чтобы ее заперли.

Подъ вечеръ Евлампію Григорьевичу доложилъ камердинеръ, что „Марья Орестовна кончаются“.

Онъ и это принялъ холодно и только спросилъ:

— Въ памяти?

Послали за священникомъ. Леденщиковъ не зналъ еще точно суммы сестрина состоянія. Но ему надо было теперь распорядиться, какъ законному наслѣднику,— Евлампій Григорьичъ въ какомъ-то странномъ разстройствѣ. И онъ долго не протянетъ.

Марья Орестовна, хоть и умирала въ полузабытьѣ, но никого не пускала къ себѣ, кромѣ своей камеристки Берты.

Дорогія хоромы коммерціи совѣтника Нѣтова замирали вмѣстѣ съ той женщиной, которая создала ихъ... Лѣстница, салоны съ гобленами, столовая съ рѣзнымъ потолкомъ стояли въ полутьмѣ кое-гдѣ зажженныхъ лампъ. Въ кабинетѣ сидѣлъ за письменнымъ столомъ повихнувшійся выученикъ Марьи Орестовны. По залѣ ходилъ другой ея воспитанникъ, глупый и ничтожный...

Къ ночи началась суета, поднимающаяся въ домѣ богатой покойницы... Но Евлампій Григорьевичъ съ суевѣрнымъ страхомъ заперся у себя въ кабинетѣ. Онъ чувствовалъ еще обиду напутственныхъ словъ своей жены. Вотъ сне-

сутъ ее на кладбище, и тогда онъ будетъ самъ себѣ господинъ и покажетъ всему городу, на что онъ способенъ и безъ всякихъ помочей... Еще нѣсколько дней — и его „брошюра“ готова, прочтутъ ее и увидятъ, „каковъ онъ есть человѣкъ!“

XII.

Петербургскій поѣздъ опоздалъ на двадцать минутъ. Послѣднимъ изъ вагона перваго класса вышелъ пассажиръ въ бобровой шапкѣ и пальто съ куньимъ воротникомъ.

Это былъ Палтусовъ. Лицо его осунулось. Съ обѣихъ сторонъ носа легли рѣзкія линіи. Сказывалась не одна плохо проведенная ночь. Онъ еще не совсѣмъ оправился отъ болѣзни. Депеша брата Нѣтовой застала его въ постели. Наканунѣ ночью онъ проснулся съ ужасными болями въ печени. Припадки длились пять дней. Докторъ не пускалъ его. Но онъ настаивалъ на рѣшительной необходимости ѣхать... Боли такъ захватили его, что онъ забылъ и о депешѣ, и объ опасной болѣзни Нѣтовой... Какъ только немного отпустило, онъ всталъ съ постели и, сгорбившись, ходилъ по комнатѣ, послалъ депешу, написалъ нѣсколько городскихъ писемъ. У него было два-три человѣка съ дѣловыми визитами.

Въ Москвѣ у себя онъ не оставилъ петер-

бургскаго адреса. Его удивило то, что депеша отъ Нѣтовой, подписанная ея братомъ, пришла къ нему прямо въ отель Демутъ... Всю дорогу онъ былъ тревоженъ. Дома мальчикъ доложилъ ему, что отъ Нѣтовыхъ присылали три раза; а вотъ уже три дня, какъ никто больше не приходилъ.

Это усилило его безпокойство. Онъ велѣлъ сейчасъ же приготовить одѣваться и закладывать лошадь. Былъ первый часъ.

Въ передней позвонили.

— Никого не принимать! — крикнулъ онъ мальчику.

Тотъ пошелъ отпирать. Изъ кабинета слышно было, какъ кто-то вошелъ въ калошахъ.

— Господинъ Леденщиковъ, — доложилъ, показываясь въ дверяхъ, мальчикъ: — требуютъ-съ... я не впускалъ.

— Проси,— поспѣшно приказалъ Палтусовъ.

Онъ замѣтно поблѣднѣлъ.

Братъ Марьи Орестовны остановился въ дверяхъ — въ длинномъ черномъ сюртукѣ, съ крепомъ на рукавѣ и съ плерезами на воротникѣ.

— Марья Орестовна? — первый спросилъ Палтусовъ и подалъ руку.

— Моя сестра скончалась вчера, въ ночь...

Въ голосѣ не слышно было слезъ; но глаза тревожно смотрѣли на Палтусова.

— Вчера ночью? — переспросилъ Палтусовъ и подался назадъ.

Онъ забылъ попросить гостя сѣсть, но тотчасъ же спохватился.

— Прошу,— указалъ онъ Леденщикову на кресло у стола.

Въ одинъ мигъ сообразилъ онъ — зачѣмъ тотъ пріѣхалъ и что отвѣчать ему.

— М-г Палтусовъ,— началъ Леденщиковъ, немного пожимаясь: — сестра моя скончалась, не оставивъ завѣщанія.

— Да? — переспросилъ Палтусовъ.

— Безъ завѣщанія,— повторилъ Леденщиковъ.— Но она сообщила мнѣ еще задолго до кончины, что вы завѣдывали ея дѣлами.

— Точно такъ,— сухо отвѣтилъ Палтусовъ.

— Состояніе, предоставленное ей мужемъ, все было, сколько мнѣ извѣстно, въ бумагахъ?

— Въ бумагахъ.

„Не тяни, животное!“ выбранился про себя Палтусовъ.

— Такъ вотъ я бы и просилъ васъ покорнѣйше привести въ извѣстность всю наличную сумму. Она должна быть въ пятьсотъ тысячъ капитала. Я обращаюсь къ вамъ, какъ братъ и наслѣдникъ... за выдѣломъ четвертой части Евлампію Григорьевичу...

Леденщиковъ переложилъ шляпу — и она уже была съ крепомъ — съ праваго колѣна на лѣвое.

Палтусовъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ уголъ комнаты и вернулся. Лицо его оставалось блѣднымъ.

— Очень хорошо-съ,— заговорилъ онъ глуше обыкновеннаго...— Но вы вѣроятно знаете, что сестра ваша поручила мнѣ свой капиталъ въ полное распоряженіе?

— Я имѣю копію съ довѣренности.

— Поэтому часть этихъ денегъ находится... какъ бы вамъ это сказать... въ оборотѣ...

— Въ какомъ оборотѣ?— уже съ явной боязнью въ голосѣ спросилъ Леденщиковъ.

— Въ оборотѣ,— повторилъ Палтусовъ.

— Вы отдали ихъ подъ залогъ? Въ такомъ случаѣ у васъ есть закладная или другіе документы.

— Словомъ,— перебилъ его Палтусовъ: — сто тысячъ рублей, даже нѣсколько больше, я не могу реализовать сейчасъ же.

— Но я васъ не понимаю, monsieur Палтусовъ,— болѣе сладкимъ тономъ началъ Леденщиковъ. — Эти деньги должны же быть гдѣ-нибудь... Какъ вы ими распоряжались — въ интересахъ вашей довѣрительницы — я не знаю, но онѣ должны быть на лицо.

— Я прошу васъ дать мнѣ сроку нѣсколько дней, недѣлю. Вѣдь я же не могъ предвидѣть внезапной кончины вашей сестры.

— Мы вамъ нѣсколько разъ телеграфировали.

— Я самъ заболѣлъ въ Петербургѣ.

— Но, cher monsieur Палтусовъ, я вѣдь не требую, чтобы вы мнѣ сію минуту выложили весь капиталъ Мари. Онъ въ банкѣ, въ бу-

магахъ... это само собой понимается... Но надо привести въ извѣстность сейчасъ же.

— Къ чему? — возразилъ болѣе спокойнымъ, дѣловымъ тономъ Палтусовъ. — Ваша сестра умерла безъ завѣщанія. Вы и мужъ ея — наслѣдники... Извѣстно, что я занимался ея дѣлами... Мировой судья будетъ дѣйствовать охранительнымъ порядкомъ.

— Но почему же этого не сдѣлать просто, домашнимъ образомъ? Вы пожалуете къ намъ и привезете всѣ эти цѣнности.

— Да, конечно, но я прошу васъ дать мнѣ срокъ.

— Срокъ? Губы Леденщикова начали блѣднѣть.

— Я распоряжался самостоятельно.

— Да-съ, monsieur Палтусовъ, — перебилъ Леденщиковъ и всталъ: — но я долженъ васъ предупредить, что если вамъ неугодно будетъ до вечера послѣ завтра пожаловать къ намъ со всѣми документами... я долженъ буду...

— Хорошо-съ, — сухо отрѣзалъ Палтусовъ.

— Послѣ завтра, — повторилъ Леденщиковъ и подалъ Палтусову руку.

Къ передней онъ отретировался задомъ. Палтусовъ проводилъ его до дверей.

Кровь сразу прилила къ его лицу, какъ только онъ остался одинъ.

Этотъ глупый и сладкій гостинодворческій дипломатъ не дастъ ему передышки... Не дастъ! Все было у него такъ хорошо разсчи-

Разсматривать обширный кабинетъ некогда было. Палтусовъ перешелъ къ дѣлу.

— Поддержите меня, — сказалъ онъ Осетрову безъ обиняковъ: — мое положеніе очень крутое. Вы сами человѣкъ, разбогатѣвшій личной энергіей... У меня была довѣрительница — поручила мнѣ свое денежное состояніе. Я распоряжался имъ по своему усмотрѣнію. Она скоропостижно умерла. Наслѣдникъ требуетъ — вынь, да положь — всего капитала... А у меня нѣтъ цѣлой четверти...

Палтусовъ остановился.

— Гдѣ же онъ у васъ? — спросилъ Осетровъ, мягко поглядывая на него.

— Я пустилъ его въ оборотъ...

— На свое имя?

— Нѣтъ... на чужое...

— Въ какой же это оборотъ?

— Я далъ бумаги въ залогъ.

— Ну такъ что же за бѣда? Вы такъ и объявите наслѣднику... Это не пропащія деньги...

— Я не могу этого сдѣлать, — рѣшительно выговорилъ Палтусовъ.

— Почему же?

— Потому что наслѣдникъ — скупой дурачекъ. Онъ сочтетъ это за растрату...

— Да...

Осетровъ закурилъ папиросу и прищурилъ глазъ.

— Что же я-то могу для васъ сдѣлать?

— Дайте мнѣ ваше поручительство... Я выдамъ векселя...

— Мое поручительство... нѣтъ, любезный Андрей Дмитричъ, я не могу этого.

Палтусовъ опустилъ глаза.

Они оба молчали.

— Я заслужу вамъ, — началъ Палтусовъ...— Въ моемъ поступкѣ вы, дѣловой человѣкъ, не должны видѣть что-нибудь особенное... Отчего же я не могъ воспользоваться случаемъ? Дѣло шло о прекрасной операціи... Она удалась бы черезъ два-три мѣсяца... Я возвращаю капиталъ довѣрительницѣ и сразу пріобрѣтаю хорошее денежное положеніе.

— Почему же вы такъ не поступили?

— Надо было сейчасъ же дѣйствовать. Она жила въ Ниццѣ... Я вамъ уже сказалъ, что она имѣла ко мнѣ полное довѣріе. Ея смерть — неудача. И больше ничего!

— Это растяжимые дѣловые принципы, — выговорилъ Осетровъ.

— Но вамъ, — уже горячо возразилъ Палтусовъ: — развѣ не довѣряли сотни тысячъ безъ росписокъ? Вы ихъ пускали въ оборотъ отъ своего имени. Стало, рисковали чужимъ достояніемъ.

— Совершенно вѣрно, — остановилъ Осетровъ: — но я возвращалъ сейчасъ же, сейчасъ, все, что́ у меня было, при первомъ требованіи, или указывалъ — во что у меня вложены деньги. Сдѣлайте то же и вы.

— Но я вамъ говорилъ, что наслѣдникъ скупердяй, дуракъ... съ нимъ это невозможно, бумаги представлены въ заемъ другимъ лицомъ! Какое же я обезпеченіе могу дать такому трусливому и алчному наслѣднику?

— Напрасно съ такимъ народомъ дѣло имѣете...

На лицѣ Осетрова Палтусовъ прочелъ рѣшительный отказъ.

— Вадимъ Павловичъ, — выговорилъ онъ:— я ожидалъ отъ васъ другаго...

— И получили бы другое, — отвѣтилъ Осетровъ, приподнимаясь надъ столомъ... — Наживать можно и должно, но только не такъ, какъ вы задумали.

Это было сказано серьезно, безъ всякаго вызова. — Оставалось — удалиться.

— У васъ есть наши акціи? — спросилъ Осетровъ, какъ бы спохватившись. — Если вамъ угодно, я куплю у васъ ихъ по полторы тысячи — больше вамъ не дадутъ...

Палтусова охватило такое злобное чувство, что онъ съ усиліемъ сдержалъ себя на порогѣ кабинета.

XIV.

„Ѣхать къ Станицыной?“ мелькнуло у него. Онъ вышелъ на крыльцо и глядѣлъ на обширный дворъ. Кучеръ еще не замѣтилъ его и

не подавалъ. Такъ простоялъ онъ минуты двѣ...

Станицына! Она выручитъ! Кто это сказалъ? Въ ней теперь женское чувство расходилось. Она увидала, пожалуй, въ томъ — какъ онъ повелъ съ ней себя — прямое оскорбленіе. Да, другой бы упалъ на колѣни и, долго не думая, предложилъ бы ей сожительство, довелъ бы до развода съ мужемъ, прибралъ бы къ своимъ рукамъ ея фабрику и наличныя деньги. Полно, есть ли онѣ, наличныя-то?.. Она должна была, въ эту зиму, заплатить за мужа нѣсколько сотъ тысячъ... безъ этого она не подняла бы кредиту. А коли наличныхъ нѣтъ, или есть только на оборотъ, на поддержку текущихъ дѣлъ по обѣимъ фабрикамъ, такъ изъ-за чего же онъ будетъ соваться?

Да и не хочетъ онъ ей говорить правды. Ее на мякинѣ не проведешь. Она все-таки кулакъ-баба... Позволить ей заподозрить его, и такъ, въ глаза... Ни за что!

Съ женщинами у него — неизмѣнная мораль. Такъ онъ поступалъ, такъ и будетъ поступать. Что-то поднимаетъ внутри его гордость, чувство мужскаго превосходства, когда онъ думаетъ о своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ. Обязаннымъ имъ онъ ничѣмъ не хочетъ быть. Сначала онъ перепробуетъ все.

Но что же?

Въ ту минуту, когда Палтусовъ крикнулъ: „подавай!“ голова его освѣтилась новой фи-

гурой ярко и отчетливо и тотчасъ вспомнилъ онъ свой визитъ къ родственнику Долгушина — къ тому „ископаемому", что сидитъ въ птичникѣ... у него есть деньги. Онъ навѣрно тайный ростовщикъ. Но что же предложить ему въ залогъ? Одну половину бумагъ? Такъ это будетъ Тришкинъ кафтанъ. Нелѣпо!

Почему-то, однакожь, онъ схватился за эту мысль.

Онъ вспомнилъ адресъ стараго барина, но не приказалъ кучеру ѣхать туда, а взялъ извощика.

Баринъ принялъ его. Онъ вышелъ къ Палтусову совершенно такъ же одѣтый, какъ и въ тотъ разъ, и такъ же попросилъ его во вторую комнату. Старикъ помнилъ о его визитѣ, опять сказалъ, что служилъ когда-то съ однимъ Палтусовымъ. Про Долгушина освѣдомился въ шутливомъ тонѣ и когда Палтусовъ сообщилъ ему, что генералъ служитъ акцизнымъ надзирателемъ на табачной фабрикѣ — выговорилъ:

— И это для него большой постъ. Свистунъ!

Палтусовъ сидѣлъ такъ, что ему была видна часть стѣны, гдѣ онъ въ первый разъ замѣтилъ несгараемый шкапъ. Глаза его остановились на продольной, чуть замѣтной щели. Опять разглядѣлъ онъ и маленькое отверстіе для ключа.

— Чѣмъ могу? — спросилъ баринъ и поправилъ паричекъ.

— На этотъ разъ, — началъ Палтусовъ: — я къ вамъ отъ себя.

Онъ пристально поглядѣлъ на старика.

— Чѣмъ могу? — повторилъ тотъ.

— Не найдете ли возможности дать мнѣ подъ обезпеченіе?..

Губы барина слегка пошевелились и что-то мелькнуло въ глазахъ.

— Я знаю, что вы ссужаете, — рѣшительно выговорилъ Палтусовъ, и даже похвалилъ себя внутренно за такую проницательность.

— Вы изволите говорить, — не мѣняя тона, переспросилъ старикъ: — подъ обезпеченіе?

— Цѣнностями... разныхъ наименованій.

— И какую сумму?

„А! ты ростовщикъ!“ — вскрикнулъ про себя Палтусовъ.

— Сто тысячъ рублей.

— Сто тысячъ рублей? Такой свободной суммы я не имѣю...

— Ну, сколько имѣете...

Старикъ поглядѣлъ на Палтусова косвеннымъ взглядомъ.

— А почему же вы, государь мой, не желаете заложить ваши цѣнности въ любомъ банкѣ?

Вопросъ этотъ уже побывалъ въ головѣ Палтусова, когда онъ подъѣзжалъ къ его дому.

— Это фамильныя вещи, — уже солгалъ Палтусовъ.

— Бриллiанты? — быстро спросилъ старикъ.

— Разныя цѣнности.

Въ головѣ Палтусова разыгрывалась сцена. Вотъ онъ привозитъ свои бумаги. Это будетъ сегодня вечеромъ. Старикъ приготовитъ сумму... Она у него есть — онъ вретъ. Онъ увидитъ процентныя бумаги вмѣсто брилліантовъ, но можно ему что-нибудь наговорить... Не все ли ему равно? Онъ пойдетъ за деньгами... Броситься на него... Разъ! два!.. А собаки? А люди? Развѣ такъ покончилъ со старикомъ недавно, въ Петербургѣ, саперный офицеръ? То было въ квартирѣ. Даже кухарку услалъ... Да и то поймали.

Все это пронеслось въ мозгу Палтусова и заставило его мгновенно покраснѣть. И вдругъ его визитъ къ этому барину, разговоръ, разсчеты представились ему во всей ихъ глупости и гадости. Какъ могъ онъ остановиться хоть минуту на такой мысли?.. А просто заложить бумаги можно въ первомъ попавшемся банкѣ... Да какой же толкъ въ этомъ?..

Онъ долженъ былъ сознаться, что голова его ослабѣла. Устыдившись, онъ тотчасъ же всталъ и протянулъ руку хозяину.

— Позвольте заѣхать къ вамъ на дняхъ, — сказалъ онъ, любезно улыбаясь. — Вы во всякомъ случаѣ не прочь? О процентахъ мы тогда переговоримъ...

— Милости прошу, — кратко отвѣтилъ ему немного удивленный старикъ, и пошелъ провожать его черезъ комнату съ птицами.

Собаки тоже провожали Палтусова. Онъ сбѣжалъ съ лѣстницы, чувствуя, что щеки его горятъ. Въ первый разъ онъ подумалъ о томъ, какъ можно придушить живаго человѣка изъ-за денегъ.

XV.

Звонили ко всенощной... Мартовскій воздухъ смякъ. Днемъ сильно таяло. Солнце повертывало на лѣто. Путь лежалъ Палтусову со Знаменки Кремлемъ. Онъ извощика не взялъ, пошелъ пѣшкомъ.

Миновалъ онъ ворота съ прорѣзными бойницами, проѣздной башни „Кутафьи", бѣлѣющей, точно шатеръ, безъ крыши. Зажигалась яркая ночь. Вокругъ полнаго мѣсяца, не поднявшагося еще кверху, отъ утренняго тумана шла круглая пелена, открывающая посрединѣ овалъ — посинѣе, безоблачный, глубокій. И одна только звѣзда внизу и сбоку отъ мѣсяца ярко мерцала. Другихъ звѣздъ еще не было замѣтно.

Палтусовъ остановился у перилъ моста черезъ Александровскій садъ и засмотрѣлся на него. Это позволило ему уйти отъ тревогъ сегодняшняго дня. Внизу темнѣли голыя аллеи сада, мигали фонари. Сбоку на горѣ уходилъ въ небо бельведеръ Румянцевскаго музея съ его стройными павильонами, точно повисшій въ воздухѣ надъ обрывомъ. Чуть слышно доносилась ѣзда по оголяющейся мостовой...

Палтусовъ пошелъ дальше, мостомъ и Троицкими воротами, поднялся въ Кремль. Слѣва сухо и однообразно желтѣлъ корпусъ арсенала, справа выдвигался рядъ косо поставленныхъ пушекъ, а внизу пирамиды ядеръ. Гулъ соборныхъ колоколовъ разливался тонкою заунывною струею. Ему захотѣлось туда, за рѣшетку, откуда золоченыя главы всплывали въ матовомъ сіяніи луны. Онъ скорыми шагами перешелъ поперекъ площади, повернулъ вправо и взялъ въ узкій корридорчикъ, откуда входятъ въ Успенскій соборъ.

Темные расписанные столбы собора, полусвѣтъ, лики иконостаса, ладонъ и тихое мелькаціе молящагося народа навели на Палтусова родъ дремы... Онъ сначала совсѣмъ забылъ про себя. Ему нужно было за чѣмъ-нибудь слѣдить глазами, что-нибудь слушать... Въ соборъ не попадалъ онъ много лѣтъ, даже и не помнитъ, когда это было. Теперь его занимала служба, какъ ребенка. Идетъ архіерей въ длинной ризѣ, ее поддерживаетъ сзади иподьяконъ, впереди дьяконъ со свѣчей. Архіерей кадитъ передъ образами... Такого облаченья и всего этого шествія Палтусовъ не видалъ еще никогда... Онъ глядѣлъ ему вслѣдъ. Служба перешла на средину собора. Долго онъ не могъ слушать ее. Кровь прилила къ головѣ, сдѣлалось душно, напала тревожность, столбы и иконостасъ точно давили его.

Онъ вышелъ на воздухъ. И разомъ все вер-

нулось къ нему... Онъ воръ!.. Хотѣлъ разжиться на чужія деньги. Могъ сегодня, — когда братъ Нѣтовой явился къ нему,— прямо сказать: „я вложилъ въ такое-то дѣло сто тысячъ... Вотъ кѣмъ представлены залоги... Вотъ документъ, обезпечивающій эту сдѣлку... на-те“.— И какъ ни жаденъ этотъ идіотъ, онъ все-таки пошелъ бы на соглашеніе. А не пошелъ бы?.. Пускай начиналъ бы процессъ, даже уголовное дѣло. Такъ нѣтъ!.. Захотѣлось вынырнуть съ чужимъ капиталомъ!

Машинально двигался Палтусовъ къ Ивану Великому, поднялся кверху, на площадку, гдѣ ходъ въ церковь... Тамъ только онъ очнулся.

Гадость сдѣлана. Леденщиковъ не дастъ ему передышки, еслибъ и разсказать ему все на чистоту, покаяться... Будетъ дѣло. Оно ужь и теперь началось... Умышленное присвоеніе чужой собственности уже совершено, въ глазахъ *настоящихъ* честныхъ людей онъ уже погибъ...

Вспомнилъ онъ своего недавняго „принципала“ — Калакуцкаго. Черепъ съ чернѣющей ранкой представился ему... И курносое лицо околоточнаго... Вотъ застрѣлился же! Отъ уголовнаго суда самъ ушелъ. А не Богъ знаетъ какой великой души былъ человѣкъ...

Зазвонили. Палтусовъ поднялъ голову и поглядѣлъ вверхъ, на колокольню. Чего же стоитъ забраться вонъ туда, откуда идетъ

звонъ? Дверь теперь отперта... Звонарь не доглядитъ. Дать ему рубль. А потомъ легонько подойти къ периламъ. Одинъ скачекъ... и кончено!.. Въ Лондонѣ бросаются же каждый годъ съ колонны на Трафальгаръ-скверѣ, и съ колокольни св. Павла цѣлыми дюжинами бросаются...

Онъ зажмурилъ глаза и открылъ ихъ черезъ нѣсколько секундъ. Внизу плиты уже обнажились отъ снѣга, кое-гдѣ просохли и свѣтились. Его схватило за сердце. Но онъ не успѣлъ испугаться. Новое чувство уже залегло ему на душу...

„Воръ!“ — думалъ онъ и началъ чуть замѣтно улыбаться. „Пускай! Смерть отъ своей руки еще не ушла. Лучше пистолетъ, чѣмъ такой прыжокъ съ колокольни. Сдѣлать это приличнѣй и скромнѣй“.

Онъ началъ спускаться по ступенькамъ. Ему стало вдругъ легко. Ни къ кому онъ больше не кинется, никакихъ депешъ и писемъ не желаетъ писать въ Петербургъ; поѣдетъ теперь домой, залнжетъ спать, хорошенько выспится и будетъ поджидать. Все пойдетъ своимъ чередомъ... Не завтра, такъ послѣ - завтра явится и слѣдователь. Не поѣдетъ онъ и на похороны Нѣтовой. Не напишетъ и Пирожкову. Успѣетъ... Никогда не рано отправиться на тотъ свѣтъ изъ этой Москвы!..

Благовѣстъ продолжался. Выйдя за рѣшетку, Палтусовъ провалился въ рыхломъ снѣгѣ. Это его разсмѣшило.

XVI.

Пирожковъ не хотѣлъ вѣрить слуху, что Палтусовъ „арестованъ". Ему кто-то сказалъ это наканунѣ вечеромъ. Онъ вскочилъ съ постели въ девятомъ часу, торопливо одѣлся, и поѣхалъ къ пріятелю. Мальчика, отворившаго ему дверь, онъ ни о чемъ не разспрашивалъ. Тотъ принялъ его со словами:

— Пожалуйте-съ, баринъ — у себя.

Квартирка смотрѣла такъ же чисто и нарядно, какъ и въ тотъ разъ, когда онъ заѣхалъ къ Палтусову попросить за мадамъ Гужó. Ничто не говорило про бѣду.

— Дома! — вслухъ выговорилъ Иванъ Алексѣевичъ въ передней.

Значитъ — вздоръ, вранье, никакого ареста не было.

Палтусова онъ нашелъ на кушеткѣ.

— Что съ вами, нездоровится? — спросилъ его Пирожковъ и сильно потрясъ ему руку.

Лицо Палтусова показалось ему и желтымъ, и осунувшимся.

— Да вотъ съ пріѣзда не могу поправиться,— откликнулся Палтусовъ, и всталъ съ кушетки.

На немъ былъ халатъ, чего Пирожковъ никогда не видалъ.

— Вы въ Петербургѣ заболѣли?

— Да, чуть не воспаленіе въ печени схватилъ.

Въ глазахъ пріятеля Палтусовъ прочелъ причину его прихода.

— Иванъ Алексѣичъ,—началъ онъ простымъ, задушевнымъ тономъ: — вамъ навѣрно сказали уже, что меня схватили?

— Дѣйствительно.

— Этого еще нѣтъ; но можетъ быть сейчасъ. Я не знаю. Пока, я далъ подписку.

Онъ на одну секунду опустилъ голову и добавилъ съ тихой усмѣшкой:

— Попаду въ кутузку — это вѣрно.

— Но за что же? — искренней нотой крикнулъ Иванъ Алексѣичъ.

— За что? За растрату чужаго имущества...

Пирожковъ ничего не сказалъ на это, а только усмѣхнулся отрицательно.

— Право! — подтвердилъ Палтусовъ и опять сѣлъ на кушетку, подложивъ подъ себя ноги.

— Да объясните!

— Дѣло самое простое... Получилъ довѣренность на распоряженіе капиталомъ.

— Большимъ?

— Въ нѣсколько сотъ тысячъ.

— И что же?

— Распорядился по своему усмотрѣнію... на это имѣлъ право... Довѣрительница умерла въ мое отсутствіе... Наслѣдникъ присталъ къ горлу — давай ему всѣ деньги... А у меня ихъ нѣтъ.

— Какъ же нѣтъ? — изумленно переспросилъ Пирожковъ.

— Такъ, въ наличности нѣтъ...

— Но вы можете доказать.

— Вотъ что, дорогой Иванъ Алексѣичъ, — началъ горячѣе Палтусовъ и подался впередъ корпусомъ: — взбѣсился я на этихъ купчишекъ, вотъ на умытыхъ-то, что въ баре лѣзутъ, по-англійски говорятъ! Еслибъ вы видѣли гнусную, облизанную физіономію братца моей довѣрительницы, когда онъ явился ко мнѣ съ угрозой ареста и уголовнаго преслѣдованія. Я хотѣлъ-было повести дѣло просто, по-человѣчески. А потомъ озорство меня взяло... Никакихъ объясненій!.. Пускай арестуютъ!

— Но зачѣмъ же? — Пирожковъ присѣлъ къ нему на кушетку и взялъ его за руку: — Зачѣмъ же такъ, Палтусовъ? Что за бравада? Вы же говорили мнѣ вотъ въ этомъ самомъ кабинетѣ, что купецъ — сила, все прибралъ къ своимъ рукамъ...

— Посмотримъ, кто кого пересилитъ... Тутъ умъ надо, а не капиталы.

— Умъ!.. Но, Андрей Дмитричъ... къ чему же доводить себя?..

— Да вѣдь я уже подъ сюркупомъ... Обязался подпиской о невыѣздѣ...

— Что же вы теперь дѣлаете? Какія мѣры?

Пирожковъ разстроенно глядѣлъ на Палтусова. Тотъ пожалъ ему руку.

— Добрая вы душа, сочувственная. Не бой-

тесь. Я волноваться не желаю. Съ адвокатомъ я видѣлся. Выбралъ не краснобая, а честнаго чудака... Я вижу... вамъ хочется подробностей. Зачѣмъ копаться въ этихъ дрязгахъ? Для меня это партія въ шахматы... На одномъ осѣкся, на другомъ выплыву!..

Что-то новое слышалось Пирожкову въ звукахъ голоса Палтусова. Ему сдѣлалось не по себѣ. Точно онъ попалъ въ болото и нога ступаетъ на зыбкую кочку.

— Ха, ха, ха! — разразился Палтусовъ. — Полноте... Говорю, выплыву. А если вы увидите, что я въ этой кулаческой Москвѣ самъ позапылился — вы забудете, что у васъ былъ такой пріятель.

— Ну вотъ, ну вотъ! — возразилъ Пирожковъ, всталъ и въ недоумѣніи заходилъ по кабинету.

Палтусовъ посмотрѣлъ на стѣнные часы.

— Иванъ Алексѣичъ! — окликнулъ онъ...— Знаете что, не засиживайтесь. Я, по моимъ соображеніямъ, жду сегодня архангеловъ.

— Какихъ?

— Слѣдователя или полицію. Уходите. Коли надо будетъ куда-нибудь съѣздить, къ адвокату, что ли — дамъ вамъ знать; — только не стѣсняйтесь... Прямо откажите.

— Полноте! — вырвалось у Пирожкова теплой нотой.

Онъ рѣшительно не зналъ, какъ ему говорить съ пріятелемъ. Черезъ пять минутъ онъ вышелъ.

На улицѣ онъ перебиралъ про себя, какое чувство возбуждаетъ въ немъ Палтусовъ, и не могъ отвѣтить, не могъ сказать: „нѣтъ, онъ честенъ, это — разъяснится“.

Ему показалось, на поворотѣ къ Чистымъ Прудамъ, что въ пролеткѣ проѣхалъ полицейскій офицеръ со статскимъ.

XVII.

Больше трехъ недѣль, какъ Анна Серафимовна ничего не слыхала о Палтусовѣ. Она спрашивала Тасю. Та знала только, что онъ куда-то уѣхалъ... Надо было рѣшиться — разрывать или нѣтъ съ мужемъ. Рубцовъ продолжалъ стоять за разрывъ. Голова уже давно говорила ей, что она промахнулась, что она только себя разоритъ, если будетъ завѣдывать дѣлами Виктора Мироныча.

Но не одни дѣла. Когда же наступитъ полная законная воля? Неужели обречь себя на вѣчное вдовство или махнуть на все и жить себѣ съ „дружкомъ“. Да гдѣ онъ, этотъ дружокъ? И его нѣтъ!

За эти дни она исхудала, подъ глазами круги, во рту гадко, всю поводитъ. Но она не хочетъ поддаваться никакой „лихой болѣсти“. Не таковская она!

Анна Серафимовна собралась ѣхать въ амбаръ. Вошла Тася въ шляпѣ и кофточкѣ. Это не былъ еще ея часъ.

— Вы слышали,— выговорила она съ разстановкой: — Андрей Дмитричъ...

Станицына поблѣднѣла. Сердце у ней точно совсѣмъ пропало.

— Что?

— Посадили его.

— Посадили!..

Анна Серафимовна не могла придти въ себя.

— За политическое?

— Нѣтъ.

Тася замялась,

— По какому же дѣлу?

— Я не знаю хорошенько... Говорятъ про... растрату какую-то... Послѣ смерти Нѣтовой открыли...

— Послѣ Нѣтовой?

Она все сообразила. Но быть не можетъ. Это не такой человѣкъ!

Рука ея протянулась къ Тасѣ. Онѣ обнялись. Анна Серафимовна поцѣловала ее горячо.

— Это такъ что-нибудь,— порывисто заговорила она.— Онъ не могъ...

Обѣ сѣли.

Тася прильнула къ ней. Ей захотѣлось признаться этой „купчихѣ" въ томъ, что̀ до тѣхъ поръ она считала неловкимъ разсказывать.

Анна Серафимовна узнала, что Палтусовъ помогалъ семейству Долгушиныхъ еще при жизни матери. Про себя Тася умолчала.

— Вотъ видите,— успокоивала и самое себя

Станицына: — такой человѣкъ не могъ! Гдѣ же онъ сидитъ?

— Я не знаю, — пристыженно отвѣтила Тася.

— Надо узнать...

Анна Серафимовна разспросила, гдѣ живетъ Палтусовъ, и приказала подавать экипажъ.

— Вы оставайтесь, — сказала она Тасѣ: — подождите меня...

— Мнѣ бы надо, — тихо выговорила Тася.

Она чувствовала, какъ „барышня" проснулась въ ней въ эту минуту. Боится она разыскивать, гдѣ сидитъ ея родственникъ, боится полиціи совершенно такъ, какъ ея старушки, чуть дѣло запахнетъ хоть городовымъ. А вотъ такая купчиха не боится... Она любитъ... она можетъ и спасти его, — пожалуй, и въ Сибирь бы пошла за нимъ... Но стóитъ ли онъ этого? Поручиться нельзя.

Тася покраснѣла. Что же это такое? Онъ помогаетъ ей и старушкамъ; а она точно сейчасъ же готова выдать его.

— Анна Серафимовна, — придержала она Станицыну въ залѣ: — вы не подумайте, что я такая гадкая... безсердечная... Вотъ вы — посторонняя, и такъ тепло къ нему относитесь... А мнѣ бы слѣдовало...

— Я узнаю, я узнаю, — повторяла Станицына, идя къ лѣстницѣ.

По лѣстницѣ поднимался Рубцовъ. Онъ заѣхалъ больше для Таси, отправляясь на фабрику.

— Сеня,— сказала ему Станицына,— побудь съ Таисіей Валентиновной — мнѣ къ спѣху...

Онъ замѣтилъ большую перемѣну въ ея лицѣ и успѣлъ спросить у ней на лѣстницѣ:

— Что, иль опять отъ муженька супризецъ?

— Нѣтъ, не то,— отвѣтила она и быстро начала сходить внизъ.

— Что такое? — спросилъ Рубцовъ Тасю.

Рубцовъ и Тася проходили залой.

Тася не знала, говорить ли ей... Это можетъ повредить Палтусову... Но вѣдь она сказала уже Станицыной. А Рубцовъ — добрый, въ эти двѣ недѣли они сошлись, точно родные.

Въ гостиной она сѣла на то мѣсто, гдѣ обыкновенно читала Аннѣ Серафимовнѣ, и состроила принужденную улыбку.

— Да вы полноте-съ, — началъ шутливо Рубцовъ: — мы хоть лыкомъ шиты, а понимаемъ... не томите.

Тася передала „слухъ" про арестъ Палтусова.

— И сестричка кинулась куда же-съ?

— Не знаю!

— Вотъ что,— значительно выговорилъ Рубцовъ и отошелъ къ окну.

Тася молчала. Онъ нѣсколько разъ поглядѣлъ на нее.

Ей тяжело было начинать разговоръ о Палтусовѣ.

XVIII.

Рубцовъ все еще стоялъ у окна, за штофной портьерой.

Тася сидѣла на пуфѣ, въ трехъ шагахъ отъ него.

— Вамъ-то что же особенно убиваться?

— Семенъ Тимоѳеичъ... вы не знаете...

Она не договорила.

— Что же такое именно не знаю?

— А то, что...

Опять у нея слово стало въ горлѣ.

— На счетъ этого... Палтусова? Что же тутъ знать?.. И предвидѣть, мнѣ кажется, было возможно. Человѣкъ крупнаго мѣста не имѣлъ. Довѣріе къ себѣ внушилъ именитой коммерціи-совѣтницѣ, денежками ея поживился... Такая нынче мода... вы извините, что я такъ про вашего родственника... А, можетъ, и понапрасну.

— Понапрасну? — повторила Тася и подбѣжала къ нему. — Вы думаете?

— Какъ же я могу знать въ точности, Таисія Валентиновна?.. Повѣтріе это... всѣ этимъ занимаются. И господа дворяне, и предсѣдатели земскихъ управъ, и адвокаты... а о кассирахъ такъ и говорить совѣстно!

— Вотъ видите, Семенъ Тимоѳеичъ, — начала смущенно Тася... — Я бы должна была ѣхать къ нему...

— Да, пожалуй, онъ въ секретѣ сидитъ, такъ и не пустятъ.

— Анна Серафимовна поѣхала же.

— Ужь это ихъ дѣло...

— Я — должна была,— повторила Тася. — Но очень ужь мнѣ показалось гадко... еслибъ еще онъ что-нибудь другое...

— Зарѣзалъ бы, примѣрно.

— Ахъ, вы все шутите... Чтожь, страсть можетъ такъ налетѣть на человѣка... а то вѣдь... это все равно что... украсть.

— Не далеко лежитъ отъ кражи.

— Вотъ видите... Только мнѣ бы не надо было такъ говорить. Вѣдь Палтусовъ, — она понизила голосъ, — поддерживалъ меня...

— Васъ? — переспросилъ Рубцовъ.

— И не меня одну, Семенъ Тимоѳеичъ, и старушекъ моихъ...

Ей уже не было стыдно изливаться передъ купчикомъ. Она разсказала ему всю свою исторію... Старушки живутъ теперь въ одной комнаткѣ, въ нумерахъ; содержаніе ихъ обходится рублей въ пятьдесятъ... эти деньги давалъ Палтусовъ. Да платилъ еще за ея уроки.

— Да вы чему же учитесь? — освѣдомился Рубцовъ и опустилъ голову.

Онъ уже сидѣлъ около Таси.

Она ему разсказала опять про свою страсть къ театру. Въ консерваторію поступать было уже поздно, сначала она ходила къ актрисѣ Грушевой; но Палтусовъ и его пріятель Пи-

рожковъ отсовѣтовали. Да она и сама видѣла, что въ обществѣ Грушевой ей не слѣдуетъ быть. Беретъ она теперь уроки у одного пожилаго актера. Онъ женатый, держитъ себя съ ней очень почтительно, человѣкъ начитанный, обѣщаетъ сдѣлать изъ нея актрису.

Глаза Таси заискрились, когда она заговорила о своемъ „призваніи". Рубцовъ слушалъ ее, не поднимая головы, и все подкручивалъ бороду. Голосокъ ея такъ и лѣзъ ему въ душу... Дѣвчурочка эта не даромъ встрѣтилась съ нимъ. Нравится ему въ ней всё... Вотъ только „театральство" это... Да пройдетъ!.. А кто знаетъ: оно-то самое, быть можетъ, и дѣлаетъ ее такой „трепещущей"... Сердца добраго, въ бѣдности, тяготится теперь тѣмъ, что и поддержка, какую давалъ родственникъ, оказалась не изъ очень-то чистаго источника.

— Послушайте, голубушка, — Рубцовъ въ первый разъ такъ назвалъ ее и взялъ ее за руку.— Вы не тормошите себя... Вы видите, какъ сестричка васъ полюбила... Что же съ нами чиниться... Понимаю я, „дворянское дитё".

И онъ тихо разсмѣялся.

— Была, Семенъ Тимоѳеичъ, была. А теперь ничего мнѣ не надо. Только бы старушкамъ моимъ кусокъ хлѣба и...

— Театръ? — подсказалъ Рубцовъ.

— Да, да! — точно вдохнувъ въ себя, выговорила Тася.

— А вы вотъ что мнѣ скажите,— почти шепотомъ спросилъ Рубцовъ: — какъ этотъ вашъ родственникъ, можетъ ли воспользоваться хоть бы теперь увлеченіемъ сестрички? А она таки увлечена, это вѣрно.

— Я не знаю, Семенъ Тимоѳеичъ, вотъ въ томъ-то и бѣда, что мы въ нашемъ барскомъ кругу ничего не знаемъ... Никто насъ не учитъ людей разбирать... Деньги-то его, что онъ намъ давалъ... были, пожалуй, чужія...

— Ну, это еще неизвѣстно. Вѣдь онъ навѣрно получалъ не мало... агентомъ, кажется, былъ у того Калакуцкаго, подрядчика, что застрѣлился недавно.

— Все-таки...

Тасѣ сдѣлалось еще тяжелѣе.

— Полноте,— громко и весело сказалъ Рубцовъ.— Не обижайте насъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, все дворянскій-то свой гоноръ соблюдаете... Мы друзья ваши... это лучше родственниковъ. Только чуръ ужь не считаться ни съ сестричкой, ни со мной... А жалко вамъ этого Палтусова, повидайтесь съ нимъ, посмотрите, почувствуйте: каковъ онъ на самомъ дѣлѣ.

Рубцовъ всталъ и еще разъ протянулъ ей руку. Тася, слушая его, притихла. Да, съ этимъ человѣкомъ стыдно считаться. Генеральская дочь давно умерла въ ней.

XIX.

Въ частномъ домѣ ***— ской части наступили послѣобѣденные сумерки.

Шестой часъ. Въ узкой комнаткѣ, съ однимъ окномъ, на волосяной кушеткѣ, лежитъ Палтусовъ. Третій день проводитъ онъ подъ арестомъ. Наканунѣ, утромъ онъ писалъ Пирожкову и просилъ его побывать у адвоката, Пахомова, считавшагося, кромѣ своей уголовной практики, и хорошимъ „цивилистомъ". Передъ обѣдомъ адвокатъ былъ у него. Они проговорили больше часа. Прощаясь, адвокатъ сказалъ ему:

— Не знаю, могу ли я взять на себя ваше дѣло. Не замедлю дать отвѣтъ.

Палтусовъ изложилъ ему свою систему защиты. Тотъ отмалчивался или издавалъ неопредѣленные звуки. Это совѣщаніе не удовлетворило арестанта.

Арестантъ!.. Онъ довольно спокойно думалъ о томъ, гдѣ онъ „содержится", что̀ ожидаетъ его въ недальнемъ будущемъ: — дѣло перешло уже въ руки обвинительной власти. Допросъ слѣдователя завтра утромъ. Къ нему онъ приготовленъ.

Комнатка, гдѣ онъ лежитъ,— дворянская. Собственно тутъ дежурятъ квартальные. Но въ настоящей арестантской камерѣ все и безъ

того занято. Съ утра передъ нимъ проходила жизнь „съѣзжей". Онъ слышалъ изъ своей камеры голоса письмоводителя, околоточныхъ, городовыхъ, просителей. Какая-то баба, должно быть, въ передней, выла добрыхъ два часа. Частный приходилъ раза три. Съ Палтусовымъ онъ обошелся мягко. Они оказались въ шапочномъ знакомствѣ по Большому театру. Указывая на него дежурному квартальному, онъ употребилъ выраженіе „онѣ". Квартальный — бывшій драгунскій поручикъ — пришелъ покурить, заспанный, даже не полюбопытствовалъ, по какому дѣлу сидитъ Палтусовъ.

Зала квартиры частнаго примыкала къ канцеляріи. Палтусовъ слышалъ, какъ маіоръ ходилъ, звякая шпорами, и напѣвалъ изъ „Корневильскихъ колоколовъ":

„Взгляните здѣсь, смотрите тамъ:
„Нравится-ль все это вамъ?"

Когда умолкла вся утренняя суета, Палтусовъ заглянулъ въ опустѣлую канцелярію. У одного изъ столовъ сидѣлъ худой блондинъ, прилично одѣтый, вѣжливо ему поклонился, всталъ и подошелъ къ нему. Онъ самъ сказалъ Палтусову, что содержится въ томъ же частномъ домѣ; но приставъ предоставилъ ему письменныя занятія и ему случается за отсутствіемъ квартальнаго или околоточнаго распоряжаться.

— А по какому вы дѣлу? — спросилъ его Палтусовъ.

— Я — литографъ... Привлеченъ... по подозрѣнію на счетъ билетовъ, оказавшихся подложными.

И онъ сейчасъ же протянулъ Палтусову руку и сказалъ:

— Позвольте быть знакомымъ.

Надо было пожать руку. Литографъ вызвался заботиться о томъ, чтобы Палтусову служилъ получше солдатъ, во-время носилъ самоваръ и ѣду. Пришлось еще разъ пожать руку товарищу-арестанту.

На кушеткѣ, въ надвигающихся сумеркахъ, Палтусовъ лежалъ съ закрытыми глазами, но не спалъ. Онъ не волновался. Фактъ на-лицо. Онъ въ части, слѣдствіе начато, будетъ дѣло. Его оправдаютъ или пошлютъ въ „Сибирь тобольскую", какъ острилъ одинъ студентъ, съ которымъ онъ когда-то читалъ лекціи уголовнаго права.

Палтусовъ впервые проходилъ въ головѣ свою собственную исторію и спрашивалъ себя: полно, было ли у него когда въ душѣ хоть что-нибудь завѣтное? Кто ему могъ передать нехитрую, ограниченную честность? Отецъ — игрокъ и женолюбъ. Про мать всѣ знали, что она никѣмъ не пренебрегала... даже изъ дворовыхъ... Еще удивительно, какъ изъ него вышелъ такой „порядочный человѣкъ". Да, онъ порядочный!.. И съ сердцемъ, и не трусъ... Увлекался же

Сербіей, и тамъ велъ себя куда лучше многихъ. На войнѣ въ Болгаріи не сдѣлалъ же ни одной гадости. Возмущался и воровствомъ, и нагайками, и адъютантскимъ шелопайствомъ, и безсердечіемъ разныхъ пошляковъ къ солдату... Не можетъ безъ слезъ вспомнить обмороженныя ноги цѣлыхъ батальоновъ...

А вотъ теперь ему не стыдно своего „случая", а просто досадно. Если его что можжитъ, такъ — неудача, сознаніе, что какой-нибудь купеческій „gommeux", глупенькій господинъ Леденщиковъ, столкнулся съ нимъ, заставляетъ его теперь готовиться къ уголовному процессу, губитъ, хоть и на время, его кредитъ.

И все горче и горче дѣлалось ему только отъ этого. За себя онъ не боялся. Но, быть можетъ, съ процесса-то и пойдетъ онъ полнымъ ходомъ?.. Сначала строгіе люди будутъ сторониться... Зато масса... Кто же бы на его мѣстѣ изъ людей, бойкихъ и чуткихъ, не воспользовался? Въ комъ заложенъ несокрушимый фундаментъ?.. Даже и разбирать смѣшно!..

Къ нему постучались. Изъ полуотворенной двери показалась бѣлокурая голова „литографа".

— Къ вамъ посѣтительница.

Палтусовъ быстро всталъ съ кушетки.

— Дама? — спросилъ онъ и подумалъ: „вѣрно, Тася".

— Да-съ, вы не извольте безпокоиться. Приставъ приказалъ.

— Благодарю васъ.

Голова скрылась. Изъ-за двери слышался легкій шорохъ.

XX.

Палтусовъ вышелъ въ канцелярію. У стола, ближайшаго къ его двери, сидѣла дама. Онъ не сразу въ полу-темнотѣ узналъ Станицыну.

— Анна Серафимовна! — тихо вскрикнулъ онъ.

Она встала въ большомъ смущеніи. Палтусовъ нагнулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.

Вуалетки Станицына не поднимала. Сквозь нее, въ сумеркахъ, виднѣлось милое для нея лицо Палтусова. По туалету онъ былъ тотъ же: и воротнички чистые, и короткій, моднаго покроя пиджакъ. Только блѣденъ, да глаза потеряли половину прежняго блеска.

— Хворали? — спросила она, и голосъ ея дрогнулъ.

— Въ Петербургѣ, да... Садитесь, пожалуйста... Только... здѣсь такъ темно.

— Ничего,— сказала она.

Онъ не смущенъ. Лицо тихо улыбается. Ему совсѣмъ не стыдно, что его посадили на „съѣзжую". Такъ она и ожидала. Не можетъ быть, чтобы онъ былъ виноватъ!..

Въ эту минуту она и думать забыла про то, что́ случилось въ каретѣ, послѣ бала Рогожиныхъ. Ей все равно, что́ бы и какъ бы онъ объ ней ни думалъ. Не могла она не пріѣхать.

А ее не сразу пустили. Да и самой-то не очень ловко было упрашивать пристава.

— Онъ вамъ родственникъ, сударыня? — спрашиваетъ.

Лгать она не хотѣла. Приставъ усмѣхнулся.

Долго держалъ Палтусовъ ея руку. Она тихо высвободила и спросила:

— Зачѣмъ же васъ сюда? Нешто нельзя было на поруки?

— Залогъ надо...—спокойно отвѣтилъ онъ:— а слѣдователь требуетъ тридцать тысячъ. У меня такихъ денегъ нѣтъ...

— Андрей Дмитричъ...— чуть слышно вымолвила Станицына...— позвольте мнѣ...

Она сидитъ почти безъ капитала. Но такія-то деньги сейчасъ найдутся. Ни одной секунды она не колебалась... Вся разсчетливость вылетѣла.

Онъ молча пожалъ ей руку. Когда онъ заговорилъ, голосъ его дрогнулъ отъ искренняго чувства.

— Славная вы, Анна Серафимовна, я вамъ всегда это говорилъ... Вы думали, быть можетъ, что я такъ только, чувствительными фразами отдѣлывался?... Спасибо.

— Скажите,—продолжала она въ большомъ смущеніи: — куда поѣхать, кому внести?

— Полноте, не нужно,— остановилъ онъ ее и выпустилъ ея руку.— Залогъ можно бы было найдти. Я было и думалъ сначала, да разсудилъ, что не стоитъ...

— Какже не стоитъ?

Она подняла голову и оглянулась.

— Мнѣ это зачтется.

— Какъ зачтется, Андрей Дмитричъ?

— Послѣ... когда кончится дѣло.

— Дѣло! — повторила Станицына.

Его голосъ такъ и лился къ ней въ душу, и стало его нестерпимо жаль.

— Андрей Дмитричъ... скажите... сколько вся сумма... Можно будетъ достать... скажите.

Щеки ея пылали.

Палтусовъ взялъ ее за обѣ руки.

— Спасибо! — горячо выговорилъ онъ. — Ничему это теперь не поможетъ... Дѣло началось... уголовнымъ порядкомъ... Внесу я или нѣтъ, что́ слѣдуетъ, прокурорскій надзоръ не прекратитъ дѣла... Да еслибъ и не поздно было... Анна Серафимовна, я бы...

Онъ немного помолчалъ; но потомъ разсказалъ ей, что ему пришла мысль ѣхать къ ней послѣ визита Леденщикова... Онъ зналъ, что она способна помочь ему.

— Не могу я отъ женщинъ, даже отъ такихъ, какъ вы, принимать денежныхъ услугъ.

Эти слова не удивили ее. Такой человѣкъ и долженъ этакъ говорить и чувствовать. Ей сдѣлалось вдругъ легко. Она вѣрила, что его оправдаютъ. Украсть онъ не можетъ. Просто захотѣлъ выдержать характеръ и выдержитъ

Лицо ея Виктора Мироныча представилось ей. Тотъ — на волѣ — именитый коммерсантъ,

съ принцами крови знакомъ; а этотъ — въ части сидитъ „колодникомъ“... А нешто можно сравнивать? Будь она свободна, скажи онъ слово, она пошла бы за нимъ въ Сибирь...

— Вы довольны Тасей? — спросилъ онъ ее, видимо желая перемѣнить разговоръ.

— Очень!

Анна Серафимовна начала ее расхваливать и намекнула Палтусову, что ей извѣстно, кто поддерживалъ Тасю и ея старушекъ.

— Вотъ что, голубушка,— сказалъ ей Палтусовъ.— Она дѣвушка хорошая; но дворянское-то худосочіе все-таки въ ней сидитъ. Теперь ей непріятно будетъ принимать отъ меня... Сдѣлайте такъ, чтобы она у васъ побольше заработала... Окажите ей кредитъ... А всего лучше выдайте замужъ... Это будетъ вѣрнѣе сцены... А потомъ счетецъ мнѣ представьте,— кончилъ онъ весело:— когда я опять полноправнымъ гражданиномъ буду!..

И это тронуло ее. Она встала и начала прощаться съ нимъ.

— Пускай Тася не волнуется — ѣхать ей ко мнѣ или нѣтъ,— сказалъ Палтусовъ, провожая Станицыну до передней: — ко мнѣ ей не надо ѣздить... Это еще успѣется. Только такія, какъ вы,— прибавилъ онъ и крѣпко пожалъ ей руку:— умѣютъ навѣщать „бѣдныхъ заключенныхъ“.

И онъ тихо разсмѣялся. Станицына уѣхала, глубоко тронутая.

XXI.

— Обождите,— сказала Пирожкову горничная, смахивавшая на гувернантку, вводя его въ кабинетъ присяжнаго повѣреннаго Пахомова.

Онъ уже во второй разъ заѣзжалъ къ нему— все по просьбѣ Палтусова. Въ первый разъ онъ не засталъ адвоката дома и передалъ ему въ запискѣ просьбу Палтусова: быть у него, если можно, въ тотъ же день. Теперь Палтусовъ опять поручилъ ему добиться отвѣта: беретъ онъ на себя дѣло или нѣтъ?

Жутко себя чувствуетъ Иванъ Алексѣичъ. Всего непріятнѣе ему то, что онъ самъ не можетъ разъяснить себѣ, какъ онъ собственно относится къ своему пріятелю? Считаетъ ли его жертвой или подозрѣваетъ, или просто увѣренъ въ растратѣ? Палтусовъ говорилъ съ нимъ въ такомъ тонѣ, что нельзя было не подумать о растратѣ. Только пріятель его смотрѣлъ на нее по-своему.

Но какъ отвернуться отъ него, не исполнить его просьбы, не заѣхать лишній разъ къ адвокату?..

Пирожковъ осмотрѣлся. Онъ стоялъ у камина въ небольшомъ, довольно высокомъ кабинетѣ, кругомъ установленномъ шкапами съ книгами. Все смотрѣло необычайно удобно и размѣренно въ этой комнатѣ. На свободномъ кускѣ одной изъ боковыхъ стѣнъ висѣло нѣ-

сколько портретовъ. За письменнымъ, узкимъ столомъ — видимо дѣланнымъ по вкусу хозяина, — помѣщался родъ шкапчика съ перегородками для разныхъ бумагъ. Комната дышала уютомъ тихаго рабочаго уголка, но мало походила на кабинетъ адвоката-дѣльца.

Въ каминѣ тлѣли угли. Иванъ Алексѣичъ любилъ грѣться. Онъ стоялъ спиной къ огню, когда вошелъ хозяинъ кабинета, человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, средняго роста. Свѣтлорусые волосы, опущенные широкими прядами на виски, удлиняли лицо, смотрѣвшее кротко своими скучающими глазами. Большой носъ и подстриженная бородка были чисто русскіе; но держался адвокатъ, въ длинноватомъ темно-сѣромъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ, точно иностранецъ-докторъ.

— Покорно прошу,— пригласилъ онъ Пирожкова на диванъ высокимъ теноровымъ голосомъ.

Пирожковъ попросилъ отвѣта по дѣлу Палтусова.

— Видите ли, — заговорилъ адвокатъ искренно и точно разсуждая съ самимъ собой: — я бы взялся защищать господина Палтусова, еслибы онъ не насиловалъ мою совѣсть.

— Вашу совѣсть?

— Да-съ, мою совѣсть. Мнѣ вовсе не нужно проникать въ глубину души подсудимаго. Это метода опасная... Скажетъ онъ мнѣ всю правду — хорошо. Не скажетъ — можно и безъ этого обой-

тись. Но если онъ мнѣ разсказалъ факты, то мнѣ же надо предоставить и освѣщать ихъ; такъ ли я говорю? — кротко спросилъ онъ.

— Безусловно, — подтвердилъ Пирожковъ.

— Вашъ знакомый можетъ служить типическимъ знаменіемъ времени...

— Въ какомъ же смыслѣ? — спросилъ Пирожковъ.

— Онъ смотритъ на себя, какъ на героя... У него нѣтъ ни малѣйшаго сознанія... неблаговидности его поступка... Онъ требуетъ отъ меня солидарности съ его очень ужь широкимъ взглядомъ на совѣсть.

Отъ этихъ словъ адвоката Ивана Алексѣича начало коробить.

— Знаменіе времени, — повторилъ Пахомовъ. — Жажда наживы, злость бѣдныхъ и способныхъ людей на купеческую мошну... Это неизбѣжно; но нельзя же выставлять себя на судѣ героемъ потому только, что я на чужія деньги пожелалъ составить себѣ милліонное состояніе...

— А если онъ будетъ оправданъ? — полувопросительно выговорилъ Пирожковъ.

— Очень можетъ быть, но только при моей системѣ защиты — врядъ-ли.

„Странный адвокатъ", подумалъ Пирожковъ.

— Можно добиться легкаго наказанія, да и то софизмами, на которые я не пойду... Вашъ знакомый обратился не къ тому, къ кому слѣдовало.

По унылому лицу адвоката прошла улыбка.

— Какъ общественный симптомъ, — продолжалъ онъ:— это меня нисколько не удивляетъ. Такъ и слѣдуетъ быть среди той нравственной анархіи, въ какой мы живемъ... Господинъ Палтусовъ вовсе не испорченнѣе другихъ... Вы, вѣроятно, и сами это знаете... У него есть даже много... разныхъ points d'honneur... Онъ вѣдь бывшій военный?

— Да, служилъ въ кавалеріи, — кратко отвѣтилъ Пирожковъ: — потомъ слушалъ лекціи.

— На юридическомъ? — не безъ ироніи освѣдомился Пахомовъ.

— На юридическомъ.

— Самая опасная смѣсь... Послѣ практики въ законномъ убійствѣ людей — хаосъ нелѣпыхъ теорій и казуистики... Естественныя науки дали бы другой оборотъ мышленію. А впрочемъ, у насъ и онѣ ведутъ только къ первобытной естественности правилъ.

Онъ тихо разсмѣялся, молча потеревъ руки.

Пирожковъ всталъ и, пожавъ ему руку, у дверей спросилъ:

— Такъ и передать Палтусову?

— Такъ и передайте-съ... Насиловать свою совѣсть — не допускаю.

Съ педантической вѣжливостью проводилъ онъ Пирожкова до лѣстницы.

XXII.

Арестанта Пирожковъ засталъ за обѣдомъ, передъ грязнымъ столикомъ у окна.

Ему принесли ѣду изъ сосѣдняго трактира. Она состояла изъ широкаго, во всю тарелку, бифштекса, съ жирной подливкой, хрѣномъ и большими картофелинами, подоваго пирога и пары огурцовъ. На столѣ стояла бутылка вина.

Палтусовъ начиналъ поправляться въ лицѣ.

— Сплю, какъ сурокъ, — встрѣтилъ онъ Пирожкова: — и странное дѣло — совсѣмъ нѣтъ охоты къ книгѣ... Читать просто не хочется!.. Ну, что-же?

Пирожковъ замялся.

— Отказывается?

— Да.

— Недосугъ?

По мягкости, Иванъ Алексѣевичъ хотѣлъ было солгать; но что-то его точно подтолкнуло.

— Нѣтъ, — мягко, но безъ уклончивости отвѣтилъ онъ.

— Противъ его принциповъ? — уже не тѣмъ голосомъ спросилъ Палтусовъ.

— Да... онъ говоритъ, что не можетъ принять вашей системы защиты.

— А другой я не могу допустить.

— Однако, позвольте, Андрей Дмитріевичъ, — заговорилъ Пирожковъ, подсаживаясь къ нему

и понизивъ голосъ: — одно изъ двухъ: или вы признаете фактъ, или нѣтъ.

— Какой фактъ?

— Фактъ... который вамъ вмѣняютъ?

— Я сказалъ адвокату то же, что и вамъ,— горячѣе продолжалъ Палтусовъ.— А ему я прибавилъ: если бъ я былъ и виноватъ, то предварительнаго заключенія — вѣдь меня могутъ и въ острогъ перевести — одного достаточно, чтобы произвести уравненіе — слишкомъ даже достаточно!..

Иванъ Алексѣевичъ показалъ своей миной, что онъ не совсѣмъ согласенъ.

— Да какъ же?..— спросилъ, поднимая голову, Палтусовъ.— Вѣдь я могу быть оправданъ!.. И буду оправданъ. Но еслибъ и была признана нѣкоторая моя виновность... развѣ мало просидѣть нѣсколько мѣсяцевъ?

Палтусовъ бросилъ салфетку на столъ, всталъ и заходилъ въ другомъ углу узкой комнаты. Пирожковъ поглядывалъ на него и прислушивался къ звукамъ его голоса. Въ нихъ пробивалось больше вѣры, чѣмъ раздраженія.

— Добрѣйшій Иванъ Алексѣевичъ,— продолжалъ Палтусовъ: — вы человѣкъ святой, знаете своихъ моллюсковъ или этнографію Фиджійскихъ острововъ; а я человѣкъ дѣла. Позвольте хоть разъ въ жизни на чистоту открыться вамъ... А потомъ вы можете и плюнуть на меня, сказать: „воръ Палтусовъ и больше ничего!“ Не могу я не бороться съ ку-

ческой мошной!.. Безъ этого въ моей жизни смыслу нѣтъ.

— Будто... — вставилъ Пирожковъ.

— Что-же!.. Вамъ пріятнѣе было бы, чтобъ я пошелъ въ чинушки, губернатора добился черезъ десять лѣтъ? Тутъ я идею провожу... не улыбайтесь — идею... Все дѣло въ томъ: замараюсь или не замараюсь. Если не замараюсь — ладно!.. И заставлю купецкую утробу признать сметку, какая у меня здѣсь значится.

Онъ ударилъ себя по лбу, послѣ чего подошелъ къ Пирожкову и сѣлъ на кушетку.

— Какъ вамъ угодно, Иванъ Алексѣевичъ, такъ и принимайте то, что́ я вамъ сейчасъ сказалъ... Я васъ безпокоить не стану... Будетъ вашей милости угодно, — онъ весело улыбнулся: — зайдете иногда за справочкой... А этому квакеру, — вотъ какіе нынче адвокаты завелись, — я самъ напишу, что въ услугахъ его не нуждаюсь... Возьму какого-нибудь замухрышку... Вѣдь это я на первыхъ порахъ только волновался... Въ законѣ не твердъ... А теперь мнѣ и не нужно уголовной защиты.

— Какъ же не нужно? — наивно воскликнулъ Пирожковъ.

— Меня незаконно арестовали. Поусердствовали слѣдователь и прокуроръ. Они меня подвели подъ статью тысячу семьсотъ одиннадцатую... А тутъ простой гражданскій искъ.

— Такъ вы надѣетесь... попасть на свободу?

— Положительно надѣюсь... Мнѣ хорошій

цивилистъ нуженъ, кляузникъ... Пахомовъ плохъ... Все это я обработаю... Ну, подержатъ меня еще недѣльку, но не больше... Судебная палата не допуститъ... У меня уже былъ здѣсь одинъ баринъ... А разъ дѣло — на гражданской почвѣ, я выплылъ. Это несомнѣнно. Тогда я въ правѣ требовать времени для реализаціи того, что́ я пустилъ въ оборотъ, выгодный для моей покойной довѣрительницы...

По лицу Пирожкова видно было, что онъ плохо понимаетъ все это. Палтусовъ взялъ его на руку и потрясъ.

— Для васъ это тарабарская грамота!.. Видите — я трусу не праздную... Не судите меня очень строго: я чадо своего вѣка. Каждому своя дорога, Иванъ Алексѣевичъ!..

Продолжать разговоръ Пирожкову сдѣлалось неловко. Палтусовъ это понялъ и самъ выпроводилъ его черезъ нѣсколько минутъ. Арестанта жалѣть было нечего: онъ увѣренъ въ томъ, что его выпустятъ... Можетъ, и такъ! „Статья 1711“ осталась въ памяти Ивана Алексѣевича. Онъ даже позавидовалъ пріятелю, видя въ немъ такую бойкость и увѣренность въ „идеѣ“ своей житейской борьбы.

XXIII.

Въ два часа Пирожковъ долженъ былъ попасть въ университетъ, на диспутъ. Сколько

времени не заглядывалъ онъ на университетскій дворъ... Своей жизнью онъ рѣшительно пересталъ жить. Зима прошла поразительно скоро. И въ результатѣ ничего... Работалъ ли онъ въ кабинетѣ счетомъ десять разъ? Врядъ-ли... Даже чтеніе не шло по вечерамъ... Безпрестанныя помѣхи!..

Этотъ диспутъ служилъ ему горькимъ напоминаніемъ. Онъ встрѣчалъ магистранта въ одномъ студенческомъ кружкѣ. По крайней мѣрѣ лѣтъ на пять старше онъ его, по выпуску. И вотъ сегодня его магистерскій диспутъ... И книгу написалъ по политической наукѣ, гдѣ не такъ велика литература, не нужно столько корпѣть надъ матерьялами.

И магистрантъ — изъ купцовъ. Вотъ и подите! Дворяне, культурные люди, люди расы, съ другимъ содержаніемъ мозга, и не могутъ стряхнуть съ себя презрѣнной инертности... А тутъ — тятенька торговалъ рыбой или „пунцовымъ“ товаромъ какимъ-нибудь, или пастилу мастерилъ, а сынокъ пишетъ монографіи о средневѣковыхъ цехахъ или объ ученіи Гуго Гроція.

Обидно!

На дворѣ новаго университета, съ боку, у подъѣзда стояло три кареты и штукъ десять господскихъ саней. Вся шинельная уже была переполнена, когда Пирожковъ вошелъ въ нее. Знакомый унтеръ снялъ съ него пальто и сказалъ ему:

— Не пущаютъ!.. Набито страсть... Вотъ нешто кругомъ...

Онъ шепнулъ швейцару. Тотъ провелъ Пирожкова кругомъ, по боковой лѣстницѣ, черезъ корридоръ, ведущій въ физическую аудиторію, и тихонько впустилъ въ дверь. За колоннами уже все было полно. На скамьяхъ стояли студенты и молодыя дѣвушки. Весь помостъ, поднимающійся амфитеатромъ, усыпали головы. Ни публики передъ эстрадой, ни оппонентовъ не было видно. Позади эстрады — бѣлый большой подвижной щитъ для демонстрацій по физикѣ. На немъ выдѣлялась фигура магистранта — румянаго, коренастаго блондина, съ бородкой. Онъ уже говорилъ свою рѣчь, покачиваясь передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ. На столѣ графинъ и стаканъ.

Пирожковъ оглянулся во всѣ стороны — мѣста нѣтъ. Съ трудомъ взобрался онъ на помостъ и сталъ тутъ, держась за уголъ „парты". Поглядѣлъ онъ наверхъ, — хоры тоже усѣяны головами. Сводчатый потолокъ, расписанный поблѣднѣвшими малярными фресками, полукруглое окно, впускавшее сѣроватый свѣтъ дня, позади помоста — рѣшетка, изъ-за которой видны шкафы и разные приводы. На рѣшетку взобралось нѣсколько человѣкъ. Аудиторія неспокойна. То сзади что-нибудь упадетъ и затрещитъ, то хлопаютъ дверью, то слышится щелкъ замка, то гулъ раздается съ большой

площадки, гдѣ толпа требуетъ входа, а „субъ“ съ сторожами не пускаютъ.

Женщинъ очень много. Пирожковъ узналъ нѣкоторыхъ въ лицо, хоть и не зналъ ихъ фамилій... На скамьяхъ помоста, между студентами, сидѣли больше курсистки — такъ казалось Ивану Алексѣевичу. Внизу на креслахъ — для гостей — около самыхъ профессорскихъ вицмундировъ — дамы въ туалетахъ. Пирожковъ узналъ разныхъ господъ, извѣстныхъ всей Москвѣ: двухъ славянофиловъ, одного бывшаго профессора, трехъ-четырехъ адвокатовъ, толстую даму-писательницу, другую — худую, въ короткихъ волосахъ, ученую дѣвицу съ докторскимъ дипломомъ. Заглядывая внизъ, онъ разглядѣлъ и двоихъ оппонентовъ и декана, сидѣвшаго лѣвѣе.

Рѣчь магистранта затянулась. Онъ видимо заучилъ ее наизусть и произносилъ тономъ проповѣдника, съ умышленными паузами и съ примѣсью какого-то акцента. Пирожковъ вспомнилъ, что этого купчика воспитывали по-нѣмецки.

Рѣчи похлопали, но не очень сильно. Первымъ оппонировалъ молодой толстый доцентъ, въ черномъ фракѣ. Онъ началъ мягко и держался постоянно джентльменски вѣжливыхъ выраженій; но насмѣшливая нота зазвучала, когда онъ сталъ доказывать магистранту, что тотъ пропустилъ самый важный источникъ, не зналъ, откуда писатель, изученный имъ для

диссертаціи, взялъ половину своихъ принциповъ. Доказательства полились обильно, прерываемыя взрывами короткаго смѣха самого же оппонента. Все притихло. По аудиторіи разносился только его жирный голосъ вперемежку съ этимъ короткимъ смѣхомъ. Студенты переглядывались. Лица стали оживляться. Духота еще усилилась. Тихо спрашивали у сосѣдей тѣ, кто плохо разслышалъ, что́ сказалъ оппонентъ. Гулъ на площадкѣ смолкъ. Возбужденіе умственной игры засвѣтилось на молодыхъ лицахъ. Пирожковъ почувствовалъ, что и онъ молодѣетъ. Онъ обрадовался такому настроенію.

Магистрантъ не мѣнялъ выраженія лица, только краснѣлъ и часто мигалъ. Всѣ видѣли, что въ работѣ его большой промахъ. Но онъ началъ возражать увѣренно, доказывалъ, что настоящаго пропуска нѣтъ, что матеріалы, приводимые имъ, достаточно указываютъ на его начитанность. Оппонентъ опять началъ „донимать" его, какъ выразился одинъ студентъ около Пирожкова. Огрызаться магистрантъ не смѣлъ и сдѣлался тихенькимъ. Аудиторія поняла это. Оппонентъ кончилъ нѣсколькими любезными фразами, похвалилъ изложеніе и „способность къ синтезу". Ему сильно и долго хлопали. Второй оппонентъ ограничивался мелкими замѣтками и больше смѣшилъ слушателей. Но и онъ пощипалъ магистранта.

Диспутъ кончился въ половинѣ пятаго. Про-

возглашеніе степени подняло рукоплесканія. Захлопали гораздо сильнѣе, чѣмъ ожидалъ Пирожковъ. У него внутри закопошилось недоброе чувство къ этому „купчику", удостоенному степени магистра. Развѣ онъ, Пирожковъ, не развитѣе его? А вотъ стоитъ въ толпѣ, ничѣмъ себя не заявляетъ, слушаетъ апплодисменты такому купчику, посидѣвшему лишній годъ надъ иностранными книжками. Говоритъ этотъ купчикъ туго и напыщенно, діалектики нѣтъ, таланта нѣтъ, будетъ весь свой вѣкъ пережевывать факты, добытые другими. А поди, каѳедру дадутъ. Уже кругомъ говорили студенты, что онъ куда-то приглашенъ. Каѳедра давно стоитъ пустая, а никто, видно, не разчелъ... въ адвокаты всѣ идутъ.

Туго расходились. Разомъ прорвался гулъ разговоровъ, раздались оклики, молодой смѣхъ, захлопали дверьми, застучали большими сапогами по помосту, хоры очищались. Знакомыхъ студентовъ у Пирожкова не было. Да и отсталъ онъ отъ студентства. Ему кажется, что онъ другой совсѣмъ человѣкъ. Лица, длинные волосы, рубашки съ цвѣтными воротами, говоръ, балагурство: все это стѣсняло его. Онъ точно совѣстился обратиться къ кому-нибудь съ вопросомъ.

На площадкѣ, съ чугуннымъ поломъ, передъ спускомъ по лѣстницѣ, Пирожковъ, въ густой еще толпѣ, гдѣ скучились больше дамы, столкнулся съ рослымъ блондиномъ въ большой окла-

дистой бородѣ; тотъ велъ подъ руку плотную даму, лѣтъ подъ тридцать, въ черномъ, съ энергическимъ лицомъ.

Встрѣчѣ съ ними Пирожковъ обрадовался. Это были мужъ и жена, близко стоявшіе къ университету по своимъ связямъ.

— Гдѣ вы пропадали? — спросилъ его блондинъ.

Иванъ Алексѣевичъ кратко и безпристрастно изложилъ повѣсть своего хожденія по Москвѣ. Мужъ и жена посмѣялись и пригласили его въ этотъ же вечеръ посидѣть. Магистранта они оба пощипали. Пирожкову пріятно было слышать, съ какой интонаціей жена выговорила:

— Купчикъ!

А мужъ сдѣлалъ презрительную мину и сказалъ:

— Не ахтительный!..

Они взяли съ него слово быть у нихъ вечеромъ и пошли подъ руку внизъ по двору, покрытому лужами и кучами еще не растаявшаго снѣга.

Съ годъ не бывалъ Пирожковъ въ этомъ семействѣ. Онъ зналъ, что у нихъ собирается хорошій кружокъ; кое съ кѣмъ изъ ихъ друзей онъ встрѣчался. Ему давно хотѣлось поближе къ нимъ присмотрѣться. Теперь случай выпалъ отличный.

Опять почувствовалъ себя Иванъ Алексѣевичъ университетскимъ. Съѣлъ онъ скромный рублевый обѣдъ въ Эрмитажѣ, вина не пилъ,

удовольствовался пивомъ. Машина играла, а у него въ ушахъ все еще слышались пренія физической аудиторіи. Ничто не даетъ такого чувства, какъ диспутъ, и здѣсь, въ Москвѣ, особенно. Вотъ сегодня вечеромъ, онъ по крайней мѣрѣ очутится въ воздухѣ идей, расшевелитъ свой мозгъ, вспомнитъ, какъ слѣдуетъ, что и онъ вѣдь магистрантъ.

Но вечеръ скорѣе разстроилъ его, чѣмъ одушевилъ. Собралось человѣкъ шесть-семь, больше профессора изъ молодыхъ, одинъ учитель, два писателя. Были и дамы. Разговоръ шелъ о диспутѣ. Смѣялись надъ магистрантомъ, потомъ пошли пересуды и анекдоты. За ужиномъ было шумно, но главной нотой было все-таки сознаніе, что кружки развитыхъ людей — капля въ этомъ морѣ московской бытовой жизни... „Купецъ“ раздражалъ всѣхъ. Иванъ Алексѣевичъ искренно излился и позабавилъ всѣхъ своими на видъ шутливыми, но внутренно горькими соображеніями.

„Магистрантъ“ въ немъ не воспрянулъ и послѣ этой вечеринки. О работахъ никто не говорилъ. Совсѣмъ не о томъ мечталъ онъ. Поужиналъ онъ плотно и слишкомъ много пилъ пива.

XXIV.

Весь городъ ждетъ — остается десять минутъ до полночи. По площади Большаго театра про-

лѣвѣе стоитъ въ темнотѣ. Изъ-за толпы не видно солдатъ. Слышны только скачущіе рѣзкіе звуки рожковъ на фонѣ все той же спокойной, ласкающей ухо волны большаго колокола. Поближе къ Ивану можно распознать, что колоколъ надтреснутъ. При каждомъ ударѣ языка слышно звяканье, оно сливается съ основной нотой могучаго гудѣнья и придаетъ музыкѣ колокола что-то болѣе живое.

Проходитъ еще минутъ десять. Первой вышла процессія изъ церкви Ивана Великаго, заиграло золото хоругвей и ризъ. Народъ поплылъ изъ церкви вслѣдъ за ними. Двинулись и изъ другихъ соборовъ, кромѣ Успенскаго. Опять сигнальный ударъ, и разомъ рванулись колокола. Словно водоворотъ ревущихъ и плачущихъ нотъ завертѣлся и сталъ все захватывать въ себя, расширять свои волны, потрясать слои воздуха. Жутко и весело дѣлалось отъ этой бури расходившагося металла. Показались хоругви изъ-за угла Успенскаго Собора.

Въ толпѣ, съузившей оставленную, аршина въ два, дорожку,— пробѣжала дрожь, всѣ подались впередъ. Два квартальныхъ прошли скорымъ шагомъ, приглашая податься. Головы обнажились.

Впереди два молодца, одинъ въ черной чуйкѣ, другой въ пальто, несли факелы. Хоругви держало каждую по нѣскольку человѣкъ за подвижныя, идущія въ разныя стороны,

древки. Хоругвеносцы въ галунныхъ кафтанахъ, съ позументомъ на крестцахъ. Одинъ изъ нихъ, съ широчайшей спиной, на ходу какъ-то особенно изгибался подъ тяжестью кованой хоругви. Пѣвчіе не въ очень свѣжихъ кунтушахъ — красное съ синимъ — шли попарно, со свѣчами. Въ колеблющемся яркомъ свѣтѣ мелькали стриженыя головы и худощавыя лица дискантовъ и альтовъ. Рукава кунтушей закинуты у нихъ вокругъ шеи. Псаломщики со свѣчами, діаконы, священники и архимандриты шагали попарно, потомъ группами. Заблестѣли дикиріи и трикиріи... Проплыла сѣдая борода „владыки", съ глубоко надѣтой митрой подъ возвышающимися надъ нею золотыми коваными кругами. Головой выше другихъ прошелъ молодой, еще не ожирѣлый, протодіаконъ, переваливаясь слегка на правый бокъ. Шитые мундиры генераловъ искрились поверхъ красныхъ лентъ... А тамъ повалилъ, вплотную, народъ, раздвинулъ дорожку и заставилъ стоявшихъ на пути податься назадъ.

Обошли кругомъ. Взвилась въ небо ракета... И съ кремлевской стѣны раздался грохотъ пушки. Нѣсколько минутъ не простылъ воздухъ отъ сотрясеній мѣди и пороха... Толпа забродила по площади, начала кочевать по церквамъ, спускаться и подниматься на Ивана Великаго; заслышался гулъ разговоровъ, какъ только смолкъ благовѣстъ.

У высокаго парапета площадки Ивана Великаго стояли Рубцовъ и Тася Долгушина. Они забирались и подъ колокола. Тасю сначала оглушило, но вскорѣ она почувствовала какое-то дикое удовольствіе. Глаза ея блестѣли. Съ Рубцовымъ у нихъ шло на ладъ. Они совсѣмъ ужь спѣлись.

— Посмотрите, Семенъ Тимоѳеичъ, — напрягаясь говорила она ему: — какъ это красиво...— Вотъ свѣчи стали гасить, скоро и совсѣмъ погаснутъ.

— А вы думаете, внизу-то тамъ, кто больше? Православный народъ?

— Разумѣется!..

— Сойдемте, увидите, что больше нѣмчура. Контористы, гезеля всякіе... Сойдемте — сами увидите.

Они начали спускаться. У Таси немного закружилась голова отъ крутой лѣстницы, чада плошекъ и снующаго вверхъ и внизъ народа. Рубцовъ взялъ ее подъ руку и сказалъ подъ шумокъ:

— Вотъ и видно, что дворянское дитя: нервы-то надо укрѣпить, — сбираетесь вѣдь ими дѣйствовать.

— Гдѣ? — наивно спросила Тася.

— Вотъ тебѣ разъ! А на сценѣ-то?

Такъ они и остались подъ ручку и внизу. Толпы расползлись уже по площади. Стало темнѣе. Кучки гуляющихъ, побольше и поменьше, останавливались, кочевали съ мѣста

на мѣсто. Безпрестанно слышались возгласы: „Ахъ, здравствуйте! Христосъ воскресъ!.. Вы давно?.. Куда теперь?. “ Видно было, что сюда съѣзжаются, какъ на гулянье, ищутъ знакомыхъ, дѣлаютъ другъ другу визиты. Не мало пріѣзжихъ изъ Петербурга, изъ губернскихъ городовъ, явившихся утромъ по желѣзнымъ дорогамъ. Имъ много говорили про эту ночь въ Москвѣ. Они осматривались съ бо́льшимъ напряженіемъ, чѣмъ туземная масса.

Рубцовъ былъ правъ. Обиліе нѣмецкаго языка удивило Тасю. Ее прежде никогда не возили въ Кремль, въ эту ночь. Нѣмцы и французы пришли какъ на зрѣлище. Многіе добросовѣстно запаслись восковыми свѣчами. То-и-дѣло слышались смѣхъ или энергическія восклицанія. Трещалъ и настоящій французскій языкъ толстыхъ модистокъ и перчаточницъ изъ Столешникова переулка и съ Рождественки.

Молоденькій комми и аптекарскіе ученики увивались за парами „нѣмокъ“ съ Кузнецкаго.

— А гдѣ же наши? — спросила Тася Рубцова.

— Должно быть, на паперти Благовѣщенскаго. Хотите посмотрѣть на пасхи съ куличами, тамъ вонъ, гдѣ церковь-то Двѣнадцати Апостоловъ, на-верху?..

— Предложимте имъ...

Въ полусвѣтѣ паперти Тася узнала Анну Серафимовну и Любашу. Уже больше двухъ недѣль, какъ Любаша почти перестала кли-

няться съ „компаньонкой“. Тасю это смѣшило. Она не сердилась на крутую купеческую дѣвицу, видѣла, что Рубцовъ на ея сторонѣ.

— Куда же это провалились? — встрѣтила ихъ Любаша и вся вспыхнула, увидавъ, что Рубцовъ подъ руку съ Тасей.

— Похристосуемся,— сказалъ Аннѣ Серафимовнѣ Рубцовъ.

— Дома,— проговорила она ласково и грустно, протягивая руку Тасѣ.— Вы ко мнѣ... Пора уже... Сыро дѣлается...

— А съ вами? — насмѣшливо спросилъ Рубцовъ Любашу.

— Не желаю...

— Какъ угодно...

— Вы ко мнѣ, Любаша? — пригласила Анна Серафимовна.

— Нѣтъ, мать дожидается. Прощайте, — рѣзко обратилась ко всѣмъ Любаша и пошла.

Ее дожидалась своя коляска. На ночь свѣтлаго Воскресенья Любаша почему-то возлагала тайныя надежды. Но Рубцовъ даже не предложилъ ей подняться на Ивана Великаго. Да она бы и не поѣхала, если бы не надѣялась на какой-нибудь разговоръ.

Разговора не вышло. Она видѣла, что дворянка отбила у нея того, кого она прочила себѣ въ мужья.

„И наслаждайся!“ выразилась она мысленно, садясь въ коляску.

Рубцовъ повелъ Станицыну и Тасю смотрѣть

куличи и пасхи. Анна Серафимовна была особенно молчалива. Тася взяла ее за руку и прижалась къ ней.

— Тяжело вамъ, голубушка? — полушепотомъ спросила она на ходу.

Анна Серафимовна поцѣловала ее въ лобъ. Рубцовъ замѣтилъ это.

Когда они сходили съ лѣстницы, собираясь домой, Рубцовъ взялъ Станицыну за руку, повыше кисти, и сказалъ, заглядывая ей въ лицо:

— И на нашей, сестричка, улицѣ праздникъ будетъ!

— На твоей-то и скоро,— шепнула она, и пропустивъ впередъ Тасю, прибавила: — что плошаешь?.. вотъ тебѣ дѣвушка... На красную бы горку...

Онъ тихо разсмѣялся.

XXV.

На разговѣнье внезапно явился Викторъ Миронычъ. Станицына только-что сѣла за столъ съ Тасей и Рубцовымъ — больше никого не было,— какъ вошелъ ея мужъ, во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, улыбающійся своей нахальной усмѣшкой, — поздоровался съ ней англійскимъ рукопожатіемъ, попросилъ познакомить его съ Тасей, съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Рубцова, и когда Анна Серафимовна назвала его, протянулъ ему два пальца.

Появленіе мужа сначала разсердило Станицыну, но она тотчасъ же сообразила, что это не спроста, и внутренно обрадовалась. Она даже не спросила его, гдѣ же онъ остановился, почему не въѣхалъ къ себѣ и не занялъ свою половину? Ему и прежде случалось жить въ гостиницѣ, а числиться въ Петербургѣ или Парижѣ.

— Были въ Кремлѣ? — спросилъ онъ, оглядывая ихъ всѣхъ. — Нанюхались шкаликовъ?.. Все одно и то же.

Онъ пополнѣлъ. Его шея не такъ вытягивалась. Манеры сдѣлались какъ бы попроще. Тася незамѣтно оглядывала его. Рубцовъ кусалъ губы и презрительно на него поглядывалъ, чего, впрочемъ, Викторъ Миронычъ не замѣчалъ. У всѣхъ точно отшибло аппетитъ. Пасхальная баба, въ видѣ толстаго ствола, вся въ цукатахъ и заливныхъ фигурахъ, стояла непочатой. До прихода Станицына поѣли немного пасхи и по одному яйцу. Ветчина и разные коместибли стояли также нетронутыми.

— Какая охота портить желудокъ! — замѣтилъ брезгливо Викторъ Миронычъ, ни къ чему не прикасаясь; но налилъ себѣ полстакана лафиту, выпилъ, поморщился и съѣлъ корочку хлѣба.

Рубцовъ и Тася скоро ушли. На лѣстницѣ они условились осматривать вмѣстѣ картинную галлерею Третьякова на третій день праздника.

— Что это значитъ? — шепотомъ спросила его Тася, надѣвая свое пальто.

— Скоро конецъ всему будетъ... я это чую.

Они пожали другъ другу руку и ласково переглянулись...

Въ столовой жена сидѣла на углу стола; мужъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ подошелъ къ ней и положилъ руку на столъ.

— Annette,— заговорилъ онъ, поглядывая на нее бокомъ: — вамъ мой пріѣздъ непріятенъ?

— Мнѣ все равно, вы знаете, — сухо и твердо произнесла Анна Серафимовна. Она замѣтно поблѣднѣла.

— Я пріѣхалъ вотъ зачѣмъ: хотите свободу?

— Какую?— точно машинально спросила она.

— Полную... Я предлагаю вамъ раздѣлъ имущества и разводъ. Вину я беру на себя.

— Вамъ это нужно?

— Конечно, иначе бы я не предлагалъ вамъ. А то, что́ вы надумали — извините меня,— очень плохая сдѣлка. Вы, я думаю, и сами это видите?

Она только повела головой.

— Сколько же вы желаете?

— Какъ это вы спросили! Кажется, я съ вами джентльменомъ поступаю... Я беру свое состояніе, у васъ останется свое. Дѣтей я у васъ не отниму. Согласенъ давать на ихъ воспитаніе.

— Не надо! — вырвалось у нея.

Она помолчала.

— Вы женитесь? — спросила она и подняла голову.

— Зачѣмъ вамъ знать? Довольно того — я беру вину на себя. Если и обвѣнчаюсь, такъ не въ Россіи.

Она все поняла. Наскочилъ, значитъ, на какую-нибудь прелестницу... И нельзя иначе, какъ законнымъ бракомъ... А знаетъ, что жена вины на себя не приметъ. Ну и пускай его разоряется. Неужели же жалѣть его?

Дѣтей она не отдастъ, да и требовать онъ не посмѣетъ, коли беретъ на себя вину.

Вдругъ ей стало такъ весело, что даже духъ захватило. Свобода! Когда же она и была нужнѣе, какъ не теперь? И представилась ей комнатка въ части. Лежитъ теперь арестантъ на кушеткѣ одинъ, слышитъ звонъ колоколовъ, а разговѣться не съ кѣмъ, рядомъ храпитъ хожалый, крыса скребется. Захотѣлось ей полетѣть туда, освободить, оправить, сказать ему еще разъ, что она готова на все.

— Подумайте,— раздался въ просторѣ высокой комнаты женоподобный голосъ Виктора Мироныча.— Я остановился въ Славянскомъ Базарѣ. Теперь уже поздно. Буду ждать отвѣта. Если вамъ непріятно меня видѣть — пришлите адвоката.

Она отошла къ окну, постояла съ минуту, быстро обернулась и, сдерживая волненіе, сказала громко:

— Согласна.

Черезъ три минуты Станицынъ уѣхалъ. Въ бѣломъ пасхальномъ платьѣ сидѣла Анна Серафимовна въ опустѣлой столовой, одна, еще съ четверть часа. Свѣчи въ двухъ канделябрахъ ярко горѣли. Пасхальная ѣда переливала яркими красками. Тишина точно испугала ее. Она подперла рукой голову, и взоръ ея еще долго уходилъ въ одинъ изъ угловъ комнаты. Рѣшеніе было принято безповоротно. Арестантъ выйдетъ изъ своего заключенія. Онъ не можетъ быть воромъ! Вотъ онъ на свободѣ. Дѣло рѣшится въ его пользу. Выпишетъ она ему адвокатовъ изъ Петербурга, если здѣшніе плохи. Не пройдетъ и полугода...

Румянецъ покрылъ ея щеки. Пора ей сбросить съ себя тяжесть постылой жизни: пришелъ и для нея свѣтлый праздникъ!..

XXVI.

О Третьяковской галлереѣ Тася часто слыхала, но никогда еще не попадала въ нее.

Она доѣхала одна. Ее везли по Замоскворѣчью, переѣхали два моста, повернули направо, потомъ въ какой-то переулокъ. Извощикъ не сразу нашелъ домъ.

Тася прошла нижней залой съ нѣсколькими перегородками. У лѣстницы во второй этажъ ждалъ ее Рубцовъ.

Въ первый разъ она немного смутилась. Онъ жалъ ей руку и ласково оглядывалъ ее.

— Какъ много картинъ...— выговорила она тономъ дѣвочки.

— На верху еще больше. Тамъ новѣйшіе мастера. А тутъ старые. Все — русское искусство. Видѣли по дорогѣ, какая богатая коллекція ивановскихъ этюдовъ?..

Она должна была сознаться, что про Иванова слыхала что-то очень смутно, никогда даже не видала его большой картины.

— Вѣдь она здѣсь, въ Румянцовскомъ музеѣ виситъ, — сказалъ Рубцовъ: — какъ же вы?

— Да я,— чистосердечно призналась она: — ничего не знаю. Люблю красивыя картинки... а хорошенько ничего не видала.

Ей легче стало послѣ того, какъ она повинилась Рубцову въ своей неразвитости по этой части.

— Очень ужь въ театръ ушли,— пріятельски замѣтилъ онъ и повелъ ее опять къ выходу.

Онъ все зналъ, началъ указывать ей на портреты, работы старыхъ русскихъ мастеровъ. И фамилій она такихъ никогда не слыхала. Постояли они потомъ передъ этюдами Иванова. Рубцовъ много ей разсказывалъ про этого художника, про его жизнь въ Италіи, спросилъ: помнитъ ли она воспоминанія о немъ Тургенева? Тася вспомнила и очень этому обрадовалась. Также и про Брюллова говорилъ онъ ей, когда они стояли передъ его вещами.

„Вотъ онъ все знаетъ“, думала Тася, „да-

ромъ, что купеческій сынъ; а я круглая невѣжда — генеральская дочь!“

Но это ее не раздражало. Она сказала ему почти то же вслухъ, когда они поднялись наверхъ. Рубцовъ разсмѣялся.

— Всякому свое, — замѣтилъ онъ: — большой премудрости тутъ нѣтъ... захаживалъ, почитывалъ кое-что...

Присѣли они на диванъ у перилъ лѣстницы. Справа, и слѣва, и противъ нихъ глядѣли изъ золотыхъ и черныхъ рамъ портреты, ландшафты, жанры съ русскими лицами, типами, видами, колоритомъ, освѣщеніемъ. Весь этотъ трудъ и талантъ говорили Тасѣ, что́ можно сдѣлать, если идти по своей настоящей дорогѣ. Рубцовъ точно угадалъ ея мысль.

— Таисія Валентиновна, — началъ онъ вполголоса: — вы въ себѣ истинное призваніе чувствуете на счетъ сцены?

— О да! — вырвалось у нея. — А вы какъ на это смотрите, что я въ актерки идти хочу?

— Какъ слѣдуетъ смотрю. Еслибъ дѣвушка, какъ вы, была моей женой и захотѣла бы этому дѣлу себя посвятить — я бы всей душой поддержалъ ее.

Щеки Таси загорѣлись. Рубцовъ изъ подлобья поглядѣлъ на нее.

— Я не думала, что вы такъ широко смотрите на вещи, — выговорила она.

— Не обижайте. Ежовый у меня обликъ. Такимъ ужь воспитался. А внутри у меня

другое. Не все же господамъ понимать, что́ такое талантъ, любить художество. Вотъ смотрите, купеческая коллекція-то... А какъ составлена! Съ любовью-съ... И писатели русскіе всѣ собраны. Не однѣ тутъ деньги — и любви не мало. Такъ точно и на счетъ театральнаго искусства. Неужли хорошей дѣвушкѣ или женщинѣ не идти на сцену оттого, что въ актерскомъ званіи много соблазну? Идите съ Богомъ! — онъ взялъ ее за руку.— Я васъ отговаривать не стану.

Они поглядѣли другъ на друга; Тася отняла свою руку и сидѣла молча.

— Таисія Валентиновна, — окликнулъ ее Рубцовъ: — можно ли намъ столковаться, а?

— Отчего же нельзя? — спросила она, отводя немного голову.

— Ой-ли?

Рубцовъ радостно вздохнулъ и всталъ.

Снизу показались двѣ барыни съ дѣвочкой.

Еще съ полчаса оставалась молодая пара въ верхней залѣ. Рубцовъ продолжалъ все разсказывать Тасѣ. Многихъ писателей она не узнавала по портретамъ. Картины были для нея новизной. Ее никогда не возили на выставки. И эта галлерея стала ей мила. Здѣсь что-то началось новое. Она нашла прочнаго человѣка, способнаго поддержать ее. Онъ ее любитъ, проситъ ея руки, соглашается сразу на то, чтобы она была актрисой. Офицеръ или камеръ-юнкеръ заставилъ бы сойти со сцены,

еслибъ и влюбился, да и родня каждаго жениха „хорошей фамиліи". А это люди новые, ни отъ кого не зависятъ, кромѣ самихъ себя.

Вотъ и она купчихой будетъ. И славно!.. Они сходили по лѣстницѣ подъ руку. Еще разъ постояли они внизу, передъ эскизами Иванова и передъ портретами Брюллова и Тропинина.

— Мы побываемъ здѣсь еще разъ,— сказала Тася на крыльцѣ.

— Хоть каждое воскресенье. Я вѣдь теперь на фабрикѣ.

У ней было такое чувство, точно онъ ея давнишній другъ, назначенный ей въ мужья и покровители.

„Купчиха и артистка. Славно", рѣшила про себя Тася.

XXVII.

— Васъ господинъ Нѣтовъ желаетъ видѣть,— доложилъ Палтусову солдатикъ.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ скорыми шагами, во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой и съ крестомъ на груди. На лицѣ его игралъ румянецъ; волосы онъ отпустилъ.

Палтусовъ принялъ его точно у себя дома, въ кабинетѣ, безъ всякой неловкости.

— Милости прошу,— указалъ онъ ему на кушетку.

Нѣтовъ сѣлъ и положилъ портфель рядомъ съ собой.

— Я къ вамъ-съ,— торопливо заговорилъ онъ и тотчасъ же оглянулся.— Мы одни?

— Какъ видите,— отвѣтилъ Палтусовъ и сразу рѣшилъ, что мужъ его довѣрительницы въ разстройствѣ.

— Узналъ я, что братъ моей жены... вы знаете, она скончалась... Да... такъ братъ... Николай Орестовичъ началъ противъ васъ дѣло... И вотъ вы находитесь теперь... я къ этому всему неприкосновененъ. Это, съ позволенія сказать,— гадость... Вы человѣкъ, въ полной мѣрѣ достойный. Я васъ давно понялъ, Андрей Дмитріевичъ, и если бы я раньше узналъ, то, конечно, ничего бы этого не было.

— Благодарю васъ,— сказалъ Палтусовъ, ожидая, что́ дальше будетъ.

— Вы одни во всей Москвѣ-съ... человѣкъ съ понятіемъ. Помню я превосходно одинъ нашъ разговоръ... у меня въ кабинетѣ. Съ той самой поры, можно сказать, я и всталъ на собственныя ноги... три мѣсяца трудился я... да-съ... три мѣсяца, а вы какъ бы изволили думать... вотъ сейчасъ...

Онъ взялъ портфель, отперъ его и досталъ оттуда брошюрку въ свѣтленькой оберткѣ, въ восьмую долю.

— Это ваше произведеніе?.. — совершенно серьёзно спросилъ Палтусовъ.

— Брошюра-съ... мое жизнеописаніе: пускай

видятъ, какъ человѣкъ дошелъ до полнаго понятія... Я съ самаго своего малолѣтства беру-съ... когда мнѣ отецъ по гривеннику на пряники давалъ. Но я не то, что для восхваленія себя, а открыть глаза всему нашему гражданству... народу-то православному... куда идутъ, кому довѣряютъ. Жалости подобно!.. Тутъ у нихъ подъ бокомъ люди ничего не желающіе, окромя общаго благоденствія... Да вотъ вы извольте соблаговолить просмотрѣть...

Нѣтовъ совалъ въ руки Палтусова свою брошюру.

Съ первой же страницы Палтусовъ увидалъ, что писано это человѣкомъ не въ своемъ умѣ. Онъ не подалъ никакого вида и съ серьёзной миной перелистовалъ всѣ шестьдесятъ страницъ.

— Вы мнѣ позволите,— сказалъ онъ: — на досугѣ просмотрѣть?

— Сдѣлайте ваше одолженіе... И позвольте явиться къ вамъ... Мнѣ ваше сужденіе будетъ дорого... А то, что вы здѣсь находитесь, это ни съ чѣмъ не сообразно и, можно сказать, очень для меня прискорбно... И я сейчасъ же къ господину прокурору...

— Нѣтъ, ужь вы этого не дѣлайте, Евлампій Григорьевичъ,— остановилъ его Палтусовъ.— Я буду оправданъ... все равно...

И въ то же время онъ думалъ:

„Ловко бы можно было воспользоваться душевнымъ состояніемъ этого коммерсанта. Онъ еще на волѣ гуляетъ“.

Но онъ на это неспособенъ. Это хуже чѣмъ выѣзжать на увлеченіи женщинъ.

Долго сидѣлъ у него Нѣтовъ, самъ принимался читать отрывки изъ своей брошюры, но какъ-то сердито, ядовито поминалъ про покойную жену, называлъ себя „подвижникомъ“ и еще чѣмъ-то... Потомъ сталъ торопливо прощаться, разсмѣялся и ухорски крикнулъ на порогѣ:

— Не намъ, не намъ, а имени твоему!

Палтусову стало еще легче отъ сознанія, что деньги Марьи Орестовны, и какъ разъ четвертая часть — наслѣдство человѣка, повихнувшагося умомъ. Его не нынче, завтра запрутъ, а состояніе отдадутъ въ опеку.

Это такъ и вышло. Нѣтовъ поѣхалъ къ своему дядѣ. Тотъ догадался, задержалъ его у себя и послалъ за другимъ родственникомъ, Красноперымъ. Они отобрали у него брошюру, отправили домой съ двумя артельщиками и отдали приказъ прислугѣ не выпускать его никуда. Евлампій Григорьевичъ сначала бушевалъ, но скоро стихъ и опять сѣлъ что-то писать и считать на счетахъ.

Красноперый привезъ того доктора, съ которымъ Палтусовъ говорилъ на балѣ, у Рогожиныхъ.

Психіатръ объявилъ, что „прогрессивный параличъ“ имъ давно замѣченъ у Нѣтова, что болѣзнь будетъ идти все въ гору, но медленно.

— Куда же его? — спросилъ Красноперый, — въ Преображенскую или къ вамъ въ заведеніе?

— Можно и въ домѣ держать.

— Да вѣдь онъ одинъ, урвется, будетъ по городу чертить... срамъ!..

— Тогда помѣщайте у меня.

Черезъ недѣлю опустѣлъ совсѣмъ домъ Нѣтовыхъ. Братецъ Марьи Орестовны уѣхалъ на службу, оставивъ дѣло о наслѣдствѣ въ рукахъ самаго дорогаго адвоката. Въ заведеніи молодаго психіатра въ веселенькой комнатѣ сидѣлъ Евлампій Григорьевичъ и все писалъ.

XXVIII.

По одной изъ полукруглыхъ лѣстницъ окружного суда спускался Пирожковъ. Онъ приходилъ справляться — по дѣлу Палтусова.

Иванъ Алексѣевичъ замѣтно похудѣлъ. Дѣло его „пріятеля“ выбило его окончательно изъ колеи. И безъ того, онъ не мастеръ скоро работать; а тутъ ужь и совсѣмъ потерялъ всякую систему... И дома у него скверно. Пансіонъ мадамъ Гужо́ рухнулъ. Купецъ-каменьщикъ, котораго просилъ Палтусовъ, далъ отсрочку всего на два мѣсяца; мадамъ Гужо́ не свела концовъ съ концами и очутилась „sur la paille“. Комнаты сняла какая-то нѣмка, табльдотомъ овладѣли глупые и грубоватые комми и пріѣзжіе коммисіонеры. Онъ съѣхалъ,

помѣстился въ нумерахъ, егдѣ му было еще хуже.

Дѣло пріятеля измучило Ивана Алексѣевича. Бросить Палтусова мерзко... Кто-жь его знаетъ?.. Можетъ быть, онъ по своему и правъ?.. Чувствуетъ свое превосходство надъ „обывательскимъ міромъ“ и хочетъ, во что бы то ни стало, утереть носъ всѣмъ этимъ коммерсантамъ. Что-жь!.. Это законное чувство... Иванъ Алексѣевичъ, въ послѣдніе два мѣсяца, набилъ себѣ душевную оскомину отъ купца... Вездѣ купецъ и во всемъ купецъ! Днями его тошнитъ въ этой Москвѣ... И хорошо, въ сущности, сдѣлалъ Палтусовъ, что прикарманилъ себѣ сто тысячъ. Онъ ихъ возвратитъ — если его оправдаютъ и удастся ему составить состояніе — навѣрное возвратитъ. Самъ онъ вполнѣ увѣренъ, что его оправдаютъ...

„Купецъ“ (Пирожковъ такъ и выражался про себя — собирательно) какъ-то заволокъ собою все, что́ было для Ивана Алексѣевича милаго въ томъ городѣ, гдѣ прошли его молодые годы. Вотъ уже три дня, какъ въ немъ сидитъ гадливое ощущеніе послѣ одного обѣда.

Встрѣтился онъ съ однимъ знакомымъ студентомъ изъ очень богатыхъ купчиковъ.—Тотъ зазвалъ его къ себѣ обѣдать. Женатъ, живетъ бариномъ, держитъ при себѣ товарища по факультету, кандидата правъ, и потѣшается надъ нимъ при гостяхъ, называетъ его „ярославскимъ дворяниномъ“. Позволяетъ лакею обно-

сить его зеленымъ горошкомъ; а кандидатъ ему вдалбливаетъ въ голову тетрадки римскаго права... Постоянная мечта — быть черезъ десять лѣтъ вице-губернаторомъ, и пускай всѣ знаютъ, что онъ изъ купеческихъ дѣтей!

Такъ стало скверно Ивану Алексѣевичу на этомъ обѣдѣ, что онъ не выдержалъ, при всемъ своемъ благодушіи, отвелъ „ярославскаго дворянина" въ уголъ и сказалъ ему:

— Какъ вамъ не стыдно унижаться передъ этакой дрянью?

Цѣлыя сутки послѣ того и во рту было скверно... отъ зеленаго горошка, которымъ обнесли кандидата.

Теплый, яркій день игралъ на золотыхъ главахъ соборовъ. Пирожковъ прошелъ къ набережной, поглядѣлъ на Замоскворѣчье, вспомнилъ, что онъ больше трехъ разъ стоялъ тутъ со Святой... По бульварамъ гулять ему было скучно; нѣтъ еще зелени на деревьяхъ; пыль, вонь отъ домовъ... Куда ни пойдешь, все очутишься въ Кремлѣ.

Возвращался онъ мимо Ивана Великаго, поглядѣлъ на царь-пушку, поискалъ глазами царь-колоколъ и остановился.

Нестерпимую тоску почувствовалъ онъ въ эту минуту.

— Ба! кого я зрю?.. Царь-пушку созерцаете?.. Ха, ха, ха!.. — раздалось позади Пирожкова.

Онъ почти съ испугомъ обернулся. Какой-то

брюнетъ съ просѣдью, въ очкахъ, съ бородкой, въ пестромъ лѣтнемъ костюмѣ помахиваетъ тростью и ухмыляется.

— Не узнали?.. А?..

Пирожковъ не сразу, но узналъ его. Ни фамиліи, ни имени не могъ припомнить, да врядъ ли и зналъ хорошенько. Онъ хаживалъ въ нумера на Срѣтенку, въ „Ѳиваиду", пописывалъ что-то и зашибался хмѣльнымъ.

— Ха, ха!.. Дошли, видно, до того въ матушкѣ бѣлокаменной, что основы московскаго величія созерцаете? Дойдешь! Это точно!.. Я, милый человѣкъ, не до этого доходилъ.

Въ другой разъ Ивану Алексѣевичу такая фамильярность очень бы не понравилась; но онъ радъ былъ встрѣчѣ со всякимъ — только не съ купцомъ.

— Да,— искренно откликнулся онъ: — вонъ надо. Засасываетъ.

— А подъ ложечкой у васъ какъ?.. Закусить бы... Хотите въ Саратовъ?

— Въ Саратовъ? — переспросилъ Пирожковъ.

— Да, тамъ меня компанія дожидается... Журнальчикъ, батенька, сооружаемъ... сатирическое изданіе. На общинномъ началѣ... Довольно намъ батраками-то быть... Вотъ я тутъ былъ у купчины... На крупчаткѣ набилъ милліончикъ... Такъ мы у него заимообразно... Только кряжистъ, животное!.. Ѣдемте?

Куда угодно поѣхалъ бы Иванъ Алексѣевичъ. Царь-пушка испугала его. Послѣ того одинъ шагъ — и до загула.

Литераторъ съ комическимъ жестомъ подалъ ему руку и довелъ до извощика.

XXIX.

На перекресткѣ, у Срѣтенскихъ воротъ, низменный, двухъ-этажный домъ загнулся на бульваръ. Вдоль боковаго фасада, наискось отъ тротуара, выстроился рядъ лихачей. Къ боковому подъѣзду и подвезъ ихъ извощикъ.

— У насъ тутъ — кабинѐ-партикюльѐ, — пригласилъ Пирожкова его спутникъ.

Иванъ Алексѣевичъ помнилъ, что когда-то кутилы изъ его пріятелей отправлялись въ Саратовъ съ женскимъ поломъ. Традиція эта сохранялась. И лихачи стоятъ тутъ до глубокой ночи по той же причинѣ.

Литераторъ ввелъ его въ особую комнату изъ корридора. Пирожковъ замѣтилъ, что Саратовъ обновился. Главной залы въ прежнемъ видѣ уже не было. И машина стояла въ другой комнатѣ. Все смотрѣло почище.

Въ „кабинѐ-партикюльѐ“ уже засѣдало человѣка четыре. Пирожковъ оглядѣлъ ихъ быстро. Фамиліи были ему неизвѣстны. Одинъ бѣлокурый, лохматый, въ красномъ галстухѣ, говорилъ сипло и поводилъ воспаленными гла-

зами. Двое другихъ смотрѣли выгнанными со службы мелкими чиновниками. Четвертый, толстенькій и красный, коротко стриженый господинъ, подбадривалъ половыхъ, составлялъ душу этого кружка.

Когда литераторъ усадилъ Пирожкова, онъ обратился къ остальной компаніи.

— Братцы,— сказалъ онъ: — нашъ гость — ученый мужъ. Но мы и его привлечемъ... А теперь Шурочка — какъ закусочка?

Шурочкой звали краснаго человѣчка.

— А вотъ вашей милости дожидались. Ерундопель соорудить надо.

— Ерундопель? — спросилъ удивленно Пирожковъ.

— Не разумѣете? — спросилъ Шурочка.— Это драгоцѣнное снадобье... Вотъ извольте прислушать, какъ я буду заказывать.

Онъ обратился къ половому, уперъ одну руку въ бокъ, а другой началъ выразительно поводить.

— Икры салфеточной четверть фунта, масла прованскаго, уксусу, горчицы, лучку накрошить, сардинки четыре очистить, свѣжій огурецъ и пять вареныхъ картофелинъ — счетомъ. Живо!..

Половой удалился.

— Ерундопель, — продолжалъ распорядитель: — выдумка привозная, кажется, изъ Питера, и какой-то литературный генералъ его

выдумалъ. Послѣ ерундопеля — соорудимъ лампопо́ — моего изобрѣтенія.

Про „лампопо“ Пирожковъ слыхалъ.

Начали пить водку. Всѣ выпили рюмокъ по пяти, кромѣ Пирожкова... Его сталъ уже пробирать страхъ отъ такихъ „сочинителей“. Они дѣйствительно затѣвали сатирическій журналъ.

— Савва Евсеичъ долженъ быть,— повторялъ все толстенькій, размѣшивая въ глубокой тарелкѣ свой „ерундопель“.

Пріѣхалъ и Савва Евсеичъ, молодоій купчикъ, совсѣмъ крупичатый, съ кроткимъ пухлымъ лицомъ и масляными глазами.

Всѣ вскочили, стали жать ему руку, посадили на диванъ. Пирожкова представили ему уже какъ „сотрудника“. Онъ ужаснулся, хотѣлъ браться за шляпу, но сообразилъ, что голоденъ, и остался.

Черезъ десять минутъ ѣли ботвинью съ бѣлорыбицей. Купчикъ вступилъ въ бесѣду съ двумя другими „сочинителями“ о голубиной охотѣ. До слуха Пирожкова долетали все неслыханныя имъ слова: „турмана̀, гонные, дутыши, трубастые, водные, козырные“, какіе-то „грачи-простячки“. Это даже заинтересовало немного; но компанія сильно выпила... Кто-то ползетъ съ нимъ цѣловаться...

Купчикъ уже перемѣнилъ бесѣду. Пошли любительскіе толки о протодьяконахъ, о регентахъ, разсказывалось, какъ такой-то церковный

староста тягался съ регентомъ басами, заспорили о томъ, что́ такое „подголосокъ“.

Ужасъ овладѣлъ Иваномъ Алексѣевичемъ. Вѣдь и онъ, если поживетъ еще въ этой Москвѣ, очутится на иждивеніи вотъ у такого любителя гонныхъ турмановъ и партеснаго пѣнія.

Онъ собрался уходить. Литераторъ (Пирожковъ такъ и не вспомнилъ его фамиліи) удерживалъ его, обнималъ, потомъ началъ ругать его „дрянью, ученой важнюшкой, аристократишкой“. Компанія гоготала; купчикъ пустилъ ему въ догонку:

— Прощайте-съ, безъ васъ веселѣй!

Иванъ Алексѣевичъ на улицѣ выбранилъ себя энергически. И по дѣломъ ему! Зачѣмъ идетъ въ трактиръ съ первымъ попавшимся проходимцемъ? Но „купецъ“ дѣлался просто какимъ-то кошмаромъ. Никуда не уйдешь отъ него... И на сатирическій журналъ даетъ онъ деньги; не будетъ самъ бояться попасть въ каррикатуру; у него въ услуженіи — голодные мелкіе литераторы. Они ему и пасквиль напишутъ, и каррикатуру нарисуютъ на своего брата, или изъ думскихъ на кого нужно, и до „господъ“ доберется.

„Вонъ! вонъ!“ повторилъ Пирожковъ, спускаясь по Рождественскому бульвару. День разгулялся на славу. Всю линію бульваровъ продѣлалъ Иванъ Алексѣевичъ и только на

Никитскомъ бульварѣ немного отдохнулъ. Но пошелъ и дальше.

XXX.

Пречистенскій бульваръ пестрѣлъ гуляющими.

Говорили про дѣло Палтусова, про сумасшествіе Нѣтова, про разводъ Станицыной. Толки эти шли больше между коммерсантами. Дворянскія семьи держались особо. Бульваръ уже нѣсколько лѣтъ какъ сдѣлался моднымъ.— Высыпала публика симфоническихъ концертовъ.

Пирожковъ столкнулся съ парой: маленькая фигурка въ черномъ и блондинъ съ курчавой головой въ длинномъ темно-сѣромъ „дипломатѣ“.

— Иванъ Алексѣевичъ! — окликнули его.

Ему улыбалась Тася. Ее велъ подъ руку Рубцовъ.

— Вотъ мой женихъ,— представила она его.

Рубцовъ молча протянулъ ему руку. Его лицо понравилось Ивану Алексѣевичу.

Онъ повеселѣлъ.

— Вотъ какъ! — вскричалъ онъ. — А сцена?

— Сцена впереди, — выговорила съ увѣренностью Тася. — Я съ этимъ условіемъ и шла...

Рубцовъ тихо улыбнулся.

— Васъ это не пугаетъ? — спросилъ его Пирожковъ.

— Авось пройдетъ, — сказалъ съ усмѣшкой Рубцовъ: — а не пройдетъ, такъ и слава Богу!

„Купецъ", подумалъ Пирожковъ, „такъ и есть... И тутъ безъ него не обошлось".

Тася немного потупилась.

— Андрея Дмитрича давно не видали?.. Я хотѣла къ нему поѣхать, но онъ передавалъ... (она промолчала, черезъ кого), что не надо...

Ей было совѣстно. Пирожковъ продолжалъ глядѣть на нее добродушно.

— Онъ надѣется...

— Выгоритъ его дѣло? — купеческимъ тономъ спросилъ Рубцовъ.

Звукъ этого вопроса покоробилъ Пирожкова.

— Онъ говоритъ, — продолжалъ уже барскими нотами Пирожковъ: — что его незаконно арестовали.

— Будто-съ? — переспросилъ съ усмѣшкой Рубцовъ.

— Хорошо, кабы!.. — вырвалось у Таси... — А вы знаете... бабушка здѣсь... вонъ тамъ черезъ три скамейки направо.

— Пойду раскланяться... очень радъ повидать Катерину Петровну... А вы еще погуляете?

— Да, еще немножко, — отвѣтила Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Въ ея взглядѣ было: „вы не думайте, что я стыжусь своего жениха, я очень счастлива“.

„И слава Богу“, подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, приподнимая шляпу. Онъ чувствовалъ все приливающее раздраженіе.

Старушки сидѣли однѣ на скамейкѣ.

Катерина Петровна держалась еще прямо, въ старушечьей кацавейкѣ и въ шляпѣ съ длиннымъ вуалемъ. На Фифинѣ было свѣтлое пальто, служившее ей уже больше пяти лѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ подошелъ къ рукѣ Катерины Петровны. Она усадила его рядомъ.

— Видѣлъ сейчасъ вашу внучку,— заговорилъ онъ: — и поздравилъ ее...

— Ахъ, вы знаете, милый мой... И слава Богу!

Катерина Петровна оглянулась на обѣ стороны и продолжала:

— Такое время, mon cher monsieur, такое время. La noblesse s'en va... Посмотрите вотъ, какіе туалеты... все вѣдь это купчихи... Куда бы она дѣлась?.. А онъ — директоръ фабрики. Немного мужиковатъ, но умный... Въ Америкѣ былъ... Что дѣлать... Намъ надо потише...

Она понизила голосъ. Фифина приниженно улыбалась.

— Съ нами почтителенъ,— добавила Катерина Петровна.

„И кормить васъ будетъ“, подумалъ Пирожковъ.

Онъ бы съ охотой посидѣлъ еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексѣевича защемило дворянское чувство. Онъ долженъ былъ сознаться въ этомъ. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засѣкина и на хлѣбахъ у купчика жениха, ея внучки!..

Посмотрѣлъ онъ черезъ бульваръ, и взглядъ его уперся въ богатыя хоромы съ башней, съ галлереей, настоящій замокъ. И это — купеческій домъ! А дальше и еще, и еще... Началъ онъ стыдить себя:—изъ-за чего же ему-то убиваться, что его сословіе бѣднѣетъ и глохнетъ? Онъ — любитель наукъ, мыслящій человѣкъ, свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ, демократъ...

А на сердцѣ все щемило, да щемило.

— У насъ не побываете? — спросила его глупенькая Фифина.

— Гдѣ же, mon ange... онѣ заняты,— сказала Катерина Петровна.

„Онѣ!“ чуть не съ ужасомъ повторилъ про себя Пирожковъ. „Точно мѣщанка или купчиха... Бѣдность-то что значитъ“.

Ему положительно не сидѣлось. Онъ простился съ старушками и скорыми шажками пошелъ къ выходу въ сторону храма Спасителя. По обѣимъ сторонамъ бульвара проносились коляски. Одна коляска заставила его поглядѣть вслѣдъ... Показалась ему знакомой

фигура мужчины. Цвѣтное перо на шляпѣ дамы мелькнуло красной полосой.

„Точно Палтусовъ“,— подумалъ онъ и пересталъ глядѣть по сторонамъ.

— Вотъ и опять встрѣтились,— остановилъ его голосъ Таси.

Пришлось еще разъ остановиться.

— Какъ нашли бабушку?..— спросила Тася.

— Бодра.

— Старушки у насъ будутъ жить,— сказала съ удареніемъ Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Этотъ взглядъ значилъ: „ты не думай, мой будущій мужъ все сдѣлаетъ, что́ я желаю“.

— А генералъ какъ поживаетъ? — спросилъ Пирожковъ.

— Онъ — при мѣстѣ... Жалуется... Можно будетъ его иначе пристроить.

„На купеческіе хлѣба“,— прибавилъ мысленно Пирожковъ.

Въ эту минуту прогремѣла коляска. Они стояли почти у перилъ бульвара и разомъ обернулись.

— Анна Серафимовна!— вскрикнула Тася...— Съ кѣмъ это?

— Да это Палтусовъ! — вскрикнулъ и Пирожковъ.

— Вашъ пріятель-съ? — спросилъ его съ улыбкой Рубцовъ.

— Да-съ,— отвѣтилъ ему въ тонъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Стало, его выпустили! — искренно воскликнула Тася. — Ну вотъ видите, — обратилась она къ Рубцову. — Разумѣется, онъ не виновенъ!

Тотъ только выпустилъ воздухъ подъ носъ, скосивъ губу.

— Третьяго дня онъ еще сидѣлъ, — сказалъ Пирожковъ: — но для него это не сюрпризъ... Все доказывалъ, что статья 1711-я къ нему не примѣнима.

— Какая-съ? — полюбопытствовалъ Рубцовъ.

— Тысяча-семьсотъ-одиннадцатая, — повторилъ Пирожковъ и раскланялся.

— Все устроится!.. — крикнула ему вслѣдъ Тася.

„Все устроится", думалъ Иванъ Алексѣевичъ. „И Палтусовъ на свободѣ, катается съ купчихой: она его и спасетъ, и женитъ на себѣ... Теперь онъ, — Пирожковъ — никому не нуженъ... Пора въ деревню — скопить деньжонокъ — и надолго, надолго за-границу... работать".

Вдругъ у него заныло подъ ложечкой. Онъ опять голоденъ... И вспомнилъ онъ сейчасъ же, что сегодня надо ѣхать въ „Московскій".

XXXI.

Противъ Воскресенскихъ воротъ справлялось торжество — Московскій трактиръ праздновалъ

открытіе своей новой залы. На томъ мѣстѣ, гдѣ еще три года назадъ доживало свой вѣкъ „заведеніе Гурина“ — длинное, замшаренное, двухъ-этажное зданіе — гдѣ неподалеку процвѣтала „Печкинская кофейная“, повитая воспоминаніями о Мочаловѣ и Щепкинѣ, — половые-общники, составивши компанію, заняли четырехъ-этажную громадину.

Эта глыба кирпича, еще не получившая штукатурки, высилась пестрой стѣной, тяжелая, лишенная стиля, построенная для ѣды и попоекъ, безконечнаго питья чаю, трескотни органа и для „нумерныхъ“ помѣщеній съ кроватями, занимающихъ верхній этажъ. Надъ третьимъ этажемъ лѣвой половины дома блестѣла синяя вывѣска съ аршинными буквами: „ресторанъ“.

Вотъ его-то и открывали. Зала — въ два свѣта, подъ бѣлый мраморъ, съ темнокрасными диванами. Уже отслужили молебенъ. Половые и мальчики, въ туго выглаженныхъ рубашкахъ съ малиновыми кушаками, празднично суетились и справляли торжество открытія. На столахъ лежали только-что отпечатанныя карточки „горячихъ“ и разныхъ „новостей“ — съ огромными цѣнами. Изъ залы рядъ комнатъ ведетъ отъ большой машины къ другой — поменьше. Длинный корридоръ съ кабинетами заканчивался отдѣленіемъ подъ свадьбы и вечеринки, съ нишей для музыкантовъ. Чугунная лѣстница, устланная коврами, поднимается

MAR 24 1910

DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARD